

Проект
«КОД НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ»



ШКОЛА

АНТРОПОЛОГИИ БУДУЩЕГО

«Школа антропологии будущего» РАНХиГС – центр интеграции наук о человеке, конструирующих образы будущего в мире возрастающей сложности. Ключевое направление деятельности – исследование практик, способствующих развитию разнообразия образов будущего и конструированию поведения, предвосхищающего будущее, в условиях неопределённости окружающего мира.

ВЛАДИМИР ТЕНДРЯКОВ

Художественные и публицистические
произведения

ЧАСТЬ IV

- Об учителе
- За бегущим днём
- Письмо школьникам
- [Об Александре Твардовском]

ЧАСТЬ V

- Учитель Савва Ильич
- Просёлочные беседы
- Школа и самопознание
- Предисловие к роману



Школа для каждого — школа для всех

ПОКУШЕНИЕ
НА ШКОЛЬНЫЕ МИРАЖИ.
УРОКИ ДОСТОИНСТВА



КНИГА 2

Серия «Школа для каждого — школа для всех»

Идея серии предложена А.Г. Асмоловым,
зав. кафедрой психологии личности МГУ им. М.В. Ломоносова,
академиком РАО

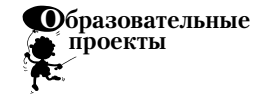
Тендряков В.Ф.

ТЗЗ Покушение на школьные миражи. Уроки достоинства. Художественные
и публицистические произведения: в 2 кн. Книга 2 / под ред. А.Г. Асмолова,
А.С. Русакова, М.В. Тендряковой. — СПб.: Образовательные проекты, 2020. — 408 с. —
(Школа для каждого — школа для всех).

ISBN 978-5-98368-144-6

Замысел книги «Покушение на школьные миражи» направлен на воссоздание
общей картины тех ключевых идей о школе, которые на протяжении своей жизни
Владимир Фёдорович Тендряков тщательно формулировал, обдумывал, отстаивал,
представлял читателям разных поколений. В книге воссоздаётся целостное высказы-
вание Тендрякова об образовании человека не в контексте литературном, а в тесной
связи с теми важнейшими исследованиями, замыслами и опытами, которые состави-
ли великую картину отечественных педагогических поисков и открытий второй по-
ловины XX века. Читатель увидит, что предлагаемые Тендряковым проекты и эскизы
решений в большинстве своём остаются остроактуальными и для российской школы
на пороге третьего десятилетия двадцать первого века.

Во вторую книгу вошли роман «За бегущим днём», статьи «Школа и самопозна-
ние» и «Просёлочные беседы», ряд статей, писем и рассказов.



© В.Ф. Тендряков, наследники, 2020
© А.Г. Асмолов, А.С. Русаков, М.В. Тендрякова,
составление, редактирование, комментарии, 2020
© ООО «Образовательные проекты», 2020

Книга 2

Книга 1

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие Марии Тендряковой. Искусство сопричастности	11
ЧАСТЬ IV	
Комментарии к IV части	21
Об учителе. Из черновиков	31
За бегущим днём. Роман	37
Часть первая	38
Часть вторая	76
Часть третья	147
Часть четвёртая	234
Письмо школьникам в Подосиновец	329
Пристрастный взгляд. Дмитрий Быков	333
[Об Александре Твардовском]. Из рукописей	343
ЧАСТЬ V	
Комментарии к V части	359
Учитель Савва Ильич (отрывок из романа «Свидание с Нефертити»)	367
Просёлочные беседы. Рассказ	373
Школа и самопознание. Статья	383
«Мы за мир». Шуточный домашний рассказ	389
Пристрастный взгляд. Владимир Асмолов	399
Предисловие к роману «Покушение на миражи»	403
Предисловие Александра Асмолова. Трудно быть человеком	
ЧАСТЬ I	
Комментарии к I части	
Ваш сын и наследство Коменского. Статья	
Письмо к А.Д. Сахарову	
Шестьдесят свечей. Повесть	
Пристрастный взгляд. Леонид Жуховицкий	
ЧАСТЬ II	
Комментарии ко II части	
День седьмой. Рассказ	
Люди или нелюди. Рассказ	
Воспоминания о «Литературной Москве»	
Учитель. О Константине Паустовском	
Литинститутский коридор. Статья	
Пристрастный взгляд. Валерия Новодворская	
Пристрастный взгляд. Ролан Быков	
ЧАСТЬ III	
Комментарии к III части	
Весенние перевёртыши. Повесть	
Ответы на письма о «Весенних перевёртышах».	
«Всё дело в трубе». Шуточный домашний рассказ	
Пристрастный взгляд. Татьяна Успенская-Ошанина	

1947 г. Первый курс Литинститута.

Владимир Тендряков с однокурсниками на семинаре Ф.В. Гладкова



В этот двухтомник собраны роман, две повести, четыре статьи, несколько рассказов и писем. Но всё же перед вами не «сборник произведений на школьную тему», а опыт книги педагогической. Её замысел направлен на воссоздание общей картины тех ключевых идей о школе, которые на протяжении своей жизни Владимир Фёдорович Тендряков тщательно формулировал, обдумывал, отстаивал, представлял читателям разных поколений.

Мы стремились восстановить целостное высказывание Тендрякова об образовании человека не в контексте литературном, а в тесной связи с теми важнейшими исследованиями, замыслами и опытами, которые составили великую картину отечественных педагогических поисков и открытий второй половины XX века.

Читатель увидит, как раскрываются перед ним неизбывные противоречия образования, и обнаружит, что предлагаемые Тендряковым проекты и эскизы решений в большинстве своём остаются остроактуальными и для российской школы на пороге третьего десятилетия двадцать первого века..

Покушение на школьные миражи. Уроки достоинства

Мы надеемся, что сложное, драматичное полотно этой большой книги читатель воспримет не как воспоминание о детях и учителях прошедшего века, а как яркий и свежий повод для рождения новых взглядов на школу будущих десятилетий.



ВладимирТендряков с женой Натальей Григорьевной и дочерью Марией. Фотография Фёдора Тендрякова

ИСКУССТВО СОПРИЧАСТНОСТИ

Предисловие Марии Тендряковой

«Педагогика Тендрякова» или «школа Тендрякова» — словосочетания непривычные, сам бы он точно удивился. Они появились у нас спустя долгие годы после его ухода, когда пришла в голову идея собрать вместе основные работы, которые так или иначе связаны со школой. Оказалось, их не так уж мало, но дело не только в них. Школьные вопросы — как не отбить желание учиться, как превратить учёбу в творческий поиск и жажду познания, как сделать так, чтобы мир, открывающийся юному созданию, был интересен, как не погрязнуть в рутине отметок и расхожих истин, — все эти вопросы выходят за пределы школы, с ними, решёнными и совсем не решёнными, в самых разных формулировках, каждый из нас выходит в жизнь, ищет свой путь, отстаивает право на самостоятельный выбор, право быть собой, стремится «оставить свой след». Все эти вопросы выходят за пределы школьной прозы и красной нитью идут по работам В.Ф. Тендрякова, в какой бы ситуации ни оказался герой его повести или рассказа или он сам.

Поэтому «школьная» или «педагогическая» тема стала у нас стремительно обрастать работами, казалось бы, далёкими от школы, письмами, публицистикой, фрагментами воспоминаний: как сражались за «Литературную Москву», как бывает, когда «один в поле — воин» (воспоминания о Э. Казакевиче), как человек в своих поступках зависит от общества, как ярость толпы может сделать из обычного человека преступника («Вилли»), как опасна простая логика... Школьная тема перерастает в тему противостояния человека системам, которые обесчеловечивают и обезличивают, в борьбу с убаюкивающими совесть отговорками — все так делают, время нынче такое...

Что касается школы Владимира Тендрякова, то её опыт, школьная жизнь, общение с учителями, чтение взахлёб прямо на уроках, безусловно, оставили яркие воспоминания. Он рассказывал, как отвинтил крышку парты, сделал в ней широкую щель и сквозь неё читал, положив на колени книгу — Майн Рид, Дюма, Жюль Верн — учителя умилялись: то был такой непоседа, а сейчас прилежно сидит все уроки, головы не поднимает. Обман открылся, когда его вызвали к доске — а он в слезах, уж не помню, кого там из героев казнили... Рассказывал, что в старших классах учёба вдруг стала интересной.

«В Вожеге я из рук вон плохо учился, еле-еле перебирался из класса в класс, пока не застрял на второй год в седьмом. В Подосиновце, что называется, “взялся за ум”, среднюю школу окончил прилично — “пятёрки”, “четвёрки” и одна-единственная “тройка” по... письменной литературе».

(Из «Автобиографии»)

Зарисовки из Подосиновца

В селе Подосиновец в начале 1940-х годов учитель литературы А.А. Филёв организовал выпуск «Литературно-творческого журнала “Юность”», в который ученики писали стихи про героев-бойцов, танкистов, Красную армию, в художественной форме высмеивали нерадивых товарищей. В новогоднем номере школьный поэт восторженно призывал 1941-ый год: «Новый год, Иди скорее, Нам навстречу выходи, И счастливому народу, Снова счастье принеси!» — N2 за 1940 год. Сохранившийся номер журнала выписан каллиграфическим девичьим почерком и обильно проиллюстрирован. Все рисунки сделаны Володей Тендряковым. В ту пору Тендряков не сочинял, но очень любил рисовать и мечтал стать художником.

«Наш выпускной вечер состоялся 21 июня 1941 года. Утром я проснулся поздно с ощущением свободы и счастья — кончил школу, всё прекрасно в этом мире, поступлю в художественный, как знать, не ждёт ли меня слава нового Левитана. Всё прекрасно, долой трусы и майку, с крутого берега в воду, — рыба мелочь шарахнулась в сторону.

Ребятишки, появившиеся на берегу, прокричали мне:

— Война! Началась война!

Я вылез, оделся, выслушал их, и меня озарило: это прекрасно, вот тут-то и начнётся долгожданная мировая революция, рабочий класс Германии сразу встанет на нашу сторону. А слава Левитана — с ней можно повременить. И я от избытка чувств, прошёлся по берегу колесом. Эмоциональному телку было тогда — семнадцать с хвостиком, возраст не столь уж младенческий».

(Из «Автобиографии»)

Война на следующий же день после выпускного вечера! Школьным истинам предстояло пройти проверку очень страшной реальностью. Сколько веры и убеждений тогда рассу-

палось в дым! Мечту стать художником через войну папа пронёс; вернувшись домой в Подосиновец, он много рисовал, готовился к поступлению во ВГИК и поступил.

Когда смотрю на рисунки послевоенных лет, у меня появляется ощущение, что из них выросли повести и рассказы. Обычно иллюстрация идёт к повествованию, а тут — наоборот. Эти рисунки можно было бы назвать иллюстрациями, но ни «Трёх мешков сорной пшеницы», ни военных рассказов тогда ещё не было. Видимо, какие-то образы врезались в душу, стали средоточием боли или злобы дня, стали рисунками, но не оставили в покое, а заставили писать и превратились в прозу.

«Я всю жизнь мечтал стать художником, я верил, что есть способности, наверное, они были, весьма скромные, так как вступительные экзамены я сдал не хуже других.

Но задолго до этого случилось событие... В день моего возвращения домой я встретил своего школьного учителя по литературе Аркадия Александровича Филёва, того самого, который поставил мне “тройку” в аттестат за сочинение. Раньше Аркадий Александрович писал стихи, теперь он сел за роман. Я стал его критиком, я долго крепился и не выдержал — тайком сам начал сочинять повесть».

(Из «Автобиографии»)

Свои творческие муки, поиски, сомнения В.Ф. Тендряков передал герою «Свидания с Нефертити», только вот Фёдор Материн стал художником, а папа, когда, казалось бы, заветное желание осуществилось — студент художественного факультета Государственного института кинематографии — перешёл в Литературный институт имени Горького. Но он навсегда остался человеком, который умел и любил рисовать. Зарисовка, набросок — для него остались «языком» общения с миром.

В оформлении двухтомника использованы рисунки из домашнего архива.

В «школьный» сборник В.Ф. Тендрякова вошли его детские рисунки (в том числе и из той самой «Юности») и послевоенные наброски. И кое-какие зарисовки, оставшиеся на полях рукописей, выразительные и гротескные. Вошли и домашние детские рисованные рассказы — не судите строго, они были шуткой! Это были просто подарки ко дню рождения мамы! (Покупать что-то в магазине он не любил и не умел.) А также задачка в рисунках про деда Ивашку, неизменного героя папиных рассказов о деревенской жизни... Но прямое обучение, счёту или чему-то ещё — в моём детстве были редким исключением. Обучения не было, было общение — чтение вслух Толстого, Некрасова, Чехова, Пушкина, рассказы и разговоры на вечерних прогулках по поселковым аллеям, по дорожкам вдоль реки или по лесным тропинкам. Мы брели вместе, а он рассказывал. Папа не столько вкладывал знания в детскую голову, сколько заражал острым, пристрастным, выстраданным отношением к прочитанному, пережитому, увиденному — к миру и всему, что в нём происходит.

Папина Третьяковка

К походу в Третьяковскую галерею мы готовились долго. Долго собирались, вели серьёзные многокилометровые беседы о картинах и художниках во время вечерних прогулок. Тогда я была то ли в первом, то ли во втором классе. И поход в Третьяковку становился для меня всё более серьёзным событием. Не экскурсия, а именно предстоящее Событие. Наконец оно свершилось.

Из того посещения запомнилось не столько что именно мы видели, сколько как это ощущалось. Как медленно брели по залам, как рассеивалось внимание от обилия шедевров, и как разбегались глаза от очень больших во всю стену картин. Помню, как долго рассматривали «Явление Христа народу» А.А. Иванова. Папу более всего увлекали эскизы Иванова к этой картине, поиск лица, нужного ракурса, светотени; мы рассматривали их и сравнивали с окончательным вариантом, перенесённым на полотно. Папа смотрел, ахал, кричал, одобрял или не одобрял, в общем, вслед за Ивановым продолжал работу над картиной.

Ещё запомнился Петров-Водкин, «Купание красного коня». Он-то как раз (в отличие от многих других работ) запечатлелся фотографией в детской памяти, со всей определённо-стью живописной его манеры. Запомнился навсегда, но тогда, детским миропониманием активно не понравился. Достоверный, абсолютный реализм ирреального мира настораживал у Петрова-Водкина, а уж у Врубеля и вовсе не воспринимался. И никакой сказочный флёр не мог ввести в заблуждение. Точно так же позднее мною отторгались и Босх, и Брейгель. А ещё позднее, много позже, в их фантастических мирах я увидела абсолютно реальные земные смыслы — не досужий полёт воображения, а язык человеческого общения, разговор о главном. И душа моя стала «вхожа» в миры этих художников...Но это всё потом, потом...

А пока что мы с папой шли по Третьяковке, зал за залом.

Через некоторое время в меня стала закрадываться какая-то смутная тревога.

Главной целью нашего путешествия по Третьяковке была картина Репина «Иван Грозный убивает сына». Папа очень хорошо подготовил меня к этой картине. Он мне много говорил о Репине, о его одержимости работой, о жестокости Ивана Грозного, о мощи картины, о трагедии, о тёмном пятне крови, расплывающемся на узорчатом ковре, о белёсо-безумных глазах царя. И ещё он мне рассказывал, как не выдерживали душевно неуравновешенные люди зрелища этой картины, бросались с ножом, заливали краской. Сколько раз из-за этого картина была на реставрации. Как боялись сообщить состарившемуся Мастеру, что его произведение испорчено, но делать было нечего, сказали, а тот обрадовался: «Ну и хорошо, мне давно перестало нравиться, дайте, я сам всё почищу, поправлю». Сам Репин взялся за картину и... к ужасу реставраторов стал перерисовывать и портить. Насилу уговорили его оставить всё, как есть, забрали полотно, всё восстановили.

От зала к залу по мере приближения к Репинскому шедевру — о чём мне сообщал папа — моя тревога стала нарастать. Наконец, я поняла, что боюсь увидеть эту картину, боюсь, что не выдержу, как та сумасшедшая, что бросила в неё банку с краской. Вот увижу картину, и со мной что-то случится.

Я попыталась сказать папе, что полна впечатлений, что устала, что на первый раз хватит. Даже намекнула, что завтра рано в школу. Но папа, не учуяв ни моих страхов, ни тонкого подвоха в моих словах, успокоил, что уже скоро, и что этот-то зал мы точно не минуем.

А я шла и переживала, готовилась как к испытанию или как ко встрече со стихией, во власть которой непременно попаду. Я боялась, что увижу и сойду с ума.

Войдя в очередной зал, я даже не сразу заметила эту картину. Папа одёрнул: «Да вот же!..» Никаких сил ни на бурную реакцию, ни на глубокое проникновение уже не было. Смотрю, вижу, пока что ничего со мной не происходит. Отлегло от сердца. Нет, конечно, очень интересно, но с ума, слава Богу, не сошла.

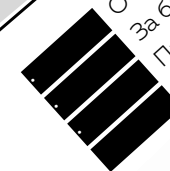
Тогда я никому не призналась в своих переживаниях, они казались уж очень детскими, наивными, похожими на страхи в тёмной комнате. Потом и вовсе о них забыла. Случайно вспомнились они сравнительно недавно. И я, тогда сорокалетняя, страшно обрадовалась этому воспоминанию. Какое счастье, что это было, что были эти папины рассказы, что была такая вера его словам. Что благодаря папиной пристрастности, равнодушию, мир искусства, картины, художники, истории прошлого, открывались для меня маленькой не как досуг, не как некий багаж знаний, положенный каждому мало-мальски образованному человеку, а как усилие души, как накал страстей неподвластный времени, как чувство острой сопричастности тому, что было. Когда-то в детстве меня это напугало, обожгло, но главное, хоть капельку приобщило к чему-то вечному и непреходящему.



• 4 класс Образцовой Вожегодской начальной школы. 1934 год.
Володя Тендряков — четвёртый в верхнем ряду справа.

*«...В Вожеге я из рук вон плохо учился, еле-еле перебирался из класса в класс,
пока не застрял на второй год в седьмом...»*

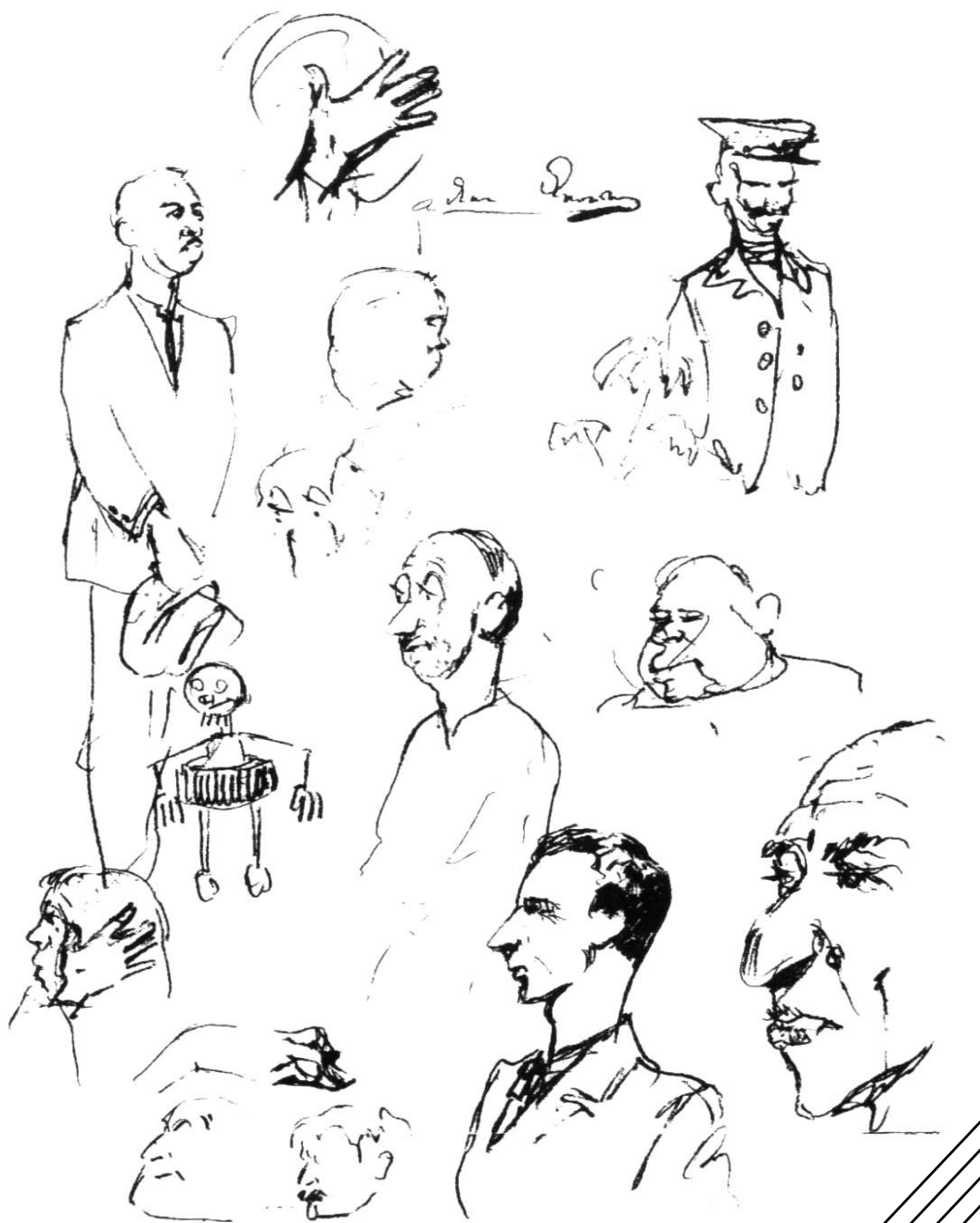
Часть IV



Об учителе
За бегущим днём

Письмо школьникам в Подосиновец
[Об Александре Твардовском]. Из рукописей





Рисунки В.Ф. Тендрякова на полях рукописей

КОММЕНТАРИИ К IV ЧАСТИ

Роман «За бегущим днём» вышел в свет в 1959 году, и на первый взгляд, надёжно направлен по рельсам соцреализма: в нём разворачивается борьба хорошего с лучшим, столкновения новаторов «производства» (школьного, в данном случае) с «ретроградами»; приехавшие из города энтузиасты несут современные веяния симпатичным, но несколько отсталым селянам, в жаркие споры о путях строительства «завтрашнего дня советского общества» аккуратно вплетены романтические увлечения, разрешая женитьбой недоразумения личной жизни.

Шаблоны все в строю — но почему-то срываются с резьбы резким и странным образом. «Консерваторы» морально и поведенчески выглядят более достойно, чем проповедники новшеств. Личные драмы в отношениях героев если и завершаются, то весьма спорными «хэппи-эндами», оставляя кровоточащие следы в изувеченных судьбах близких людей. Фоновые персонажи — те, кому глубоко безразличны и новаторство, и консерватизм, но кто умеет угадывать победителя — предстают не юмористическими прохвостами, а силой вполне зловещей и наиболее в себе уверенной. Идеино-организационная «победа новаторов над ретроградами» свершается без всякой бравурности, едва ли не случайно и вовсе не выглядит заслуженной.

Даже те решительные замыслы школьных перемен, за которые герои романа вступают в борьбу с коллегами, с ними же и остаются в финале — как путь и надежда, как ряд трудных (а быть может, и неразрешимых!) проблем, но вовсе не в ожидаемой роли доказанного теперь на практике метода, повода для праздничного триумфа.

Роман «За бегущим днём» отличается не смелостью критики школьных порядков, но глубиной и серьёзностью отношения к школе.

Название книги уподоблено бегущей строке, но вводит она читателя в школьный мир как в очень устойчивый, малоподвижный. Впрочем, всё-таки — в мир колеблющийся, хотя и вокруг прочных координат; в мир, находящий своё равновесие в растяжках противоречий: то ли вечных, то ли трудноразрешимых (и если разрешимых, то в разных ситуациях весьма по-разному).

Вот лишь часть противоречий, с которыми столкнутся ищущий ум и темперамент учителя Андрея Бирюкова, героя романа:



...Должна ли школьная жизнь распахнуться навстречу заботам окружающего мира, включиться в них, или же смысл школы как раз в обратном — в стремлении создать для детей идеализированную, отвлечённую от социальных будней обстановку?

...Те дидактические находки, что восхищают в руках учителей-энтузиастов, не вызовут ли обратного эффекта в руках учителей заурядных: выбив из их рук худо-бедно работающие правила, не толкнёте ли вы их в объятия фиктивно-показательной «инновационности» (безразличной и к детям, и к результатам обучения)?

...Пусть некий новый приём даже выглядит эффективным в достижении определённых целей, но если он чужд общему ходу дел, то не принесёт ли он больше разрушений, чем пользы?

...Так ли уж способны повлиять методические ухищрения на природные способности детей?

...Да и разумно ли вообще хотеть от всех школьников высоких результатов обучения?

...Наконец, кому и где должно искать и утверждать новые направления школьной работы: кустарно, на свой страх и риск в каждой школе — или централизованно, с опорой на признанные научные коллективы и государственные решения?

Заметим, что подобные вопросы не только не имеют шансов на универсальный ответ в логике «верно/неверно», но для практического решения всегда потребуют перевода из дихотомий в более сложные «смысловые растяжки».

Далее мы прокомментируем методы, которыми увлечён герой романа, но сперва отметим не их суть, но принцип подхода автора: прежде всего, тщательность и осторожность, деликатность в рассмотрении устройства школы.

Мы входим в заведённый часовой механизм школы, в круговорот детских радостей и драм, к нам поворачиваются разными гранями методы и модели отношений: проверенные, проверенно-дурные, непроверенно-обнадёживающие. Мы ощущаем двусмысленный фон общественного положения учителей, закономерный разброс их «творческой энергетики» (одним школа не позволяет жить «по накатанному» и толкает на поиски, в других развивает раздражительную порывистость, третьим помогает вести дела спокойно и вдумчиво, четвёртых отодвигает к бытовым заботам и отбыванию уроков как заурядной казённой службы и т.д.), замечаем часы их усталости и минуты воодушевления.

Перед нами мир, который явно не может быть изменён одним порывом, мыслью или концепцией. Но в нём можно разбираться, понимать его и, быть может, уже тем самым менять к лучшему.

«Всё более глубокое понимание ребёнка — это и есть воспитание его», — такую формулу примерно в годы издания романа выводила рука Василия Александровича Сухомлинского. Как, за счёт чего понимание «само по себе» воспитывает? Сухомлинский объяснял так: понимание необходимо, чтобы быть справедливым к ребёнку: «Справедливость — это основа доверия ребёнка к воспитателю. Но нет какой-то абстрактной справедливости — вне индивидуальности, вне личных интересов, страстей и порывов. Чтобы быть справедливым, надо до тонкости знать духовный мир каждого. Вот почему дальнейшее воспитание представлялось мне как всё более глубокое познание каждого ребёнка»¹.

Если следовать аналогии, то и всё более глубокое понимание школы есть лучшее воспитание её. Лишь справедливое к школе отношение позволяет чему-то в ней изменяться к лучшему.

Итак, два плана явлений раскрывает перед читателем автор романа.

Первый: само устройство школы как она есть — вернее, школьных правил бытия, системы отношений внутри и вокруг школы. Рассматривается та самая «сила вещей», которая сколько-то слаженно направляет и привычно суммирует усилия детей и взрослых.

Второй — нравственный выбор человека, ощутившего (как правило, из острого чувства ответственности за происходящее с детьми) необходимость всё-таки «силе вещей» противостоять и прилагать личные усилия к её изменению.

Какие же «новаторские методы» стремятся воплотить в жизнь герои романа? — 1) обучение в парах сменного состава и 2) организацию осмысленной в глазах школьников трудовой практики.

Неужели две эти «оргформы» — вроде бы локальные и отдалённые одна от другой — достойны считаться пусть не панацеей, но хоть сколько-то действенной системой для необ-

¹ См. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Киев, 1969.

ходимых в школе преобразований? Стоит ли относиться к ним слишком всерьёз? Быть может, автору «школьно-производственного романа» просто необходимо было ввести в сюжет какое-то подобие «технических решений»; не вписал ли он первое, что подвернулось под руку или пришло на ум?

А всё же за этими вроде бы частными решениями просвечивает куда более масштабный «выбор педагогической веры».

...Как-то раз интервьюер попросил Ш.А. Амонашвили пояснить — только коротенько, одной фразой: «Что главное нужно изменить в школе?» Шалва Александрович ответил так: «В школе нужно изменить отношения».

Допустим, изменить — но в какую сторону? Два тезиса по этому поводу в XX веке отечественными исследователями школы были во всяком случае выстраданы, поняты и наиболее твёрдо обоснованы:

- необходимо обучение, которое опирается на интенсивное и равноправное общение как между детьми, так между детьми и взрослыми;
- необходимо наличие общего дела школьников и учителей, позволяющее им налаживать отношения сотрудничества.

Легко заметить, что два конкретных метода, обсуждаемых в романе, оказываются и своего рода символами более общих, фундаментальных ориентиров для пересмотра школьной практики: обучению в общении и педагогики сотрудничества.

* * *

Метод обучения в парах сменного состава (он же «оргдиалог», «со-диалог», «коллективный способ обучения») был изобретён в годы Гражданской войны Александром Григорьевичем Ривиним. В двадцатые годы на его основе создавались курсы по ликвидации неграмотности, велась подготовка в вузы и возникали альтернативные вузам программы обучения. В 1928 году в Москве случилась удивительная история самоорганизации т.н. «Дикого вуза» — несколько сотен абитуриентов, не поступивших в московские институты, успешно взялись совместно осваивать программу МВТУ, опираясь на «метод Ривина» (при этом ребята не могли рассчитывать на по-

Подробнее
о «методе
оргдиалога»
см., напр.:

- Архипова В.В. Коллективная организационная форма учебного процесса. СПб, 1995;
- Эпштейн М.М. Метод Ривина. История развития идеи и практики применения // На путях к новой школе. 2001, №4. (Эл. публ. на сайте setilab.ru)



мощь преподавателей, а лишь на нескольких студентов). «Дикий вуз», назвавший себя «Объединением групп по высшему техническому образованию», оказался слишком успешным; в 1929 г. в него записалось уже полторы тысячи человек: результаты обучения проверило и признало государство и немедленно превратило его в «Машиностроительный вечерний рабочий институт» (но уже со вполне классическим ходом обучения).

В тридцатые годы метод Ривина был загнан в подполье; публично его воскресил в 1953 году, придав ему глобальный теоретический смысл и сделав главным делом своей жизни, Виталий Кузьмич Дьяченко — прототип упоминаемого в романе учёного Ткаченко.

В 1941 году в Москве В.К. Дьяченко случайно удалось несколько месяцев поучиться на полуподпольном курсе Ривина; после войны он получил в Киеве диплом учителя и преподавателя логики — и, погрузившись в общепринятую манеру обучения, вдруг осознаёт, что именно тот метод, с которым он нечаянно познакомился в юности, позволит принести успех в школьную жизнь.

Параллельно своей текущей учительской работе, Виталий Кузьмич придаёт «оргдиалогу» дидактический пафос; обобщая опыт работы в «динамических парах» и анализируя структуру разных типов учебного процесса, Дьяченко создаёт «теорию коллективного способа обучения». (Аббревиатура «КСО» станет в дальнейшем знаком широкого педагогического движения, достигшего апогея к началу девяностых годов).

Не обсуждая здесь меру логической или психологической корректности дидактических классификаций В.К. Дьяченко¹, обратим внимание на суть его главных тезисов:

- Дьяченко определяет обучение как общение («обучение — это специальным образом организованный процесс общения, в котором каждое поколение получает, усваивает и передаёт свой опыт общественно-исторической и практической деятельности»);

¹ Дьяченко выделяет четыре типа структур общения: индивидуально-опосредованная (через письменную речь); парная; групповая; в парах сменного состава — и им в соответствии четыре формы организации обучения: индивидуально-обособленная; парная (когда один учит другого); групповая («фронтальная» — один учит многих); коллективная (каждый учит каждого).

См. об этой истории, напр.:
• Вихман Э. Опыт построения учебного материала для массового рабочего образования // Революция и культура, 1930. №15-16;
• интервью с В.К. Дьяченко: «Дикий вуз» и проблема равных возможностей в получении образования / в кн. Дьяченко В.К. Реформирование школы и образовательные технологии. Красноярск-Новосибирск, 1999. (Эл. публ. на сайте kco-kras.ru)



См., напр.:
Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: о коллективном способе учебной работы. М.: Просвещение, 1991.



- поэтому в основу классификации форм обучения должна быть положена структура типов общения;
- задача школы — обеспечить обучение в разных организационных формах — таких, которыми охватываются все типы общения людей;
- результатом обучения в чём-либо может считаться способность ученика научить этому другого (а сам ход обучения должен постоянно предоставлять для этого возможность).

Конечно, «метод Ривина» — не единственный путь и не единственная философия, где в основе успеха — искусство налаживания общения детей и взрослых в ходе учёбы. Но он стал одной из ярких эмблем этого направления поисков и решений.

* * *

Теперь о втором «символе педагогической веры»: совмещении задач школьного обучения с производительным трудом (ему предан Василий Горбылев, главный союзник Андрея Бирюкова).

Снова перед нами и конкретная тема («школы-хозяйства»), и общепедагогическое мировоззрение, ищущее ключи к успеху в продуктивных трудовых усилиях и опыте делового сотрудничества школьников.

В шестидесятые-семидесятые годы замыслы, подобные мечте Василия Тихоновича Горбылева, воплотились в целом ряде знаменитых школ (и кто знает, сколь важную роль сыграл во вдохновении их директоров роман Тендрякова). Самым классическим и возвышенным примером стала школа в украинском селе Сахновка между Каневом и Черкассами, куда директором в 1966 году назначили Александра Антоновича Захаренко. Через полтора десятилетия в этой школе было семь цехов (от электроцеха до деревообработки, от кулинарного до инструментального), их дополняло школьное поле, теплицы, учебные опытные участки и небольшой машинно-тракторный парк.

К хозяйственным постройкам приложились научно-образовательные: несколько лабораторий и осуществлённая мечта директора — собственная обсерватория. Высадили парк с тысячами деревьев. Выстроили спортивный центр. Долгое время в Черкасской области было два бассейна — один в областном городе, второй — в Сахновке.

Нет, далеко не всё было создано трудом ребят (хотя ни одна стройка без них не обходилась). Атмосфера школьного трудового воодушевления воскресила народный обычай сельской взаимопомощи — толоки — одноразового бесплатного выполнения объёмной работы, на который скликают соседей и родственников; с какого-то момента стало привычным, что каждое утро жители села по селекторной связи узнавали о школьных ново-

стях и о том, какие работы для добровольцев-родителей, учителей и детей планируются на сегодня.

Так замысел «трудовой школы» изменил общую настроенность жизни уже не школы — села. За неизбежно возникавшими в делах элементами самоуправления школьников складывалось неформальное сельское самоуправление. Школа не могла уже оставаться закрытой от родителей — те получили право всегда приходить в неё и при желании посещать уроки. Созданный музей приобрёл особую родовую направленность: в нём каждая сельская семья обязательно была представлена реликвией-экспонатом. И ещё одна мысль Захаренко сквозила в этом музее: здесь встречались экспонаты, в которых эстетика соединялась с бытом. Музей — как способ научиться понимать красоту повседневности, красоту результатов труда обычных людей.

...Трудовые умения, профориентация, знакомство с профессиями, привычка не просить, а зарабатывать — понятные прагматические аргументы, которые приходят на ум при упоминании «школы-хозяйства». Это всё так; но не менее существенно то, как такой опыт меняет уклад школьной жизни, её систему ценностей, место в окружающем мире.

«Школа-хозяйство» даёт ученикам наглядный образ самостоятельной и разумной, понятной и успешной коллективной деятельности в современном обществе. Учёба в экономически успешной школе — это и повод для веры в общее позитивное будущее, и мастерская не только для профессиональных, но и социальных, общественных умений ребят.

«Чудо в Сахновке» — сюжет знаменитый и отчётливый. Но вот ещё несколько линий, по которым развивалась в последние полстолетия идея «школы-хозяйства».

...В 1970-е гг. лаборатория «Прогнозирование школы будущего», возглавляемая Э.Г. Костяшкиным, воскрешала фактически запрещённое в сталинские годы «школоведение». Среди прочего, сотрудники лаборатории исследовали жизнь сельских школ в разных уголках России и убеждались, что во многих случаях успешность/неуспешность школы определялась её желанием осознавать и планировать собственное устройство в связи с особыми возможностями своей местности и своего делового участия. Это подсказывало необходимость разных стратегий, моделей развития и даже учебного плана для разных типов жизненных ситуаций (в дальнейшем

Об Э.Д. Костяшкине см., напр.:
Демакова И.Д. Наш храбрый капитан // На путях к новой школе. 2002. №5.



Из работ самого Эдуарда Георгиевича см., напр.:
Костяшкин Э.Г., Иванов А.Ф. Сельская школа полного дня. М.: Знание, 1981.

на базе этого опыта выростала практика социокультурного анализа и проектирования образования).

...В девяностые годы, на фоне разваливавшихся колхозов и совхозов, некоторые школы умудрялись становиться экономическими центрами своей сельской местности. Порой они оказывались и лидерами в освоении современных производственных технологий; журнал «Народное образование» под руководством А.М. Кушнира с начала 2000-х годов проводит среди таких школ «Конкурс им. А.С. Макаренко», в анналах которого накопилось много удивительных «школьно-экономических» историй.

...В новом веке многих воодушевляет уже не сельский, а вполне урбанистический образ школы для старшеклассников (одновременно интеллектуальный и трудовой), ориентированной на модель технопарка. В «школе-технопарке» образование фокусируется на продуктивной деятельности, интересам которой подчиняется образование предметное. Старшеклассники проходят путь решения реальных жизненных (технических, экономических, социальных) задач и ситуаций — от идеи до организации производства полезного и востребованного продукта в партнёрстве с успешным бизнесом и на базе современных производственных технологий. Ключевое достоинство такой школы — возможность в общем пространстве (и в совместных делах) разного образования для ребят с разными склонностями. Одни оказываются хороши деловой хваткой, другие — глубокой эрудицией в определённой предметной области, третьи — желанием комбинировать знания и навыки из разных областей, четвёртые — умеют мастерить, пятые — договариваться и планировать, в шестых открываются таланты представлять или продавать результаты труда и т.д. Если сегодня трудно назвать старшую школу, вполне устроенную по принципам «технопарка», то примеров её частичной реализации в различных образовательных центрах, программах, летних школах и т.п. уже достаточно много.

Таковы несколько примеров, связанных с моделью «школы-хозяйства». Но тема «труда в школе» выведет нас и к более общему контексту. Как понятия из далёких смысловых рядов воспринимаются в постсоветском обществе слова *гуманистическая педагогика* и *трудовое воспитание*. Но гуманистическую и трудовую направленность в реальном образовании едва ли получается разделить.

* * *

Характерно, что взлёт надежд на широкое развитие гуманистической педагогики в эпоху перестройки произошёл благодаря движению, смысловым ядром которого стала *педагогика сотрудничества*, не случайно содержащая корень «труд» в своём самоназвании. Равноправное сотрудничество разных людей в их деловых усилиях (в том числе — и в труде учения) оказывается «хребтом» педагогики плодотворной и сколько-то надёжной как с точки зрения гуманности, так и эффективности. Симон Соловейчик, один из авторов манифеста «Педагогика сотрудничества», вспоминал так:

«...Но слово-то какое тяжёлое, грустил я, проворачивая в уме эту фонетическую громаду: со-труд-ни-чест-во. Кого увлечёшь таким железобетоном? Однако другого такого же точного понятия не находилось, а смысл и красота сотрудничества с детьми открывались всё больше. ...Отношения сотрудничества могут быть мягкими, жестковатыми и даже авторитарными, тут важно одно и лишь одно: есть ли искра, есть ли зажигание, стало ли учение общим делом ребёнка и взрослого или это только работа взрослого?»

Когда два человека вместе работают, вместе хотят что-то сделать, они становятся как бы равными, несмотря на разницу в возрасте, характерах, образовании и жизненном опыте. А равенство в достоинстве — величайшая воспитательная сила, потому что в основе воспитания не управление, а общение, единение душ, возможное лишь между равными.

Получается так: сотрудничество рождает общение с ребёнком, общением он воспитывается без специальных педагогических мероприятий».

Итак, нюансы ответов на два вопроса в решающей степени раскрывают перед нами характер той или иной школы:

- Царят ли здесь нормы школы общения — или же школы разобщения людей?
- Случается ли у взрослых и детей в ходе школьной жизни общее дело?

Вокруг этих вопросов вращаются дискуссии и надежды героев романа «За бегущим днём»; решение их должно дать основу для существенно иначе организованных школьных порядков.

Роман Тендрякова отчётливо показывает, что идеями, лозунгом, призывом не обойдётся; что для другого уклада школьной жизни, другой её «механики» потребуются хитрости, изобретения, опыт удач и ошибок, сложно складывающиеся новые традиции. И во многом другое, гораздо более уважительное отношение к человеческому достоинству и учителя, и ученика.

Андрей Русаков

Цит. по:
Соловейчик С.Л.
Воспитание
школы. Статьи
для своей газеты.
М., 2002. С. 83-84.
Эл. публ. см.
на сайте
setilab.ru





Владимир Тер
Ноябрь 1943 г.

В начале января 1942 года наша козья
башня брошена на фронт за реку
Дон в районе города Канаша.
Спустя некоторое время я имею
шанс попасть из одной козлы в
другую. В составе этой козлы я
участвую по ликвидации франкистской
группировки в Стамбуле. После чего
наша козья башня переброшена на
Степный фронт (Украина), где 2,
21 февраля, 1943 года, в наступлении
под городом Карловым Елизаром
сколочен снаряд в левую руку.
Пролетав некоторое время, она
в результате не выдерживает
и был эвакуирован в госпиталь
Генеральной больницы на Степном
Фронте, где и пролежал до 17 января
1944 года. ВРК это госпиталь
признал меня инвалидом 3 группы
и был выписан на дальнейшее ле-
чение по месту жительства.
Последнее время работало в качестве
преподавателя при Тодосинской
Средней школе.
Пробавляю по возможности. На
избрании в Тодосинской школе и фронт,
проживающих в С. Тодосинской.
За границу рать не имел. Не
судился. Являюсь членом ВРК
с 1939 года.

Страница автобиографии, 1944 г.

ОБ УЧИТЕЛЕ ИЗ ЧЕРНОВИКОВ

...Пока не знаю, был ли опубликован окончательный вариант статьи, какой и где. Это начало 1960-х годов. Детали общей картинки с тех пор, конечно, изменились. Уже нет нужды апеллировать к директору колхоза, что в последнюю очередь чинит крышу сельскому учителю, что не даёт ему машину для поездки в город, что учитель – «приблудная овца»...

Частности ушли в прошлое вместе с Советским Союзом, райкомами, колхозами и знатными доярками. А суть поставленной проблемы переросла невзгоды незавидной доли сельского учителя. Разрослась до масштабов всего нашего общества, попадает в болевую точку наших дней...

Прим. Марии Тендряковой

Рукописная страничка:

Вспоминаю давнюю встречу с деревенским учителем. Из тех, кто был в своей маленькой школе и директором, и единственным преподавателем, вёл уроки сразу четырёх классов, посадив детей в одной комнате, перед доской, разделённой мелом на четыре части. Человек не глупый и довольно начитанный, любивший стихи, особенно Есенинские. Как-то после долгого разговора, который перекидывался от Шекспира к военным стихам Константина Симонова, он пошёл провожать меня. Мы остановились за деревней и оглянулись назад. В лучах низкого солнца засыпанные снегом крыши изб, промятая дорога тянулась к ним. И посреди этих снежных крыш расползался тяжёлый дым, кто-то, должно быть, сжигал старую солому, но мой знакомый вдруг дрогнувшим голосом, с какой-то надеждой произнёс: «Не пожар ли?..». И, не дожидаясь ответа, забормотал речитативом: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!.. Чтобы всё начисто, чтоб только головешки остались?..». В этом речитативе я почувствовал глухую испепеляющую ненависть. «Вы что?..» — удивился я. «Ничего, хочу, чтоб всё сгорело». «Даже дети, которых Вы учите?».

Несколько
черновых
версий статьи
о значении
учителя.

Публикация
собрана
по рукописным
и отчасти
отпечатанным
на машинке,
иногда
повторяющихся
в поиске
точности
выражения
мысли, иногда
фрагментарных
записей.

Опубликовано
в «Учительской
газете» 2016,
№ 50



Он угрюмо промолчал.

Его неожиданная ненависть показалась мне тогда чудовищной — кто он: злодей или сумасшедший, этот любящий чувствительные стихи, обучающий детей грамоте?

Я начал понимать его намного позднее. После опубликования «За бегущим днём» ко мне потекли письма от учителей. И самые отчаянные письма, — почти в каждом наболевший вопль! — шли от сельских учителей. Во всех них ощущался один мотив — одиночество, духовная заброшенность:

«Казалось бы я не имею права ни на что жаловаться, — писал мне учитель не из столь уж глухого угла, села Московской области. — Плохо ли, хорошо ли, я обеспечен, не голодаю, в рваных ботинках не хожу. Меня даже считают неплохим работником. Никто не избегает встречаться со мной. Дети даже любят. И я люблю их, люблю свою работу. Может, потому чувствую вокруг себя пустоту, вакуум. Это покажется странным. Но если вдуматься, ничего странного нет. Никто не разделяет моей любви к делу, никто её не понимает. Я почти каждый день слышу, как хвалят тракториста или комбайнёра, по заслугам оценивают их труд, а я от окружающих не слышал ни похвалы, ни критики, если не считать казённой критики со стороны начальства. Но мне ведь хочется, чтобы мой труд замечало не одно начальство, а люди, с которыми я живу. Вы спросите меня, а товарищи по школе, я же нахожусь в коллективе учителей?.. Да, нахожусь, все они даже старше меня, опытнее. Их-то опыт и пугает меня больше всего. Они, наверное, раньше меня пережили это ощущение вакуума вокруг себя, смирились с ним: плетью обуха не перешибёшь, нечего и стараться».

Из тетради:

...А ведь многие из учителей потеряли эту способность страдать, смирились. ...И рано ли, поздно учитель сам начинает верить в свою незначительность, начинает относиться к своим обязанностям так, чтоб лишь не получить нарекания со стороны наезжающего инспектора или директора. Творческий подход, проникновение в душу ребёнка — где уж, отбарабанишь бы положенные часы, да и заняться коровой, огородом, домом.

Случается, что учитель опускается не только творчески, но и морально. Я не раз сталкивался с жалобами; мол, такой-то из учителей пьёт, некрасиво ведёт себя в общественных местах, ученики видят его поведение. А вот тут-то сельское общество не спускает, то, что в какой-то мере простительно трактористу, не простительно учителю, тут-то, наконец, вспоминают, что он носитель культуры, воспитатель, наставник...

Из другого варианта этой же статьи:

Нет предела возмущения нашим учителем, и возмущение, порой, вызывает в учителе ответную ненависть, глухую, бессильную, неосознанную, ко всем и всему, что его окружает. С этой ненавистью он идёт к детям — не опасно ли?

Из тетради:

Учитель в городе находится в более выгодном положении и не только потому, что там выше культурный уровень, чем на сельской периферии, но ещё и потому, что при желании в городе в своей ли школе, другой ли, можно всегда найти единомышленника, который как-то поймёт тебя и оценит. Сельский же учитель работает в крайне маленьком коллективе, и если его труд не поймёт этот узкий круг его сослуживцев, да время от времени наезжающий с официальным визитом инспектор из райкома, то больше на понимание рассчитывать ему нечего. Сельский учитель чаще оказывается в атмосфере равнодушия, в вакууме.

Страничка с машинописным текстом:

Нет более благородной и более ответственной профессии, чем у этих людей. Через них ребёнок впервые приобщается к тому великому, что, собственно, и отличает человека от любого другого существа на планете — к знаниям. Они — первые представители общества, с кем сталкивается новый гражданин страны, начинающий свою жизнь. От них во многом зависит насколько духовно совершенным и нравственным будет сменяющее нас поколение, по сути от них во многом зависит наше будущее...

Не правда ли, высокие слова. Выше некуда. Как часто мы произносим их по адресу школьных учителей. Если вспомнить, что мы говорим и пишем о труде педагогов, то право же, никому и в голову не придёт усомниться — недооцениваем, не понимаем значения.

Мы щедры на восторженную похвалу, когда речь заходит о сельском учителе. Мы сразу же готовы нарисовать эдакую умильную пасторальную фигуру, сеющую разумное, доброе, вечное, к которому все тянутся, без которого жить не могут.

Кажется, понимаем, ценим сельского учителя, а значит окружаем заботой и уважением.

А так ли это?

Вы, наверное, не раз видели в газетах портреты молодых доярок, которых славят как знатных, награждают орденами. Но случалось ли вам встречать молодую заслуженную

учительницу? Возможно, такие и есть, мне лично встречать не приходилось. Как правило, к учителю признание заслуг приходит к старости, — проработал безупречно несколько десятилетий, по случаю какой-нибудь торжественной даты дают звание «Заслуженного», иногда награждают даже орденом. Выходит, признание получает выслуга лет, а не творческие способности человека.

Понять и оценить по достоинству труд доярки или агронома просто, — он выражен в литрах молока, в центнерах хлеба. Созданные ими материальные ценности можно измерить и взвесить, а как измерить духовные ценности, которые создаёт живущий в том же селе учитель?

Рукописная страница:

Сейчас для хозяев села... доярка свой человек, нужный, а учитель — приبلудная овца!

С агрономом, дояркой, трактористом приходится считаться, не дай бог, подведут. С учителем же считаться не обязательно: ему можно привезти дрова в последнюю очередь, отказать в транспорте при поездке в район, а при случае безопасно и нагрубить... Мелкие, подчас еле заметные пренебрежения, или, того хуже, незамечающее равнодушие, но оно изо дня в день, из года в год напоминает учителю, ты второстепенная, практически мало значащая для жизни фигура. Ты пасынок на селе!

...Нисколько не преуменьшая значение тракториста, доярки, того же агронома, я всё же смею заявить — значение учителя в обществе выше уже потому, что он имеет дело не с пахотной землёй, не с телятами, а с детьми, с человеческими личностями!..

Из тетради:

Стоит вопрос: а что же делать?

Требуется только одно — отказаться от снобистского чувства ограниченных людей: раз дело учителя мне непонятно, не могу видеть его реальных результатов, то значит оно не столь важно, второстепенно.

Кто осмелится возразить, что труд учителя исключительно ответственен и благороден? Нет таких. А раз нет, то и относитесь к нему с исключительным доверием, помните, что это не доярка, не тракторист, даже не агроном, а Учитель, чья профессия выделяется среди всех прочих уже тем, что из всех она самая человеческая, её не грешно писать с большой буквы. Долг каждого научиться уважать эту профессию, и не на словах, нет!

Об учителях достаточно сказано пышных слов. Уважайте профессию вместе с человеком, который её носит. Сейчас на совещание в райком председатель колхоза и агроном ездят на машине, а учитель бежит по грязи пешком. Сейчас прохудившуюся крышу быстрее отремонтируют трактористу или лучшей доярке, чем учителю. Сейчас для хозяев села, того же правления колхоза, доярка свой человек, нужный, а учитель приبلудная овца. Этого-то и не должно быть.

Село способно избавить учителя от досадных житейских мелочей. И этим оно не просто улучшит его материальное благосостояние, не просто сэкономит ему силы и время, и окажет ещё духовную поддержку. Учитель увидит, что о нём заботятся, значит уважают, значит признают нужным — не приبلудная овца, не пасынок!

Я зову уважение к профессии Учителя, но в то же время осознаю, что уважать можно лишь тогда, когда эту достойную профессию носят достойные люди. А так ли уж мы стараемся, чтоб в сельские учителя шли достойные?

Черновик:

...И пусть не смущает сельских руководителей то, что в ответ на полученное внимание учитель не может ответить достижениями, которые были бы столь же зримо наглядны, как достижения тракториста или доярки. Духовные ценности не поддаются бухгалтерскому учёту, однако они не становятся от этого менее ценными...

Из варианта этой же статьи:

На каком жалком положении находятся наши педучилища, выпускающие преподавателей для села? Куда легче всего поступить учиться, где всего ниже требования для приёма, где чаще всего сталкиваешься с неквалифицированным обучением? Да в педучилищах. Там и скудные стипендии, там и неустроенные общежития, там и случайный преподавательский состав. Удивительно ли, что в педучилища идут лишь те, перед кем закрылись двери других техникумов или институтов, идут не по призванию, а потому что «некуда деться». Мало надежды, что из таких училищ выйдут лишь те, кто достоин уважения.

Но хватит! Это уже тема для другой статьи. Я затронул здесь только лишь общие проблемы. А проблемы эти многосторонни, требуют многих решений. Но они, убеждён, должны сойтись в одном — уважайте учителя за то, что он учитель!

Начало 1960-х годов

За бегущим днём

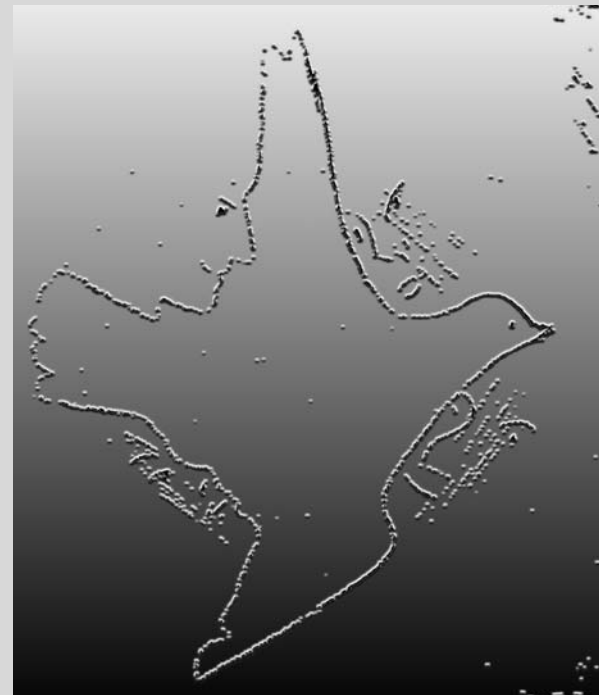


Рисунок В.Ф. Тендрякова. 1968 г.

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Моё будущее началось до моего рождения. Баррикады на Пресне и неуклюжий самолёт братьев Райт, красный флаг на «Потёмкине» и открытие Эйнштейна, Ленин, произносящий речь с броневика, орудия «Авроры», уставившиеся в Зимний дворец, декреты на обёрточной бумаге: «Мир народам! Земля крестьянам!», чертежи межпланетной ракеты калужского затворника Циолковского — где-то во всём этом появилась не только та жизнь, которой я жил и живу, но и то, что ждёт меня впереди, то незнакомое, таинственное, манящее — моё будущее.

У каждого человека есть оно своё собственное, личное, неприкосновенное для других.

Будущее — это воздух жизни, движение жизни, это сама жизнь. В старости его ещё можно заменить прошлым и покорно существовать. Но существование — не жизнь. Существование только тогда становится жизнью, когда есть мечты и твёрдые расчёты, как *дальше* жить, что *дальше* делать. Люди, потерявшие будущее, часто кончают жизнь самоубийством.

Моё будущее началось до моего рождения.

В феврале семнадцатого года мой отец поднимал восстание в крепости Свеаборг, был красногвардейцем в Петрограде, в гражданскую войну воевал комиссаром роты.

Мой дядя Андрей Бирюков, старший из отцовских братьев, всего за две недели до моего рождения был схвачен кулацкими сыновьями по дороге в свою деревню и зарублен топорами. В память о нём меня назвали Андреем.

Я был первым некрещёным ребёнком в округе. За пятьдесят вёрст приходили старухи поглядеть на меня: как выглядит нехристь, с младенческих лет отступник перед богом.

Я воспитывался не на бабушкиных сказках с Иваном-царевичем, сиротой Алёнушкой и шутом Балакиревым, а на рассказах отца о том, как сбросили с чердака офицера-пулемётчика, стрелявшего в солдат, собравшихся на митинг, о том, как ходили агитаторами к колчаковцам и как эти разagitированные колчаковцы арестовали полковника Хрящина.

В раннем детстве помню над своей кроватью плакат, изображавший III Интернационал: русский, китаец и негр, шагающие под красным знаменем. Уже тогда для меня этот плакат стал окном в будущее, вызывал смутные, дерзкие, героические мечты.

Но не только рассказы отца, не только книги, плакаты, кинокартины — часто сама жизнь напоминала о том необыкновенном будущем, какое ждёт меня впереди. Помню одну историю...

Мне тогда было лет пять. Как-то со старшими ребятами я сидел у костра на берегу нашей речки, плакал от едкого дыма и терпеливо ждал, когда выделят мне долю картошки, которая пеклась в тлеющих головнях.

Из елового мелколесья, что покрывает большое болото, прозванное Егоркиной пустошью, вышел человек в лохматой зимней шапке, в ватном зипуне, хотя стояла самая жаркая пора лета. Он, оглядываясь, несмело приблизился к костру — запавшие глаза, в жёсткой, волчьей седине подбородок, чёрные, обмётанные губы улыбаются льстивой улыбкой, так не подходящей ко всему облику ни дать ни взять вылезшего из леса болотного лешего.

— Огоньком балуетесь, родненькие? Ничего, ничего, не осуждаю... Иду, слышь, на меня от картошечки духом пахнуло. Дай, думаю, передохну возле ребяток...

Он присел возле костра, стал вытаскивать чёрными от грязи руками недопечённую картошку, перекидывал её, разламывал, жадно ел, морщась от ожогов и дыма, не переставая сыпать скороговоркой:

— Вот, ребятки, какие времена-то настали. Светопреставление... Отощал начисто, маковой росинки во рту не было... Ужо трубы Гавриила-архангела затрубят, всех антихристов громы небесные побьют. Побьют! А тех, кого не добьют, мы, прости господи, в колья возьмём. Уж возьмём во славу Христа. Уж затрещат черепа на комиссарских плечиках. Кровью улицы обмоем, ни жён ихних, ни детей не помилуем... Свят, свят господь на небесах! Он всё видит, он кару нам послал за грехи наши, он и спасёт нас. На одного тебя уповаем... Спасибо, господи, накормил мя. Вам, ребятки, спасибо.

Незнакомец чёрной рукой осенил себя крестом, вздохнул, быстро и цепко оглядел всех запавшими глазами. На секунду эти лихорадочно блестящие из тёмных впадин глаза остановились на мне, и я сжался от страха.

Под наше испуганное молчание он ушёл.

А через несколько дней отец приехал домой из командировки с тёмным, осунувшимся лицом, с вырванным из плеча рукавом пиджака.

— Убийство случилось в Окуневе. Видать, в меня целил, сучий сын, да промахнулся. Костя Григорьев со мной шёл, упал и не крикнул... Жаль парня, тихоня был. Его-то жизнь гаду не нужна. Еле взяли, в бане спрятался, зубами грыз руки, пока связывали. Старый знакомый — Данилка Тягов, средний из Тяговых, тех, что раскулачили.

Без ватного зипуна, в одной грязной рубахе, но в зимней лохматой шайке, нахлобученной на глаза, с руками, стянутыми верёвками за спиной, вели два милиционера по улицам городка Тягова. Коричневое, сморщенное маленькое лицо со злыми глазками из-под шапки оборачивалось то направо, то налево, невидящий взгляд рыскал по любопытным, вывалившимся из домов. Отец, по-воскресному выбритый, в чистой после бани рубахе, стоял возле дороги, держал меня за руку. Тягов задержался перед ним, из-под седой щетины оскалил жёлтые зубы:

— А-а, Васька Бирюков! С отпрыском, видать... — И вдруг, бешено брызгая слюной, мученически оскалившись, закричал: — Не то жалко, что в башку твою промахнулся! Дело божье — отвело пулю!.. Жалко мне, Васька, что щёночка твоего в овражек не стащил. Не смекнул, что твоё семя. То ли бы праздник тебе устроил, сатана комиссарская!..

Милиционеры толкали в спину Тягова, а он, переступая упирающимися ногами, ещё долго оборачивался и кричал:

— Не знал! Ох, не знал, прости господи! А то бы порадовал тебя, Васька!..

Отец хмуро глядел вслед и молчал, дрожащей рукой гладил мою голову.

Прошли годы, и образ Данилки Тягова в моей памяти занял место рядом с офицером, который расстреливал из пулемёта солдат, рядом с полковником Хряциным, сжигавшим деревни, со всеми, кого в своих рассказах отец рисовал врагами.

Отцу выпало счастье воевать против них. Но я надеялся, что буду счастливее отца. Мир ждёт часа, когда начнётся борьба за счастье и за справедливость. И эта борьба грянет, сомненья в том нет. И тогда бок о бок с негром, или с французом, или немцем под одним знаменем цвета крови и пламени начну воевать и я. В этом моё будущее. Фантастическое детское будущее, сливающееся с безбрежным будущим всех земель, всех народов.

Я, как заклинание, произносил слова: «Вот вырасту большим!» Но по-настоящему «большим» я не успел вырасти — обрушилась война. 22 июня 1941 года мне не хватало двух недель до семнадцати лет.

2

Помню, ликующая луна освещала искалеченный Сталинград. Чёрные, выщербленные трубы, как мрачные памятники исчезнувшего в глубине веков безвестного народа, поднимались над пепелищами.

Под обрывистыми берегами жалкой речонки Царицы валялись скованные морозом трупы: изломанные тела, торчащие вверх ноги, скрюченные судорогой кисти рук, и всё это переплетено...

Не один этот город разрушен, не одну только речку Царицу завалили трупами. Но не может быть, чтоб за несчастьями следовали несчастья, горе сменялось горем.

Если бы перешагнуть в будущее! Если б знать, что впереди у тебя много, много лет... Но кто может это пообещать?..

Летом 1943 года на Харьковщине, за селом Циркуны, мина, ударившись в дорогу, сбросила меня на землю, раздробила бедро осколком.

Тихон Бабкин, мой друг со времени отступления от Калача, и молоденький солдат из вновь прибывших Рахмайтуллин дотащили меня на плащ-палатке до сан-роты.

Опираясь на палку, я вернулся домой с вновь приобретённой житейской мудростью, которая заключалась в том, что я умел собрать и разобрать затвор винтовки, выкопать окоп, срастить концы перебитого кабеля, дежурить у телефона, выкрикивая: «Резеда! Резеда! Я Одуванчик!»

Теперь ремесло солдата было ненужно. Но чем-то надо всё-таки заниматься. Я стал преподавателем физкультуры в той школе, где сам три года назад сидел за партой.

Я выводил учеников в наш низенький и тесный спортзал, заставлял подтягиваться на турнике, лазать по канату, выполнять нехитрые упражнения на брусках. Но такое занятие не могло стать смыслом всей моей жизни.

Кем быть? Этот вопрос превратился в постоянное проклятие. Кем быть, за что взяться? Мучайся, бросайся из стороны в сторону, терзай самого себя, но ищи, ищи и ищи! Будущее уже перестало быть мечтой, его пора было начинать.

3

Я был растерян. Да, растерян.

Вопрос «кем быть?» никогда не волновал ни моих учителей, ни моих родителей, ни меня самого. Всем, в том числе и мне, казалось, что он сам как-то решится, он нечто далёкое и туманное, о котором незачем заранее беспокоиться.

Теперь этот вопрос застал меня врасплох. Надо решать, нечего рассчитывать на чью-то поддержку, на выручку со стороны.

В каком деле я принесу больше пользы, что я люблю, чему отдать свои силы?

С пристрастием допрашивая себя, я сделал открытие.

О любом знакомом я мог сказать что-то определённое: наш сосед Сергей Артамонович добр от природы, простосердечен, имеет такие-то привычки, а Яков Пермяков, мой одноклассник, отличается тем-то. Хорошо ли, плохо, а я всех мог оценить. Всех, кроме себя. Оказывается, самый непонятный для меня человек — я сам. Кто я таков? Что из себя представляю?

Я люблю читать книги, очень люблю Толстого и меньше Достоевского, но не прочь полакомиться и Конан-Дойлем. Когда-то любил уроки истории, но теперь, убей, не вспомню, в какие годы жил Иван Калита. Что ещё сказать о себе? Не очень-то отчётливая характеристика.

Единственное, чем отличался я от других, — если не умением, то желанием рисовать. В школьные годы я всегда украшал стенгазету, расписывал декорации к спектаклям художественной самодеятельности, даже почитался в нашем городке как общепризнанный талант.

После возвращения из армии для районного Дома культуры сделал большой плакат-картину: русский, китаец и негр под красным знаменем. В райисполкоме мне поручили к Первому мая украсить трибуну, возле которой проходили митинги. И я по фотографии с известной мухинской скульптуры вырезал из фанеры и раскрасил рабочего и колхозницу, поднимающих вверх серп и молот.

Наш неказистый городок со своей единственной мощёной булыжником улицей, разнокалиберными домишками, тощими палисадничками и обширными огородами, покрываемыми летом дремучей картофельной ботвой, был окружён заливными лугами, весёлыми берёзовыми перелесками и мрачными еловыми чащами.

Весной опушки хвойных лесов кажутся высеченными из тёмного камня, а берёзовые рожицы настолько прозрачны, что по ночам низко висающие над землёй звёзды пронзают насквозь их толщу. Бронзовое сияние сосновых стволов, молочная пена цветущей черёмухи — всё вызывало могучую своим постоянством ра-

дость. Она копилась, она распирала меня, заставляла чувствовать себя чрезмерно богатым.

Такое богатство носить одному было непосильно, хотелось с кем-то поделиться. Тем более что делиться радостью — это не значит отрывать её от себя.

Кому довериться? С кем поделиться?

Но поделиться, оказывается, почти невозможно. Попробуй-ка рассказать знакомым, что тебя удивил застоявшийся над болотом туман, в котором утонула раскалённая луна. Сообщи, что сырой, пропитанный прелыми, тинистыми запахами туман не зашипел, а мягко и нежно осветился, словно всосал в себя лунный свет. На тебя наверняка поглядят с подозрением: «Не рехнулся ли парень?.. Тоже сказал: туман видел, а кто не видывал такое чудо?»

Я целыми днями просиживал с альбомом и дешёвыми акварельными красками.

Глинистый обрыв, тускло горящий на алом вечернем закате... Плотные кусты шиповника, пробитые белым, как выветренная кость, стволом молодой берёзки... Осевшая от старости чёрная банька и могучая крапива, нежно укрывающая её трухлявые углы... Тысячи глаз смотрели на эту баньку, тысячи людей проходили мимо неё — никто не оценил, никто по-настоящему не приметил. А я увидел! Я оценил! Я украл у природы частичку красоты. Это ли не счастье?

Но увлечение живописью всё чаще и чаще сменялось тревогой. Не зря ли теряю время? Стать художником — это заманчиво, это дерзко, но мало ли таких, как я, провинциальных «гениев» мечтает прорваться в высокий мир настоящего искусства!

Областной институт сельского хозяйства объявил приём. В училище речного флота с десятилеткой принимают без экзаменов. Есть ещё пединститут, есть институт лесного хозяйства. Можно, кажется, выбрать.

В газете я натолкнулся на объявление: «Государственный институт кинематографии объявляет приём студентов...» В числе других факультетов в этом объявлении был указан и художественный факультет.

Я отобрал пять акварелей. Затянутое осокой озерцо с затонувшей лодкой, опушка леса с берёзовыми стволами, на крутом холме банька с прогнутой крышей, берег речки, где женщина в красной кофте полощет бельё... Долго сомневался в одной работе. Она изображала выгон, куда гоняли коз густоборовские хозяйки. Рыжая, вытоптанная трава и развалившаяся изгородь с торчащими жердями — вот и всё, если не считать серого неба. Ничего особенного, скучная картина... Но я послал и её.

Вызов пришёл через месяц.

4

Опустевший трамвай вынес меня на окраину Москвы и, погромыхивая, укатил дальше.

В переполненном, тесном городе есть свои пустыни. В сорок пятом году такой пустыней была площадь Сельскохозяйственной выставки, самая обширная площадь города. За высокими стенами во дворцах-павильонах обитали какие-то немногочисленные хозяйственные организации. Широкие — воплощённое гостеприимство — двери были наглухо закрыты уже много лет.

После городской толкучки я словно попал в спящее царство. Ни одного человека кругом. На асфальтовой глади, освещённой косыми лучами заходящего солнца, стоят лишь фонарные столбы. Прогремел за спиной ещё один трамвай. Прижимаясь к краю площадки, словно страша её обширной пустоты, проскочил одинокий грузовичок.

А хозяином площади, выше столбов с фонарями, выше далёких стен — крутых берегов асфальтового озера, — выше всего, что есть поблизости, поднимается сверкающий памятник. Гигантский рабочий и гигантская колхозница вскидывают серп и молот в вечернее городское небо.

Старые мои знакомые! Первые из знакомых, кого встретил я в Москве!

Я долго сидел на чемодане, отдыхал, жадно глядел.

Огромная площадь. Безлюдье. Прочно вросший в асфальт каменный постамент. На нём — неистово ринувшиеся вперёд два гиганта. Их освещает заходящее солнце. Густыми красными отблесками сверкает измятая сталь. Рвутся с каменного постамента великаны, не могут сорваться.

Огромная пустынная площадь, тревожно освещённые великаны — и я, несомерно маленький, затерявшийся, беспомощный, жалкий на своём чемодане.

Институт, в который я должен поступить, где-то здесь, близко, я сижу у его подступов. Вот как выглядит дверь в моё будущее — то будущее, что не давало покойно жить, выгнало из дому.

Хватит ли сил, энергии, таланта, не потеряюсь ли я среди того бесконечно обширного, что ждёт меня впереди? Страшно, замирает сердце! Но в то же время поднимается с самого дна души отчаянная радость: вот в какой мир вступаю! Пусть он велик, кажется недоступным, но «не боги горшки обжигают». Кто знает, на что способны мои руки, не поставят ли они на восхищение людям вот такие памятники!..

Я попал в институт, когда совсем стемнело. Вахтёрша, словно деревенская бабушка на завалинке, вязала у дверей шерстяной носок. Она недовольно оборвала своё занятие:

— Дня вам мало!

С её далеко не радушного позволения я улёгся в тёмном углу институтского коридора на деревянном диванчике, положив чемодан под голову.

Я закрыл глаза, и передо мной снова поплыли улицы незнакомого города, человеческие лица, поодиночке, попарно, десятками, женские, мужские, молодые, старые лица с разными характерами, молчаливые, отчуждённые.

В огромном, незнакомом мне полутёмном здании было так тихо, как бывает тихо в ночные часы в опустевших учреждениях. Лишь где-то за дверями время от времени глухо гудела вода в водопроводном кране.

И мне представился спящий безбрежный город, спящие в нём, этаж над этажом, люди — тысячи, миллионы тех, кого я видел днём, и тех, кого я никогда не видел и никогда не увижу в своей жизни. Спит город, принявший меня без особого гостеприимства.

Спят люди и не подозревают, что в их миллионной семье появился ещё один человек. Он лежит сейчас в углу на твёрдом диване. Никому не известно, какое великое желание привёз он с собой в душе.

Моё единственное богатство — моя жизнь, те дни, годы, десятилетия, которые отмерены для меня. Я хочу отдать это вам, люди, незнакомые мне, вам, для вашей пользы, для вашего счастья. Никому не расскажешь об этом желании, а если расскажешь, никого не удивишь: мало ли таких, как я, предлагающих в услугу людям своё будущее? Надо просто уснуть вместе со всеми, дожидаться нового дня. Дня, обещающего начало будущего.

Я не успел заснуть, как от дверей снова донёсся голос вахтёрши:

— Господи боже, ещё один полуночник!

Минут через пять возле меня появился невысокий, крупноголовый, при погонах и портупее офицер.

— Э-э, да тут ночлежка в полной форме. Принимайте в компанию.

Он уверенно снял через голову планшетку, небрежно бросил её на соседний диванчик.

— На какой факультет? — спросил он.

— На художественный. А вы?

— На режиссёрский буду пытаться. Давайте знакомиться. Юрий Стремянник.

5

На окраине станции Лосиноостровская стоит небольшой двухэтажный особнячок. Широкие, санаторного типа окна, сравнительно небольшая вместимость, дачное место — всё это выдавало, что его строили как дом отдыха средней руки, а вовсе не общежитие для студентов.

Если постоять в стороне, прислушаться, то казалось — за стенами дома прячется галочий базар: растрёпанный, напористый шум голосов доносился из него.

Солдаты и офицеры, недавно снявшие погоны, тихие девушки из провинции, увешанные фотоаппаратами юнцы, сосредоточенные, рабочего вида парни, громогласные студенты, покинувшие другие институты ради святого искусства кино... Озабоченность и беспечность, растерянность и упрямая надежда, наивность и нарочитая многоопытность, доходящая порой до цинизма, и всех объединяет одно: надежда на единое будущее. У всех одна цель, одна страсть — попасть в институт.

Приёмные экзамены ещё не начались, будущие студенты до поры до времени предоставлены самим себе. Единственное занятие — спор. В крошечных комнатах, плотно забитых койками, в табачном дыму проходили яростные сражения.

В той комнате, куда попал я, выделились два матёрых бойца, перед энергией которых стусевались все остальные.

Первый — Григорий Зобач. Он тоже собирался поступать на художественный факультет, но, не в пример мне, был уже стреляный воробей, много лет работал художником-декоратором в одном из областных театров. Он всех старше в комнате, ему за тридцать, возраст несколько перезрелый для кандидата в студенты первого курса. На голове жиденько курчавится рыжеватый, словно подпалённый, пушок — признак былых кудрей, безвозвратно уступающих место лысине. Лицо грубоватое, губастое, со светлыми беспокойными глазками и плоским лбом. Голос у него был до неприличия мальчишеский, звонкий и запальчивый, взгляды же — умудрённого жизнью скептика. Он считал: искусство — в первую очередь передача ощущений; самые большие рутинёры в искусстве — реалисты; они подменяют собственные ощущения неверной копировкой натуры, а следовательно, долой реализм, да здравствует новое искусство субъективных восприятий!

Против него выступал Юрий Стремянник. Этот младший лейтенант был старше меня всего на год, но держал себя куда солиднее Зобача. С лобастой головой на короткой шее, с выпуклой грудью, невысокий, кряжистый, он никогда не поднимал голос до крика, слушая, таил насмешку в глазах, но если начинал говорить, то говорил так напористо, что Зобач, постоянно порывавшийся его оборвать, только беззвучно, как рыба, хватал воздух ртом и не мог вставить ни слова.

Я ровным счётом ничего не понимал в спорах, хотя слушал с религиозным обожанием, мучился тайком: «Как мало знаю! Как глуп по сравнению с теми, кто на днях будет оспаривать у меня место в институте!»

Обычно с наступлением вечера споры прекращались. Из дачных домиков тянуло запахами душистого табака и пресным травянистым настоем, напоминавшим, что сейчас уже разгар августа, что впереди осень, близится увядание. Свежий ветерок врывается в открытые окна нашей комнаты, затянутой после словесных битв табачным дымом. Даже долговязый кандидат в сценаристы, в течение всего дня валявшийся на смятой койке, спрятав нос в книгу и выставив на обозрение внушительные ступни в драных носках, выползал на волю.

Белые девичьи кофточки смутно проступают в темноте. Девичьи голоса негромко поют. Как поют! Здесь собрались не случайные люди, а завтрашние артисты.

Выткнулся на озере алый свет зари.

На бору со звонами плачут глухари...

Нежные, счастливо тоскующие от избытка молодости голоса сливаются в одно ощущение со свежестью глядящего по лицу ветерка, с влажными запахами.

Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,

Сядем в копны свежие под соседний стог...

Казалось, что может быть проще — откинь на время грызущие тебя заботы. Иди сядь рядом, почувствуй возле себя девичье плечо, подтяни, если даже нет у тебя голоса. Этого требует молодость, этого требует вечер, этого требует счастливая минута, выпавшая тебе в жизни. Слышишь, песня тебя зовёт!

*Зацелую допьяна, изомну, как цвет,
Хмельному от радости пересуду нет...*

Но я оставался в стороне. Я сурово приказывал себе: не время наслаждаться, начинается борьба за будущее, главное — попасть в институт, всё остальное возьму потом.

Вечное упование на *потом*. В таких случаях не приходит в голову мысль, что *потом* часто не сбывается.

6

Начались вступительные экзамены.

На помост посреди аудитории помогли подняться дряхлой старушке. Она, как курица в жаркий день на пыльную обочину, долго и озабоченно усаживалась на шатком стуле. Уселась, сложила на подоле юбки сухонькие тёмные руки, уставилась в пространство бездумным взглядом и замерла — покорная, заранее обрёкшая себя на длительную неподвижность, всем своим видом доверчиво говорившая: «Берите меня, хорошие люди, какая есть...»

С разных концов аудитории из-за широких досок на подставках, из-за мольбертов жадно, тревожно, с деловитой беззастенчивостью впились в её лицо десятки пар глаз. Среди них такие же жадные и такие же, как у всех, тревожные мои глаза, ощупывающие каждую морщинку.

Широко расставленные крутые скулы, обтянутые дряблой кожей, мясистый снизу нос, переходящий в плоскую расплывчатую переносицу, мелкосборчатый, запавший рот — вот он, экзамен, вот первая ступенька к будущему. Это самое заурядное из заурядных старушечье лицо мой карандаш обязан перенести на лист плотной бумаги.

Дома я часто рисовал портреты то соседских ребятишек, то товарищей по работе. Тогда я брался за них смело. Слава мне, если портрет получится похож, если нет — всё равно слава и восхищение. В Густом Бору лучше никто не нарисует.

Теперь же тонко отточенный карандаш выводил едва приметные глазу линии, оставляя на бумаге реденькую паутинку — след моей панической робости.

Старушка безучастно помаргивала глазами, плотнее сжимала мятые губы. Она в эти минуты была для меня самым важным человеком на всём свете, я въедался взглядом в каждую складочку её кожи, ощупывал каждый выступ на щеках, на лбу, на подбородке.

Против моей воли карандаш сделал твёрдый нажим в углу губ, вне зависимости от моего сознания нанёс решительную тушёвку падавшей от носа тени... И я увлёкся...

Лицо бабушки с расставленными скулами — лист бумаги, заполненный несмелой штриховкой, снова лицо — снова лист бумаги. Всё окружающее исчезло для меня.

Через час без малого я оценивающе окинул взглядом свою работу: и скулы торчат в разные стороны, и нос мягкой гулей с исчезающей переносицей, широко расставленные, по-старушечьи бессмысленные, добрые глазки — всё как следует. До чего же славная бабушка, до чего милое существо! Сидит себе помаргивает, ведать не ведаёт, что доставила мне сейчас радость. Впрочем, рано радоваться, какими ещё глазами другие взглянут на мою работу!

По правую руку от меня сидела невысокая, немного кургузая девушка, густые волосы рассыпчатой волной закрывали шею и воротник белой кофточки. Небольшие, с короткими энергичными пальцами руки делали решительные, мужские штрихи. Я краем глаза заглянул в её работу. Сначала её рисунок показался мне каким-то кричащим, грубым, затем бросились в глаза старушечьи скулы — их так и хотелось пощупать рукой. Моя работа сразу же перестала радовать меня, она со всеми аккуратно растущими морщинками показалась ровной, серой, вылинявшей.

Соседка повернулась ко мне:

— Покажи, как у тебя? Я фактуру лба ухватить не могу. Невыразительный лоб нажил за свой век божий одуванчик.

Мне захотелось загородить грудью свою работу. Мучительны были те несколько секунд, когда она, уронив на щеку рассыпающиеся волосы, немигающими глазами уставилась в мой рисунок. Какие мысли рождаются сейчас под её аккуратным белым лбом, какое презрение прячется за сомкнутыми губами?

— Кто тебя научил так тушёвку разводить?

Я ответил не сразу:

— Кто же учил? Никто. Сам себе во князьях сидел.

Она улыбнулась:

— А ты откуда, князь?

— Издалека. Всё равно не знаешь.

— А всё-таки...

— Город Густой Бор слыхала?

— Это где?

— На севере...

— И большой город?

— Большой. Из конца в конец курица пешком полчаса идёт.

Она засмеялась:

— Значит, ты нигде не учился... Зря стараешься каждую морщинку вырисовывать. Засушил работу. Формы добивайся. Видишь, скулы, как кулачки. А они у тебя плоские. А это что? Тень?.. Нет, не тень, а пятно. Намазал, лишь бы черно было. Дай, чтоб чувствовалось — это впадина под скулой. Ну-ка, тронь.

Я послушно взял карандаш, робко начал подтушёвывать.

— Эх, таким манером барышни цветочки рисуют! — Она потеснила меня плечом, с решительностью, показавшейся мне варварской, сделала несколько нервных штрихов. — Вот видишь?..

Произошло маленькое, только нам двоим приметное чудо: кусок бабкиного лица ожил, сразу же почувствовалась кожа, обтягивающая тупо выпирающую скулу. Зато другая половина лица старухи стала казаться ещё более плоской. И я ясно видел, в каких местах рисунок просит карандаша.

Во время перерыва, пока наша натурщица, усевшись на кончик помоста, застенчиво мусолила в беззубом рту баранку, все ходили по аудитории, рассматривали друг у друга работы. Около моего рисунка долго не задерживались, едва бросив взгляд, сразу же поворачивались спиной и вполголоса принимались обсуждать работу соседки. При этом как похвала чаще других произносилось слово «лепит».

Мне до жестокой зависти понравился рисунок застенчивого паренька-татарина. Если у моей соседки штрихи были резкие, кричащие, то манера этого паренька была какая-то мягкая, светлая, тени прозрачные. Почему-то становилось жаль нарисованную им старушку, глядящую поверх твоей головы подслеповатыми, бездумными глазами. Может быть, потому что в измятых морщинами губах пряталась пугливая улыбка, а может быть, просто откровенная старость беззащитна и всегда вызывает жалость.

Григорий Зобач жирной, колючей штриховкой нарисовал какую-то сморщенную фурию и громко доказывал, что ему плевать на схожесть, плевать на форму, его портрет — печать всей трудной жизни этой пожилой женщины.

И слова «печать жизни» потревожили даже бабушку. Она сунула в карман обсо- санный кусок баранки и бочком мимо молодёжи двинулась посмотреть, как выглядит эта «печать».

Я видел, что, возвращаясь к своему месту, она неприметно осенила себя мелким крестом.

7

В столицу, на учёбу! Мать, как могла, снарядила меня для будущих подвигов. Праздничный отцовский костюм не надо было перешивать по моим плечам. Строго-настрого было наказано: костюм не трепать каждый день. На будни предназначалась солдатская гимнастёрка. Плохо с брюками. Офицерские синей диагонали галифе, которые за прочную дружбу с заведующим хозяйством я получил при выписке из госпиталя, совсем порвались. Знаете ли вы трагическую особенность диагонали? Если она начнёт расползаться, её бесполезно чинить и штопать. Но и изобретательности матери, желающей снабдить сына, который пробивает себе дорогу в жизнь, нет предела. Галифе можно обшить кожей — такие брюки носят кавалеристы. В этот послевоенный год

найти хорошей кожи, и не простой, какая идёт на обычные русские сапоги, а хрома, было почти невозможно. Легче купить костюм, проще сшить новые брюки.

В скромном наследстве отца имелся портфель, добротный, хромовый портфель работника районного масштаба, которому часто приходилось разъезжать по командировкам. Вся беда, что портфельная кожа тиснена под крокодиловую. Но другого выхода не было. Мать распоролла его и обшила кожей мои расползавшиеся по всем уязвимым местам брюки.

Эти портфельно-крокодиловые брюки я стал усиленно демонстрировать в институте. И они мне служили верой и правдой, а кроме того, оказали ещё одну важную услугу. Однако не стоит забегать вперёд...

На экзамене по живописи нам поставили натюрморт: зелёный кувшин, жёлтые яблоки, красная драпировка. Я дома писал акварелью, пробовал рисовать углём, но мои опыты по использованию масла в живописи были весьма скудными. И как человек неискушённый, по простоте душевной я зелёный кувшин расписал такой зелёной краской, что, наверно, посторонние наблюдатели при одном взгляде на него чувствовали во рту привкус купороса. Яблоки я довёл до лимонной яркости, а на бархатную драпировку извёл всю киноварь. Каждый, кто останавливался перед моей работой, недвусмысленно покачивал головой.

В этот день я впервые услышал знаменитое выражение художников: «Яичница с луком».

Наконец наступил день, который завершал расписание приёмных экзаменов. Он значился под незнакомым мне словом «коллоквиум». Но перед коллоквиумом должен был произойти просмотр всех домашних работ, которые посылались в приёмную комиссию.

Просторная аудитория, где мы рисовали бабушку и писали натюрморт, оказалась тесна. Среди будущих студентов шла тайная, выражавшаяся лишь в косых взглядах, в недоуменных пожатиях плечами, в сдержанных репликах война за куски стен, за площадь пола, прилегающую к стенам. Выставлялись широкие холсты — пейзажи со сдобными, румяными облаками, с церковными колоколенками, с пёстрыми коровами на зелёной траве, портреты, натюрморты, автопортреты...

Около меня опять оказалась девушка, которая помогла мне рисовать старуху. Я уже знал, что её зовут Эмма Барышева. На этот раз она старательно не замечала меня. Невысокая, полная в плечах, грузноватая в талии, с лёгкой перевалочкой ступая по паркету короткими крепкими ногами, она деловито расставляла холсты. Отходила в сторону, откидывала со лба на спину рассыпающиеся волосы, сурово и придиричливо вглядывалась в свои работы. В её озабоченных движениях чувствовалось скрытое торжество: близится счастливый и решительный момент, когда можно показать себя. До меня ли...

На куске серой обёрточной бумаги — рисунок углём. Девушка с перекинутой через плечо косой. Она застенчиво глядит исподлобья, но твёрдый подбородочек, капризный изгиб припухших губ выдаёт своенравный характер. Вот большой, по пояс,

портрет маслом — пожилая в тёмном платье женщина с добротой и усталостью склонилась к плечу седую голову. Эта женщина и на другом портрете, но в цветном платье. Наверно, мать... Пейзаж сельский, пейзаж городской, рисунки, рисунки, рисунки...

Но почему-то больше всего меня восхищает и заставляет отчаиваться один маленький этюдик: просто пара туфель на паркетном полу под кроватью. Не ваза с цветами, не фрукты с музейными кувшинами, а всего-навсего туфли, которые надевают каждое утро, на толстой каучуковой подошве, с потёртыми задниками. У них свой характер: не жмут, не давят, на славу разношены. И эти туфли по-своему красивы: смутно блестят металлические застёжки в полутьме, на верхнем ранту накопился свет, кожа матовая, чуть-чуть покрытая вчерашней пылью.

Эмма Барышева немного меня боится. Должно быть, думает: я возмущаюсь тем, что она теснит меня к другому соседу. А я не могу отыскать своих несчастных домашних акварелек. Все работы, что были присланы в приёмную комиссию, принесены и уже давно разобраны по рукам. Среди них нет моих работ. Где они? Я же посылал их. Я хорошо помню, было пять работ: озерцо с лодкой, опушка леса, банька, берег реки, этот козий выпас... Стоит ли ещё показывать козий выпас?

Я хожу по аудитории, перешагиваю через разложенные на полу чужие холсты, как лунатик слоняюсь из угла в угол. Нет работ! Что же делать? Сообщить, что они потерялись? Поднять скандал?.. Мой взгляд упал на кучу старых газет, рваной бумаги — сюда бросали сорванные с холстов упаковки. Я разрыл эту кучу и нашёл свои акварельки.

Свёрнутые в трубку, помятые и... какие они маленькие! Какие бледные! словно я писал их не обычными красками, а цветным мылом. Вот озерцо с лодкой, вот жалкая банька, вот и козий выпас — все целы, ни одной не пропало.

Я долго разглаживал их руками, но бумага упрямо сворачивалась в трубку, пришлось придавить их планкой, отвалившейся от мольберта, кусками гипсового мляжа, пыльной бутылкой из-под масла: достойный орнамент моему жалкому труду.

— У тебя это всё? — спросила соседка.

— Всё, — признался я с горечью.

— Ты не против, если я к тебе ещё немного придвинусь? До чего тесно! Не могли подыскать помещение попросторней.

И вплотную к моим работам, бок о бок с козым выпасом лёг этюд — туфли под койкой.

Декан художественного факультета, чернявый, чрезвычайно бойкий человек, ввёл в аудиторию наших судей, одно слово которых могло или распахнуть дверь в будущее, или же наглухо её захлопнуть. Среди них были наши будущие преподаватели по живописи и рисунку и режиссёр мультипликационных фильмов. Помню, как они появились в дверях: режиссёр в светло-сером костюме, остальные почему-то все монашески — в чёрных. Запомнилось выражение их лиц: деловито-замкнутые, все, как один, избегают встречаться со взглядами, направленными на них со всех сторон.

Они начали свой обход, чем-то отдалённо напоминавший мне обход врачебного консилиума в госпитале. Там часто решалась при таких обходах человеческая жизнь, здесь — человеческое будущее: вещи почти равноценные.

Медленно-медленно продвигалась вперёд эта суровая процессия. Я переминался с ноги на ногу у своих работ, обложенных кусками серого гипса.

На какое-то время я вдруг почувствовал острый стыд за свои портфельно-крокодиловые брюки. Все, как могли, приделались, даже паренёк-татарин обул новые ярко-апельсинового цвета полуботинки. Один я дикарь дикарём. В таких коробом сидящих штанах только пугать в тайге медведей. Какой бы ни был итог, что бы мне ни сказали, но сегодня торжественный день. Как это я утром, не подумав, по привычке влез в эту проклятую кожу?

Я со страхом ждал, когда приёмная комиссия подойдёт ко мне. Я забыл даже на время о своих жалких работах, лежавших на полу возле моих ног.

Комиссия остановилась у работ Эммы Барышевой.

Я вижу, как они значительно кивают головами, указывают друг другу то на одну, то на другую работу. Вижу, как сияет декан, словно хвалят не Барышеву, а его самого.

Невольно я перевёл взгляд на смятые бумажки, разложенные возле моих заскорузлых армейских сапог. И отчаяние, которое я гнал от себя, правда, от которой я отворачивался, безнадежность, которую я не хотел видеть, обрушились на меня.

Чего я жду? Примут же половину, не больше. Мои домашние работы — самые худшие, на экзаменах я тоже отличился... На что же надеяться? На чудо или на милостыню? Чудес на свете не бывает, милостыню здесь не подают. Оглянись на себя — кто ты? В Густом Бору, городишке, заброшенном за пятьдесят километров от железной дороги, где люди живут будничными заботами о выпасах, удоях, приросте молодняка, ещё могли баловать тебя похвалами. И ты возмнил! Украшать жизнь произведениями высокого искусства! Куда тебе с суконным рылом в калашный ряд!

— Это ваша работа?

Около меня стоял один из членов комиссии. У него лицо аскета: ввалившиеся щеки, глубокие морщины, туго обтянутый кожей хрящеватый нос. И всё же в этом лице чувствуется какая-то мягкость и нерешительность.

— Простите, это ваша работа? — указывает он на этюд с туфлями.

— Нет, — честно выдал я. — Это её...

— А-а... — Член комиссии понимающе покачал головой.

Вслед за ним так же понимающе покачали головами все остальные. Они задумчиво смотрели на пять помятых, обложенных кусками гипса листов бумаги, покрытых бледными красками.

Заговорил декан полувиновато, словно оправдываясь:

— Со всех концов страны в этом году съехались. Этот товарищ из медвежьего угла. Учился, если не ошибаюсь, только в десятилетке. Специального образования не имеет.

«Из медвежьего угла...» Я знаю, что некоторые приехали из-под Хабаровска, паренёк-татарин тоже из какого-то районного городка Казанской области, но только к одному мне приклеили ярлык «медвежий угол». Виной мой наряд, мои дикарские брюки.

Член комиссии с аскетическим лицом нагнулся и освободил из-под пыльной бутылки мой козий выпас, показал его режиссёру:

— Что-то есть, не правда ли?

Вроде не смеётся, никакой улыбки в глазах, по почему же он поднял самую слабую работу?

Режиссёр взгляделся, пожал плечами.

Когда просмотр кончился, аудитория зашумела, все принялись собирать свои работы. Я раскидал носком сапога куски гипсового муляжа, сгрёб акварели, скомкал и выбросил в ту самую кучу рваной бумаги, откуда недавно их вытащил. Все кончено!

Я поднялся на третий этаж, чтобы забрать свой аттестат об окончании десятилетки. Мне, однако, ответили, что выдать его не могут, нет распоряжения; если же я тороплюсь с отъездом, то пусть не беспокоит меня судьба документов — их вышлют по почте.

Я спускался по институтской лестнице.

В моей жизни не было ещё больших неудач. И когда им быть? Школа, армия, госпиталь, работа преподавателем физкультуры — ни особых взлётов, ни особых падений. Это первая в жизни неудача. Моё место в Густом Бору, там ждёт меня какая-то будничная работа: преподаватель физкультуры или же делопроизводитель в маслопроме.

Я спускался по лестнице ступенька за ступенькой. Мимо меня проносились студенты. В голове — пустота, никакого желания, даже нет настоящего огорчения, шевелятся мелкие заботы: надо ехать на вокзал, покупать билет, в кассах дальнего следования, должно быть, огромные очереди, не плохо бы от института получить какую-нибудь справку... Э-э, да ну к черту! Опротивели эти стены, аудитории, запах краски, мольберты, разговоры об искусстве! Скорей отсюда!

— Бирюков! Ты куда это? — Я столкнулся с Эммой Барышевой.

В глазах у неё сияние, и без того розовое лицо счастливо разгорелось. Ей ли не радоваться, она-то проходит первым номером.

— На вокзал и... домой, — ответил я и усмехнулся. — В тот самый большой город.

— В Густой...

— Да, в Густой Бор.

— А ты был на коллоквиуме?

— Зачем? Без этих коллоквиумов ясно.

— Тебе пять минут подождать трудно? Ну-ка, поворачивай! Не подозревала, что такой паникёр. Идём, идём...

Она подхватила меня под руку, и я, шурша штанами, покорно пошёл за ней: полмесяца потерял, куда ни шло — ещё десять минут.

8

Коллоквиум означает собеседование. В данном случае собеседования как такового не было. Просто вызывали одного поступавшего за другим, задавали несколько общих вопросов и сообщали, принят или нет. Если принят, то какие получил отметки на экзаменах.

В полном составе приёмная комиссия, которая просматривала работы, восседала за двумя столами. Человек с худощавым лицом взглянул на меня сочувственно и сразу же опустил глаза. Взгляд же декана из-под красивых сросшихся бровей был устремлён мимо моего правого уха.

Чувствуя всю нелепость своей фигуры в этом светлом кабинете, от дверей до столов застланном толстым ковром, я замер в неловкой позе, с обречённостью перебрасывая взгляд с лица на лицо.

— Бирюков Андрей Васильевич?

— Да.

Наступило неловкое молчание. Я прекрасно понимал, что оно означает. Нельзя же сразу оглушить человека роковыми словами: «Вы не приняты». Даже в такой сугубо официальной обстановке приходится выдерживать такт.

— Вы воевали?

— Да.

— Ни живописи, ни рисунку вы до сих пор нигде не учились?

— Нет.

— Откуда вы родом?

Я в двух словах объяснил, где находится Густой Бор.

— Пятьдесят километров от железной дороги, — уточнил декан, по-прежнему не глядя мне в лицо.

Все члены комиссии снова замолчали. Я почувствовал, как их щупающие взгляды остановились на моих кожаных коленях. Какого чёрта тянут канитель, говорили бы сразу!

— Почему вы решили учиться на художника?

— Потому что люблю это дело.

— Так... А хотя бы по книгам, по репродукциям вы знакомы с работами известных художников?

Я кивнул головой. Я не врал: я читал всё, что можно было достать об искусстве в нашей районной библиотеке. Не моя вина, что там удалось разыскать только монографии о Сурикове, Репине, Ярошенко да ещё первый том «Всемирной истории искусств», где рассказывалось об искусстве древнего Египта.

— Ну, а кто из известных художников больше всего вам импонирует? Я хочу сказать — нравится.

Я уже успел хлебнуть студенческих споров. Я уже знал по ним, что высказывать любовь к Репину, Сурикову или Левитану — значит расписываться в своих примитивных вкусах. Нет, надо не упустить случай, доказать, что я, этот дикарь в портфельных штанах, тоже не лыком шит.

— Мне нравятся... имперсионисты.

— Вы хотели сказать — импрессионисты?

Кровь ударила мне в лицо, перед глазами поплыли жёлтые пятна. А члены комиссии с участливым соболезнаванием продолжали разглядывать мои штаны.

До сих пор, что скрывать, я боялся этих учёных олимпийцев, боялся их вопросов, их соболезнающих взглядов, боялся безотчётно, несмотря на то что ясно сознавал: терять мне уже нечего. Но теперь мне стало стыдно, а стыд иной раз вызывает отчаяние, перед которым не может устоять никакой страх. Я неожиданно почувствовал озлобление против этих пожилых людей, против их замкнутого выражения на лицах, против их ненужно участливых голосов. Да скоро ли кончат ломать комедию! Не понимают разве, что значит стоять вот так перед ними?!

И они, должно быть, пришли к тому же выводу: пора отпустить меня с миром. Все молча повернули головы в сторону декана. Тот, почувствовав решительную минуту, заёрзал на стуле, с холодной твёрдостью направил взгляд опять куда-то в стену, мимо моего уха, заговорил вежливо и сухо:

— Вы не сдали вступительных экзаменов по живописи. Приёмная комиссия считает, что вы недостаточно подготовлены для обучения в нашем институте.

Тут мне, по всей вероятности, надлежало повернуться и выйти в дверь. Но я стоял. Стоял не потому, что был оглушён. Нет, я, разумеется, ждал только такого решения. Но как повернуться и выйти? Какое слово сказать на прощание? До свидания, прощайте? Бросить что-нибудь возмущённое или просто молча отвернуться?

— Вы хотите что-то сказать? Наверное, возразить нам? — спросил член комиссии с аскетическим лицом.

Они ждут возражений. А почему бы и нет? Терять нечего, так пусть хоть послушают.

— Да, хочу сказать, — ответил я и сам удивился своему хриплому голосу. — Я хочу задать одни вопрос. Как быть таким, как я?

Декан болезненно сморщился, недоуменно пожал плечами. Член комиссии с аскетическим лицом продолжал разглядывать меня с грустным вниманием. Остальные с покорным терпением склонили головы: что делать, придётся выслушать.

— ...Таких, как я, пол-России, на семьдесят процентов страна состоит из деревень и таких городишек, как Густой Бор. В них нет художественных училищ, нет студий... Вы восхищались теми, кто сумел уже научиться. Я сам ими восхищаюсь. Но почему они должны быть счастливее меня? Только потому, что жили в больших городах?

Тревоги последних дней, отчаяние, унижительное ощущение чужеродности в стенах этого института, стыд за своё невежество, злость на этих умных, безупречно веж-

ливых людей — всё это прорвалось в бессмысленный и озлобленный бунт. Может быть, я не так складно говорил, как потом припоминал, даже наверняка нескладно, быть может, более решительно упирал на своё «я», на собственное безвыходное положение. Кажется, упомянул об окопах, в которых мне приходилось торчать в то время, как другие сидели в училищах перед мольбертами.

— Что мне делать? Я не меньше, чем другие, люблю рисовать, не меньше других хочу стать художником. И только им! Как мне поступить?..

— Не лучше ли вам подать заявление не в институт, а в художественное училище?

— В училище? Но мне, во-первых, не семнадцать лет. Пять или — сколько там? — четыре года в училище да пять лет в институте. А кто будет меня кормить в течение этих десяти лет? Вы вправе мне отказать. Вправе, не спору. Но ведь трезво судить, после этого у меня один путь: обратно, в свой Густой Бор; где нет ни студий, ни училищ...

Я говорил, меня слушали, не перебивали, нисколько не выражали возмущения по поводу моей необычной выходки. Наконец я излил всё.

Член комиссии с лицом доброго Мефистофеля обернулся к режиссёру:

— Вы помните, я вам показывал одну из его работ. Там что-то такое чувствовалось.

Я говорю об этюде... Он обратился ко мне, уставшему, угнетённому, желавшему только поскорее уйти. — Там изображён пустырь с изгородью под серым небом.

— Козий выпас, — буркнул я.

— Козий выпас, вот видите...

И все снова почему-то поглядели на мои штаны.

— Да, там что-то было, — после некоторого молчания согласился режиссёр.

— Знаете что, товарищи. — Член комиссии сначала в одну, потом в другую сторону повернул свой хрящеватый нос. — У меня есть предложение: в порядке исключения принять... Разумеется, с испытательным сроком, на месяц.

— Положение таланта на глухой периферии незавидное, — осторожно поддакнул другой.

— Медвежий угол, — вставил декан и впервые за всё время поглядел мне почти дружески прямо в глаза.

— Как-никак фронтовик.

— Надо учитывать и то, что молодой человек, по всей вероятности, не может рассчитывать на помощь состоятельных родителей.

— Принимаем, — наконец произнёс режиссёр.

Все в ответ облегчённо закивали головами.

— Помните, что принимаем условно. Месяц испытательного срока подскажет, оставить вас или освободить от обучения.

Я опомнился, когда оказался за дверьми.

— Ну, что? — подскочила ко мне Эмма Барышева.

Я недоуменно развёл руками:

— С испытательным сроком...

— Приняли?

— Кажется, да.

— А ты ещё хотел уезжать!

Из-за дверей раздался громкий голос:

— Исмаилов!

Паренёк-татарин вздрогнул и несмелым шагом подался к двери.

— Этого уж должны принять, — сказала ему вслед Эмма Барышева.

— По живописи у него не совсем, — заметил кто-то.

— Зато рисунок крепкий. — Барышева повернулась ко мне. — У тебя ведь по живописи, если честно говорить, хуже.

— Да, да, — искренне согласился я. — Примут, обязательно.

Мне хотелось, чтобы приняли всех, чтоб в такой день ни одного человека не было обиженного.

Исмаилов пробыл в комнате приёмной комиссии недолго, каких-нибудь десять минут. Его обступили.

— Как?

— Принят?

— Да что молчишь?

На узком подбородку и широком ко лбу лице — смятение, потемневшие губы вздрагивают. Он отрицательно покачал стриженной головой.

— Нет, не принят.

— Почему?

Он пожал плечами.

— Но что сказали?

— Молод, сказали. Могу ждать, сказали. Сказали: по живописи плохо...

— Да как же плохо? Разве у тебя хуже Бирюкова?

Чёрные, полные горестной растерянности глаза татарина скользнули по мне.

— Он фронтовик. Я не фронтовик. Разве можно спорить? Я не спорил...

С минуту возле него сочувственно потоптались, перекинулись несколькими замечаниями по адресу комиссии, разошлись.

Паренёк-татарин привалился спиной к побеленной стене, опустил лицо к полу, стал разглядывать свои новые апельсинового цвета полуботинки.

Мне стало не по себе. Горька победа, когда она достаётся как подачка.

9

Нас было много, новоиспечённых студентов с разных факультетов: будущие режиссёры, будущие операторы, будущие актёры и художники. Будущие! В этом слове вся великая радость.

Без будущего вообще нет радости. Чего ни коснись: счастливая любовь, удача в

работе, творческая находка — всё, всё связано с одной надеждой, что именно это событие обещает лучшие дни впереди. А уж в этот день мы в своём будущем сомневаться не могли!

Сначала мы ворвались в один из ресторанов. Сдвинули на середину свободные столики, плотно обсели их, заказали грошовую закуску, скудную выпивку, наделали много шума, спели хором не одну студенческую песню, в том числе:

*Коперник целый век трудился,
Чтоб доказать Земли вращенье...*

Поднимали тосты, говорили речи, которые звучали как клятвы.

Затем, вместо чаевых от всей души по-братски похлопав по плечу пожилого и солидного, словно министр, официанта, покинули ресторан...

Над Москвой прошёл мимолётный дождь. На маслянисто-мокром асфальте расплывались городские огни. Мы шли, схватившись за руки, и прохожие теснились к обочинам тротуара, уступали нам дорогу. Я шагал вместе со всеми, вместе со всеми кричал, вместе со всеми смеялся, чувствовал себя счастливым вместе со всеми... Хотя нет, мне казалось, что нет мне равных по радости, не может быть на свете человека счастливее, чем я.

Вот она, Москва! Огни, вскинутые в чёрное небо, огни, лежащие на мокром асфальте, огни вправо, огни влево — вот она, сияющая столица, по которой полмесяца тому на-зад пробирался оглушённый, затёртый, робеющий гость из тихого городишка Густой Бор. Теперь он идёт не пугливым чужаком-одиночкой. Плечом в плечо с ним товарищи, их не два, не три, а десятки, все они весёлые, дерзкие, умные — родные ребята. С ними легко и бесстрашно шагать вперёд.

Идёт будущий хозяин жизни. Эй! Оглянитесь на него! Дайте дорогу! Не топчитесь на пути!

Веселье нас не покидало в электричке, пока в набитом вагоне ехали от Ярославского вокзала до Лосиноостровской. Мы шумели и веселились по дороге от станции, нарушая покой спрятавшихся за кусты тёмных дач.

Но, подойдя к общежитию, мы притихли...

Белый особнячок безмолвно глядел на нас чёрными окнами. Внутри — угрюмая тишина. Никто не сидит на ступеньках крылечка, не слышно голосов из распахнутых окон. И мы вспомнили, что здесь, за этими белыми стенами, ещё находятся те, кто не попал в институт. В эту ночь они — люди без будущего. Конечно, пройдёт время, созреют у них новые надежды, появятся новые планы, но сейчас всем нам немного совестно перед ними за свою удачу. Мы трезвеем, тихо прощаемся.

Тот паренёк-татарин тоже где-то здесь. Вряд ли спит: должно быть, слышит наши сдержанные голоса.

Я со Стремянником поднялся в свою комнату. Ни Григорий Зобач, ни долговязый парень, поступавший на сценарный, не подняли с подушек голов. Их тоже не приняли.

А в постели меня охватил страх. Что, если это долгожданное и в то же время неожиданное счастье окажется ненастоящим? Никто не знает, что я из себя представляю, да и я сам за себя не могу поручиться. Сундучок с секретом. Пройдёт месяц испытательного срока, этот сундучок откроется и... окажется пустым. Нет! Если мне не будет хватать ума и сообразительности, я стану до изнеможения усидчивым и заставлю себя быть умным. Если мне господом богом отпущено недостаточно таланта, я каторжной работой увеличу его. Пойду наперекор природе, буду без жалости ломать себя. Ничто не сможет устоять против моего желания. Ничто!

Долго не мог уснуть, долго давал себе страшные клятвы, но где-то в самой глубине души всё же таилось сомнение в своих силах и страх...

10

Не слишком продолжительное время учёбы на художника кино я разделяю в памяти не на дни или месяцы, а на то, когда и какую натуру ставили для живописи.

Сначала поставили натюрморт: гипсовый слепок головы Аполлона, рулон бумаги, стаканчик с кистями и, разумеется, неизменная бархатная драпировка.

Натюрморт сменил старик с багровым носом и бородой несвежего цвета.

Женщина в берете и в пальто с меховой оторочкой.

Потасканного вида девица с крашеными губами, в платье с бирюзовым отливом — мой скромный триумф.

Наконец, снова старик с длинной гривой седых волос, с лошадиной челюстью, с бантом вместо галстука на жилистой шее, по всей вероятности долженствующей изображать отставного художника или музыканта прошлого века.

Наши преподаватели, как я теперь понимаю, сами не были гигантами в области изобразительного искусства. Они не настаивали, чтоб мы вникали во внутреннее содержание, раскрывали характеры. Напротив, с нас требовали: штудируй натуру, выявляй цвет и форму, а что касается характера — дело не ученическое: будете создавать образы с внутренним содержанием, когда постигнете трудное ремесло живописца.

Послушание и добросовестность я считал залогом будущих успехов. И вот я, самый послушный, самый добросовестный из студентов, начал охоту за цветом и формой.

За первую работу — натюрморт с незрячим Аполлоном — я взялся без особых мудрствований. Есть гипсовый Аполлон, есть бордовая драпировка, есть чёрный стаканчик. У меня краски: цинковые белила, красный до черноты крапак, английская красная, кобальт, ультрамарин — все цвета под рукой. Я, как хозяин, с хозяйской расчётливостью обязан выложить их на матово-белый, туго натянутый, как кожа барабана, холст. Только нельзя забывать предыдущих ошибок. Нельзя, чтоб снова получилась «яичница с луком». Не будь наивным, не делай драпировку огненной, а гипсовую голову откровенно белой.

«Яичницы с луком» на этот раз у меня не получилось. Все цвета приобрели какой-то однообразный мутный оттенок, хотя, казалось бы, все правильно: драпировка точно — бордовая, гипс белый с рефlekсами, стаканчик глянцеvито-чёрный с отблесками.

Заглядывая в работы своих товарищей, я ужасался: даже самые посредственные выглядели по сравнению с моей как новый, только из магазина, пиджак рядом с пиджаком мятым, вылинявшим, заношенным.

У Эммы Барышевой мало того, что на лице Аполлона алый отблеск драпировки (это-то и я заметил, тронул щёку языческого бога краплагом), но с одной стороны гипс отливает зеленоватым, с другой — на щеке целый букет, а в общем всё-таки белая голова. Кажется, больше над этой головой нечего мудрить, но Эмма что-то ищет, пробует один цвет, скоблит, набрасывается на драпировку.

Все только-только начали свою работу, а моя картина была уже кончена: долго ли покрыть краской кусок холста размером меньше квадратного метра?

В чём причина? Где секрет? Но секретов от меня не таили. О них мне говорили преподаватели, походя указывали товарищи. Да и я сам, заглядывая в чужие работы, начинал кое-что понимать.

Я глядел на вещи по трафарету: гипс белый, драпировка бордовая. На самом деле как гипс, так и драпировка хранят в себе множество оттенков. А глаз художника тем и отличается от глаза обычного человека, что видит намного больше. Истина, доступная ребёнку.

Я начал пристально вглядываться и без особого труда заметил на гипсе еле уловимые оттенки зеленоватого, нежно-коричневого, палевого... Что слова — они грубы! Я был просто слеп!

Я пробовал поправить свою работу. Но мои новые мазки на старый, полусохший слой краски лишь увеличивали грязь. День за днём приходил я в аудиторию, брал палитру и только для виду, для успокоения совести водил кистью, что называется «месил грязь». Я ненавидел свою работу, ждал того дня, когда поставят новую натуру, можно будет взять свежий холст и наброситься на него с новыми знаниями, с новым умением видеть.

Пришёл день, и объявили: завтра будет поставлена другая натура.

Все аккуратно снимали свои непросохшие работы, показывали их друг другу, советовались. Я же сорвал свой холст и сунул поглубже, за большой, тяжёлый шкаф, где хранились гипсовые муляжи, — ни дна тебе, ни крышки, лежи тут, чтоб никто не узнал, чья рука сотворила это позорище.

Вот долгожданная минута. Передо мной девственно чистый холст, рождающий в душе неясные надежды. Я гляжу на натуру и не могу наглядеться. На одном лишь багровом носу старика сотни переливов: лиловых, синих, светло-лиловых, красных. А щёки! А борода! Борода — целая сокровищница цветов: мутновато-зелёных, жёлтых, рыжеватых, с подпалинкой коричневых. Уф, чем дольше гляжу, тем больше вижу, перестаю даже понимать, на самом ли деле существует столько оттенков или же они

плодятся в моём воображении — своего рода мираж от исступлённого желания всё видеть.

Скорей на холст!

Краем уха слышу, что в стороне говорят: с минуты на минуту придёт профессор, наш заведующий кафедрой. Это известный художник. Он только что вернулся из заграничной командировки, во время наших вступительных экзаменов его не было в Москве.

Ни до кого нет дела. Придёт профессор? Пусть приходит! У меня работа, не могу отвлечься. Я наслаждаюсь тем, что гляжу на мир глазами художника, утопаю в разнообразии цветов...

Отступаю на несколько шагов, чтоб полюбоваться со стороны на дело своих рук. Отступаю и стою в недоумении. Что за злая шутка? Где же моё богатство цветов? Лицо старика на моём портрете грязно-лиловое, словно я писал его физиономию химическими чернилами, борода же невообразимого цвета студня.

Я набрасываюсь на холст, чтобы всё исправить. По всей вероятности, я писал не настоящий цвет, а миражи. Долой самообман!

В сопровождении декана входит профессор. Он движется подпрыгивающим, пружинящим шагом, ни минуты не может постоять на месте, его полное тело кажется невесомым. Он громогласен и многоречив, любит оглушать слушателей каким-то особенным гигантизмом сравнений. На всю аудиторию гремит его голос:

— Репин — величайшая из величайших фигура в мировом искусстве! Мы недооцениваем своих корифеев! Толстой на тысячу голов выше Бальзака! Однажды во время моего последнего посещения Италии...

Следует сообщение о том, где он побывал, что видел.

Он подходит ко мне и с ходу же заявляет:

— Знаю, знаю, мне докладывали... Ваша фамилия... Нет, нет, не подсказывайте, сейчас припомню... Вы из медвежьего угла!

Тут он бросает взгляд на мою работу, и у него пропадает желание вспоминать мою фамилию. Он искренне, от чистого сердца готов шумно похвалить, превознести студента, вызвать этим всеобщее ликование, но с той же энергией бросить упрёк, уничтожить человека его жизнерадостная натура не способна. Он как-то сразу оседает, становится грузным, оживление на лице сменяется скукой — сразу замечен его почтенный возраст.

— М-да-а-а... Вас, кажется, предупреждали, что вы приняты с месячным испытательным сроком? — говорит он кисло и неожиданно спрашивает: — Вы не дальтоник?

— Нет, — отвечаю я подавленно. — У меня зрение нормальное.

— А то в моей памяти были такие случаи. Один студент зелёную портьеру написал так широко, броско... лиловым цветом. А-а, понимаю... — Он вплотную склонился к моему холсту. — Разве можно так варварски обращаться с цветом? Его надо брать одним куском, чтоб чувствовалось — ваш цвет нечто вещественное, весомое для взгляда. Вы напоминаете столяра, который сначала крошит заготовленные бруски в древесную

крошку, а потом пытается из них склеить стул. Величайший из величайших секретов всякого искусства — умение обобщать. Вспомните гениальнейшего, несравненного Чехова. Он умел обобщать, как никто в мире. Вспомните его знаменитое горлышко от бутылки, сверкающее на плотине. Горлышко от бутылки! Два слова, короткая фраза, а настроение даёт такое, которое не опишешь на сотнях, тысячах страниц. Вот мазок! Вот рука великого мастера! Вместо того чтобы ковырять эти бирюзовые и оранжевые пятнышки, вам нужно найти один цвет, общий для всех этих точек. Один мазок вместо сорока. Обобщать надо, молодой человек! Обобщать!

Профессор, наградив меня подбадривающим взглядом, понёс дальше своё полное тело.

11

Секретов в искусстве нет. Я скоро узнал все: нужно обобщать цвет, нужно следить за тональностью, на затемнённых местах краски следует накладывать жидким, тонким слоем, освещённые лепить густыми мазками... Я добросовестно старался применить все советы, но мои работы от этого не становились лучше.

Быть может, со временем в нашей аудитории всё-таки отодвинули от стены тот чёрный шкаф, поцарапанный, с плохо закрывающимися дверками, тяжёлый, как каменный монумент.

Человек, который обнаружил за ним три пыльных холста — натюрморт с Аполлоном, старика с лилово-чернильной рожей, замусоленную женщину в берете, вряд ли проявил к ним какое-нибудь любопытство. Мало ли убогой ученической мазни можно отыскать в аудиториях, где работают будущие художники!

Тот, кто равнодушно отбросил в сторону эти холсты, не мог догадываться, какие трагедии с ними были связаны.

Ни дома, ни в школе за партой, ни на фронте — нигде я не считал себя презираемым человеком. А здесь я хуже всех, я последний среди моих товарищей. Если судить по делам, я — ничто. Меня могут терпеть, со мной могут обходиться по-дружески, потому что я никому не сделал плохого, нет причин меня ненавидеть. Безвредный человек, но не больше.

Я стал робким, подавленным, замкнутым. С ожесточением, подчас с озлобленностью я заставлял себя думать только о живописи. В тесном вагоне электрички, разглядывая лица случайных соседей, пытался замечать, как ложатся тени, какие падают рефлексy, как обрисовывается форма щёк, лбов, подбородков. Я покрывал один блокнот за другим похожими друг на друга рисунками. В аудитории я не разрешал себе отвлекаться от ненавистных мне холстов ни на одну секунду. Переброситься случайным словом с соседом считал непростительным грехом. С готовностью душевно забитого, не верящего в свои силы существа рабски старался выполнить каждый совет.

А в итоге — брошенная за шкаф ещё одна работа.

И всё-таки я не терял надежды. Каждая новая натура была для меня маленьким праздником. Всякий раз перед чистым холстом я мечтал: «Вот с этой минуты и начнёт у меня получаться, произойдёт перелом, полезу в гору, догоню остальных».

В тот день, когда поставили женщину в бирюзовом платье, я то ли проспал, то ли не успел вовремя к поезду, но так или иначе опоздал.

Я долго толкался между мольбертами, пока не решил сесть прямо на пол, пристроив перед собой холст с помощью раскрытого этюдника. Натура возвышалась где-то вверху надо мной, постоянно приходилось задирать голову, да к тому же один из студентов время от времени отходил от своего мольберта, подставлял под мой взгляд свою долговязую фигуру в заляпанном красками халате.

Но я с обычным упрямством и добросовестностью принялся за работу. То ли оттого, что мне не очень удобно было вглядываться в натуру, быть может, сказалось постоянное отчаяние — как ни пяль глаза, всё равно не получается, — на этот раз я сильней, чем всегда, доверился собственной фантазии. Мазки мои стали решительней, цвет определённой. На меня нашло забвение.

Светлое пятно обтянутого платьем плеча требовало рядом холодноватой с синевой тени. Я положил мазок и увидел, что он мутный, невыразительный, ранее положенные на холст краски вопят против него. Я торопливо его снимал, тщательно смешивал на палитре цвета. Опять получалось не то... Пока наконец с тихой радостью не убеждался: попал! Тёплая, прихваченная чуть-чуть загаром рука, матово-белая с голубизной шея, лёгкая, полупрозрачная ткань платья, накрашенные губы резко выделяются на желтоватом лице... Какое счастье, когда мне ничто не мешало вглядываться досыта в возвышающуюся надо мной некрасивую, несколько вульгарного типа девицу!

По аудитории поднялся шумок: «Здравствуйте! Здравствуйте!» Это снова пришёл профессор. Я не отрывался от работы.

— А-а, вот вы куда спрятались, товарищ из медвежьего угла. Посмотрим, посмотрим, как ваши дела, Бирюков... (Профессор уже без труда припомнил мою фамилию.)

Я поднялся с пола. Профессор прищуренными глазами прицелился в мой холст, отступил на шаг, вновь подошёл ближе. И вдруг его сильная рука с размаху ударила меня по плечу:

— В вас чёрт сидит, Бирюков! Прыжок! Честное слово, прыжок!..

Я сам с удивлением глядел на свою работу: небрежными, нервными, несколько растрёпанными мазками намечена тонкая фигура в зеленовато-голубом платье. Удивлённые неожиданной похвалой студенты толкались за моей спиной.

Этот день был для меня не только праздником — он был ещё днём отдыха. Я только тогда почувствовал, что страшно устал от постоянного напряжения. Из минуты в минуту думать только о том: должен научиться, обязан постигнуть, иначе нет для тебя будущего, нет жизни — в конце концов всему есть предел.

Я лишь боязливо прикоснулся к своей работе. Остальное время ходил по аудитории, смотрел, как у кого получается, заводил разговоры, охотно смеялся и ни на мину-

ту не забывал, что там, загороженный чужими мольбертами, стоит холст — начало всех моих побед. Я достиг того, что ещё сегодня утром было для меня лишь болезненной мечтой. Она таки свершилась! Наконец-то!..

Эмма Барышева, лучшая на нашем курсе по живописи, в этот день, как равный у равного, попросила у меня совета:

— Не получается, хоть тресни! Третий раз скоблю руку...

И я постарался не подать виду, что взволнован и тронут её вниманием, ответил:

— В тени слишком тепло взяла — перекраплачила. Потому и саму руку зажаривать приходится. Загар дала, словно эта дама вчера с курорта приехала.

Барышева помолчала, минуту-другую глядела на свою работу, тряхнула головой:

— А ведь верно. Не зря сказали, что в тебе чёрт сидит.

А я, чтоб не испортить своего триумфа, поспешно отошёл в сторону.

12

Передо мной стояла баррикада, требующая напряжения всех моих сил. И я сделал первый прорыв. Я одолел эту баррикаду. Мне хорошо известно, что впереди немало завалов, не раз ещё я буду ломать себе ноги, но так трудно уже не будет. Первый прорыв — самое важное, дальше как-нибудь проломлюсь.

Так думал я в тот счастливый день, день вершины моих надежд и день начала их краха.

Окрылённый, полный энергии, я занял утром, казалось, трижды благословенное место на полу и начал работать. И у меня получалось неплохо. Правда, что-то я не смог вытянуть, что-то подсушил, вчерашний наплёпок утратил некоторую свежесть, но ведь это в порядке вещей: начинающему всегда трудно удержаться на уровне внезапной удачи.

Ко мне снова подходили, снова хвалили меня, хотя куда сдержанней, чем вчера.

Мне кажется, есть одно великое удовольствие в жизни — усталость.

Но усталость усталости рознь. Есть усталость от безделья, от скуки, иссушающей мозг и мускулы. Есть усталость от суеты, от треплющих нервы мелких забот. Есть ещё усталость от непосильного труда по принуждению: ломота в костях, ноющие мышцы, одурманенная голова — ни больше ни меньше как сильное утомление.

Но есть особая усталость от труда, который для тебя кажется очень важным. Если ты много сделал, чувствуешь, что силы израсходованы с пользой, то такая усталость — одно из самых больших удовольствий в жизни, хотя и не из ярких, не из тех, что выражаются бурной радостью.

Именно эту усталость я и испытывал к концу последнего часа, отведённого для живописи. От долгого сидения на полу поламывало спину и ноги, голова была слегка тяжёлой. Я с наслаждением встал, до хруста вытянулся, пошёл по аудитории, заглядывая в работы своих товарищей. Конечно, я знал, что мой портрет не будет в числе самых лучших, мне достаточно сознания — иду в ногу с курсом.

Я переходил от одного мольберта к другому, вглядывался, сравнивал, и вот тихая радость оттого, что я утомлён приятным, важным для меня делом, стала исчезать.

В прошлый раз похвала немного вскружила мне голову, я не слишком трезво оценивал чужие холсты, про себя же считал, что мне удалось создать если не драгоценность, то по крайней мере работу крепкую, где каждый мазок — щедрая дань великому богу живописи.

Теперь же угар слетел с меня, и я увидел, что только несколько начатых портретов примерно на одном уровне со мной. Я сделал прыжок по сравнению с моими прежними работами, но по сравнению со всем курсом я едва нашёл место в самом хвосте.

С кем же я стал вровень?

Был некий Гавриловский, рослый красавец, державшийся всегда с надменностью классной дамы, обладатель длинных белых рук, тонкие пальцы которых, казалось, созданы для прирождённого музыканта или ваятеля. Этими благородными руками он писал одна на другую похожие картинки — все рыжевато-коричневые, плоские, аккуратные, где была выписана каждая складочка, морщинка, пуговица... Гавриловский никогда не приходил в восторг от чужих работ, никогда не стеснялся показывать свои. Замечания он выслушивал спокойно, признавал свои ошибки с достоинством, честно принимался их исправлять, но не было случая, что его исправления помогли хоть как-то освежить унылый колорит, который один из наших остряков назвал: «Жареная вобла, обросшая плесенью».

Был некий Парачук, грузноватый, на первый взгляд флегматичный, очень умный, выделявшийся среди всех нас начитанностью. Он, как и я, понимал, что пишет плохо, был упрям, как и я, много и ожесточённо работал и день ото дня становился раздражительней. Часто возле него вспыхивал скандал из-за взятого тюбика краски, из-за придвинутого слишком близко мольберта, просто из-за того, что его нечаянно задела локтем.

И ещё был Гулюшкин, тихая, незапоминающаяся личность, в уединении писавший свои размыленные холсты.

У всех у них были частичные удачи. Все они время от времени устаивались скромных похвал. А в общем, не всем же хорошо работать, не все должны быть одинаково способными. Рядом с даровитыми как накладной расход для института обязателен какой-то процент бездари. Ничего не поделаешь.

До сих пор меня нельзя было считать бездарностью по той причине, что я совсем не умел работать. Я был ничто. Я сделал прыжок. Всякое движение вперёд похвально, и меня похвалили.

Всё это я понял, когда бродил среди чужих мольбертов. Был последним и остался им. А у меня большие планы на жизнь. Я не могу согласиться на то, чтобы давать людям меньше других. Снова бей тревогу! Если сумел сегодня сделать шаг вперёд, не медли, делай завтра другой. Ты должен стать рядом с лучшими, и только там твоё место! Ведь когда институт будет окончен и наш курс выйдет в люди, то даже наши лучшие из

лучших, вроде Эммы Барышевой, окажутся где-то в середине. Много художественных институтов, много в стране талантливых людей. Добивайся места рядом с Эммой Барышевой. А как до неё далеко!..

Тяжёлые сомнения ложатся на душу.

13

Я не выпускал из рук карманного блокнота. В электричке, на лекциях, вечерами в комнате, когда мои товарищи ведут будничные разговоры — порвались ботинки, день стипендии далёк, некоего Соколова с операторского собираются исключить за пьяный дебош, — я рисовал, рисовал, рисовал... Какие-то наброски получались удачными. Один удачный, а сто таких, которые стыдно показывать.

Я писал серые осенние пейзажи сквозь мокрое окно, сам для себя ставил по воскресеньям натюрморты: пустая консервная банка, деревянная ложка, луковица. Под моей койкой скопились вороха пыльных, замазанных краской картонок. Позднее я прочитал у какого-то французского писателя, что талант — это упорство, что гении — это волю, неустанно ворочающие тяжкий груз в течение всей жизни. Эх, если б это было так! Я наверняка стал бы светочем среди живописцев.

Никаких прыжков вперёд я больше не делал. Пока стоял у мольберта, орудовал кистью, мои работы мне нравились, я был уверен: теперь-то наверняка меня ждёт успех. Но едва сравнивал с другими, сразу понимал: мои работы — какие они старательные, разумные, ничтожные, от них на расстояние так и прёт потом добросовестной бездари.

Блажен, кто верует в себя! Красавец Гавриловский по-прежнему со значительным видом, аккуратно, мазочек к мазочку, расписывал свои кофейные холсты. А на меня всё чаще и чаще находили минуты отчаяния...

Во время одного перерыва, когда позировавший нам старик, вяло шагая от стены к стене, разминал затёкшие члены, в аудитории появился не кто иной, как всеми забытый Григорий Зобач.

Одет он был щеголевато: в новом тёмно-синем костюме, при галстук, отливавшем рыбьей чешуёй, на ногах ботинки на толстой каучуковой подошве, губастое лицо лоснится благополучной улыбкой.

— Здорово, старатели! — поприветствовал он нас. — Всё творите? А-а, Бирюков! Тебя ещё не выставили? Ну-ка, дай взгляну, как ты пачкаешь холст.

Он насмешливо пощёлкал языком, потом повернулся ко мне и окинул взглядом сапоги, портфельные брюки, гимнастёрку, заляпанную красками.

— Что-то ты, брат, отошал! Физиономия синяя, скулы сквозь кожу прут. Оно, высокое-то искусство, жмёт, видать, сок. Плюнул бы ты, братец, на всё. Ну, вот Эмка Барышева старается или Ковалевич, так они надеются в Левитаны попасть. Да и то им место в кино приготовлено — пятой спицей в колеснице, на побегушках у директора

картины. А ты-то и подавно в художниках останешься серой скотинкой. Я вот сказал себе: знай, сверчок, свой шесток. Меня теперь калачом в институт не заманишь. Что с дипломом, что без диплома — цена одна. Вот приняли художником на завод, оклад от выработки, худо-бедно, тыщи полторы, а то и две с половиной в месяц нагуливает. Да перед каждым праздником калым. Недавно на пару с одним старичком за четыре дня четыре тыщонки отхватили. Хочешь, и тебя к делу пристрою? Правда, святому искусству придётся прощальный поклон отбить: будешь диаграммы рисовать, доски показателей разукрашивать. Хочешь?

Я сердито огрызнулся.

— Ну и дурак, — спокойно отозвался Зобач. — Лезь из кожи, изводи холсты, а всё равно придёшь к тому, что я сейчас тебе предлагаю. На заводе или в киностудии, а цена одна — дюжина таких, как ты, на одного мало-мальски толкового мастера.

Он поболтался ещё среди холстов и ушёл. Едва лишь закрылась за ним дверь, как аудитория зашумела:

— Цветочек!

— На показ явился.

— Во всём новеньком, с иголки, хоть в витрину ставь.

— Дело не хитрое, только в халтуру нырни.

Говорили — одни со сдержанной ненавистью, другие с равнодушным отвращением, ни одного слова в защиту. Да иначе и быть не могло: ренегат, изменивший, чему мы все поклонялись, кичащийся своей изменой.

Я же молчал и думал о своём. На Зобача мне наплевать. Но в одном-то, пожалуй, он прав: не бывать мне мастером. Не напрасен ли этот каторжный труд?

Вечером я ехал в метро из центра к Ярославскому вокзалу. Стоял, держась за металлическую перекладину, но привычке пялил глаза на лица пассажиров.

В первые дни своей студенческой жизни я всегда пытался прочесть по лицам мелкие секреты чужой жизни. Этот военный с холодными глазами и твёрдо вырубленным профилем каждое утро делает физзарядку, гордится своей порядочностью, наверное, скуповат, следит, чтоб жена не истратила лишнего рубля, сам покупает ей в комиссионных ночные сорочки. Эта утомлённая женщина с мешочками под глазами, должно быть, страдает от материнского любвеобилия, по доброте и бесхарактерности так воспитала сына или дочь, что они долго не слезут с шеи, будут жить на её грошовый заработок. Этот жирный представительный мужчина не профессор и не важный служащий, он или продавец газированной воды, или швейцар в каком-нибудь ресторане, сейчас, преисполненный достоинства, едет в гости к родне.

Такими невинными развлечениями я занимался давно. Теперь, до мозга костей съеденный одной страстью — постичь тайну искусства, — разглядывая случайные лица, думал лишь о том, что эта челюсть при свете, падающем сверху, очень рельефна, что краснота лица, вызванную, видимо, лишней кружкой пива, нужно писать, чуть-чуть тронув в тени ультрамарином...

Я ехал и разглядывал эти рельефы, рефлекс, тональности... Недалеко от меня сидела девушка. Ссутулив тонкую спину, она склонилась над книгой. Минуту я просто её разглядывал: благородная линия лба, негустые светлые волосы можно бы наметить одним решительным движением карандаша, сохранив при этом какую-то особую наивность и простоту их волнистости... Затем я представил её стоящей и отчётливо увидел — выше среднего роста, тонкую, прямую, с чуть обозначенными грудями, с какой-то упругой стрункой внутри. У неё нерешительные, мягкие движения, я могу поручиться — она застенчива. Вот волосы упали на лоб, они мешают читать. Она сейчас их поправит. Нет, не откинет резко, а мягко возьмёт узкой рукой, отведёт в сторону. Ну сделай же это, сделай, докажи, что я прав, они же мешают тебе читать! И девушка, не видя меня, не зная о моём существовании, точно так, как я и представлял, той самой рукой, какую я видел в своём воображении, бережно отодвинула волосы. А теперь она скоро поднимет голову, посмотрит перед собой отсутствующим взглядом. И я дождался... У неё были глаза чистого серого цвета. Не нарядно голубые, не с броской синевою, нет, просто человеческие, задумчивые, опять точно такие, как я представлял.

Я, может быть, был немного влюблён в Эмму Барышеву. Утром, переступая порог института, видя в толпе возле раздевалки её откинутую за спину непокорную волну волос, её вздёрнутое вверх немного крупное, не по фигуре лицо, я всегда испытывал какой-то толчок, дававший начало минутному возбуждению. Но что Эмма?.. Мелькнувшее на секунду воспоминание о ней оставило досадное впечатление чего-то бледного, стёртого, заурядного.

Эту девушку я, кажется, когда-то знал, в каком-то другом времени. Похоже, что я провёл с ней много-много однообразно счастливых, замкнутых не дней, а десятилетий. Как мне знакомы мягкость её движений, цвет её глаз, её чистый, высокий, какой-то спокойный лоб! Неужели сейчас встанет, пройдёт мимо, как чужая? Невозможно! Нельзя допустить! Другой такой встречи не случится.

Около вокзалов тесно набитый вагон опустел. Мне тоже нужно было сходить здесь вместе с владельцем рельефной челюсти, с полным человеком, разогретым кружкой пива до крапачного цвета.

Но девушка не поднялась со своего места, и я тоже не двинулся.

Перед «Красносельской» она зашевелилась, сунула книжку в дешёвый новенький портфель, поднялась, такая, какой воображал: с девичьей горделивой осаночкой, с независимо вздёрнутым маленьким подбородком, тонкая, трогательно хрупкая.

Она прошла совсем близко, даже чуть-чуть задела меня локтем и не обратила никакого внимания.

Двери начали уже закрываться, я выскочил, раздвинув их плечами.

Она шла впереди быстрыми мелкими шажками, словно скупыми стежками вела строчку по глухому камню станции метро.

А на улице мельтешил дождичек — скудная водяная пыльца. В липком воздухе расплывались жёлтые огни городских фонарей. Редкие прохожие равнодушно переносили мрачную неуютность улицы.

Наверно, я слишком близко подошёл к девушке. Она испуганно оглянулась, каблучки её быстрее застучали по мокрому асфальту, сырая темнота поглотила её.

Я остановился, мрачно усмехнулся своей выходке. Что это? Мальчишество?.. Оглянись на себя, похож ли ты на того, с кем приятно средь ночи на пустынной площади завести знакомство? Ветхая, с выдранными крючками солдатская шинелишка, огромные покоробленные сапоги, слава богу, не видны портфельно-крокодиловые брюки... Да и вообще чем ты интересен, что ты из себя представляешь? Студентка, не по способностям занявший место в институте. Человек без веры в себя, находящий силы лишь без толку бичевать собственную персону. Чем ты можешь гордиться? Каким духовным богатством сможешь удивить?

По тёмным мокрым улицам я пешком направился обратно к вокзалам. Мои тяжёлые сапоги размеренно бухали по тротуару, кровь шумела в висках, голова распухла от чёрных мыслей. Я не делал попытки остановить их, оправдать себя.

Откровенное презрение к себе! Страшны такие минуты! Жалок тот, кто их испытывает слишком часто. Ничтожен тот, кто ни разу в жизни их не переживал.

Я презирал тех, чья жизнь пуста и бесплодна, я ждал будущего, пусть трижды тяжёлого, трижды неустроенного, но заполненного большими делами. Большими! Малых дел, тех, что приносят благополучие, сытые обеды, мягкую постель с тёплой женой, уютные вечера под семейной лампой, и только это — я не хотел. Но что ты можешь сделать большого, когда всем ясно, и тебе в том числе (только не обольщайся, только не обманывай себя, не строй расчёт на неожиданное чудо!), всем ясно, на что ты способен. Художник без таланта, без искры божьей, будущий поставщик серятины! Ты упрям, у тебя бычье здоровье, ты трудолюбив, но кому нужно твоё трудолюбие? Трудолюбие бездарности, что может быть страшнее? Ты ведь не захочешь, чтобы отворачивались от твоего труда, чтоб за него не платили похвалами и звонкой монетой, приносящей хлеб насущный вместе с другими благами. С доступным тебе упрямством и энергией ты будешь доказывать, что именно ты талантлив, ты нужен обществу, а не Эмма Барышева. Если хватит сил, оттеснишь их в сторону, затопчешь их. Нет?! Ты возражаешь? Ты возмущаешься этим? Ты рассчитываешь на свою порядочность, на свою кроткую совесть? Брось мальчишествовать, пора стать взрослым. Талант и бездарность не уживаются. Там, где восторжествовал талант, бездарности делать нечего. Она должна отступить или отстаивать своё существование. Под страхом смерти она должна изворачиваться, клеветать, пускаться на хитрости. И, как знать, нет ли уже теперь на твоей совести жертв?.. Вспомни паренька-татарина. Не потому ли его не приняли в институт, что ты занял его место? Неплохо же ты, Андрей Бирюков, начинаешь своё будущее!

Сыпал дождь, липли к лицу мелкие холодные капли. Шинель набухла, стала тяжёлой, несгибающейся. Сапоги ровно и бесстрастно бухали по тротуару. Торопливо проскальзывали мимо меня прохожие. Хотелось остановиться, поднять руку и закричать спешащим прохожим, всему тёмному осеннему городу: «Что мне делать? Что делать?!»

14

Я вернулся домой поздно ночью. Все спали. За столом, грея руки о стакан чая, сидел один Юрий Стремянник.

— Вростаешь в жизнь помаленьку? — встретил он меня. — Интрижку успел завести? Э-э, брат, да ты не в настроении. Садись. Сахар есть, а хлеба нету. Никак не привыкну после офицерских харчей к студенческим.

Товарищей-художников я сторонился, как мальчишка-горбун сторонится своих здоровых сверстников. С Юрием Стремянником, который интересовался живописью лишь со стороны, я чувствовал себя проще. Я рад был, что не кто другой, а он сидит сейчас за шатким столиком, ушастый, покойно-весёлый, с лицом, с которого давно уже исчезла гладкая округлость.

— Нездоровится тебе, что ли? Не надо по ночам в такую сырость пропадать. Отложи любовные дела до более тёплых времён.

— Ты тоже что-то не особенно ждёшь тепла. Сам же только с поезда.

— На студии пропадаю. Прицеливался, нельзя ли втереться, чтоб на случайной работёнке пополнить свой бюджет. До стипендии ещё ноги протянешь, а получишь стипендию — половину вынь да отдай: долги.

— И как? Нашёл работу?

— Где там!.. И без меня бездельников хватает. Наш благословенный институт на одного более или менее даровитого выпускает десяток сереньких посредственностей.

Все они должны жить, кормить себя и своих чад с домочадцами, все, следовательно, должны иметь работу. Не дай бог стать таким, до седых волос кичиться дипломом кинорежиссёра и интриговать против собратьев-неудачников. Если не получится из меня настоящего режиссёра, пойду на завод слесарем, но не останусь на студии.

— Если из тебя не получится настоящего режиссёра?.. — переспросил я. — А как ты это узнаешь? Те, кого ты видел, верно, считают, что именно они вполне пригодны стать настоящими режиссёрами, да судьба не тем боком повернулась. Все они, наверно, ждут: не завтра, так послезавтра подвернётся случай, их признают, они покажут свои способности. И ты будешь надеяться на удачу, портить печень из зависти, интриговать, верить в чудо из чудес.

— Нет! — Стремянник вскочил из-за стола, встал передо мной — крепныш со вздёрнутыми плечами, в наглухо застёгнутом кителе. Из-под выдвинутого вперёд лба в тени блестели глаза. Блеск их показался мне сухим и безжалостным. — Нет! Я достаточно себя уважаю, чтоб схватить вовремя за шиворот и приказать: опомнись, дурак, белый свет не мал, ищи другое, пока не поздно!

— А если от того же уважения к самому себе ты не сделаешь этого?

— Если не сделаю, то туда мне и дорога. Значит, я того и стою — быть навеки приживалкой при кино.

Я отвернулся, пошёл к своей койке, стал укладываться.

— С тобой что-то случилось? — спросил Юрий.

— Ничего, — ответил я. — Всё по-старому, как шло, так и идёт.

Стремянник внимательно ко мне пригляделся, но расспрашивать не стал.

Я долго лежал, закинув руки за голову, глядел в потолок. Стремянник потушил свет.

— Должно быть, — произнёс я в темноте, — мне каждую ночь будет сниться мальчонка-татарчонок. Не помнишь его, на наш курс поступал, худенький, стриженный, апельсинового цвета ботинки носил?

15

Поступая в институт, я, по сути дела, не отличался от тех, кто вообще не занимается живописью. Меня стали учить. Я мог стать художником, но художником в лучшем случае посредственным. В лучшем случае... Из простого, нормального человека, которого волнуют полотна Левитана, у которого перехватывает дыхание при виде мраморной руки микеланджеловского Моисея, я готовился превратиться в подозрительного «умельца». Как это ни странно звучит, но я учился, чтобы стать бездарностью.

Кажется, не может быть другого решения: брось институт, ищи новый путь. Но это просто лишь в рассуждениях.

Я в глубине души всё ещё продолжал надеяться, что вдруг да произойдёт переворот, перепрыгну всех Парачуков, Гавриловских, Гулюшкиных. Разумом я не верил в чудеса и всё-таки ждал их.

Мало того, временами я начинал кривить совестью, ударялся в рассуждения. Я учусь в институте кинематографии, меня готовят не мастером станковой живописи, которому придётся воевать за место в Третьяковской галерее на будущих выставках. Художник кино — это костюмы, это декорации, это своего рода прикладное искусство. Даже поговаривают в шутку, что одно из основных достоинств кинохудожника — умение быть хорошим хозяйственником, вовремя доставать фанеру, доски и прочие принадлежности для своих декораций.

Однако такие размышления находили на меня лишь временами. Я очень быстро трезвел. Нечего сказать, художник, не умеющий создать хорошего эскиза, слепо работающий по подсказке, неспособный к творчеству! Кому ты нужен такой? Твой друг режиссёр Юрий Стремянник наверняка первым бы отказался от твоих услуг.

Я колебался, искал себе оправдания и продолжал, как все студенты, посещать занятия, по-прежнему торчал у мольберта положенные часы.

И мои колебания сделали своё дело. Моё упрямство ослабело, от прежней настойчивости не осталось и следа. Я перестал заполнять свои блокноты рисунками, по воскресеньям уже не ставил перед собой натюрмортов из консервных банок и луковиц, в свободные минуты переставал думать о живописи: во-первых, эти бесконечные

сопоставления тональности, рефлексов, цветов мне опротивели; во-вторых, мне просто некогда было о них думать — голову распирали другие мысли.

Я, обогнавший было Гавриловского и Парачука, снова оказался в самом хвосте своего курса. Преподаватели недвусмысленно мне намекали, что после зимней сессии будет просматриваться список учащихся, возможен отсев.

Я всё это выслушивал равнодушно, не испытывая ни малейшей тревоги.

Шёл день за днём, кончалась одна неделя, начиналась другая.

И вот наконец случилось неизбежное.

Я стоял за мольбертом и вяло тыкал кисть в холст, пытаюсь выпisać лошадиную челюсть старика с жилистой шеей. Могучая челюсть получалась у меня ватной, округлой. Кто-то стал у меня за спиной, я не повернул головы, не обратил на него внимания.

— Гляди ты, как всё измял. Не лицо, а кисель получился. А вот в этом месте размылил.

Я нехотя взглянул через плечо. Позади меня стоял Гулюшкин, мальчик лет двенадцати, белобрысый, словно его долго вымачивали в щёлоке, с нежным до голубизны бледным лицом, с большими серыми ушами, которые обычно вспыхивали, когда он начинал волноваться. Он мне подсказывает, он меня упрекает, — он, который выводит на своих холстах какую-то зелёную муть!.. Да в нём ли дело? Сколько мне ещё придётся выслушивать от других таких вот правильных, наперёд мне известных и совсем ненужных советов! Сегодня, завтра, послезавтра — без конца. А к чему?..

Верно, я странным взглядом поглядел на Гулюшкина, у него медленно налились кровью серые уши, вымоченные ресницы на голубых, как у недавно прозревшего котёнка, глазах растерянно захлопали.

Я спокойно положил грязные кисти в этюдник, осторожно отодвинул плечом озадаченного Гулюшкина и вышел не торопясь из аудитории.

Прежде чем разыскать декана, я спустился вниз, отмыл от краски руки. Мыл их долго, задумчиво, словно тщательно уничтожал следы ненавистной работы, следы своего печального заблуждения.

Ни в деканате, ни в канцелярии не уговаривали меня. Мой уход был оформлен буднично: написали справки, прищёпнули печати, заставили расписаться в каких-то книгах за полученные документы.

Жаль, не простился с ребятами, с кем бок о бок работал больше двух месяцев. Я просто забрал свой этюдник и вышел. Для того чтоб проститься, пришлось бы объяснять — почему, что за причины.

Уже несколько раз выпадал снег и таял, оголяя мокрый асфальт. В этот день он лёг, кажется, намертво.

Сложный город, нагромождение этажей, крыш, глухих кирпичных стен, стал неожиданно ясен и прост: белые крыши, чёрные стены, белая площадь и мостовые и чёрные фигурки людей на них. Чёрное и белое, белое и чёрное — никакой путаницы в цветах. Небо тоже под цвет снега белесое.

Простота города покойна и празднична, она очень нравится мне. Я не углубляюсь и не хочу углубляться в оттенки — хватит с меня и тех обычных цветов, которые видит любой прохожий. Я перестал быть художником, я стал таким, как все.

Площадь Курского вокзала. С неё я окидываю прощальным взглядом город, на который недавно глядел как на величественный мир моего будущего. Прощай, быть может, я ещё встречу с тобой другим человеком, с иными надеждами, с новыми планами. Билет уже в кармане, пора присоединяться к извечному, суетливому, жаждущему движения, ненавидящему неподвижность вокзальному племени.

Сейчас, наверное, ещё вспоминают меня в институте. Бросая из-за мольбертов взгляды на неподвижного старика с жилистой шеей, обсуждают мой неожиданный и непонятный для всех уход. Но пройдёт день, другой — и забудут. Был-де такой парень, ходил в штанах, обшитых кожей... Скорей вспомнят мои штаны, чем меня. Неглубокую же борозду оставил я в памяти своих товарищей!

Провожал меня один Юрий Стремянник Он не пошёл на лекции. Не в пример другим, ему понятна моя беда. Сейчас, пританцовывая на снегу своими стоптанными офицерскими сапожками, старается утешить, говорит с нарочитой бодростью:

— Не вешать нос, Андрюшка. Я, брат, в тебя верю. Найдёшь своё место. Это слабодушных белый свет пугает, вцепятся во что-нибудь одно, хоть с души прёт, а сидят клещом всю жизнь. Ты оторвал себя, а ведь и на эта нужна смелость.

Он-то верил, но у меня самого в эту минуту веры не было. Куда мне теперь идти? Что ждёт меня впереди? Билет взял до ближайшей к Густому Бору станции...

— Идём. Скоро начнётся посадка, — сказал я, поднимая свой чемодан.

Около вагонов, как и нужно было ожидать, толкучка. У нас обоих были крепкие плечи и фронтовые понятия о порядочности: отстаивай своё право силой.

Перебрасывая чемодан через головы людей, скучившихся у дверей вагона, мы в числе первых ворвались в вагон и заняли багажную полку, под самым потолком — лучшее место всех бесплацкартных.

Обнялись, расцеловались, потом долго стояли у окна: я в вагоне, приплясывающий Юрий на платформе, присыпанной снегом.

Поезд тронулся. Юрий Стремянник в шинели, в шапке-ушанке, махая перчаткой, с застывшей несмелой улыбкой на красном от мороза лице шагов десять пробежал рядом, отстал и исчез. Счастливцев, который будет по-прежнему пробивать дорогу к своему завидному будущему!

17

На багажной полке я отоспался за те ночи, от которых я отрывал часы для подвигов во славу изобразительного искусства.

Я спустился со своего трёхъярусного Олимпа в гущу мешков, чемоданов и уставших людей. Паренёк деревенского вида, в вылинявшей телогрейке охотно согласился занять освободившуюся после меня полку.

Я уселся напротив сухонького интеллигентного человека в высокой шапке и в пальто нараспашку. Выражение его худощавого лица не вызывало желания завести беседу. Но долг путь. Общение начинается с незначащих вопросов: «Что за станция? Сколько минут стоит? Жарковато в вагоне... Вам бы лучше снять пальто...» И в конце концов неизбежное: «Куда едете?»

И когда мой попутчик узнал, что я еду из Москвы, из института домой, он немного расшевелился, склонив на плечо голову, глядя запавшими, холодноватыми глазами, спросил с придирчивой строгостью:

— Как так из института? В самый разгар учебного года? Или дома несчастье?

— Нет, бросил институт.

— Бросили? Почему?

— Долгая история. Да и не очень любопытная.

— А всё же, если не секрет...

Потому ли, что передо мной оказался случайный человек, с которым не придётся больше встречаться, потому ли, что безделье в набитом вагоне вызывает к откровенности, а скорей всего мне просто нужно было излить душу — я рассказал этому чистенькому, чопорному человеку всё.

Стучал, скрипел, стонал старый вагон. Сверху, из-под потолка доносился чей-то невпроворот густой храп. Вокруг нас тесно сидели люди, сонно клевали носами. Два пожилых колхозника рассуждали на вечную тему: как жить? Война съела людей в деревне, бабы не справляются, урожаи низкие, хочешь не хочешь, а приходится подаваться из родного дома на сторону. Молодая женщина кормила грудью ребёнка, внимательно слушала их неторопливую беседу.

А я рассказывал и пытливо вглядывался в бесстрастное лицо моего собеседника, всё время ждал, что он оборвёт меня, скажет что-нибудь такое: «Дурак ты, братец, от добра добра не ищут. Мудришь, гордость заела, посредственным художником не желаешь быть, на великое метишь».

Кто знает, скажи он так в эту минуту, я бы, может, слез на первой же станции, на оставшиеся деньги купил билет в Москву, поехал бы обратно в институт каяться в своей глупости. Но мой собеседник лишь сочувственно покачал головой:

— Что ж, причина уважительная. Сколько вам лет, молодой человек?

— Двадцать два летом будет.

— Есть время, чтобы найти себя. Возможно, это не последняя ваша неудача. Быть может, вы переживёте ещё одно такое искушение. Если же их будет больше — берегитесь! Есть опасность стать просто неудачником. Что вы теперь думаете делать?

— Если б я знал!

— Вы, кажется, сказали, что работали в школе?

— Да, работал физруком.

— А я — директор школы. Поступайте ко мне в школу, у нас как раз нет сейчас физрука. За зиму вы присмотритесь к школе, я присмотрюсь к вам, а через год дам от-

вет, получится или не получится из вас настоящий педагог. Если да, то вы устроитесь в пединститут, а после его окончания вернётесь к нам. Кстати сказать, наша школа не из плохих, смею вас уверить в этом.

— Спасибо. Но так сразу не могу сказать...

— Подумайте. Только через три часа мы расстанемся и вряд ли ещё встретимся.

— Если можно, я запишу ваш адрес.

— Пожалуйста. Загарьевский район, средняя школа. Хрустову Степану Артёмовичу или же просто директору.

Через три часа мы расстались на вокзале. В блокноте, который был наполовину заполнен набросками голов и фигур в разных ракурсах, разных поворотах, был записан адрес этого случайного знакомого. Об этом адресе я скоро забыл, никогда им не воспользовался.

Не думал я тогда, что жизнь ещё столкнёт меня с этим человеком.

В городе у меня была пересадка. Мой поезд уходил вечером. Сдав в камеру хранения вещи, я пошёл бродить.

Не встреча ли с добрым директором заставила меня остановиться перед вывеской у подъезда, выпиравшего на мостовую: «Областной педагогический институт»...

Я стоял долго, вызывая косые взгляды прохожих. Я думал...

Прав этот директор. Впрочем, тут нетрудно быть правым. Еду в Густой Бор. А зачем? Что меня там ждёт? Снова работать преподавателем физкультуры? Ни в чужой школе, ни в своей не хочу. Сесть в учреждение, в какой-нибудь маслопром или райпотребсоюз? Нет, нет и нет! Это не будущее, это отказ от него. Всё равно придётся вернуться сюда, в этот город. А здесь имеются всего три института: лесотехнический, сельскохозяйственный и вот этот — педагогический. В своё время ты отверг все три. Теперь подумай... Почему бы и на самом деле не попытаться стать коллегой этого директора?.. Никогда не испытывал желания работать педагогом? А к чему испытывал призвание? Художник уже не получился. А ещё что?.. Пусто. А трудиться всё равно надо, всё равно придётся искать место в жизни. Сделай попытку. Вот дверь, войди в неё...

И я вошёл.

У меня были документы студента московского института. Я был фронтовиком, которым делались тогда всяческие снисхождения при приёме. Да и институты, особенно периферийные, в те годы не были перегружены.

Два часа спустя из дверей под чёрной вывеской я вышел снова студентом — на этот раз педагогического института.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Наивное детское будущее, расцвеченное всеми цветами всех материков, овеянное жарой неведомых пустынь, холодом арктических льдов, взбудораженное таинственной жизнью капитана Немо и подвигами Чапаева! Надежды детства, мечты детства, помыслы его, подсказанные и суровыми словами «Интернационала», и бесхитростными рассказами отцов! Бескрайнее, радужное, туманное море — ветер будничной жизни развеял тебя и обнажил настоящее будущее. Оно теперь совсем рядом, оно отчётливо видно, оно рассчитано, взвешено, учтено, как расписание институтских лекций на завтрашний день.

Я теперь без ошибок знаю, что у меня впереди: село или маленький городок, похожий на Густой Бор, тропинка, в течение многих лет пробитая от крыльца дома к школе, чёрная доска с куском мела и мокрой тряпкой, детские глаза, обращённые в мою сторону, рассуждения о деепричастных оборотах и сатирической стороне образа Премудрого пескаря. Дома по вечерам уютный свет настольной лампы, стопки ученических тетрадей на столе, ряды книг за спиной на шатких полочках, прилаженных к стене своими руками... Сельский учитель!

Не всем же иметь необыкновенную судьбу, какой щедро награждаются герои романов. Буду жить, буду трудиться, буду приносить скромную пользу людям. Нет причин быть недовольным. Стоит ли печалиться из-за того, что после смерти на тебя не наденут венца славы, что поэты не воспоют твоё имя? Вступай в своё будущее и живи достойно, ты — единица из сотен миллионов, человек своей страны, своего народа!

Я вошёл в институт с копной густых волос и с растерянностью в душе. Вышел из него, когда волосы чуть поредели, у глаз и на лбу легли первые морщины, плечи стали шире, походка грузнее и твёрже, а вместо растерянности — покойная до равнодушия уверенность: всё пойдёт как нужно.

За эти пять лет я оброс товарищами: и очень близкими, без всяких оговорок, и просто близкими, потому что приходилось вместе жить, койка в койку, вместе учиться. Никогда не приходили сомнения, хуже я или не хуже других. Я твёрдо знал: я такой, как все, быть может, даже лучше многих.

После того как я открыл дверь подъезда, выпирающего на мостовую, я не сделал ни одного рисунка, если не считать тех случаев, когда приходилось помогать в оформлении факультетской стенгазеты.

Как-то во время летних каникул дома, в Густом Бору, изнывая от скуки, удручённый дождливой погодой, я вышел на козий выпас и увидел мокрую, в рыжих кочках землю, сиротливо торчащие, как в те давние времена, колья поваленной изгороди, извечно серое небо — картину, полную бесконечно родной, не моей, даже не отцовской, а какой-то далёкой дедовской печали, переданной в крови от моих забытых крестьянских предков.

Тогда что-то больно и нежно повернулось у меня под сердцем — так, верно, в первый раз ощущает своего ребёнка будущая мать. Я бегом бросился к дому, я лихорадочно искал в кладовке свой этюдник, я вернулся с ним на козий выпас, открыл... И увидел, что кисти мои в засохшей коросте от красок, которыми я в тот памятный день покрывал челюсть старика натурщика. Кисти засохли, а палитра покороблена... И у меня опустились руки...

Иногда, лёжа где-нибудь на берегу реки под стогом, пахнущим до лёгкого головокружения нежными луговыми цветами, пронзительно острыми, окутанными тончайшим дурманом тления, болотными травами, я глядел, как сорвавшийся с края грозовой тучи ветер падает на реку и та свинцово темнеет от негодования. Я глядел на ту гневающуюся реку, отчаянно, в панике рвущиеся со своих мест растрёпанные берёзки, и меня охватывала тоска, оттого что кисти мои засохли, палитра покороблена.

В нашем областном городке был неплохой художественный музей. И я часто, стоя перед каким-нибудь неизвестным столнице этюдом Остроухова или Рылова, разглядывал тысячу раз виденное, тысячу раз пережитое — ту же реку, лежащую под ударами холодного ветра, злой закат, пролезающий сквозь путаницу еловых лап... Я глядел и едва сдерживал стон от нежности к тем, кто оставил мне эти вещи, от отчаянной зависти к ним, от покорной безнадежности. Что ж поделаешь, когда кисти мои засохли...

За пять институтских лет мелких событий случилось великое множество, крупных — только два. Первое — женился, второе — окончил институт.

2

Примерно на четвёртом курсе я начал остро испытывать одиночество. Да, именно одиночество неодинокое человека, который окружён кучей друзей, свободно плавал в разливанном море различных знакомств. Я часто вспоминал ту девушку — в московском метро. Где бы я ни был — на улице, на праздничных вечерах, когда к нам в институт приходили гости, на практике в школах, — я всюду искал её, вернее — похожую на неё.

Много было в нашем институте девушек, были и красивые. И всё же ни одна из них не вызывала во мне того ощущения, которое я испытал в тот памятный вечер в метро, на перегоне между «Охотным рядом» и «Красносельской». Не было той близости, идущей, казалось бы, откуда-то из второй жизни, той непонятной родственности с первого взгляда.

Эх, если бы я её встретил! На этот раз не отпустил бы так просто. Я пошёл бы следом за нею, днями и ночами сторожил бы у дверей её дома, пренебрёг бы обычными человеческими приличиями, пока не столкнулся бы с ней лицом к лицу. Нет, не бросился бы перед ней на колени, не стал бы вымаливать у неё счастья, я бы требовал его, я бы приказывал, я бы нашёл слово любви к ней! А если бы не помогло и слово, то помогло бы время. Я бы ждал, не обращая ни на что внимания, откинув всяческие предрассудки. И я бы дождался...

Это были пустые мечты. Мечты изо дня в день, из месяца в месяц. Я начал уставать от них, начал сдаваться. Я готов был пойти на меньшее счастье: встретить не совсем такую, а чуточку похожую... Только чуточку, даже этого с меня хватит.

Вечерами я часто бродил один по городу. Навстречу мне шли пары. Пары, тесно прижавшись, сидели на скамейках и не глядели на меня, но я чувствовал — ожидали, когда же этот гуляка промарширует мимо них своим ленивым шагом. Мне казалось, что я всем лишний. Бесчисленные светящиеся окна напоминали мне: там, возле каждого окна живёт обыкновенное семейное счастье. Нет сил ждать его, надо идти ему навстречу, искать его, добиваться!

Перед сессиями после лекций мы часто занимались в аудиториях, так как в общежитии было тесно и всегда шумно. Как-то раз я сидел один в пустой обширной аудитории. Кажется, штудировал политэкономия, подгонял запущенные конспекты.

Дверь открылась, вошла Тоня Рубцова, девушка из нашей группы, с безмятежно-круглым лицом, с зеленоватым кошачьим отливом глаз, от горячих щёк до упругих икр налитая тем завидным здоровьем, которым может похвастаться только искони деревенская девка, воспитанная на ржаном хлебе и сельском воздухе.

Вошла Тоня Рубцова, знакомая мне, как стена в комнате общежития напротив моей койки, на которую я гляжу каждый божий день.

— Андрюша, — сказала она своим решительным, с небольшой хрипотцой голосом, — не сможешь ли ты убраться отсюда? Нам тут насчёт новогоднего праздника надо поговорить с представителем Лесотехнического института.

Я хотел возразить, но не успел: дверь снова открылась, и на пороге выросла новая девушка.

Нет, она совсем не походила на *ты*!

Копна чёрных в мелких кольцах волос, свежие, капризным сердечком губы, белое лицо, глаза... Глаза были ярко-голубые, широко распахнутые, с наивным удивлением глядящие на всё: на меня, на мои разбросанные по столу конспекты, на чернильницу в ржавой накипи чернил, на Тоню Рубцову. Совсем мне незнакомая, ни разу мной не виденная ни в стенах нашего института, ни вне его стен.

Я сразу же прикусил язык, послушно вышел, потоптался у двери, осторожно открыл, влез бочком, пробормотал смущённо:

— Конспекты оставил...

И пока собирал разбросанные конспекты, всё время чувствовал на себе взгляд широко раскрытых, удивлённых глаз.

Я долго слонялся возле раздевалки, ждал, когда появится она. Прождал десять минут, двадцать, полчаса... И увидел спокойно идущую Тоню Рубцову, одну, без спутницы. Я решительно встал у неё на дороге.

— Где она?

— Кто? — недоуменно вскинула свои светлые глаза Тоня.

— Это ты мне скажешь: кто она, где она, откуда она?

— Ах, вот что — заело... Как наши ребята клюют на голубые глазки! Ты уже второй меня спрашиваешь. А вот не скажу, ничего не скажу! На своих девчат смотрите.

— Тонюшка, дорогая, не отпущу, клещом вопьюсь, каждый день с утра до ночи по пятам ходить буду, пока не скажешь.

— Ходи, я не против.

— Ныть буду, проклинать буду...

— Вытерплю.

— Не бери грех на душу, не буди дьявола, готов задушить с отчаяния.

— Попробуй.

— Одно слово — где она? Ведь всё равно встречу.

— Не встретишь, ушла.

— Как ушла? Через служебный вход? А пальто? На улице же зима.

Тоня рассмеялась, соболезнующе покачала головой.

— Вот как бывает. Никогда бы не поверила... Умные ребята теряют голову. В пальто же она была, в пальто! Глазки небось заметил, а пальто — нет. Натянула на голову свой беретик, и — нет её. Через служебный вход... Беги, ищи по всему городу.

Махнув юбкой, Тоня повернулась и ушла, с неприступной независимостью вскинув вверх голову.

Вечером в общежитии я лежал на своей койке, глядел в потолок и думал.

Я видел её всего каких-нибудь две минуты. Кроме глаз, широко раскрытых, чистых, голубых, глядящих на всё с удивлением, ничего не помню. Нет, помню ещё губы — яркие, пухлые, капризные. И всё-таки она меня задела за душу. Всё-таки я её ждал, думал о ней, до сих пор думаю.

А она исчезла. Мелькнула — и нет. Никогда больше не встречу, никогда не познакомлюсь, как с той, что вышла на «Красносельской». Может, пройдёт месяц, год, и я опять буду вспоминать эту, буду казнить. Лежишь, тарачишь глаза на потолок. Встань с койки, действуй!

Она студентка Лесотехнического института, она приходила к нам договариваться о совместном праздновании новогоднего вечера. В городе один Лесотехнический институт, не сто, а одна девушка приходила к нам — не прямая ли нить в руки?

Среди друзей в студенческом общежитии у всякого был особый друг — друг-избранник. Таким для меня был Павел Столбцов. Год из году койки наши стояли бок о бок, наши деньги лежали в одном кармане, у нас были общими и учебники и конспекты, были общими большие и маленькие тайны.

Павел Столбцов был рослый парень, с красиво твёрдым лицом, с густой беспорядочной шапкой русых кудрей. Во всём и всегда он был удачливее меня: готовились вместе к экзаменам — отметки он получал лучшие, тренировались к спортивным состязаниям — он выше меня прыгал, вместе подписывались на заем — его облигация выигрывала, моя нет. Он считал себя более опытным в сердечных делах, и я признавал это. Я всё рассказал Павлу, и он согласился:

— Под лежащий камень вода не течёт... — И тут же сообщил, что в Лесотехническом институте был не раз, многих там знает, разумеется, поможет отыскать таинственную студентку с голубыми глазами.

3

Лесотехнический институт — одно из самых старых учебных заведений в нашей области. До революции в большом двухэтажном здании размещалась просто школа специалистов по лесу. Теперь над двумя этажами надстроены ещё два новых; здесь множество аудиторий, узкие коридоры и более трёх тысяч студентов.

Они стоят около дверей, идут нам навстречу, обгоняют нас — ребята и девушки, девушки... Даже если я столкнусь со своей незнакомкой, не уверен, что сразу её признаю.

Я гляжу на Павла — он единственная моя надежда, мой спаситель. Но спаситель, прислонившись плечом к стене, спокойно произносит:

— Ну, ищи, чего топчешься?

Легко сказать — ищи! Я иду по коридору, заглядываю в распахнутые двери аудиторий — в каждой из них полно девушек. Дверь за дверью, дверь за дверью, а это только первый этаж. Я прошёл его, поднялся на второй. Снова дверь за дверью. Двери закрытые, двери настежь распахнутые, двери просто с номерами «20», «21», двери с надписями: «Директор», «Канцелярия»... Стоп! «Комитет комсомола». И я в отчаянии толкаю эту дверь. За ней тоже народ: два паренька и девушка за столом.

Девушка поднимает на меня (нет, не голубые!) обычные с хитринкой глаза.

— Вам что?..

И в самом деле, что мне нужно? Нужна девушка без имени, без отчества, имеющая только внешние признаки: голубые глаза и губы сердечком. Как изложить просьбу?

— У вас какое-то дело?

Я храбро надвигаюсь на стол, говорю голосом неестественно твёрдым.

— Я из пединститута. К нам вчера приходила от вас... представитель по вопросу... по вопросу проведения новогоднего вечера.

— Пожалуйста, я вам могу всё объяснить. Дело в том, что мы решили проводить Новый год только в стенах своего института. Если ваши студенты...

— Нет, мне просто нужно встретить...

— Кого?

— Того товарища...

— Какого товарища? Для чего встретить?

— Кто приходил к нам в институт. Она обещала... Обещала достать работы по педагогике одного забытого педагога. Они очень нужны нам.

— По педагогике? Какое это имеет отношение к нам? Такие работы скорее у вас надо искать.

Я делаю ещё один отчаянный нырок:

— У неё же дядя известный педагог.

— Не понимаю. У кого это «у неё»?

— У того товарища, что приходил. Беда в том, что я забыл её фамилию...

— Странно... А кто от нас ходил по вопросу новогоднего вечера в пединститут? — оборачивается девушка к своим товарищам.

Оба парня невозмутимо секунду-другую думают, и наконец один из них возвещает равнодушно:

— Круглова Ленка.

— Ах, вот оно что!.. Товарищ, у которого дядя педагог... — Хитрые глаза девушки с лукавым любопытством разглядывают меня.

А я стою, озабоченно насупившись, прекрасно чувствую, что в эту минуту моя физиономия представляет собою не что иное, как наглядное пособие для обозрения высшей степени тупости. Я стою и мысленно умоляю девушку: «Ну да, ты угадала, это не трудно. Ну да, сейчас дурак дураком, несусветная дубина. Ну, насладись поскорей моей дуростью и скажи, что мне нужно, отпусти с богом...»

— Так вот, этого товарища с удобным дядей вы сможете отыскать в седьмой аудитории на первом этаже. Да торопитесь: скоро кончится перерыв... Больше нет вопросов?

— Спасибо, — выдохнул я с облегчением и, боясь поднять глаза, шагнул к двери.

— Да не забудьте, что её зовут Лена! Круглова Лена, — раздалось мне вслед. Понеслись смех.

Я снова спускаюсь на первый этаж.

В глубине коридора, прислонившись к стене плечом, маячит фигура Павла Столбцова. Я ему делаю вялый знак: «Жди». Считаю номера на дверях: «14», «13», эта открытая аудитория, должно быть, двенадцатая... С каждой дверью — новая порция холода в грудь, от страха начинаю ощущать зуд в коленях. Вот дверь с номером семь. Я не успеваю её открыть, она сама распахивается, выскакивает какая-то девушка, бежит мимо меня.

— Простите, — пытаюсь остановить её.

Следом выходит здоровый парнище в клетчатой рубашке без пиджака, с рукавами, засученными на толстых руках.

— Простите, мне нужно видеть Лену Круглову.

Парень бросает на меня косой взгляд. И этот взгляд, полный презрения и недружелюбия, почему-то бесит меня. Страх мой проходит.

— Мне нужно видеть Лену Круглову. Не сможете ли её вызвать?

Парень нехотя поворачивает к двери голову:

— Лена. Тут к тебе пришёл... — снова свысока взгляд на меня, — один молодой человек.

Я скромно отхожу в сторонку. За моей спиной вырастает Павел. Парень с равнодушным мрачным видом, покачивая плечами, двинулся от нас. В аудитории застучали шаги, и из двери выскочила она, оглянувшись, заметила нас.

— Вы ко мне?

Какая она маленькая, по плечо мне. В полутьме коридора большие глаза кажутся тёмными, лицо бледным и худеньким. Она переводит взгляд с меня на Павла. Павел молчит, запечатлев на своей физиономии дурацкую, загадочную улыбку.

Говорить надо мне. Я церемонно начинаю:

— Простите, пожалуйста, вы, кажется, приходили в пединститут по поводу празднования Нового года?

— Да. Но мы решили, что будем праздновать по отдельности. В вашем конференц-зале тесно.

— Жаль... То есть я хочу сказать... Видите ли, многие из нас считают... Одним словом, нельзя отказываться от общения...

Девушка пожала плечами:

— Я не решаю одна.

— Я понимаю... — Но больше всего я понимаю одну страшную вещь, что мои мизерные запасы красноречия начисто израсходованы.

И тут бросается на спасение Павел.

— Все эти вечера — ерунда, — говорит он спокойно и авторитетно. — Нужна просто настоящая студенческая дружба.

— Мы живём бирюками, — подхватываю я.

— А что вы понимаете под словом «бирюки»? — недоумевает она.

— Что?.. Ну, это же ясно... Ну, не встречаемся, нет общения... Не интересуемся друг другом... Вы ведь тоже живёте в общежитии?

— Нет, я местная, живу дома.

— Вот, а мы в общежитии...

Кто знает, чем бы кончился этот «милый» разговор, если бы не зазвонил звонок, объявляющий конец перерыва. Девушка заторопилась:

— Я ещё поговорю со своими и сообщу вам.

— Ему сообщите, — подсказал Павел, указывая на меня. — Он может зайти в любое время, только назначьте день и час.

— Да, да, я зайду, — закивал я.

— Не стоит. Я как-нибудь...

— Девушка, — строго обрывает её Павел, — «как-нибудь» нас не устраивает. Нам нужно знать точно.

— Хорошо, я pošлю письмо на ваш институт.

— На его фамилию.

— Хорошо, хорошо, на его фамилию.

— Андрей, не задерживай девушку, напиши свои данные. В старых романах в таких случаях обменивались визитными карточками.

Я торопливо достал записную книжку, написал, вырвал листок.

— Хорошо, хорошо, я всё сделаю, — пообещала девушка и исчезла в дверях.

— Экий ты дурак, — поучал меня Павел по дороге в общежитие. — И чего жевал жвачку? Надо было заговорить о празднике, выразить желание прийти к ним в гости. Пришёл бы, а у тебя, кроме неё, в институте нет никого, одно это обязывало бы её к вниманию. Теперь письмо, стрельба глупыми бумажками...

4

Но я не дождался её письма.

После этой встречи у меня осталось ощущение какой-то нечистоплотности. Я имел самые чистые намерения, и в то же время я лгал, хитрил, притворялся, с дурацким видом плёл чудовищную околесицу.

Что я хочу от Лены Кругловой? Пока только одного: быть её знакомым, а там будет видно ей, будет видно и мне, во что это выльется. Почему так глупо устроена жизнь? Вокруг каждого человека какая-то невидимая броня приличия. Её нельзя пробивать прямо, её нужно обходить, обязательно скрывать свои вовсе не порочные желания, скрывать, лгать, изворачиваться?

К чёрту броню, к чёрту ложь и неуклюжие хитрости!

Я, не дожидаясь её письма, сам сел за письмо и написал всё.

«Вы меня не знаете, я Вас тоже, и тем не менее я открыто говорю Вам: хотите знакомство? Не правда ли, выглядит неприлично, не правда ли, шокирует Вас? А почему? Потому, что это навязывание самого себя. Но ведь навязывание тогда становится бременем, когда это можно почувствовать. Ни я, ни Вы не знаем, бремя ли мы друг для друга или же нечто противоположное. Давайте узнаем. Разве это не любопытно — узнать нового человека?..»

Письмо моё было длинным, негодующим и заумным. Я не получил на него никакого ответа.

И возможно, на этом и кончились бы мои настойчивые посягательства, а любовь испарилась. Но в Новый год, когда я скучал в этот праздничный день один в пустой комнате общежития, ввалился Павел. Он был в гостях у каких-то своих далёких городских родственников, по случаю праздника навеселе, и ещё от дверей я заметил его многообещающую загадочную ухмылку.

— Вот от меня новогодний подарочек тебе, — заявил он, помахивая перед моим носом бумажкой.

— Письмо?

— Какое письмо! Вот слушай... — Он прямо в пальто сел ко мне на койку и стал рассказывать: — Встретился я с одной старой знакомой. Тары-бары на три пары. Оказывается, она учится в Лесотехническом, знает твою Прекрасную Елену и, конечно, сообщила её адрес. Вот он! — Сложенная бумажка коснулась моего носа. — Но это, брат, не всё. На адресе значится: переулок Дубинский. Век не слышал. Сiju в гостях, пробую настоечку, и ударило в голову спросить, что это за Дубинский переулок, на каких он

материках? А оказывается, рядом, в десяти шагах от дверей, в которые я вошёл. Обед кончился, я вежливо удалился, а выходя, решил: дай-ка загляну в чертог Елены Прекрасной. Один этаж, второй, третий, на третьем дверь, на ней царских времён по медной дощечке надпись с твёрдым знаком: «Д-рь С. Н. Кругловъ». Нажал звонок, слышу: «топ, топ, топ». Дверь распахивается...

— Ну?

— Видение, брат! Наверно, только что от плиты: щёки горят, глаза сияют, увидела детину — приросла к полу. Глазищи вот-вот выскочат. Говорит испуганно: «У меня гости».

— Чёрт-те что, даже мне неудобно.

— От твоего имени поздравляю с праздником и заявляю: так-то и так-то, моему лучшему другу нужно вам сказать два слова, завтра в шесть часов вечера, подъезд драмтеатра, крайняя колонна от здания краеведческого музея.

— Ну?

— Она любое обещание была готова дать, лишь бы я ушёл. А тут ещё, должно быть, мамаша показала. Такая почтенная особа с седым начёсом.

— Фу! В неудобное положение ты меня ставишь.

— Неблагодарная свинья! Неудобное положение? Тебе, может, удобнее сейчас здесь лапти вдоль койки тянуть, чем сидеть у неё в гостях? Жребий брошен! Запомни: завтра в шесть, подъезд драмтеатра...

Костюм у меня был достаточно приличный, драповое пальто с накладными карманами (не в затасканной же шинелишке идти на свидание) я одолжил у однокурсника Бахвалова, кашне, бьющее в нос яркой клеткой, — у студента из нашей комнаты, славившегося своим щёгольством, он же дал напрокат перчатки жёлтой кожи.

Как никогда нарядный, с высоко поднятой головой, но с тревогой и неуверенностью в душе я ждал под огромной колонной у входа в областной театр.

Падал крупный мягкий снег. Откуда-то со стороны доносились голоса идущих прохожих, нетерпеливые гудки автомашин. Вокруг меня было тихо и покойно, на широкие ступеньки ложился снег. Квадратные часы на одной из колонн показали ровно шесть, четверть седьмого, полседьмого, семь. Мимо меня пошёл в театр народ, тишина исчезла. Давно уже опустилась темнота, а я стоял, переступал с ноги на ногу.

Сколько за это время пришло в голову высоких слов, сколько было придумано красивых, полных благородства и скромности фраз, которые бы смогли растопить любой лёд! Мощные душевные силы чувствовал я в те минуты. И всё напрасно. Нет, незачем обманывать самого себя, это не опоздание, не случайная задержка, не просто желание испытать терпение. Она не придёт.

Как чёрствы порой бывают люди. С какой лёгкостью они отказывают друг другу в мизерном внимании! Слово «чужой», — великий звериный закон выражается им. Раз ты чужой, неведомый, незнакомый, значит, ты достоин только одного — равнодушия, ты не существуешь, тебя нет на свете. А это страшнее вражды, страшнее ненависти.

Она сейчас не испытывает ни угрызения совести, ни малейшего смущения. Она просто не думает о том, что выходит за границы узкого круга семьи: есть друзья, есть знакомые — и этого достаточно. Я из большого мира стучусь, подаю голос, но вызываю вместо любопытства равнодушие, а возможно, испуг.

И во мне начала назревать решимость: пойти в самый центр её круга, пойти к ней домой и сказать всё это, потребовать ответа, видеть её при этом.

Я покинул свой пост, отыскал Дубинский переулок, поднялся по скудно освещённой лестнице, на секунду замер перед дверью с потемневшей медной дощечкой «Д-рь С. Н. Кругловъ», нажал кнопку звонка.

Мне долго не открывали. Наконец раздалась мягкие грузные шаги, щёлкнул замок.

— Кто там?

Я требовательно потянул дверь на себя, шагнул за порог.

— Мне нужна Лена.

Полная женщина с добрым, рыхлым лицом, которое облагораживали седые волосы, с недоумением и не без испуга разглядывала меня, чужого человека в приличном пальто, с ярким кашне на шее, мокрого от снега.

— Лены нет дома. Она на два дня ушла с товарищами в лыжный поход.

Я постоял молча, вздохнул:

— Что ж, нет так нет. Простите.

И полное жёлтое лицо мало бывающей на свежем воздухе пожилой женщины немного подобрело. Бледные губы чуть-чуть дрогнули в уголках:

— Откуда это вы все появляетесь?

Я сердито ответил:

— Из хаоса.

Повернулся и пошёл прочь.

5

Я стал замечать, что меня без причины недолюбливает Тоня Рубцова. Если заговариваю, отвечает холодно. Если в компании я позволяю отпустить по чьему-либо адресу шутку, она непременно заметит: «Оглянись на себя».

Как-то раз мне понадобились лекции профессора Никшаева. Они были отпечатаны на машинке всего в десяти экземплярах. Я узнал, что один сейчас у Тони, и пошёл к ней.

— Тоня, лекции Никшаева у тебя? Дай мне на денёк.

В комнате никого не было. Тоня лежала на своей койке, поджав под себя ноги, из-под юбки выглядывало её крупное, крепкое колено. При моём вопросе она опустила лицо к подушке.

— Не дам.

— Всего на день.

- На час не дам.
- Не проконспектировала? Так и скажи. Когда кончишь?
- И когда кончу, не дам.
- Это почему?
- Так, не хочу.

Она подняла лицо: глаза круглые, злые, губы плотно сжаты, ноздри вздрагивают. Я вспомнил сразу же её холодные ответы, её постоянное сердитое фырканье. Чем же я мог её обидеть?

Я прочно уселся на стул, решил всё выяснить.

- Что с тобой? Откуда у тебя злость? Женихов у тебя не отбиваю, родню твою не поносил: в чём причина?
- Много хочешь знать.
- Только то, что касается меня. Ну-ка, раскрой начистоту, что лежит на сердце.
- Вот ещё — на сердце! Ты сердечные-то разговоры оставь для той.
- Для какой это той?
- От которой голову потерял. Тоже тайна... Весь институт знает, охотничек неудачливый.

И я только тут понял, что она жестоко ревнует. Скрывать нечего, я был немного польщён этим. Разве не приятно узнать, что кто-то неравнодушен к твоей особе, неравнодушен не просто до лёгкого кокетства, а до ревности, до ненависти.

Для того чтобы установить мир, я купил билеты в театр. На этот раз я не одалживал пальто с накладными карманами и яркое кашне. В своей старой шинелишке я провёл Тоню мимо памятной колонны прямо в широкие театральные двери.

Ярко освещённое фойе заполняла нарядная публика. Все кружили парами в одну сторону, словно выполняли какую-то торжественную и в то же время скучную церемонию.

Мне всё было ново в этот вечер: и счастливо сияющие глаза Тони, в глубокой зелени которых отражались рассыпанные искорками горящие люстры, и взволнованно пылающие щёки её, и ощущение крепкого, сбитого плеча под тонким шёлком кофточки.

Тоня остановилась, чтобы без нужды поправить свою причёску. И в высоком, на полстены, зеркале я с ног до головы увидел пару — оба рослые, оба цветущие, с разгоревшимися лицами, оба смущённые. Пара несколько не хуже других пар.

Во время спектакля моя рука натыкалась на руку Тони. Тоня сначала неохотно отнимала её, но только сначала...

У дверей нашего общежития, прежде чем переступить порог, мы остановились. У Тони заиндевели ресницы, под ними в темноте глаз был страх ожидания. Я притянул её за локоть и поцеловал, а уж потом только воровато стрельнул взглядом по пустынной улице.

После этого мы каждый вечер проводили вместе. И когда Павел Столбцов несколько месяцев спустя с виноватым видом исповедовался мне, как он нечаянно встретился

с Леной Кругловой, как разговорился с ней, хвалил меня, но... «Сам понимаешь, неисповедимы пути твои, господи... Словом, мы теперь встречаемся...» — я выслушал это сообщение довольно равнодушно. Я верил, что получилось случайно, верил, что Павел хвалил меня, что вовсе старался, расписывая высокие душевные качества своего близкого друга. Но ведь в таких случаях всегда подразумевается, что качества друзей в не меньшей степени присущи и тем, чья скромность не позволяет распространяться о себе.

На пятом курсе мы с Тоней расписались. Когда весёлым мартовским полднем я шёл из загса под руку с новоявленной Антониной Александровной Бирюковой, почему-то мелькнула нелепая мысль: «А что, если б сейчас встретил ту, нет, не Прекрасную Елену, а ту, Легендарную, исчезнувшую ночью на Красносельской площади?..»

Подумал и тут же вознегодовал на себя: «Дурак! Пора бросить мальчишеские мечтания. Ты теперь женатый человек, семьянин».

6

Павел Столбцов при распределении один из всего курса попал на работу в городскую школу, поселился в Дубинском переулке у своей молодой жены. Все мы разлетелись по области в сельские школы.

Меня и Тоню направили в распоряжение Загарьевского роно.

В первый же день я был принят директором десятилетки. Навстречу из-за стола поднялся маленький, поджарый, со стройной фигурой подростка человек, протянул мне руку.

Я с удивлением глядел на него: высоко подстриженная мальчишеская причёска, при комплекции подростка — квадратное, сухое лицо властного мужчины на шестом десятке, голос с хрипотцой, очень тихий, заставляющий вслушиваться с усиленным вниманием в каждое слово, глаза же мелкие, серые, немигающие, с тем давящим холодком, который присущ начальникам, сознающим свою непререкаемую власть. Ведь я же его видел раньше, мы с ним были немного знакомы. Ну да, пять лет назад мы встретились в переполненном вагоне. Я тогда ехал из Москвы, оставив институт кинематографии и честолюбивые надежды стать художником, ехал растерянный и подавленный.

- Милости прошу, присаживайтесь.
- Вы меня не узнаёте, Степан Артёмович?

Он строго и вопросительно уставился, потом в его серых глазах задрожала искорка, но сразу же потухла. Степан Артёмович проворчал не слишком доброжелательно:

- Что-то не припомню. Не встречались ли мы с вами на совещаниях в облоно?
- Нет. — И я напомнил ему нашу встречу: — Вы ещё адрес свой мне дали.
- Ах, да, да. Вот как! — Суровые морщины обмякли на квадратном лице Степана Артёмовича. — Тот самый молодой человек, который сбежал из какого-то художественного института. Значит, вы всё-таки решили стать педагогом. Нравится? Не броситесь опять куда-нибудь в музыканты?

— Во всяком случае, институт на этот раз окончил благополучно.

— Что ж, рад с вами встретиться. Преподаватель русского языка и литературы? Так... Будете вести у нас пятые — седьмые классы. Как быть с вашей женой? Она тоже по русскому и литературе? В старших классах по этому предмету учителя уже есть. Пусть пока поработает в начальной школе. Впрочем, мы с нею ещё потолкуем. Теперь слушайте... — Степан Артёмович прочно сел за свой стол, направил на меня холодный, начальнический взгляд. — Я очень требователен к своим учителям. Я устраиваю им быт, на какой в условиях районного центра не может пожаловаться ни один работник, и уже после этого я не слушаю претензий, что трудно работать, велика нагрузка. Имейте в виду, мой молодой друг, наша Загарьевская десятилетка в области среди самых лучших. Я потребую, чтобы ваши ученики имели прочные знания. Никаких отговорок! Никаких жалоб!

Он тут же, не выходя из кабинета, в течение одного часа устроил всё необходимое, чтобы я и Тоня могли долгие годы жить и работать в Загарье.

Село Загарье... Голая река Курчавка, редкие кустики по берегам, серые глинистые обрывы и сизые песчаные косы. С одного берега на другой уставились дома с потемневшими крышами и белыми наличниками. На правом берегу в самой середине рассыпавшихся узкой полосой крыш возвышаются добротные двухэтажные дома. Здесь центр села, здесь мощёная улица, здесь мост, соединяющий оба берега.

Когда-то Загарье делилось на два села: само Загарье, где теперь все учреждения — двухэтажные дома, крытые железом, и левобережное село Дворцы.

В давние времена между тем и другим берегом существовала из поколения в поколение передававшаяся вражда. Загарьевцы прозывались свистунами, жители Дворцов — дворянами или мякинниками. Зимой в рождество или на масленицу оба берега высыпали на скованную льдом Курчавку «стукнуться стенка на стенку». Сколько черепов было проломлено, сколько крови, прожигая снег, вытекло на лёд, сколько мёртвых поднимали с Курчавки на тот и на другой берег!

Давно уже не раздаются воинственные крики: «Бей свистунов! Лупи мякинников!» Столетняя война между берегами окончилась навсегда. Вне зависимости от этой войны победил правый берег. Село называется Загарье, район Загарьевский, на картах если и можно отыскать на изгибе тонкой, как волосок, речки-безымянки точку с мушину крапинку, то и она подписана одним лишь словом — Загарье. Название Дворцы доживает свой век в обиходе.

— Куда направился?

— Да в Дворцы крайняя нужда сходить.

В Загарье одна полная средняя школа, две неполные и вдобавок к ним на самой окраине Дворцов стоит ещё начальная.

В этой единственной средней школе, самом высшем учебном заведении Загарьевского района, возглавляемом Степаном Артёмовичем Хрустовым, я и стал работать.

Степана Артёмовича знали все — от последнего мальчишки до первого секретаря райкома партии. Он с пунктуальностью автомата два раза в день в одно и то же время перед обедом и вечером на сон грядущий совершал прогулки по берегу реки от школы до моста и обратно. Когда он шагал своими скупыми, расчётливыми шажочками, прямой, с неприступно вскинутой головой, в высокой меховой шапке, то ни один человек не проходил мимо, чтобы почтительно издали первым не поздороваться со старым школьным директором. И каждому Степан Артёмович отвечал благосклонным кивком.

Когда-то он преподавал историю, но это было очень давно. Уже не одно десятилетие Степан Артёмович работал только директором Загарьевской средней. Те заботы, что другие директора улаживали с затратой всех своих сил, отчаянным расходом энергии, с убийственной трёпкой нервов, Степан Артёмович обходил одним словом, телефонным звонком, росчерком пера на коротеньком заявлении. Неблагополучно с учительскими кадрами — Степан Артёмович обращается в облоно, и всё улаживается. Необходим капитальный ремонт школы, нет ни кровельного железа, ни гвоздей, ни олифы, ни краски — Степан Артёмович, не выходя из своего кабинета, действуя только одним оружием — своим именем, находит всё, что требуется, даже, больше того, помогает роно.

Работники роно его побаивались. Учителя всех школ, как молодые так и старые, относились к нему как обычно относятся ученики к своему не в меру строгому, но справедливому наставнику. «Степан Артемыч сказал!» То, что сказал Степан Артёмович, было железным законом, требующим только беспрекословного выполнения.

Всё это я узнал позднее, когда с готовностью выполнял одно требование директора за другим, завоёвывая в его глазах авторитет и уважение.

7

По простому житейскому расчёту, что мы оба молодые, что рано или поздно наша маленькая семья непременно должна увеличиться, нам отвели не комнату — временное жильё, а полдома — две комнаты, кухню.

Во второй половине жила тоже семья учителя: Акиндин Акиндинович Поярков, преподаватель географии, со своею супругою Альбертиной Михайловной, учительницей начальных классов, кучей детей и солидным хозяйством. Весь обширный двор перед домом был застроен сараюшками, клетями, подклетями, дощатыми курятниками, в недрах которых обитали одна чёрная с белым корова, свинья, подсвинок, два петуха — вороной и бронзовый, — неизвестное мне количество несущек. Для полноты хозяйства имелся пёс с бесцветным собачьим именем Шарик, рослое, флегматичное существо, целыми днями валяющееся на крыльце, выкусывающее блох из неопрятной шерсти.

Сам Акиндин Акиндинович обладал младенчески розовой лысиной, к которой с висков и со лба тянулись склеротические вены, длинным, тяжёлым, словно клюв матё-

рого ворона, носом и лучистыми, безмятежно голубыми глазами. Он был трудолюбив как муравей. С самого раннего утра, ещё до восхода солнца, его уже можно видеть во дворе. В серой с жёванным козырьком кепке, оберегавшей нежную лысину от утренников, он что-то подколачивал, что-то обтёсывал топором, что-то разрушал, чтоб на следующее утро создать более монументальное.

Под стать ему была и жена, моложавая, румяная, полная и застенчивая, как заневестившаяся девушка. Пока Акиндин Акиндинович строил и разрушал, Альбертина Михайловна ныряла по сложным загромождениям сараюшек и клетей, давая знать о своей деятельности то возбуждённым переполохом среди кур, то лениво выходящей на свет божий коровой с выменем, освобождённым от молока.

Когда солнце поднималось над коньком нашей крыши, Акиндин Акиндинович и Альбертина Михайловна исчезали со двора, чтоб через некоторое время появиться на крыльце уже совсем в другой роли. Вместо жёваной кепки лысину Акиндина Акиндиновича прикрывала новенькая с твёрдой тульёй фуражка, под козырьком которой таили благодушную улыбочку кроткие глаза. Умытые, принаряженные, преисполненные тихого счастья, они примерной парочкой, локоть об локоть, шагали в школу.

Тоня быстро сошлась с соседями: в углу на кухне появился ушат, принесённый Акиндином Акиндиновичем, во дворе на верёвках рядом с ночными сорочками Альбертины Михайловны затрепыхались на ветру мои рубашки. Тоня, высоко засучив рукава, чистила, мыла, скребла, и её потное лицо было озабоченно-властным. Житейское безмятежное счастье, каким была богата жизнь наших соседей, охватило и её. Да я и сам чувствовал какой-то особенный покой в душе.

Маленькая комнатка с окном на огород, к которому зимой подступает девственно чистый сугроб, а летом, разумеется, всё та же картофельная ботва, — мой кабинет. В нём крохотный столик, настольная лампа с матерчатым абажуром и по стене, как я и мечтал, полки, на которых что ни день, то меньше пустоты.

В свободное от школьных тетрадей время — а его у меня не так и много — я отдаюсь семейным хлопотам. Акиндин Акиндинович советует весной купить подсвинка. Тоня решает: надо теперь думать, где поставить хлевушку. И к сооружениям Акиндина Акиндиновича прибавляется бревенчатая лачужка, крытая толем.

Иногда я коротаю досуг с моими новыми друзьями.

К преподавателю математики Олегу Владимировичу Свешникову я хожу играть в шахматы. Он меня немилосердно обыгрывает, при этом держится с корректной вежливостью.

Но ещё больше я люблю навещать нашего деда, нашего патриарха школы Ивана Поликарповича Ведерникова. Он стал учителем, когда ни меня, ни Тони ещё не было на свете. Он заслуженный, он орденоседец, перед его седой головой склоняется сам Степан Артёмович. Сухопарый, высокий, на коричневом, в крупных морщинах лице красуются седые усы — даже по своему внешнему виду Иван Поликарпович образец старого сельского учителя. Он живёт в маленьком собственном домишке, стоящем в

глубине усадьбы. В нём всегда полновесная, до звона в ушах тишина. Мне кажется, она имеет целебную силу. Стоит в этой тишине пробыть час-другой, как дневная усталость сменяется покойной ленью, иссушенный заботами мозг свежеет. Хорошо зимними вечерами пить чай на выскобленном до желтизны, простом дощатом столе и вместе с мудрым стариком проникать в величайшие секреты вселенной, секреты, ничего не имеющие общего с нашей суетливой жизнью.

У меня имелись и недруги, немного, всего один — учитель физики Василий Тихонович Горбылев. У него даже в наружности было что-то жёсткое, угловатое: сухощавый, с острыми прямыми плечами и талией, как у девушки, лицо смуглое, с хищным горбатым носом, брови срослись над переносицей, ресницы длинные, но далеко не женственные — прямые, колючие, под ними таят мрачный огонёк цыганские глаза. Даже как-то не верилось, что он родился не где-то под горячим солнцем Кавказа, а среди флегматичных северян.

Жизнь будто ничем не обидела этого человека. Со второго курса физико-математического факультета он добровольцем ушёл на фронт. Но ему не пришлось, как мне, таскать по окопам солдатскую винтовку: был направлен в авиационное училище. Штурман на бомбардировщике дальнего действия, ни разу не сбитый, чудом не раненный, увешанный орденами по всей груди, после демобилизации с распростёртыми объятиями принятый обратно на свой физико-математический факультет... И в школе он пользовался общим уважением, за какой-нибудь год или два ему удалось создать кабинет физики, который прославился по области. Сам Степан Артёмович прощает ему слишком вольные, граничащие с дерзостью выражения по своему адресу. Что ещё нужно этому человеку?

А он был недоволен всем: школой, в которой работал, директором, который снисходительно относился к нему, недоволен учителями, с кем бок о бок приходилось трудиться. Кажется, больше других он недолюбливал меня — по той причине, что ко мне благоволил Степан Артёмович. Горбылев как-то в разговоре бросил обо мне вскользь: «Новый выкормыш...» Я отвечал ему такой же неприязнью, старался не заговаривать с ним, едва-едва обменивался по утрам в учительской холодным кивком.

Но один Горбылев не мог испортить мне жизнь.

Меньше чем через год, после того как я вступил на благословенную землю села Загарья, у меня родилась дочь. Приходя с работы, я садился перед кроватью, улюлюкал, косноязычил, как все счастливые отцы в мире. Чем сильнее я уставал в школе, тем охотнее я проводил время возле дочери. Глядя на чистое личико с бессмысленными, как две пуговицы, глазёнками, я думал о том, что уже устаю, становлюсь порой раздражительным, пройдёт время — буду уставать больше, начнёт, верно, мучить меня бессонница, беспокоить печень или пошаливать сердце — стану дряхлеть. Но вот лежит здесь обновлённая моя плоть, моя кровь, с которой начисто смыты все намёки на дряхлость. Я ухажу через неё в будущее поколение, в следующий век, в нём станет продолжаться моя жизнь даже тогда, когда мои собственные кости начнут тлеть в могиле.

В нашем доме появилась новая особа — долговязая, костлявая и плечистая, как хороший мужик, бабка Настасья. Она же нянька, она же помощница по хозяйству. Настасья говорила утробным голосом, была без меры добросовестна; с её приходом наша маленькая квартирka заполнилась треском, грохотом и басовитой, словно отдалённые перекаты грома, воркотнёй. Настасья ни во что не ставила мой авторитет и признавала только мою жену.

А Тоня расцвела. Фигура её стала чуть полней, кожа белей, походка медлительней. Всё было для счастья.

8

Ничего особенного не случилось.

Утром в половине девятого я выходил из дому со стопкой книг под мышкой. В девять в школе давали звонок. Ровно через две минуты после звонка я появлялся в классе. Грохоча крышками парт, поднимались ученики. С моей стороны кивок головой, означающий одновременно «здравствуйте» и разрешение садиться на свои места.

— В прошлый раз мы проходили... — начинал я свой урок.

Итак изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год с перерывами на зимние, весенние, летние каникулы. Крыльцо дома, тропинка вдоль больничного забора, зимой протоптанная среди сугробов, поздней осенью скользкая от грязи, весной мягко податливая под каблуками сапог. Наверно, не споткнувшись, я мог бы без труда пройти с завязанными глазами: крыльцо дома, калитка, длинный больничный забор, поворот, задворки огородов, новый поворот, школа и... «В прошлый раз мы проходили...» Изо дня в день, из месяца в месяц, так идёт уже пятый год, так пойдут десятилетия до глубокой старости.

Хоть бы что-нибудь случилось, любой перемене был бы рад, любой встряске, даже самой жестокой. Я стал уставать от уроков, в самом начале учебного года уже начинал мечтать о каникулах. Порой мне казалось, что я похож на лошадь, которую заставили крутить жернова — круг за кругом, передышка, и снова круг за кругом — до тех пор, пока не сдадут силы.

Я стал как-то болезненно ощущать время. Каждый прожитый день мне казался потерей. Неужели я только для того и родился на свет, чтобы терпеливо, скучно прожить огромное количество дней, прожить и... свалиться в могилу? Только для этого? Но ведь это бессмыслица! Я не хочу такой жизни. Не хочу!..

Но я поднимался по утрам, завтракал, брал книги, покорно шагал в школу...

Ничего особенного не случилось в тот день.

До тошноты знакомая тропинка привела меня к школьному крыльцу. В положенное время раздался звонок, я вошёл в класс.

Начался урок, один из многих сотен, какие я провёл за время своей работы в Загарьевской десятилетке.

Как всегда, я долго ползал взглядом по раскрытому журналу с фамилии на фамилию: Аникин, Бабин, Белов... Класс привычно притих, класс ждал, на кого падёт сейчас жребий?

— Галя Субботина, к доске! — вызываю я и поворачиваюсь к окну, где за пыльными двойными рамами раскинулись заснеженные крыши села Загарья.

Ответ Гали Субботиной спотыкающийся и неуверенный.

Эта невысокая девчушка, с пухлым, очень беленьким лицом и апатично отвисшей розовой губкой, числится в отстающих. Она явно не знает материала. Придётся поставить ей двойку.

Галя испуганно таращит свои чёрные влажные птичьи глаза на мой каменно-невозмутимый педагогический профиль. Она не догадывается, что я, этот суровый учитель с каменным профилем, испытываю сейчас перед ней чувство беспомощности и вины. Галя Субботина не очень способная, не очень сообразительная, но и не отъявленная тупица.

Есть же учителя, обладающие таким педагогическим мастерством, что могут заставить не слишком одарённых детей, вроде этой Гали, понимать, запоминать, увлекаться материалом. Есть такие. Не может не быть! Я не сумел этого сделать. Галя Субботина ничего не вынесла с прошлого моего урока. Сейчас стоит и беспомощно таращит влажные глаза — живой мне упрёк, олицетворение моего педагогического бессилия.

Да, я во многом чувствую себя бессильным...

Каждый день проверяю знания учеников. Но на это уходит добрая четверть, а то и половина времени. А могу ли я уверенно сказать, как любой из моих учеников знает материал вчерашний, позавчерашний, третьего дня? Нет, не могу. В моём классе тридцать два человека, каждого из них я успеваю вызвать к доске и более или менее подробно опросить два, три, в виде исключения четыре раза за четверть. Два-три раза за два месяца! Чуть ли не половина учебного года уходит только на то, чтобы туманно, в высшей степени приблизительно догадываться о знаниях своих учеников. Разве это не расточительство времени, разве это не признак моего педагогического бессилия?

Я отрываюсь от окна. Галя опустила глаза, молчит — всё, что было у неё за душой, израсходовано.

Поворачиваюсь к классу и сразу же натываюсь взглядом на Аникина. Белобрысый и по-мальчишески солидный, за низенькой партой ему тесновато, из коротких рукавов затасканного пиджака вылезают ширококостные руки с плоскими ладонями. На его обветренном с жёлтым пушком бровей лице — терпеливая скука и полнейшее равнодушие к неудаче Гали Субботиной. У него уже три отметки — две четвёрки и одна пятёрка. Он спокоен: его не спросят. Почти половина класса имеет всего по одной отметке, а конец четверти не за горами.

Но вот взгляды наши встречаются, и глаза Аникина стрельнули направо, налево, смиренно опустились к парте, голова чуть подалась в плечи. Как хорошо я понимаю, что он сейчас испытывает в душе! С какой страстью он ждёт, что мой взгляд,

задержавшись на мгновение, скользнёт дальше: «Неужели догадался?.. Неужели зовет?..»

Догадаться-то не трудно. Но ты, Аникин, не подозреваешь, что мне, твоему учителю, в таких случаях невыгодно быть особо догадливым. Ты в эту четверть кандидат в хорошие ученики. Новая двойка к твоим хорошим отметкам сразу сбросит тебя в посредственные. Я же заинтересован, чтоб по моему предмету было больше хороших учеников. В этом заинтересован завуч, заинтересован и директор. Просматривая классный журнал, они, конечно, заметят: ученик Аникин сначала получил три хорошие отметки и вдруг скатился на двойку. Непременно услышу упреки, что я плохо поработал с тобой, не добился лучших показателей. Великое дело показатели! Ты, Аникин, ещё не сталкивался с ними в своей мальчишеской жизни. Вот потому-то тебе и невдомёк, что мне в равной степени неохота ставить тебе двойку, как и тебе её получать. Мне приходится быть твоим союзником, осмотровый лентяй!

— Сковорцов, помоги Субботиной.

Аникин облегчённо распускает свои плечи.

Я спросил положенное количество учеников, взглянул на часы и решил, что пора начинать вторую часть урока — изложение нового материала.

— Тема сегодняшнего урока — причастия. Причастием называется форма глагола, которая имеет свойства глагола и прилагательного...

Я рассказываю, привожу примеры, слежу за лицами учеников: понимают они или нет? Тридцать два лица — все разные.

Остренькое, с какими-то миловидно лисьими чертами лицо Серёжи Сковорцова, лучшего ученика. Оно подвижно, оно отзывчиво на слова. Стоит только повысить голос, привести неожиданный пример, как и без того его острые черты ещё больше обостряются, в беспокойно бегающих глазах появляется любопытство. Он равнодушен к любой новости; даже если этой новостью будет сообщение, что причастие есть не что иное, как форма глагола...

Лицо Сони Юрченко — широкое, веснушчатое, суровое, преисполненное какого-то внутреннего достоинства. Она учится почти так же, как Серёжа Сковорцов, тоже считается штатной отличницей. На уроках она слушает с усилием. К ней невольно проникаешься уважением — постоянное напряжение, ежесекундно собранная в комок воля, железный контроль над собой: надо слушать, не отвлекаться, сосредоточить внимание на словах учителя! Не это ли чрезмерное напряжение наложило на её веснушчатое лицо печать суровости? Я знаю, Соня Юрченко сидит над своими домашними заданиями всё своё свободное время. Крепкое от природы здоровье спасает её от переутомления. Это достойный уважения, но не очень способный человек.

Аникин Паша и его дружок сосед по парте Федя Кочкин относятся к той обширной группе, которая называется «средние ученики». Аникин расчётливее, собраннее Кочкина, редко попадает впросак; если есть точные приметы, что его спросят на следующий день, то он добросовестно всё выучит, всё выполнит. Если же узнает, что учитель огра-

ничится одной только проверкой упражнений, он не станет себя особенно затруднять, а просто спишет на перемене у товарища задание. Кочкин Федя не любит заглядывать вперёд: завтра его могут спросить, но то будет завтра, а сегодня надо жить — кататься на «снегурках», ставить в лесу петли на зайцев, просто шататься по улице. Кочкин наверняка способнее Аникина: если слушает, всегда быстрее схватывает. Но вся беда в том, что Федя не любит слушать. Сейчас при объяснении на его крепком, угловатом лице тоска, как от нудной зубной боли. Но, помнится, я рассказал подробности дуэли Пушкина, и Федя, всем телом подавшись вперёд, со страстью ел меня глазами. Федя Кочкин по успеваемости стоит на самой нижней ступеньке среди тех, кого называют «средними учениками», тогда как его друг Аникин почти рядом с «хорошими».

А вот и Лёня Бабин, личность своего рода так же заметная в классе, как и Сковорцов. Маленький, круглый, стриженный под машинку, на бесцветном, невыразительном лице — ангельское блаженство отдыха, глаза тусклы, толстые губы распухли. Он кроток, равнодушен ко всему на свете, доверчив и наивен. Несмотря на то что из-за оставаний на второй год он старше всех в классе, в это трудно поверить. Этот человек остановился в своём развитии где-то в начальных классах. С ним учителя возятся больше, чем с кем-либо, оставляют после уроков, чуть ли не каждый день дополнительно занимаются, придирчиво проверяют его домашние работы. Но успех не велик: Лёня учится хуже всех.

Передо мной тридцать два человека, совершенно непохожих друг на друга. Я им толкую грамматику, премудрость.

Серёжа Сковорцов давно уже всё понял. Он завертелся на месте, потом притих, склонился, изредка бросая на меня пыливый, со скрытым лукавством взгляд. Что это он там делает?.. Ах, вон что! Развязывает ленту в косе Гали Субботиной.

— Сковорцов! — останавливаю я его.

Он вздрагивает, выпрямляется, принимает вид прилежного ученика.

Вижу, как смягчилась суровость на лице Сони Юрченко, но Аникин сонно хлопает белобрысыми ресницами, Федя Кочкин с тоской разглядывает потолок.

Я кончил рассказывать.

— Кому что непонятно?

Все молчат.

До звонка две минуты. Они тягостны и для учеников и для меня самого.

— Значит, можно не сомневаться, что завтра будете отвечать на «отлично»? А ну, проверим. Аникин, скажи нам, что называется причастием?

Аникин подавленно поднимается со своего места, с тоской шарит по классу глазами.

— Причастием называется... Называется форма... — тянет он, надеясь на спасительный звонок.

Серёжа Сковорцов ёрзает на своём месте, наконец не выдерживает и подсказывает скороговоркой:

— Глагола и прилагательного свойства...

Я бросаю на него грозный взгляд.

Половина класса, если не больше, не знает. Но помочь беде я не могу. У меня план. Если на следующем уроке снова рассказывать то же самое, то к концу года у меня останется «хвост по материалу», класс не успеет закончить программу.

Большинство из тех, кто не понял сейчас, поймут дома. Кое-кого я заставлю понять на дополнительных занятиях. Для кого-то наверняка «что такое причастие» так и останется тайной. Им, не понявшим этого урока, будет трудно понять следующие. Так созревают второгодники.

Звонка что-то долго нет. Аникин бормочет про себя:

— Причастие — это форма... форма прилагательная...

А меня снова охватывает чувство беспомощности, а вместе с ним появляется и страх. Не многого же я добился этим уроком. И так изо дня в день, из года в год. Никаких побед, никаких взлётов, а значит, никаких радостей от дела, которому отдаёшь жизнь. Бездарное существование! В то время когда учился живописи, мне было не трудно разобраться, бездарен я или даровит. Там каждый день перед глазами работы свои собственные и работы товарищей. Можно в любое время сравнить и оценить каждый мазок, не спрячешь своё бессилие, своё духовное убожество. Работа же учителя не так наглядна, можно десятки лет бесславно трудиться и не оценить себя по достоинству.

Никаких взлётов, никаких побед, никаких творческих радостей — не удивительно, что жизнь кажется тусклой, утомительно однообразной. И никто в этом не виноват. Никто, кроме меня самого!

Звонок оборвал мои размышления и мучения Аникина. Ребята с радостным шумом сорвались с парт.

Десять минут перерыва — и новый урок. Он будет такой же точно, как и этот. Не могу! Снова долбить то, что долбил двадцать минут назад, вчера, позавчера, третьего дня! Не могу!..

9

Этот ничем не примечательный урок был в субботу. А поздним утром воскресного дня я, праздный, плотно позавтракавший, вышел на улицу в своём новом пальто — предмете долгих обсуждений и расчётов с Тоней.

Укатанная санями дорога глянцеви́то блестела, занесённые снегом кусты и деревья за дощатыми заборчиками разукрасили село морозным кружевом, из труб тянулся вверх пепельно-тёплый дымок. Сейчас только-только начинает проявлять свою силу зима.

А я уже жду тех дней, когда с весёлым упорством станут рыть землю ручьи, покажутся углисто-чёрные, упившиеся влагой горбатые грядки на огородах.

Быть может, во мне сказывается та древняя крестьянская любовь к весне, когда считалось, что зима страшна, пережить её — подвиг, что тепло, очищающее землю от снега, её, землю-кормилицу, — спасение, счастье, жизнь! Для меня кажется дикостью, что кто-то может больше весны любить, скажем, осень. Ту осень, которая предвещает зиму с её уничтожающими всё живое холодами. Даже Пушкин, воспевающий «унюлую пору, очей очарованье», в этих случаях чужд мне.

Но теперь весну я люблю ещё и потому, что она обещает мне летние каникулы — законный отдых, когда имеешь право по жгучей росе спешить с удочками на реку, бродить по лесу с корзинкой, читать книги, какие подвернутся под руку, быть свободным от ежедневных уроков, от опостылевших ученических тетрадей.

Я неторопливо шёл по зимней улице, со стороны поглядеть — благополучный, довольный собой. А мне в этот момент припоминалась другая прогулка...

Городской вечер поздней осени, мелкий липкий дождь, маслянистые отсветы фонарей на мокром асфальте. Я, съёжившийся в своей солдатской шинелишке, бухая по асфальту тяжёлыми сапогами, спешу к вокзалу. Только что видел девушку, она испуганно постукивая по мокрому асфальту каблуками туфель, скрылась в темноте. Я иду один среди равнодушного и по-осеннему неуютного города, едва сдерживаю себя, чтобы не кричать от отчаяния: «Я неудачник!» Черно моё будущее, как это вечернее небо, сеющее противный дождь на каменный город. Художник без таланта, гражданин, которому отказано в самом важном — быть полезным людям. Неприглядное существование ждёт впереди. Ломай жизнь, пока не поздно, ломай без жалости!..

Теперь я неторопливо вышагиваю — не студентка в обтрёпанной солдатской шинелишке, не одинокий, затерянный среди безбрежного города прохожий, — я солидно выгляжу, меня все знают, здороваются со мной с должным уважением. И утро сегодня славное: лёгкий морозец, вялое солнышко просачивается сквозь тонкие облака. Но забытое отчаяние, панический страх перед будущим вновь накапливают в душе.

Тогда я нашёл в себе силы, без жалости, круто переломил жизнь. Случайно подвернувшийся подъезд пединститута направил меня по новой дороге.

Я с ужасом бежал от того, чтоб не стать бездарностью, надеялся, что наконец-то отыскал себе место, пусть скромное, без славы, без почестей, но место, где смогу быть полезным людям. И вот теперь я снова убеждаюсь: нет, не убежал от собственной бездарности. Нельзя закрывать глаза!

Простая и жуткая арифметика приходит в голову. Урок — сорок пять минут. По десять, по пятнадцать учеников не уносят никаких знаний с моих уроков. Если сложить все потери вместе, то на каждом моём сорокапятиминутном уроке для людей, для общества, которому я служу верой и правдой, пропадает от семи до одиннадцати часов. За мой рабочий день потери нужно считать сутками. За всю мою непродолжительную работу в Загарьевской десятилетке пущены на ветер годы и годы. И если я дальше стану работать так, как работаю сейчас, то целые человеко-столетия по моей вине будут украдены у детей. Столетия!.. Страшна деятельность учителя-

подёнщика. Воинствующая бездарь в искусстве, пожалуй, не принесёт столько вреда людям.

Рослый, массивный в своём новом добротном пальто, с независимо поднятой головой, уверенной поступью я двигаюсь по селу — воплощённая уравновешенность, наглядное благополучие. И никто из встречных, с которыми я здоровался как подбавляет доброму знакомому, не догадывается, что происходит у меня в душе.

Неужели кисти мои засохли?.. Неужели мне снова придётся ломать жизнь? Невозможно это! Искать новое место, снова учиться и переучиваться — мне не двадцать два года, я уже обременён семьёй, я врос в школу. Не так-то просто начинать жизнь сначала. И разве можно ручаться, что снова не произойдёт такой же ошибки? Бросить школу, заняться чем-либо другим — верная гарантия стать законченным неудачником.

10

Доступный способ узнать себя — трезво, честно, без снисхождений сравнить с другими. Люди, невнимательно приглядывающиеся к окружающим, не понимают не только других, но и себя в первую очередь.

Если на художественном факультете я сравнивал свои работы с работами своих товарищей, то теперь решил с пристальным вниманием присмотреться к урокам учителей нашей школы.

Во всём районе самым старым, а значит, и самым уважаемым учителем считался Иван Поликарпович Ведерников. Он больше сорока лет преподавал в школе.

Олег Владимирович Свешников, преподаватель математики в старших классах, выступал с докладами на семинарах учителей в области.

Учительница химии Евдокия Алексеевна Панчук славилась своим запальчивым вдохновением на уроках.

Много говорили об уроках физики, которые проводил Горбылев Василий Тихонович.

И вот в свободные часы я стал кочевать из класса в класс, с ревнивым вниманием слушал, как преподают другие.

Уроки Ивана Поликарповича, нашего школьного патриарха, были бесхитростно просты. Внешне всё как в инструкциях, как в методических письмах, которые щедро нам присылались из облоно. Я тоже добросовестно придерживался инструкции, и тем не менее ученики слушали Ивана Поликарповича гораздо внимательнее, чем меня. Он преподавал историю. А походы Александра Македонского или восстание Спартака всегда воспринимаются с большим интересом, чем рассуждения о деепричастных оборотах. Сказывалась и многолетняя практика. С добродушно-хитроватой улыбкой в нужный момент Иван Поликарпович бросал какой-нибудь исторический анекдот: «А вот у Александра Македонского был конь...» И все до единого в классе настораживались: «А ну, что за конь?..» Кому не любопытно! Самый вид Ивана Поликарповича,

внушительно высокого, насмешливо спокойного, украшенного благородной сединой, заставлял уважительно относиться к тому, что он говорит.

У Олега Владимировича строго рассчитана каждая минута, точные, выверенные, суховатые изложения и основа основ — непреложный закон: не усвоив вчерашнего материала, ни в коем случае нельзя слушать сегодняшний урок. Для повторения не жалеть времени. Серьёзность и терпение, ещё раз терпение — ничем другим, а только этим брал Олег Владимирович.

Евдокия Алексеевна, полная, низкорослая, с подвыщипанными бровями, очень заурядная на вид женщина в тёмно-синем костюме, который стал чуть ли не униформой для сельских учительниц, со страстью и запальчивостью любила свой предмет. У неё ни особых подходов, ни точно разработанных планов, ни расчётов во времени, а просто страсть — буйная, напористая, ошеломляющая ребят. В школе с улыбкой передавали, что как-то, рассказывая о таблице Менделеева, Евдокия Алексеевна в горячах вскочила ногами на стул и, возвышаясь над изумлённым классом, громоподобно ораторствовала. Тут уж волей-неволей будешь слушать даже тогда, когда речь учительницы непоследовательна, растрёпанна, хаотична.

Но больше всех меня поразил урок Василия Тихоновича...

Степан Артёмович и его правая рука, наш завуч Тамара Константиновна, рослая, полнотелая, с тяжёлым пучком волос на твёрдой шее и горделивой выправкой римской матроны, в один голос заявляли на педсоветах, что я достойный подражания учитель. У меня при проверках оказывались самые добросовестные планы, без напоминаний, в нужный срок я представлял обстоятельные отчёты, никогда не жалел своего времени, занимался после уроков с отстающими, и количество «двоечников» по моим предметам не превышало допущенной нормы. Василий же Тихонович отчёты подавал с запозданием, планы уроков подсовывал такие, от которых Тамара Константиновна морщила своё белое лицо:

— Что вы тут понаписали? Вы читали методическое письмо, которое мы недавно получили?

— Прошу прощения, не мог осилить, — дерзко отвечал физик.

Ему прощали дерзости, но не выражали к нему и особого расположения. Я был на виду, Василий Тихонович ходил в непризнанных. Мы не испытывали друг к другу особых симпатий.

Василий Тихонович не произнёс обычных слов: «В прошлый раз мы проходили...» Он никого не вызвал к доске, молча расставил на столе спиртовку, металлическую подставку, стаканчик, поднял голову и начал урок как-то в лоб, с неожиданного вопроса:

— Шофёр оставил на морозе свою машину, ушёл спать и не слил воду из радиатора. Кто скажет, что может случиться с машиной?

Несколько рук поднялось над партами.

Вместо обычного преподавания, когда учитель рассказывает, а ученики чинно слушают, между ними и учителем начался разговор. Никаких изложений, только во-

просы, простые, житейские. Кто из ребят не интересовался машиной, кто из них не крутился вокруг шофёров! Замерзающая вода разрывает чугунную рубашку мотора — это так понятно, что не надо заставлять себя слушать. Идёт беседа.

Василий Тихонович, высокий, узкоплечий, со смуглой кадыкастой шеей, направляя свой горбатый нос то в одну, то в другую сторону, неистощим на неожиданные вопросы:

— А что, если вместо воды налить в радиатор парафин, из которого делают обычные свечки? Разорвёт он или не разорвёт радиатор на морозе? Кто скажет?

Я бы сам не сумел ответить, что случится, если в радиатор машины налить расплавленный парафин и дать ему замёрзнуть.

— Васильева, к столу! Расплавь парафин и остуди. Может, твой опыт поможет нам решить этот вопрос. Занимайся, а мы тем временем вспомним, что проходили на прошлых уроках.

Васильева возится у стола, в классе начинает пахнуть оплившей свечкой. Василий Тихонович продолжает бросать вопросы.

Я сидел и испытывал чувство, похожее на то, какое появлялось у меня, художника-неудачника, перед развешанными по стенам музеев закатами Рылова, сумрачными этюдами Остроухова. Всё просто, всё понятно, но почему сам я не могу этого сделать? И досада, и горькая зависть, и страх за самого себя: кисти мои засохли...

11

Я бросился спасать самого себя. Те дни, когда я писал натюрморты, составленные из консервных банок и луковиц, не научили меня живописи, но, должно быть, приучили к усидчивости. Через межбиблиотечный абонемент я выписывал книги: Ян Коменский, Гельвеций, Ушинский. Я ворошил педагогические журналы, исписывал толстые тетради выкладками, конспектами, собственными соображениями.

До сих пор я считал себя знающим педагогом: как-никак окончил институт. Теперь же моим институтским профессорам, некоему Никшаеву и его вечному оппоненту Краковскому, наверно, частенько икалось. Какого чёрта эти два эрудита в течение нескольких лет переливали передо мной свои собственные пустопорожние идейки! Почему они не ознакомили меня с тем немногим, что делается у нас сейчас в педагогике? Мне теперь приходится прерывать целые кипы журнальных статей, чтобы толкнуться на что-либо полезное. И я рылся с упрямством человека, видящего в этом своё спасение.

Всё можно узнать. Секретов нет. Но не существует ли в педагогике, как и в живописи, особого таинства, недоступного мне?

На затянувшихся педсоветах, по дороге из школы к дому, ночью в постели я постоянно обдумывал: с какой стороны подступиться к объяснению каких-нибудь прилагательных, пишущихся через два «н», как рассказать о них, чтоб все до последнего

ученика в классе не отвлекались, а с жадностью слушали меня? Каким неожиданным приёмом, чем привлечь их внимание?

И вот однажды ученики шестого класса «А» были несколько озадачены началом урока. Вместо того чтобы приняться за обычное скучное объяснение, я, ни слова не говоря, росчерком мела разделил доску на две части. На одной стороне написал громоздкое «А», на другой вывел «О», по размерам не уступающее велосипедному колесу. И даже вялый, ко всему равнодушный Лёня Бабин поднял свои сонные веки, склонив стриженую голову на плечо, раскрыв рот, уставился на доску. А я с самым невозмутимым видом уселся за стол, произнёс:

— Серёжа Скворцов, выйди к доске.

В тесной форменной гимнастёрке, надо лбом торчит белобрысый вихор коровьего зализа, Серёжа, всеми признанный отличник, неуверенно вылез из-за парты. На его подвижной остроносой физиономии можно прочесть целую гамму переживаний: любопытство — что всё это значит, настороженность — нет ли со стороны учителя какого подвоха, затаённое самодовольство — вызывают-то его, лучшего ученика, — значит, сложное дело.

— Напиши, Серёжа, внизу под буквой «А» такие слова: *издавна, издалека, досуха, докрасна, слева, сначала...*

Застучал мел. Напряжённо склонив тонкую шею с трогательной косицей волос в ложбинке, Серёжа торопливо выводит слова.

— А сейчас внизу под «О» — *вправо, влево, наново, набело, насуха...*

Серёжа пишет, а класс молча ждёт. Федя Кочкин, окаменевший в тоскливой неподвижности в те минуты уроков русского языка, пока не приходилось самому браться за ручку, сейчас навалился грудью на парту, сдержанно поблёскивает глазами.

Слова написаны, Серёжа вопросительно повернулся ко мне: что дальше?

— Теперь все присмотритесь к словам и скажите, почему одни слова написаны под буквой «А», другие под буквой «О»?

Класс смотрит на доску, класс молчит. Мне даже кажется, что я слышу, как вразнобой дышат эти тридцать с лишним человек. Широкое, веснушчатое, с суровой *сосредоточенностью* лицо Сони Юрченко, наивно недоуменное — Гали Субботиной, выжидающее — Паши Аникина, осоловело помаргивающее ресницами — Лёни Бабина. Все решают несложную задачу. Если мне просто, без обиняков сказать — потому-то и потому-то, то ученикам ничего не останется, как только поверить на слово и постараться запомнить. Но если своими усилиями открыть загадку, то после не нужно убеждать: что, как, почему. Проявляется активность, приложены пусть небольшие, но свои усилия, знания сразу становятся как бы своей собственностью.

А в конце урока диктант, похожий на игру. Я читаю маленькое описание утра в горах: «Слева поднимаются тёмные скалы, кажется, они наглухо закрывают путь бешеной речушке...» Я читаю довольно быстро, а каждый должен записывать только наречия с окончанием на *о* и *а*. Будь начеку, не пропусти, не ошибись, не впиши непод-

ходящее слово только потому, что на конце его стоит *о*; из десятка слов, как крупницу золотиносного песка, выуди драгоценное наречие.

Я сам увлёкся, звонок застал меня врасплох. Ученики поднимались со своих мест с оживлёнными лицами, перекидывались вопросами:

— У меня десять слов. У тебя сколько?

— Я сначала в *сослепу* «а» в конце написал...

— А как писать — *с маху* или *с маха*?

Началась перемена, а ребята ещё продолжали жить уроком.

Всю эту десятиминутную перемену я ходил по учительской, поспешно затягивался папиросой. Точно такой же урок я должен провести сейчас в другом шестом классе, зуд нетерпения охватил меня.

Именно во время этой перемены я впервые почувствовал, что есть, оказывается, особое наслаждение в том, что ты сообщаешь новость. Пусть эта новость будет всего-навсего правилом правописания наречий, лишь бы она вызывала интерес. Поделиться любопытной новостью — всё равно что поделиться маленькой радостью. Разве не радость чем-то обогатить человека?

Весь день после этих уроков я испытывал праздничное настроение. То, что я сделал сегодня, не открытие неведомого, не новый шаг в педагогике, нет, этим приёмом давно-давно пользуются учителя, он даже имеет учёное название — *эвристический приём*. Я по своему невежеству раньше не знал о нём, теперь воспользовался чужой находкой, и всё-таки у меня маленькая, никем не замеченная победа. Для моих учеников сегодня случайно выдался нескучный урок; они, наверное, не надеются, что все уроки станут такими же. Я тоже не слишком обольщаю себя надеждами. Даже в живописи у меня случались удачи. Помню портрет девушки в бирюзовом платье, помню похвалу профессора: «В вас чёрт сидит, Бирюков!» Но я помню и катастрофу после этой похвалы. Не следует излишне радоваться, но и опускать руки не стоит: «Не боги горшки обжигают». Сделал маленькое дело, завтра попробуем сделать что-то более значительное.

12

Без особых событий прошёл год.

Серёжа Скворцов, Соня Юрченко, Федя Кочкин, Паша Аникин перешли из шестого класса в седьмой. Удалось перетащить сквозь весенние экзамены и осенние переэкзаменовки даже Лёню Бабина. Я их классный руководитель. Наступила шестая зима моей работы в Загарьевской десятилетке.

Проводил уроки, среди учителей в учительской поддерживал разговоры об успеваемости, о погоде, о новой кинокартине, гулял, обедал, обсуждал с женой хозяйственные заботы, а в то же время где-то между этими будничными делами не переставал обдумывать своё сокровенное.

Если б посторонний человек смог проникнуть в это сокровенное, он, наверное, с недоумением бы пожал плечами: экая скука, обсасывает материал о каких-то там второстепенных членах предложения! Профессиональное помешательство, не иначе.

Смутные мысли, догадки, соображения, копившиеся в течение дня, я собирал для вечера. А вечером садился за стол, зажигал лампу, и тут начиналась работа, которую я не могу назвать другим словом, как лабораторная. Вытаскивались справочники, книги, учебники, детские сочинения, старые записи, начиналось сопоставление, сравнение — начинались поиски. Смутные догадки приобретали какую-то зримость, соображения превращались в строго рассчитанные планы будущих уроков. Настольная лампа под абажуром из вылинявшего голубого шёлка освещала заваленный книгами и бумагами стол, в щербатом блюде, служившем мне пепельницей, росла куча окурков, за чёрным запотевшим окном, небрежно задёрнутым занавеской, слышался смех девчат, возвращающихся с танцульки из Дома культуры, приглушённый лай собак, громыханье грузовика, поторапливаемого спешащим к ночлегу шофёром. А я наедине с собой сочиняю самую увлекательную повесть — повесть о том, как мне прожить своё завтра.

Момент, когда я переступил порог пединститута (случайно переступил!), не сделал меня педагогом. Не стал им я после пяти лет учёбы в институте. Больше четырёх лет я преподавал детям, называл себя учителем, писал в анкетах *педагог*, думал, что я люблю свою профессию, но нет, я не был ещё настоящим педагогом. Я теперь начинаю постепенно становиться им.

У меня появился свой стиль, своя манера в работе. Я и класс — две стороны в разговоре. Темой такого разговора могут быть и причастия, и характеристика Троекурова из повести Пушкина «Дубровский», всё что угодно. Я запевала, я собеседник, я направляю разговор... Вопрос за вопросом, от простых к более сложным. Подталкиваю на догадки, заставляю соображать, расширяю эти догадки, углубляю размышления, и незаметно класс приобретает новые знания.

Прежде я не чувствовал себя одиноким: знакомых — полсела, почти со всеми учителями в приятельских отношениях, с Тоней жил в добром согласии, как и полагается хорошему семьянину. Но в последнее время я всё сильнее и сильнее стал ощущать: не хватает друга. С кем поделиться? Иван Поликарпович может лишь снисходительно выслушать, похвалить, посетовать, что время его прошло. Мне у него учиться нечему, а ему у меня поздноват, да и, пожалуй, зазорно. Не получалось разговора и с Олегом Владимировичем. Он слишком был уверен в том, что работает как надо. Единственно, кто мог бы стать моим товарищем, был Василий Тихонович. Но он держал себя заносчиво, а я не привык набиваться на дружбу.

Казалось, кому ещё интересоваться моей работой, как не Тоне? Она — самый близкий мне человек, она тоже преподаёт в школе. Но, может быть, сказывалось влияние Акиндина Акиндиновича или же натура выросшей в крестьянской семье девчонки давала себя знать, так или иначе Тоня была слишком увлечена бесконечными заботами об устройстве нашего маленького хозяйства. Должен быть запас дров во дворе, погреб

набит картошкой, в сарае ухоженный поросёнок, в комнатах чистота — тут Тоня и энергична и осмотрительна, по-своему умна и даже талантлива. Возле Тони удобно жить, но как требовать интереса к моим делам, когда она и свои-то школьные обязанности выполняет в промежутках между хлопотами по дому. Присядет над книгами, переберосает из одной стопки в другую тетрадки и снова сорвётся на кухню или во двор.

Я учитель, моё призвание учить, передавать то, что знаю, а тут я не могу высказать, чем живу, что волнует... Ни высказать, ни посоветоваться, ни поспорить.

13

До сих пор завуч Тамара Константиновна была довольна мною. Но вот я стал преподносить ей вместо обычных планов те записи, над которыми трудился по вечерам, — каждый раз несколько страниц, убористо исписанных вдоль и поперёк, со сносками, со вставками, с ссылками на те книги, какие не читала и не собиралась читать Тамара Константиновна. Она листала мои тетради, морщила свой белый, по-девичьи гладкий лоб, спрашивала:

— Это что же такое?

— То, что вы требуете, — план урока.

— Одного?

— Одного урока.

Тамара Константиновна снова вглядывалась в мои тетради, снова морщила лоб.

— Гм... Дурную манеру Горбылева переняли. Нельзя ли как-нибудь попроще составлять планы?

— Проще не получается.

— Мудрите, Андрей Васильевич. В прошлом году вы всегда отличались аккуратностью, я вас постоянно ставила в пример. Мудрите...

Она перестала ставить меня в пример.

Я уже не обращал внимания на внушительное слово *показатели*, но меня вызвал для конфиденциального разговора Степан Артёмович.

Он сидел за своим директорским столом, маленький, прямой, в меховой душегрейке (чтоб не продувало от окна спину), на лице знакомая непроницаемость, костлявый кулачок лежит на моих тетрадях, которые передала ему Тамара Константиновна.

— Андрей Васильевич, — начал он, как всегда, тихим голосом, заставляющим уважительно вслушиваться в каждое слово, — я ознакомился с тем, как вы готовитесь к урокам. Похвально... Да, похвально, что вы стараетесь оживить своё преподавание. Но... Вы хмуритесь, вы не ожидали этого *но*?.. Так вот, *но*, уважаемый Андрей Васильевич, чрезмерное оригинальничанье в преподавании может дать нежелательные результаты. Я старый педагог и, поверьте, знаю, что часто в угоду живости и образности при обучении приходится поступаться обычными трудностями. А учёба, как бы вы ни старались её разукрасить, была, есть и останется не чем иным, как трудом, причём не

лёгким трудом. Те, кто говорят, что знания — сладкий плод, благородно лгут. Знания — горький корень. Подслащайте этот корень сколько вам угодно, старайтесь вести уроки по возможности живо, но не в ущерб знаниям, не пугайтесь, что детям будет трудно.

— Стараюсь преподносить те же знания, но иными путями, более доходчивыми. Это ничего не имеет общего с подслащением горького корня, — возразил я.

Степан Артёмович выдвинул ящик стола, вынул оттуда бумагу, по-стариковски отвёл её от глаз на вытянутую руку:

— Судя по отметкам, успеваемость по вашим предметам несколько снизилась. Это не тревожит вас?

— Я теперь подхожу к ученикам с более высокими требованиями.

— Вы знаете, что я всегда был сторонником требовательности. Ваша прежняя требовательность меня удовлетворяла. А сейчас... сейчас я, глядя на отметки, выставленные вашей рукой, начинаю терять ориентировку: верить ли вам на слово, что вы не подведёте школу, или же сомневаться?

— Я могу уверить вас только в одном, что теперь даю знания глубже, шире, разностороннее, чем давал до сих пор. Посетите мои уроки, может, они убедят вас.

И Степан Артёмович поднялся со стула:

— На уроках у вас непременно побываю. Впрочем, по этим записям, — он похлопал ладонью по моим тетрадям, — я уже представляю ваши уроки. До поры до времени я постараюсь во всём добросовестно верить вам. До поры до времени... Точнее — до экзаменов. Они покажут... — Он протянул мне свою сухую руку.

Меня встревожил этот разговор: экзамены покажут... Правда, до экзаменов ещё очень далеко, началась только вторая четверть, впереди вся зима, весна. Сколько воды ещё утечёт до середины мая! Но я знаю Степана Артёмовича, он никогда и ничего не забывает. Так ли уж уверен я в своих учениках? Уверен! Но мало ли что может случиться! Бросил вызов Степану Артёмовичу, — значит, учитывай теперь всё до последней мелочи.

Я по-прежнему засиживался по вечерам за полночь, только стал более придирчив к мелочам, больше задавал на дом, оставлял после уроков. Впрочем, этим в стенах нашей школы никого не удивишь.

Акиндин Акиндинович Поярков, мой сосед по дому, — добрейший от природы человек. Но что делать, если его уроки географии скучны, а Степан Артёмович и Тамара Константиновна требуют высокой успеваемости, постоянно напоминают о том, что наша школа одна из лучших в области, что нужно дорожить её честью? И добрейший Акиндин Акиндинович становится безжалостным: он старается задавать побольше на дом, строже спрашивать, того, кто не сумел выучить, оставляет после уроков. Уж этого нерадивого, не жалея ни труда, ни времени, Акиндин Акиндинович прощупывает со всех сторон, заставит выполнить задание, задаст дополнительно. Не хотел быть добросовестным, получай — шесть часов в школе, два часа после того, как остальные отправятся по домам, да не забудь выполнить и то, что задано на следующий день, если не хочешь снова и снова оставаться под особым наблюдением.

Почему я должен отставать от Акиндина Акиндиновича, выслушивать за это нарекания директора?

В седьмом классе «А», где я был классным руководителем, училась Аня Ващенко. Как все болезненные и не по возрасту высокие девочки, она была застенчива. Чувствовалось, что постоянно помнит о своей долговязости, об остроте локтей, о худобе ног — ходит сутулясь, на переменах держится подальше от шумной возни.

В прошлом году Аня тяжело переболела ревмокардитом, пропустила несколько месяцев, была переведена без экзаменов, весь сентябрь, начало учёбы, провела с матерью на курорте.

Этого уже достаточно, чтоб оказаться под железным законом Загарьевской десятилетки: послеурочные занятия, домашние задания и ещё раз домашние задания. Кроме того, она дочь секретаря райкома партии. Степан Артёмович щепетилен в вопросах чести: её отец обязан почувствовать, что район, которым он руководит, по праву гордится своей десятилеткой. Разумеется, никаких поблажек. Только трудом Аня Ващенко обязана занять место среди успевающих учеников.

На Аню набросились учителя. Она уже начала получать четвёрки и пятёрки. Всё шло хорошо, и вдруг...

Это случилось на моих дополнительных занятиях. Аня, сидевшая на первой парте, записывавшая под мою диктовку упражнения, уронила ручку, выпрямилась и схватилась за грудь. Лицо её посерело, глаза выкатились, открытый рот с усилием хватал воздух. Прозвенел тоненький жалобный стон, прозвенел и оборвался...

Я бросился к ней:

— Что с тобой?

Она мяла кофточку на груди, глядела страдающими глазами...

Срочно вызвали по телефону врача. Через час Аню унесли из школы домой на носилках.

14

На другой день к Степану Артёмовичу пришла мать Ани. Я совершенно случайно появился у директора, когда разговор был уже в разгаре. Степан Артёмович за своим большим тёмным старинным столом был, как всегда, непроницаемо спокоен, только вздёрнутая вверх правая бровь выдавала сдерживаемое раздражение.

Мать Ани, в белом пуховом платке, оттенявшем свежее, очень миловидное лицо, стояла перед директором выпрямившись, говорила чистым, звонким, с нотками негодования голосом:

— Я на протяжении полугода следила за тем, как вы учите детей. Нравится вам или нет, а выслушайте моё мнение. Не говоря уже о том, что вы требуете от учеников каторжной трудоспособности, у вас учёба заслоняет для детей всю жизнь, всю без остатка!..

— Надеюсь, вы не возражаете, что главное в жизни детей школьного возраста — это учёба, почти так же, как главное в жизни новорождённого — сосать грудь матери, прибавлять в весе и чувствовать себя здоровым.

— Но ведь вы же сами своей учёбой уничтожаете любовь к учению. Учёба с надрывом сил, учёба, притупляющая все интересы! Если пользоваться вашими же сравнениями, то вы напоминаете ту мать, которая в своей чрезмерной любвеобильности перекармливает младенца, портит его пищеварение, вместо здоровья награждает опасными недугами.

Бровь Степана Артёмовича упала, глаза сумрачно уставились на молодую женщину.

— Сколько вам лет, простите за нескромный вопрос? — спросил он.

— Лет? При чём тут мой возраст? Но раз это вас интересует, могу удовлетворить любопытство: тридцать четыре.

— А мне пятьдесят девять, уважаемая... э-э... Валентина Павловна. Из этих пятидесяти девяти я тридцать пять работаю в школе. Я начал заниматься воспитанием детей, когда вы ещё не появились на свет. Через ваши руки прошёл всего-навсего один ребёнок, через мои — затрудняюсь подсчитать — что-то порядка нескольких тысяч. Так вот, уважаемая... э-э... Валентина Павловна, разрешите мне в моём деле доверяться своему, да, своему, а не вашему опыту.

Степан Артёмович поднялся, маленький, с коротко подстриженной седой головой, с утомлённым, непроницаемым лицом.

Щёки женщины вспыхнули, она торопливо принялась натягивать перчатки, с ещё большей дерзостью ответила:

— Мне кажется, тридцать пять лет назад вы, к сожалению, сделали первый шаг не по той дороге. Разумеется, вам после такого долгого пути трудно сворачивать куда-то в сторону, искать новый путь.

— Не тот путь? — Степан Артёмович выпрямился, его лицо залила желтизна, жёсткие морщины проступили отчётливее, сдерживаемый давно гнев прорвался наружу. — Мой путь неправильный?.. Потрудитесь оглянуться, товарищ Ващенко! Потрудитесь взглянуть на эти стены...

Кабинет Степана Артёмовича был своего рода школьным музеем, хранилищем реликвий Загарьевской десятилетки. На стенах висели фотографии, письма в застеклённых рамках, обширная карта Советского Союза.

— Взгляните сюда! Видите эту фотографию? Не кажется ли вам, что у этого молодого человека честное, открытое, волевое лицо? Это Петя Добрынин, мой ученик, Герой Советского Союза. Убит под Курском... А этот подполковник, ныне здравствующий... Взгляните на его ордена. Я думаю, что они приросли к его груди не так просто, как прирастает иней к вашей шубке. Это тоже мой ученик — Вася Сиволапов. Нет, нет, вы глядите, глядите внимательней! Вот ещё скромный портрет — Толя Зубцов, химик-экспериментатор, профессор, лауреат, он тоже учился в нашей школе, под моим наблюдением. Не затруд-

нит ли вас нагнуться и прочитав это письмо? Его написал некий Костя Шорохов, ныне инженер-горняк. Прочитайте все благодарности, которые он здесь написал, прочитайте о том, как он отзывается о вашем непочтительном собеседнике. Он, по всей вероятности, другого мнения о моём пути. А карта?.. Вы видите на ней красные точки? Вы видите, что они разбросаны по всей стране от Чёрного моря до Чукотка. Киев — это Серёжа Горшеннин, Чита — Женя Курдюкова. Это ещё не все ученики, а только те, с которыми удалось связаться. А сколько потерявшихся из нашего поля зрения?.. Полюбуйтесь на моих учеников, разбросанных по разным концам земли, — врачей, педагогов, строителей, изыскателей! Учтите: они работают, не бездельничают, приносят народу пользу. Видите, сколько их! Вот мой путь! Если вы его называете не тем, каким должен быть путь честного человека, то уж, простите, я другого пути себе представить не могу.

Я наблюдал за Ващенконой со стороны. Она сосредоточенно из-под платка разглядывала фотографии, пожелтевшие от времени письма, карту, потом перевела взгляд на Степана Артёмовича и произнесла с прежней дерзостью:

— А не могло ли случиться так, что все эти ученики вышли в люди вопреки вашему желанию?

— То есть?..

— То есть из тех тысяч детей, что кончили школу, наверняка несколько десятков окажутся с особым складом характера, которых не задушишь никаким насилием. Кого-то наверняка поправила сама жизнь. А если полюбопытствоваться: сколько из вашей школы вышло тех, кто проклинает свою скучную работу, несёт на горбу унылую судьбу, заполненную лишь мелкой заботой о существовании? Даже из тех, кто отмечен на карте. Всё это, — Ващенкова обвела перчаткой стену, — вызывает уважение, но легче всего выкопать единичные примеры, вывесить их на всеобщее обозрение и умиляться от всей души.

Её дерзость обидела и меня. Не имеет права так говорить! Я, может быть, сам не во всём согласен со Степаном Артёмовичем. Но я не осмеливаюсь упрекать этого человека, всю жизнь отдавшего школе. А я днями и ночами думаю о том, как лучше учить ребят, меня-то беспокоит их судьба. Судить со стороны, бросать упрёки! Эти упрёки не пережиты, не выстраданы; перешагнув за порог кабинета, она забудет их с лёгким сердцем.

Я ждал, что Степан Артёмович обрушит на неё всю силу своего негодования, со свойственной ему жестокостью осадит эту фатоватую бездельницу. Но Степан Артёмович поступил умнее. Он просто не стал спорить, сказал с уничтожающей вежливостью:

— Я очень сожалею, товарищ Ващенкова, о том печальном событии, которое произошло в стенах нашей школы с вашей дочерью. Примите, если сможете, моё глубокое сочувствие, и давайте кончим наш разговор. До свидания.

Со стариковской церемонностью Степан Артёмович склонил голову. Ващенкова несколько опешила, потом ответила ему таким же холодным кивком, с надменным видом вышла из кабинета.

Степан Артёмович сел за стол лицом к стенам, увешанным реликвиями, так наглядно доказывавшими заслуги школы, которой он руководит много лет.

— Андрей Васильевич, — обратился он ко мне, — вам, как классному руководителю, ни в коей мере нельзя забывать Аню Ващенкова. Ходите на дом, справляйтесь о здоровье, советуйтесь с врачами. Как только врачи найдут, что ей можно понемногу заниматься в постели, организуйте занятия на дому. Будет нужно — привлечите учителей. Хотите или нет, а вам придётся наладить контакт с этой критически настроенной дамочкой.

Разговор нашего директора с женой секретаря райкома стал скоро известен всем учителям. Грешным делом, я, как свидетель, не без удовольствия освещал его подробности. Все были на стороне Степана Артёмовича, сожалеюще посмеивались над Ващенконой: тоже схватился «чёрт» с «младенцем»! Кто-то, а наш Степан Артёмович не таких осаживал, в областном отделе побаиваются ему сказать поперёк слово.

Один только Горбылев, щуря цыганские глаза, говорил:

— Девчонку-то замордовали. Мы признаём только два пути к науке: или через чашотку, или через мозоли на заднем месте. Других нет.

Наверняка эти слова дошли до Степана Артёмовича (всё, что ни говорилось в учительской, в самый короткий срок просачивалось в кабинет директора). Но Степан Артёмович даже не удостоил Горбылева словесным замечанием.

15

Я бы и сам по долгу учителя навестил свою больную ученицу, но был ещё дан и наказ от Степана Артёмовича — не оставлять без внимания. И я, сменив свой потёртый пиджак, в каком обычно появлялся в школе, на более нарядный, придав своему лицу выражение официального соболезнования, направился к дому Ващенконых. «Дамочка», наверное, не весь свой запал истратила на Степана Артёмовича. Надо полагать, что она возобновит нападение, придётся держаться с ней вежливо, корректно, не роняя достоинства и в то же время осмотрительно.

Не одно поколение загарьевских секретарей райкома прожило в небольшом домишке, отделённом от пыльной центральной улицы толщей сосен районного парка. Ващенко, появившийся в Загарье года три тому назад, отказался от этого обжитого семьями предыдущих секретарей уютного уголка (там разместил детские ясли) и поселился в большом двухэтажном доме, где квартировали служащие, начиная от кассира сберкассы старика Мурогина, кончая заведующей роно Коковиной, нашей всеобщей школьной начальницей. Дом этот выходил своими казёнными широкими окнами прямо на бульжную улицу, большой двор сбоку у дома был забаррикадирован разнокалиберными поленицами, среди которых с утра до вечера кричали дети.

Широкая и, как следовало ожидать для такого многолюдного дома, не слишком чистая лестница привела меня к двери, обитой новым дерматином.

— Да-да, войдите.

В тесной прихожей, где одна стена отягощена висящими шубами и пальто, на узком деревянном диванчике лежит ворох чистого белья, ещё ломкого, угловатого, расширяющего вкусный морозный запах. Хозяйка тоже только что с улицы, круглое лицо разругано, на волосы наброшен платок, на ногах валенки, невысокая, в меру плотная, с лёгким намёком на полноту, да при этом ещё запах выстиранного белья, — так и просится на язык простодушное слово *молодуха*, вот-вот кажется, засовестится, по-деревенски прикроет рот концом платка, опустит веки. Совсем не похожа на ту франтоватую, что дерзко стояла перед Степаном Артёмовичем в его кабинете.

Но только секунду держалось это обманчивое впечатление. Лёгким движением она сбросила платок на плечи, свободный, уверенный поворот головы, спокойный взгляд серых в синеву глаз — нет места простодушию, передо мной человек, сознающий своё достоинство.

— Здравствуйте, Андрей Васильевич. — И голос её, чистый, с надменным холодком воспитанной женщины, указывает мне, неожиданному гостю, в каких рамках следует держать себя, как разговаривать.

Мы до сих пор были знакомы как мать одной из самых нешумливых учениц в классе и классный руководитель. Встречались большей частью на родительских собраниях, домой к ней я пришёл впервые.

— Прощу извинить. Хочу узнать, как здоровье Ани.

— По-прежнему.

Мы помолчали, и я почувствовал тягостную неловкость. Пришёл навестить больную ученицу, а так ли уж рада она будет со мной встретиться? Никогда Аня не испытывала ко мне привязанности, я же видел в ней только отстающую, которую любым путём нужно подогнать под уровень всего класса. Аня устала от меня, а я сейчас должен избражать озабоченность и беспокойство, играть роль заботливого учителя.

— Если разрешите, я хотел бы поговорить с Аней.

— Что ж... Пожалуйста.

Сняв пальто, потирая застывшие руки, я шагнул следом за ней в комнату. У неё была решительная, несколько нервная походка, грудью вперёд.

Над круглым обеденным столом висел большой жёлтый абажур, по стенам книжные полки, второй стол — письменный — приткнут к окну. На стене рядом с книгами — картина в простой чёрной раме. И я задержался перед нею. Ничего особенного: поросшая тощим ельничком низинка в бугристых кочках, сырой массив хвойного леса на заднем плане, приглушённый влажной толщей воздуха, и безотрадное, серое, низкое небо. Я задержался, потому что эта картина чем-то напоминала мой козий выпас. Только, не в пример мне, талантливая рука перенесла на холст и это небо, и расквашенные кочки, и тесные семейки жалких ёлочек. Ни смелых щёгольских мазков, ни подчёркнутой небрежности, которая всегда нравится в работах художников, лишь старательно передана знакомая мне прадедовская грусть.

Я задержался только на секунду, под испытующим взглядом обернувшейся хозяйки прошёл в следующую комнату.

От недавно побеленных стен маленькая комнатка казалась ослепительно светлой. Первое, что мне бросилось в глаза, не сама больная — рядом с куклой в кудельных кудряшках стоял на столике у кровати микроскоп. Не игрушка, самый настоящий микроскоп на тяжёлой подставке с двумя, как тупые рожки, торчащими объективами — дорогая и редкая по нашим местам вещь, лучше тех, что хранятся в шкафах нашей школы.

На меня смотрели глаза девочки, некогда было оглядываться по сторонам.

Аня, похудевшая, более взрослая, чем та, которую я каждый день видел в своём классе, застенчиво зарылась подбородком в одеяло.

— Здравствуй, — сказал я, опускаясь на стул. — Как себя чувствуешь?

— Хорошо.

— Не скучаешь по школе?

— Нет.

— Вот как...

С обострившегося лица внимательно уставились на меня серые, как у матери, глаза. В их взгляде было что-то спокойное, тихое, углублённое, довольное. Когда я говорил о школе (а о чём я с ней ещё мог говорить?), её прямой взгляд становился каким-то пустым. Нет, она не скучает по школе. Да, ей хорошо одной. Она теперь выполняла не особенно приятную для неё обязанность — принимала своего учителя. Я потревожил её покой, но ведь я скоро уйду, оставляю её снова одну среди белых стен, широкого окна, куклы на столике и солидного микроскопа. Она отдыхает от школы.

Я поднялся со стула смущённый.

Снова прошёл мимо картины, бросив напоследок косой взгляд. Мать Ани провожала меня.

Пока натягивал на себя пальто, она молча стояла передо мной, придерживая рукой у подбородка кофту. У неё было полнощёкое лицо со свежей, прозрачной кожей, с маленьким подбородком, украшенным милой ямочкой, от светлых волос, чуть намеченных бровей до розовых губ — всё в ясных, мягких, блёклых тонах, присущих только блондинкам. И с такого лица, чем-то напоминающего лица фарфоровых кукол, глядели большие серые глаза, напряжённые, вопрошающие, смущающие своей прямоотой и серьёзностью. Испытав на себе такой взгляд, сразу же начинаешь замечать и духовную подвижность в чертах, и твёрдый рисунок рта, и своеобразие в подбородке с кокетливой ямкой.

От равнодушия или от умственной лени мы часто торопимся с оценкой встретившегося на пути человека, с маху накладываем на него готовую печать: простоват, добродушен, глуп, легкомыслен, рубаха-парень... Одна черта, одно слово, и мы спокойны: оценка дана, человек ясен, на этом и надо строить своё отношение к нему.

Полчаса назад эта женщина не представляла для меня загадки: жена при руководящем муже, бездельница, нечто противоположное мне самому, зарабатывающему хлеб насущный честным трудом. Ждал бесцеремонных упрёков, а их нет. А картина на

стене?.. Случайно ли она висит? Быть может, эти кочки и ели под серым небом так же волнуют её, как и меня? А микроскоп возле кровати дочери? Как его объяснить?.. Нет, не понятно, не могу судить.

Я уже застегнул пальто, собирался раскланяться, как Валентина Павловна спросила:

— Скажите, через сколько минут вы забудете такое посещение больной ученицы?

Я, кажется, довольно тупо глядел на неё с высоты своего роста.

— Почему вы так спрашиваете?

— Потому, что в вашем поступке проглядывает физиономия вашей школы. Простите за вульгарное слово, замордовать ученика, а потом посочувствовать.

«Ага! Начала-таки...»

— Валентина Павловна, — заговорил я, напуская на себя ледяную, академическую вежливость Степана Артёмовича, — за пять лет моей работы такой случай единственный. Не слышал, чтоб и до меня случалось что-нибудь подобное. Я видел во дворе вашего дома здоровых, весело смеющихся ребяташек. Они тоже ученики нашей школы, но не выглядят замордованными.

— Неужели думаете, что влияние вашей школы так сильно, что может совсем заглушить здоровую человеческую природу? Как бы вы ни усердствовали, всё равно будет смех, веселье, детская жизнь.

— Так в чём же дело? За что вы на нас нападаете? За это несчастье? Мы теперь ничем не можем помочь, кроме как высказать ненужные вам соболезнования.

— За что?.. Не кажется ли вам, что такой вопрос слишком сложный, чтоб решать его походя, стоя на пороге в застёгнутом на все пуговицы пальто?

— Я готов вас выслушать.

— Тогда ещё раз снимите пальто и войдите в комнату.

16

Она положила на стол свои руки, полные у запястья, с тонкими и узкими кистями, где проступала каждая косточка. И почему-то я невольно сравнил эти по-женски слабые кисти рук со своими — тяжёлыми, толстопалыми, с крепкими раковинами ногтей. Теперь, когда мы уселись и оказались близко друг от друга, я почувствовал себя несомерно огромным, каким-то шероховатым рядом с нею.

— Я обратила внимание, что вы во время разговора с Аней удивлённо поглядывали на микроскоп...

— Я подумал, что вы когда-то были микробиологом по специальности или кем-то в этом роде.

— У меня нет специальности, — сухо сообщила она, — и это тоже можно бы отнести к теме нашего разговора... Просто Аня любит биологию. Ко дню рождения, когда она стала выздоравливать, я купила ей этот микроскоп, с ним было связано столько ра-

дужных планов, но тут ваша школа... Словом, микроскоп вытащили из футляра после того, как она слегла в постель. Пусть хоть со стороны полюбуется на него. Вы украли у своих учеников свободное время. Им некогда прочитать книгу о приключениях, нет времени копаться в радиоприёмниках, смотреть амёб в микроскоп, возиться с цветами, фотографировать, то есть делать то, к чему тянется душа.

— Вы преувеличиваете. Кто захочет, тот всё-таки найдёт время и для книги и для фотоаппаратов...

— Не с помощью школы, вопреки ей.

— Беда в другом, Валентина Павловна. Большей частью ученики предпочитают всяким благородным занятиям убогие уличные развлечения: гонять собак или стрелять из рогатки по воробьям.

— Тоже не случайно. Не стихийный ли протест с их стороны? Ваша школа, как строгий пастух стаду, не даёт ученикам ни на шаг отлучиться с тропы, predetermined учебной программой. Иди только по ней, ни на пядь в сторону. А дети жизнелюбивы, им больше, чем нам с вами, хочется разнообразия. И в тот момент, когда школьное око ослабляет надзор, бросаются на первое попавшееся развлечение, хотя бы гонять собак. Глядишь, это становится привычкой, превращается в убогое увлечение. А увлечение — великая сила. Тот не человек, кто живёт без увлечения!

— Уж так-таки не человек?..

— Вы, наверное, любите повторять красивые слова о творчестве масс. Но разве можно говорить о творчестве, забывая, что его не может быть без увлечения? Равнодушные, холодные люди не творят. Вы не согласны?

— Согласен, с оговорками. Порой бывает, что увлечения уводят человека в другую сторону. Я сам в детстве увлекался рисованием. Но, как видите, из меня получился не художник, а преподаватель русского языка и литературы.

— А вы думаете, я настолько наивна, что рассчитываю: ребёнок, занимающийся постройкой авиамоделей, непременно должен быть новым Туполевым? Пусть увлекается, пусть заблуждается. Легче переносить заблуждения в ранней юности, чем в зрелые годы.

Валентина Павловна сидела передо мной, выбросив на стол свои полные с маленькими кистями руки, закутавшая плечи в шерстяной платок; прядь прямых светлых волос падала на твёрдую щёку, глаза остановились на одной точке. Она приподняла руку, должно быть, хотела поправить волосы, приподняла и снова безвольно уронила, продолжая глядеть в стол и думать о чём-то своём, какая-то обмякшая, с сутуло выдвинутыми вперёд плечами. И от этого движения руки, начавшегося и сразу же забытого, оборвавшегося на половине, я вдруг почувствовал, что она мне многого не договаривает. Дело не только в её дочери. Не только в её личных наблюдениях за нашей школой. У неё со школой какие-то свои собственные, причём давние, счёты. Что за счёты? Расспрашивать неудобно. Зачёл! лезть насильно в чужую душу? Нужно — скажет сама.

— Вы часто вспоминаете свою школу, в которой учились? — спросила она после минутного молчания.

— Часто ли? Не знаю. Но вспоминаю.

— С благодарностью?

— Да, как вспоминаю детство. А на своё детство я не могу пожаловаться.

— А я вот теперь жалуясь на детство, — у неё странно потемнели глаза. — Жалуюсь... И не подумайте, что оно у меня было мрачным, что были плохие родители. Мой отец и мать жили между собой в добром согласии, любили меня без памяти, как любят единственную дочь. Уж чем-чем, а родительской лаской я не была обделена. По всем статьям у меня было, что называется, золотое детство. А я на него жалуясь...

— Почему же?

— Да потому, что по какой-то причине все уверовали: я непременно должна быть круглой отличницей, каждый год приносить домой похвальные грамоты.

— Разве это плохо?

— О нет, считалось доблестью. Мои родители таяли от восторга, учителя называли «жемчужиной школы», а я, видя кругом такое почитание, всё отдавала учёбе — все силы, всё время. Разве можно не оправдать надежд, разве можно опозорить себя невысокой отметкой? Ох, эта обязанность быть круглой отличницей! Одинаково хорошо ты должна знать и алгебраические уравнения, и характеристику однодомных растений, и причины возникновения буржуазной революции во Франции. Отличники в большинстве случаев — это дети без увлечений, без заскоков, сплошная добросовестность, гладкие, без шероховатостей и задоринок души. Должно быть, моя душа напоминала математически точную окружность, все точки которой одинаково равноудалены от центра. Такой я перешагнула за порог школы. Что мне желать? К чему влечёт? Какому делу отдать себя? Подвернулся стоматологический институт. Но когда первый же пациент открыл рот перед нами, группой студентов, когда я поняла, что мне всю жизнь придётся ковыряться в гнилых зубах... А мне ведь казалось, что я исключение из всех, я особая, я выдающаяся. Об этом твердили мне учителя, это как должное принимали мои подруги, мною гордились родители. Нет, я ждала исключительную судьбу. Что за радость всю жизнь видеть перед собой распахнутые чужие пасти! Я с лёгкостью бросила институт, пошла работать на завод нормировщицей. Шла война, я рвалась на фронт — не отпускали. Ждала, судьба сама придёт ко мне. Как-то написала несколько корреспонденций в областную газету. А так как во время войны все сотрудники газеты были взяты на фронт, меня перетащили в редакцию, посадили в один из отделов. А я не обладала ни ловкостью репортёра, ни особыми способностями очеркиста... Где-то есть то дело, к которому я способна! Есть! Не может не быть!.. Но где оно? Я не знаю. Никто не знает. Причёсывать статьи, сокращать под размер колонок очерки, ворошить с холодным сердцем писанину, которой суждено прожить всего один день, — нет, не хочу! И слава богу, что одна история помогла мне оставить работу. Эта же история свела меня с Петром Ващенко. И вот я не врач-стоматолог, не слесарь, не журналист, а просто жена секретаря райкома товарища Ващенко, которому, как видите, вчера стирала бельё, а сейчас жду: придёт с заседания, должна подогреть ужин... Может быть, виновата я сама, виновата моя плохая натура, виноваты родители,

но наверняка виновата и школа!.. Андрей Васильевич, вы педагог, вы в жизни ребёнка — первый представитель общества. Никогда не рассчитывайте, что кто-то лучше вас позаботится о воспитании. На вас страшная ответственность!

Щёки её побледнели, а глаза были тёмные. Я не перебивал её, не возражал, я не без душевного содрогания разглядывал её.

Трижды в моей жизни я испытывал тревогу: как жить дальше? Первый раз я почувствовал её после армии, в своём родном городке Густой Бор, когда пришла пора обдумывать, кем быть, где учиться. Второй раз — моя катастрофа на художественном факультете. Третий — памятное воскресенье, когда показалось, что снова кисти мои засохли. Я знаю, как это страшно — оказаться без будущего, искать и не находить ответа, для чего живёшь, кому нужны твои силы. Только три раза, три сравнительно коротких мгновения в моей жизни! А Валентина Павловна живёт в этой тревоге всю жизнь! Всю!.. Без будущего, без ответа, кто она такая, для чего появилась на земле. Сейчас она мне приоткрыла только маленький кусочек своей биографии, а ведь после этого были годы и годы: варила обеды, стирала бельё, прибирала комнату, ждала мужа с работы. Если б она смирилась, приняла бы это как должное... Живут же люди, не заглядывая далеко, живут и бывают довольны жизнью. Но она-то не смирилась. Утеряны уже все надежды, а желания живут. По-своему страшная жизнь. Не хотел бы я оказаться на месте этой женщины...

17

Мне не суждено было закончить день в покойном одиночестве.

Я поднимался на своё крыльцо. Из глубины тёмного двора меня окликнул женский голос:

— Андрей Васильевич!

Это была Альбертина Михайловна, жена Акиндина Акиндиновича.

— Ваша Тонечка у нас. И вас ждём. Толя приехал.

По неписаным законам добрососедства отказаться было нельзя. Я направился за Альбертиной Михайловной.

В большой комнате с дедовским буфетом, заставленным фарфоровыми пастухами и пастушками, сидела за столом вся многочисленная семья во главе со своим лысым патриархом. Акиндин Акиндинович улыбался застенчивой улыбкой непьющего человека, который вопреки привычке совершил-таки грех и в душе доволен им, как подвигом.

Меня встретили с подобающим для такого случая преувеличенным восторгом, усадили рядом с женой, пододвинули стакан со смородиновой настойкой.

Виновником торжества был старший сын Акиндина Акиндиновича Анатолий, приезжавший изредка к родителям из удалённого села Лисовицы. Он чокнулся со мной и продолжал прерванный разговор:

— Так вот, я и говорю, что самое важное для нашей педагогической работы — это характер. Без характера нельзя быть учителем. Дети это чувствуют лучше взрослых...

Анатолий Акиндинович, как и отец, тоже учительствовал. Он работал директором семилетки. И то, что его школа находилась в удалённом сельсовете, давало ему право постоянно повторять: «Ближе нас из интеллигенции никого нет к народу».

Акиндин Акиндинович, как и всех своих чад, наградил Анатолия своим тяжёлым поярковским носом, но не сумел передать сыну глаза — весёлые, наивные, лучащиеся добротой. У Анатолия взгляд был твёрдый, холодный, преисполненный собственного достоинства. Свой поярковский нос он поднимал с величавостью, говорил уверенно, с теми раз навсегда заученными учительскими интонациями, которые не допускают никаких пререканий.

При наших нечастых встречах я неоднократно замечал, что Анатолий Акиндинович больше любит говорить и почти не умеет слушать. Можно было догадываться, что и сейчас до моего прихода он говорил только один.

— Основное мерило характера — требовательность и ещё раз требовательность. Только в этом проявляется сила учителя, только это по-настоящему дисциплинирует учеников. Боже упаси ослабить требовательность и допустить детей до порочной свободы, которая чаще всего выражается в том, что, вместо того чтобы сидеть за домашними заданиями, школьники гоняют по улицам собак!..

Если б он не произнёс последних слов — «гонять собак», тех самых, какие я недавно произносил перед Валентиной Павловной, я, возможно бы, смолчал, не стал лезть в спор. Но этими словами он словно приравнял мои возражения к своим нотациям. И я не выдержал.

— Анатолий Акиндинович, — прервал я его нравоучительные излияния, — послушать вас, так невольно создаётся впечатление, что характер учителя не что иное, как палка для учеников.

Анатолий Акиндинович со спокойным удивлением взглянул на меня.

— Вольному воля, при приткой фантазии можно и деревенскую коровёнку принять за уссурийского тигра.

Акиндин Акиндинович радостно заулыбался, Альбертина Михайловна скромно потупилась. Они оба верили в высокое будущее старшего сына не только как любящие родители, но и как люди, которые, однажды завоевав положение в жизни, уже не сдвинулись с него ни на пядь. Шутка ли, отец и мать около двух десятков лет работают в школе и до сих пор рядовые учителя, а их сын, едва только начав свой педагогический путь, уже стал директором. Можно верить в него, можно им восхищаться. И сейчас они были в восторге, как им казалось, от чрезвычайно остроумного ответа сына.

Тоня повернулась ко мне и выразила на своём лице постную, укоризненную гримасу, означавшую: «Андрей, забываешь, что ты в гостях».

Всё это вызвало во мне раздражение.

— Если принять корову за тигра, то она от этого не превратится в хищника и не наделает вреда. А вот принимать палку за оружие воспитания, насилие за педагогический приём — опасно.

Анатолий Акиндинович ещё выше поднял свой нос.

— Насилие? При чём тут это слово? Но пусть даже так. Дело не в словах. Если то, что вы называете насилием, благородно, если оно ничего, кроме пользы, не приносит, громадной пользы, почему бы отказаться от него?

— Насилие никогда не приносило пользы. Хотите того или нет, но вы просто напросто проповедуете диктаторские идеи. Насилие приносит людям только вред.

— Позвольте! Не будем вдаваться в высокие материи. Нет, нет, позвольте мне говорить. Я вас не перебивал!.. Вернёмся к нашей будничной жизни. У вас есть дочь, она скоро подрастёт. Вы что же, ей дадите полную свободу? Делай, мол, родная, что взбредёт в голову. Захочется учиться — учись, не захочется — лодырничай, пропускай уроки, гоняй кошек по двору. А она — ребёнок, её ум и её самоконтроль находятся в недоразвитом состоянии. Она увидит, что гонять кошек по улице куда легче, чем сидеть на уроках, корпеть над домашними заданиями. Разумеется, она выберет не школу, а улицу. Что вы тогда сделаете? Будете проповедовать теорию: мол, вольному воля? Нет, вы примените определённое насилие. Я не говорю о насилии палки. Вы примените насилие своего характера над характером дочери. Вы силой характера заставите её ходить в школу, силой готовить уроки, силой читать полезные книги. Именно силой характера. И если только окажется недостаточно этой силы в вашем характере, вы будете вынуждены, к стыду вашему, применить грубую силу отцовского ремня, что достойно всяческого осуждения.

— Мне наверняка придётся прибегать к тому, что вы называете силой характера. Быть может, не исключено, что я при каких-нибудь обстоятельствах применю даже грубую силу ремня...

— Ага!

— Но я никогда, понимаете, никогда не допущу, чтоб сила моего отцовского характера стала основным и единственным методом воспитания.

— Позвольте...

— Моя дочь должна учиться, моя дочь должна быть честной, правдивой, лишённой пороков эгоизма и прочих дурных качеств! И грош мне цена, если я буду добиваться этого через страх перед своим характером, с помощью моральной палки, потенциального отцовского ремня! Учись, не то обидится отец, не лги, иначе характер твоего отца выйдет из равновесия, попробуй украсть или выказать жадность, как опять будешь иметь дело со всемогущим и грозным отцовским характером.

— Помилуйте...

— Страх перед силой неизбежно приучит лгать, вызовет чувство недоверия к окружающим, сделает из неё эгоистку, наконец учёба по принуждению, а не по сознательной необходимости превратится для моей дочери в наказание...

— Позвольте же в конце концов... Могу ли я вставить своё слово? Вы противоречите сами себе. То вы откровенно признаётесь, что будете применять не только силу характера, но и отцовский ремешок, то с яростью доказываете совершенно обратное! Как вас понять?

— Понять просто. Силу характера, силу голого авторитета я не отрицаю начисто. Она есть, она всегда будет иметь какое-то место как в жизни, так и в школьном воспитании. Но она должна проявляться изредка, в виде исключения, а ни в коем случае не быть постоянно действующим методом. Основной же силой я считаю убеждение и разъяснение. Я попытаюсь сделать так, чтоб моя дочь училась не из-за того, что я или мать принудили её к этому, а потому, что она поняла: это необходимо, это нужно, а быть может, добьёмся даже того, что — интересно. Понятно вам?

Проповедник сильного характера, щедедушный, узкогрудый, с крупной отцовской головой, с независимо поднятым отцовским носом, сидел возле своего стакана со смородиновой настойкой и всем своим непроницаемым видом говорил: «Обожди, обожди, я храню про себя такое, которое сразу же прихлопнет все твои доводы». Он пошевелился на стуле, выше поднял свой нос, и я понял: именно сейчас пойдёт он своим козырным тузом.

— Андрей Васильевич, дорогой мой, — заговорил он торжественно, — вы учитель, но даже вам, учителю, сознайтесь, очень и очень трудно будет воспитывать свою единственную дочь с помощью одних только разъяснений и убеждений.

— Да, это куда труднее, чем применять силу характера.

— Прекрасно! Но вспомните, наш спор начался со школы. Вы возражали, что сила характера не метод школьного воспитания. Не так ли?

— Именно.

— Прекрасно! Но если до невозможного трудно воспитывать одного ребёнка, если вы признаётесь, что иногда придётся отступить от принципа убеждений и разъяснений, подменять его даже ремнём, то как быть в школе, где приходится воспитывать не одного, а десятки, сотни детей? Там даже нельзя применять ремень, ибо это по праву считается преступлением. Как быть? Убеждать и разъяснять?.. Если вы скажете *да*, я вам возражу: это благородно, это красиво, но невыполнимо! Это пустая, звонкая фраза. И вы это прекрасно знаете. Вы работаете в школе, где всё подчинено характеру одного человека, перед которым я преклоняюсь, характеру Степана Артёмовича Хрустова. Оттого-то ваша школа считается одной из самых лучших во всей области. Вы же не возьмёте за пример Валуйскую школу, где в прошлом году оказалась чуть ли не треть второгодников в каждом классе?

— Почему вы думаете, что есть только два пути — путь Хрустова и путь Валуйской школы?

— Тогда скажите, какой бы вы могли предложить путь?

Я молчал. Голубые глазки Анатолия Акиндиновича со скрытым торжеством буравили меня крошечными зрачками.

— Увы, я пока не могу взять на себя смелость заявить, что твёрдо знаю новые пути, — ответил я, — но они, верю, существуют.

Пока?.. Но будете знать эти пути?

— Непременно, даже в том случае, если на это уйдёт вся моя жизнь.

— И может, сами откроете этот третий путь?

— Если никто не подскажет, буду пытаться открыть его сам.

— Уж, простите, это весьма сомнительно.

Анатолий Акиндинович с облегчением откинулся на спинку стула. Торжество собственной правоты было написано на его узком, худощавом лице.

— Хватит вам, — подал наконец свой голос Акиндин Акиндинович. — Таких разговоров и в школе достаточно. Что не люблю, то не люблю — говорить дома о работе. Скажите лучше вы, оба молодые да учёные, правда это или нет, будто десять взрывов водородной бомбы могут испакостить всю атмосферу?

— Ох, что делается на белом свете! — огорчённо вздохнула Альбертина Михайловна.

Я залпом допил свой стакан настойки и поднялся с места. Тоня, боясь, как бы не приняли это за неучтивость, сделала вид, что и ей некогда.

— Утром вставать рано. Спасибо за хлеб-соль. К нам просим.

18

Зажгли свет в комнате. Тоня привычно поправила на столе скатерть, стала перед зеркалом, закинув обнажённые руки, выставив обтянутые тонкой кофточкой груди, стала вынимать из волос шпильки. Я глядел на неё.

Сильная, гибкая спина, белая, расширяющаяся к плечам, сужающаяся к голове шея — в высокой, крепкой фигуре привычное домашнее спокойствие, знакомый уют, как и во всём, что её окружает. Утонув в чистых простынях, спит Наташка, — неощутимо её дыхание. Нет-нет да из кухни донесётся натужное всхрапывание намотавшейся за день-деньской суетливой бабки Настасьи. На стене, отщёлкнув секунду за секундой жизнь нашего безмятежного мирка, трудятся ходики. А Тоня — центр всего. Она стоит перед зеркалом, трудолюбивая владычица своего крошечного, крепкого, как сама жизнь, царства.

А у меня тревожно на душе, мне последнее время почему-то трудно жить, меня беспокоит будущее. И кому, как не Тоне, раскрыть душу, от кого, как не от неё, услышать мне слово успокоения! И не только потому, что она самая близкая, но и потому ещё, что в ней я постоянно ощущаю завидную, бесхитростную мудрость: уверенно, просто, без лишних размышлений глядеть в завтрашний день.

— Тоня, — окликнул я её, — ты довольна своей работой?

— А что? — отозвалась она, не поворачивая головы.

— Как что? Нельзя же жить так, как живёт Акиндин Акиндинович. Отстучал уроки — и с плеч долой. Ты об этом когда-нибудь думала?

— А что думать? — Она, так и не вынув всех шпилек, обернулась ко мне. — Тысячи учителей так учат, и все довольны, только мой дурачок почему-то взбесился. — Она с ласковым укором поглядела на меня и закончила с покорным вздохом: — Что делать...

Я молчал. Она сказала: «Что делать...» И для неё это был не вопрос, а простой и ясный ответ: «Что делать, когда жизнь такова, не мы её создавали, не нам её изменять».

Я осторожно прошёлся по комнате, с непонятным для себя вниманием косясь на Тоню. Она перебирала пальцами волосы, искала затерявшуюся в них шпильку. И тут я заметил, что её широкие белые красивые руки слишком велики по сравнению с головой. Странно, я, проживший с ней бок о бок почти семь лет, впервые сейчас обратил внимание на то, что её голова не по телу мала. Широкий разворот плеч, горделивая, не снисходящая до девической стыдливости грудь, тонкая упругая талия, широкие, плотные, с каким-то мягким и в то же время смелым изгибом бедра, крепкие точёные икры... Я чужими глазами глядел сейчас на то, что мне давным-давно уже примелькалось, чем я втайне по-мужски гордился.

Сейчас я подумал о том, что человек с таким телом хорошо приспособлен к жизни: ни тяжкий труд, ни ежедневные переутомления не скоро-то высосут силы. Такой человек в конце концов добьётся для своего щедро одарённого тела всего: и тепла, и чистоты, и мягкой постели, и сытной нищи, и душевного покоя, чтоб не будоражить понапрасну нервы, и физической работы, чтоб от безделья не сохли мускулы, — всего, что в обыденности зовётся уютом.

Абазур рассеивал по комнате сухой оранжевый полусумрак. Со старческим стоном ворочалась за перегородкой бабка Настасья. На стене над детской кроваткой ходики отстукивали всё новые и новые мгновения в недавно начавшейся жизни моей до чери.

Тоня, вскинув свою маленькую голову, бережно неся брошенные за спину длинные волосы, проплыла к кровати, стала раздеваться, привычно обнажая передо мной знакомые богатства своего тела. Наконец взглянула с томной усталостью через плечо:

— Ты что, до утра от стены к стене шататься будешь? Туши свет да ложись скорее. Я стал покорно раздеваться.

19

О чём чаще всего думает человек?

Станный вопрос, не правда ли?

Более двух миллиардов людей живут на земле. Что ни человек, то свои расчёты, свои заботы, свои мысли. Попробуй сказать, о чём чаще всего думают эти не поддающиеся точному подсчёту миллиарды людских голов, в разной степени одарённые природой способностью к мышлению.

И всё-таки человек чаще всего, упрямей всего думает о будущем! Для одних — это мысли о судьбе всего человечества или о судьбе своей страны. Они забегают мечтой на сотни лет вперёд. Для других же — просто заботы о том, как самому прожить завтрашний день, ближайшую неделю. Будущее людей разнообразно, как сами люди. Оно может быть и беспредельно великим, и обидно куцым.

Мне в руки попал журнал, где была напечатана статья о Швеции. В недавнем прошлом нищий крестьянин этой страны хлебал свою жидкую похлёбку из выщербленной деревянной миски. Сейчас внуки этого крестьянина живут в коттеджах, моются в ваннах, пользуются личным телефоном, готовят обеды в кухнях, напоминающих по своей белизне врачебные кабинеты благоустроенных поликлиник. Деревянные миски хранятся как реликвии рядом с фаянсовой посудой. Почти исполнилась мечта о молочных реках и кисельных берегах.

Казалось бы, народ при такой жизни должен быть счастлив. Но счастья нет. Швеция после такой же благоустроенной Дании — вторая страна в мире по количеству самоубийств. В Швеции угрожающее падение нравов...

Матери, укладывая своих детей в чистые постели, выходят по вечерам из благоустроенных квартир на панель.

Не нужда, не желание приобрести кусок хлеба заставляют их заниматься проституцией...

Юноша, не успев ещё переступить в своё совершеннолетие, уже разочарован. Чем его может обрадовать будущее? Любовными связями? Но он уже успел их вкусить, успел пресытиться ими. Учёбой? Есть же особое наслаждение в том, что постигаешь накопленные человечеством знания! Но учёба ради учёбы — бессмыслица. Сидеть над книгами, вгрызаться в формулы, чтобы получить учёную степень, когда и без неё можно так же легко прожить, получив при наименьших усилиях профессию парикмахера или коммивояжёра. Бросить силы на какие-либо дерзновенные дела, на благо людей? Но кому нужны дерзания? Комфортабельно живущие люди не нуждаются в помощи. А жизнь отмерена, впереди часы, дни, годы, десятилетия, которые нужно чем-то заполнить. Заполняй их всем, что ни подвернётся: плотские утехы со скукой пополам, ухаживание за собственной бородой, которая придаст скучающей физиономии оригинальный вид.

Возможно, что снизойдёт счастливая удача, свалится настоящая любовь. И вот жизнь полна скромно потупленными ресницами, мягким изгибом плеча, чистой линией свежего рта и голосом, от которого падает сердце. А ей прискучит пресная любовь, вместе с ресницами, покатыми плечами и своим неповторимым голосом бросится в объятия к другому или к двум, трём сразу. Снова пустота и бесцельность, а может, петля, прикреплённая рядом с люстрой, или пистолет, направленный в потный висок.

Дед этого юноши, тот, кто хлебал похлёбку из деревянной миски, истоплённо мечтал: *для себя* добыть кусок хлеба, *для себя* построить дом, *себя* обеспечить, *своих* близких. В этом была цель жизни, смысл жизни, хоть не великое, но определённое будущее. И вот его внуком эта цель достигнута. А дальше что? Оказывается, *для себя* не так уж много и нужно. Нет никакой цели, жизнь теряет смысл, исчезло будущее.

И что из того, что в общей жизни много нерешённых проблем и недостигнутых целей? Есть въевшаяся привычка жить *для себя*, вглядываться только в *своё* будущее, даже если оно и представляет собой бесплодную пустыню.

Не стоит презирать такого человека, он достоин скорей жалости, как больной, который из-за недугов не может познать настоящей жизни.

На уроках, глядя на своих учеников, я теперь стал задумываться.

Скачущие, блестящие глаза Серёжи Скворцова, гладко прилизанный пробор Гали Субботиной, сосредоточенно тяжёлый взгляд на широком замкнутом лице Сони Юрченко, скучающая, с развалочкой поза Феде Кочкина... Они уже сейчас все разные, совершенно непохожие друг на друга. А их жизнь только ещё началась. Какими же разными они станут потом, когда вырастут?

Все учителя нашей школы пророчат в один голос первому ученику Серёже Скворцову блестящее будущее: он, мол, на редкость способен, всё даётся ему с завидной лёгкостью... И не об одном Серёже судят с безоговорочной уверенностью. Если прислушаться, то будущее каждого ученика наперёд известно, их судьбы в головах наших педагогов аккуратно разложены, как рассортированные товары на полках магазинов. У Серёжи Скворцова блестящая перспектива, Соня Юрченко, вне всякого сомнения, тоже своего добьётся, а Федя Кочкин, увы, нет: он ленив, не желает учиться, не в ладах с дисциплиной; в будущее же Лёни Бабина незачем даже и заглядывать...

Но на меня теперь находят сомнения.

Так ли верно, что Серёжа Скворцов с той же лёгкостью, с какой учится, будет добиваться успехов в жизни? Он уже начинает привыкать к тому, что всё его маленькое существование состоит пока из непрерывных крохотных побед. В настоящей же жизни не бывает таких счастливых, которые бы совсем не испытывали поражений. И чаще всего эти поражения случаются в самом начале самостоятельного пути. Что, если жизнь сразу оглушит удачливого Серёжу? Не желая того, учителя ему внушают, что он особенный среди всех, лучший из лучших. Я частенько замечал, как довольно поблёскивают глаза Серёжи, когда Федя Кочкин получает двойку. Федя верховодит на переменах, он капитан футбольной команды, крепкие кулаки в потасовке; тщедушный Серёжа обязан ему подчиняться. Поэтому при каждом поражении Кочкина Серёжа даже не умеет скрыть своего торжества. Не тревожный ли это признак?

Мне очень нравится волевое, добротное упрямство Сони Юрченко. Нравится, но это не значит, что я с полным благодушием смотрю на её будущее. Здесь, в школе, её упрямство, её воля направлены только на то, чтоб ей *самой* усвоить знания, *себе* получить высокую отметку. Все славные качества только *для себя*. А что, если она и дальше будет продолжать жить для себя? С доступным ей упрямством начнёт добиваться своей карьеры, силой воли заставит себя стать равнодушной или даже жестокой к другим. Все превозносят её добросовестность, но забывают, что часто такая добросовестность сочетается с ограниченностью, неспособностью самостоятельно думать. Соня Юрченко все свои силы отдаёт тому, чтобы запоминать, заучивать, ей просто некогда подумать над тем, что она учит. А разве это не опасно: упрямый, волевой, недумаящий человек! Нет, не могу не тревожиться за будущее Сони.

Многие из учителей невысокого мнения о Феде Кочкине. Но я наблюдал, как он гоняет мяч, как увлекает ребят на футбольном поле: старшеклассники покорно слушаются его властного окрика. Теперь он часто загорается на моих уроках: шея напряжённо вытягивается, глаза блестят, рот сжимается в упрямую линию. Интересному он отдаёт всего себя, скучному не может уделить крохотную частичку внимания. Но ведь большей частью уроки в нашей школе скучны и тягучи. Один ли Фёдор Кочкин окажется виноватым в том, что выйдет из стен школы недоучкой, набросится на первую попавшуюся профессию? А люди с такими характерами, если не найдут себе всепоглощающего интереса в жизни, часто начинают искать развлечения в водке, в шумных компаниях.

Я всеми силами стараюсь, чтобы мои уроки были интересными, и, кажется, мне удаётся это. Мои ученики не просто получают знания. Получать знания — какие скучные слова! Знания не паёк, который сколько нужно, столько и вручил по твёрдой норме на голову. Я хочу, чтоб ученики *жили* знаниями во время уроков. Но могу ли я похвалиться, что всем доволен, ни в чём не упрекаю себя?

Нет, не всем!

Я возмущаюсь про себя, что Серёжа Скворцов торжествует при неудачах Феде Кочкина, мне не нравится, что упрямство Сони Юрченко направлено только *для себя*. Но ведь я из урока в урок твержу: выполняй *сам* домашние задания, отвечай только *за себя*, не давай заглядывать *в свою* тетрадку! А это не проходило бесследно. Не желая того, я постоянно воспитываю людей *для себя*. Что может быть страшнее — проповедовать принципы коллективизма и в то же время пестовать индивидуалистов!

20

Федя Кочкин не выполнил домашнего задания. На этот раз я был строг, без всякого снисхождения против его фамилии поставил в журнал жирную двойку, объявил:

— Придётся остаться после уроков.

Но вместе с Кочкиным я решил оставить и Серёжу Скворцова.

— Надо помочь. Кто лучше тебя сможет толково рассказать?

Оставаться после уроков — своего рода наказание. Серёжа хмурился, отводил глаза в сторону, теребил рукой пуговицу на гимнастёрке. Оставаться! Из-за чего? Из-за того, что Фёдор Кочкин получает двойки по русскому!

Но я вглядываюсь в его худенькое, остроносое, лукавое лицо и улавливаю некоторую наигранность: уж слишком подчеркнуто его недовольство, что-то очень старательно прячет от меня глаза. И по этому ускользающему взгляду я понимаю: во-первых, он польщён, что я сказал о его толковости; во-вторых, Федя Кочкин, вечный командир на переменах, окажется под его, Серёжи Скворцова, опекой. Суетная натура у мальчишки!

Заставить сильного ученика заниматься с отстающими — в любой школе любой учитель пробует таким способом подтянуть успеваемость. У меня же расчёт иной: если Серёжа станет учить Федю, то Федина двойка будет вызывать у Серёжи не торжество, а огорчение.

К встрече Серёжи и Феде я решил подготовиться с такой же тщательностью, как и к своему уроку. Поздно вечером, отложив в сторону все дела, склонившись у выцветшего абажура настольной лампы, я принялся писать пьесу. Да, пьесу с двумя действующими лицами, с двумя героями. Один герой спрашивает, другой отвечает. Автор, создающий обычную пьесу, спокоен: актёры, пожелавшие принять облик его героев, будут послушны его воле. Они станут спрашивать, как он, автор, того захочет, и отвечать на эти вопросы так, как он считает нужным. Действующие лица моей пьесы не так послушны, они могут отвечать на вопросы иногда правильно, иногда сбивчиво и туманно, могут и вовсе не отвечать. А я должен предусмотреть, какие нужны дополнительные вопросы, как обязан поступать тот, кто спрашивает. Я писал необычную пьесу, состоящую сразу из многочисленных вариантов. Всё возможное и невозможное в будущем разговоре Серёжи и Феде я старался предусмотреть.

А на следующий день я репетировал с Серёжей Скворцовым. Вопрос. Я отвечаю. Что ты после этого спросишь? А если я отвечу иначе? Как быть?..

Это походило на игру в охоту. Красный зверь бросится туда — стоп! Тут его можно так-то встретить. Если он вздумает бежать в другую сторону — тоже стоп! И здесь предусмотрена засада. Куда ни кинься, всё рассчитано. У Серёжи горели от возбуждения уши, когда он получал от меня листки с вопросами.

Пришло время встречи. Смолк постепенно шум на нижнем этаже возле раздевалки. Мимо дверей класса кто-то прошёл, его шаги гулко прозвучали в пустом коридоре. Федя Кочкин с покорной скукой на скуластом лице уселся перед Серёжей Скворцовым. А у Серёжи вид сурово-сосредоточенный, он деловито раскладывает перед собой бумаги. Маленький, степенный, он напоминает мне сейчас Степана Артёмовича, готовящегося открыть очередное заседание педсовета.

Я сижу в стороне от них на своём учительском месте, делаю вид, что углубился в тетради. Я — автор и режиссёр, жду начала своей премьеры. И хотя есть только актёры, нет зрителей, которые могли бы освистать нас, я всё-таки испытываю лёгкий холодок в груди: получится моя затея или нет?

Серёжа приступил к своим обязанностям.

— Напиши, — приказывает он, — такое предложение: «Было то время года, перевал лета, когда урожай нынешнего года уже определился, когда начинаются заботы о посеве будущего года и подошли покосы, когда рожь вся выколосилась...»

Федя добросовестно записывал длинное, как школьное сочинение, предложение Толстого.

— Записал?.. Теперь напиши короткое предложение: «После того как письмо Петру было написано, он повеселел...» Записал? А теперь скажи: похожи эти предложе-

ния друг на друга? Нет? Давай разберёмся, может, в чём-то похожи. Что самое главное сказано в коротеньком предложении? Ага, «он повеселел»...

Пункт за пунктом Серёжа стал допрашивать Федю; тот, вдумываясь, хмурился и отвечал. Сергей набрасывался с новыми вопросами. Спотыкаясь, оступаясь, Фёдор Кочкин двигался ощупью к нужной цели — к правилу о придаточных предложениях времени.

Час спустя Фёдор Кочкин поднялся со своего места. Он уважительно и смущённо поглядывает на Серёжу. Серёжа, чувствуя на себе этот взгляд, такой непривычный для самоуверенного Фёдора, розовеет от гордости и смущения, возбуждённо кусает ноготь на пальце, косится в мою сторону, ждёт похвал. А я не торопясь складываю в стопку тетради, спрашиваю с нарочитым равнодушием:

— Кончили? Что ж, идите по домам.

Из окна учительской я видел, как рядышком, оживлённо о чём-то беседуя, они прошли по заснеженному двору школы.

На следующий раз я репетицию с Серёжей не проводил, а только дал новые вопросы, короткие указания да предупредил:

— Смотри, ответит плохо Кочкин, тебя уважать перестану.

Через несколько дней Кочкин получил пятёрку. Всегда горделиво сдержанная, невозмутимая, физиономия Фёдора лишь чуть обмякла, когда, задевая карманами пиджака за углы парт, он торопливо возвращался на своё место. Серёжа Скворцов был более откровенен: он возбуждённо вертелся, гримасничал, несколько раз показал Фёдору торчком поднятый большой палец: «Во как ответил!» В ту минуту был доволен и я, но только в ту минуту...

Я заставил Скворцова радоваться удаче Кочкина, но этот же Скворцов совершенно равнодушен к тому, как будет отвечать Паша Аникин или Галя Субботина. Закон «один — за всех, все за — одного» для моих учеников не существует. Как и прежде, я вынужден постоянно твердить: выполняй сам домашние задания, отвечай сам за себя, не давай заглядывать в свою тетрадку, прикрывай её рукой от соседа — всюду сам, и только сам! Иначе и невозможно, разреши действовать сообща — начнутся списывания, подсказки, пышным цветом расцветут в классе трутни.

Если б мои ученики, как колонисты Макаренко, совместно жили, совместно работали, сообща добывали себе хлеб насущный, то не стоило бы и волноваться, что они учатся в одиночку, чувство локтя они приобрели бы вне стен класса. Но наши школьники живут каждый в своей семье, единственное, что их объединяет, — учёба. А вся учёба построена на одном — заботиться о самом себе! Неужели тут ничем не можешь, неужели нельзя найти выход?..

Вот уж воистину как в сказке о многоголовом змее: срубишь одну голову, вырастет другая... Будет ли конец, придёт ли время, когда с лёгким сердцем сможешь сказать себе: сделано всё, что хотел, добился того, чего добивался?

Вряд ли. Чем дальше в лес, тем больше дров.

21

Я часто навещал больную Аню Ващенко.

Каждый раз меня встречала Валентина Павловна, энергично пожимала руку, ждала, глядя снизу вверх, пока я снимал пальто, потом, двигаясь своей решительной мелкой походкой — голова откинута чуть назад, грудь вперёд, — вела в комнату дочери. Я присаживался возле постели и говорил обо всём, что придёт в голову... По ночам в школьный садик повадился бродить заяц, каждое утро видят его следы на сугробах. Наш завхоз Афанасий Кузьмич сторожит с ружьём у открытой форточки... Первый человек, который увидел микробов в микроскоп, был не учёный, а купец — торговал мануфактурой... Нет, в простой микроскоп ни молекулу, ни атом нельзя разглядеть... Да, людям известно, сколько весит самый легчайший атом и сколько весит вся Земля...

Аня перестала чуждаться. Услышав из-за стены мой голос, приподняв голову с подушки, она ждала меня, серые глаза выжидательно глядели с бледного узкого лица, худенькая рука лежала уже поверх одеяла, готовая протянуться ко мне. На свою мать она походила только глазами, во всём остальном — лицом, несколько нескладной, долговязой фигурой — на отца.

Я познакомился с её отцом. До сих пор первого секретаря райкома партии Петра Петровича Ващенко я видел только на партконференциях, расширенных семинарах лекторов и случайно на улице. Высокий, чуть сутуловатый, медлительный в движениях, лицо с крупным, несколько мясистым носом постоянно сохраняет добродушно-хитроватое выражение. Про него говорили: «не занозист», «можно ладить», «редко поvyšает голос», «мастер припечь насмешливым словечком».

Покашливая в кулак, ощупывая меня оживлёнными, глубоко запавшими глазами, он входил в комнату, каждый раз весело удивлялся:

— Эге! У нас гость. Здравствуйте, Андрей Васильевич!

Он присаживался со мной у кровати и с не меньшим, чем дочь, интересом и удовольствием слушал разговор, иногда возражал:

— А позвольте, вот вы говорите, как распадается ядро...

И мы с шутовой беседы сворачивали на серьёзную, пересыпая свою речь словами: «цепная реакция», «радиоактивный распад», «идеализм», «материализм». Тогда Валентина Павловна поднималась:

— Пойдёмте пить чай.

За столом почти каждый раз заводился спор о школе, о воспитании. Спорили обычно Ващенко и Валентина Павловна, я слушал.

— Ты рассматриваешь воспитание как какой-то толчок — говорил он. — По-твоему, стоит в детстве правильно подтолкнуть ребёнка, и вся его жизнь покатится по гладкой дорожке к нужной цели, без заскоков, без крутых поворотов.

— Но нельзя отрицать — такой толчок нужен!

— Как нужен первый толчок паровозу, трогающему с места состав. На одном толчке он далеко не уедет. Жизнь — это сплошное воспитание, так же как движение поезда — сплошные толчки вперёд.

Иногда вечерами являлся райкомовский работник Кучин.

Васю Кучина я знал хорошо. Плечистый, с красной крепкой шеей, с простовато-открытым лицом, с которого никогда не сходило выражение откровенной жизнерадостности, какого-то счастливого избытка здоровья и беспокойных сил, он был из тех, кого, раз увидев, перекинувшись однажды словом, начинаешь считать добрым приятелем. Мы с ним встречались и по деловым вопросам, и в тесном кругу за стопкой водки, ездили даже как-то в компании на рыбалку. Помнится, на берегу, после того как вытащили невод, оба мокрые, продрогшие, мы схватились бороться. К великой моей досаде, Вася Кучин довольно легко положил меня на лопатки.

При Ващенко он был непривычно сдержан, но в спорах упрямо придерживался своей точки зрения.

— Воспитание, — говорил он, — звучит, конечно, благородно. Но ведь вы не даёте ответа, за что его взять, как ущипнуть. Мне думается, что мы с вами, Пётр Петрович, делаем то, что нужно. Всё остальное от лукавого. Пять лет назад у нас колхозник получал на трудодень граммы, денег совсем не давали. Теперь хлеб есть, и денег подкидываем. А будет хлеб, будет мясо, масло, будут нарядные костюмы к празднику да ещё свободное от работы время, тогда люди сами начнут воспитываться, к книгам потянутся, от икон отвернутся...

Чуть ли не доставая буйной шевелюрой до края широкого абажура, с массивными плечами, облитыми суконной гимнастёркой, Кучин возвышался над столом со скромно и в то же время самоуверенно-победоносным видом. Валентина Павловна с пристальным любопытством разглядывала этого человека, который, не в пример ей, бодро смотрит вперёд.

Но часто я проводил вечера один на один с Валентиной Павловной. Что-то было в наружности этой женщины изменчивое, ненадоедающее, каждый раз неуловимо новое. Выцветший ситцевый халатик выглядел на ней как нарядное платье, плотно облекая её ладную, крепкую, с лёгкой полнотой фигуру. Движения её были временами порывисты, временами вялы, словно заморожены. Глядя, как она бесшумно и легко двигается по комнате, я порой думал: не так уж она страдает от бесцельной жизни, разговоры о месте человека — просто умственная гимнастика, возбуждение нервов ради разнообразия, в общем, свыклась, чувствует себя превосходно. Но когда, запустив свою узкую руку в волосы, облокотившись на стол, она упиралась неподвижным взглядом в одну точку, когда на лице застывало тоскливое равнодушие, а одно плечо устало опадало вниз, я начинал верить — нет, не свыклась, безнадёжно ждёт поворота судьбы. И в эти минуты мне становилось её жаль.

Однажды я прямо спросил её, почему она не найдёт работу. Она холодно ответила коротким вопросом:

— Какую?

— Любую. Всё лучше, чем безделье.

— Любая не подойдёт. Если б мне работа была нужна для того, чтобы обеспечить жизнь себе, дочери, мужу, тогда я бы работала на любой работе. Тогда был бы какой-то определённый смысл. Но сейчас и этот смысл у меня отнят. Я особенно не нуждаюсь. Каждый месяц муж вынимает из кармана деньги, их хватает. Поэтому хочу работать только на такой работе, когда чувствую, что не могу не заниматься ею. Обманывать себя, прятаться от скуки этой жизни за другую скуку неприятной работы бессмысленно. Как говорят: баш на баш менять...

Она говорила на этот раз спокойно, как о вопросе давным-давно решённом, по которому она уже в своё время выслушала достаточно досадных возражений.

Её спокойствие меня возмутило:

— Вы, как бог Саваоф, собираетесь воскликнуть: «Да будет свет!» — не утруждая себя созданием светил, приносящих этот свет...

Она подняла брови, словно говоря: «Что же, послушаем ещё одного».

— ...Можете вы полюбить, скажем, некоего Павла Столбцова? Живёт такой на свете, могу дать подробнейшую рекомендацию. Нет, не можете. Заочно лишь экспансивные девицы в теноров влюбляются. Тем не менее вы ждёте сначала любви к делу, чтобы приняться за него. Чем не заочная любовь? Не зная, не прощупав толком, в чём заключается соль работы, вы жаждете её полюбить. Не бывает этого!

— У кого-то бывает.

— У кого-то! У тех счастливых, у кого способности к чему-нибудь одному ярко выражены. У людей с талантом к математике ли, к живописи ли, к музыке эта любовь в самой природе. Её даже не назовёшь заочной. Большинство же людей на земле не имеют ярко выраженных наклонностей. Я, например, их не имел. Может, вы ждёте, что они у вас вдруг появятся?.. Сложись у меня жизнь иначе, я бы, наверное, мог быть и агрономом и инженером-строителем не хуже, чем педагогом. Я случайно стал педагогом, не сразу — ой, нет! — через несколько лет по-настоящему почувствовал, что люблю свою работу. Теперь уж не представляю себя другим. Для таких, как мы с вами, один путь: сначала дело, проникновение в него, потом уже любовь к делу. Потом! А вы ждёте, что на вас снизойдёт благодать господня, озарит любовью. Не ждите — не озарит!..

Я говорил, не выбирая выражений, почти грубо, ждал — она или будет сердито возражать, или обидчиво замкнётся в себе, отвернётся от моих слов. Быть несчастным по причинам, не зависящим от самого себя, всё же легче, чем чувствовать себя виновником несчастий. Я же говорил: «Ты виновата, от тебя самой зависит устроить свою жизнь».

Но ни упрёков, ни обид не последовало. Прежнее выражение обречённого спокойствия с её лица смылось, как смывается дорожная пыль. И я понял: она услышала надежду в моих словах, запоздалую, далёкую, неверную, обманчивую, но всё же надежду. Не всё кончено, ещё можно что-то предпринять, приложить к чему-то усилия.

Отвернув порозовевшее лицо, она неуверенно возразила:

— Вы проповедуете ни больше ни меньше как привычку к делу. А что, если предположить, что такому заурядному человеку, как я, скажем, может всерьёз не понравиться дело? Или же заурядные люди настолько всеядны, что не имеют определённого вкуса, не могут выбирать?

— Я не против того, чтобы выбирать, я даже за то, чтоб ошибаться. Ошибки — тот же опыт. Я против, чтоб выбирать вслепую.

Валентина Павловна задумалась.

— Вы сказали, что попали в педагоги случайно? — заговорила она.

— Был неприятный момент — не знал, куда идти, что делать. Подвернулся подъезд пединститута. С таким же успехом мог подвернуться подъезд сельскохозяйственного или строительного института...

— Вам первое время не нравилось учить детей?

— Нет, этого не было. В общем, нравилось, но только в общем.

— Расскажите о себе поподробнее.

Я принялся рассказывать о своих потугах в живописи, о пединституте, о годах бездумья, покойных, ровных, по-своему счастливых годах. Рассказал о памятной воскресной прогулке, когда понял, что жить дальше, как я жил, нельзя, рассказал о первом удачном уроке.

Я рассказывал и впервые осознавал своё прошлое: оказывается, я уже не молод, часть жизни прожита, были заблуждения, много лет утеряно без особой пользы. Часть жизни прожита, но она вряд ли была моей лучшей частью. Я теперь вступил в зрелость, тут-то, наверное, и развернись, насколько хватит сил. Тридцать три года за спиной, впереди лет двадцать — тридцать, а возможно, и все сорок — беспомощная старость не в счёт. Это и много и мало. Много, потому что предстоит прожить больше половины сознательной жизни. Мало, потому что эти тридцать три года пролетели как-то незаметно, потому что до обидного куцый срок отмерен человеку на земле.

Валентина Павловна слушала, и её внимание возвышало меня в своих глазах. Она слабей меня, она ищет в моих словах помощи — приятно сознавать себя сильным и уверенным. Если б я постоянно жил рядом с ней, то, пожалуй, моё плечо оказалось бы достаточно крепким, чтобы поддержать, чтоб вывести на путь этого запутавшегося человека.

— У вас есть товарищи? — неожиданно спросила она.

И я замялся:

— Товарищи-то есть... но больше для времяпрепровождения.

Я вспомнил Василия Тихоновича Горбылева и добавил:

— В нашей школе все учителя по-своему одиноки.

— Вы ни с кем не переписываетесь?

— По работе? Нет.

Пока я рассказывал, начались ранние сумерки: посинели окна, из щели под дверью, ведущей в комнату Ани, просачивался слабый свет. Валентина Павловна подня-

лась, щёлкнула выключателем, пошла задёргивать занавеси. Белая скатерть под абажуром ослепила меня.

— У меня есть друг, — сказала она от окна, — тоже учитель, только, наверное, много старше вас. Я его ни разу не видела в жизни. Как-то сделала ему одну услугу, и после этого мы вот уже четырнадцать лет переписываемся. Хотела бы я иметь рядом такого товарища...

Она подошла к столу, присела.

— Я ему о вас напишу...

Пора было идти домой.

Мы вместе зашли к Ане.

— До свидания, Аня. Выздоровливай, — сказал я.

Девочка при свете лампы, поставленной на стул, вышивала на маленьких пальцах. Она положила на грудь пальцы, подняла светлые ресницы, ответила ясным, отчётливым, покойным голосом:

— До свидания, Андрей Васильевич. Приходите, пожалуйста!

Сумерки ещё не успели перейти в ночь. Сугробы, крыши, деревья, убранные в снег, — всё было насыщенного, густого синего цвета, в котором кое-где покойно теплилось жёлтое освещённое окно. Морозный воздух ворвался мне в лёгкие, я расправил плечи, зашагал, с наслаждением слушая вкусное похрустывание снега под валенками.

Вспомнилось лицо Валентины Павловны — по-детски приоткрытый рот, доверчивый взгляд, — и меня снова охватило ощущение радостной силы, уверенности в себе. Она напоминает ребёнка, а я — рядом с ней — взрослый, опытный, возмужалый! Я могу поддержать словом и советом.

Драгоценная способность зажигаться от порыва другого человека. Тоня, например, такой способностью не обладала: сколько ни говори, слова попадают словно в вату. А тут моё слово выбивало искру, вызывало волнение.

Чёрт возьми, я сегодня без причины очень нравлюсь себе, и меня это несколько не смущает! Она хотела бы иметь рядом с собой хорошего товарища. Я могу быть таким товарищем — верным, крепким и не беспомощным!

С реки на крутой берег по обледенелой дороге поднимались сани, гружённые мёрзлыми кряжами дров. Повозочный, мальчишка-подросток, упрятанный в просторный, не по росту полущубок, неуклюже сутился возле саней, свирепым голосом, в котором слышалось отчаяние, кричал на лошадь:

— Н-но! Дьявол!.. Н-но! Стерва ползучая!

А лошадь рвалась в оглоблях, оскальзывалась и падала на колени.

— Что мне с тобой делать, проклятая?!

— Не кричи зря.

Я соскочил вниз, нащупав валенками твёрдое место, упёрся плечом в концы кряжей.

— Подымай лошадь!.. Не спеши, не спеши... Так... Теперь давай!.. Давай! Да-авай!!

Лошадь вырвалась на гребень берега, вынесла тяжёлые сани, а я, стряхнув с плеча приставший снег, двинулся дальше, от избытка сил подпрыгивая на каждом шагу, ощущая в теле волнующую игру мускулов, радуясь тому, что сумел помочь в маленькой беде неизвестному человеку, который не успел даже сказать спасибо.

22

Я стал ловить себя на том, что часто думаю о Валентине Павловне. В этом не было ничего необычного, ничего предосудительного. Так же я, наверное, думал о Феде Кочкине или Серёже Скворцове. Я увидел, что она нуждается в помощи, я сочувствовал ей, даже жалел, а жалость — первая ступенька к близости.

Я собирался снова навестить Валентину Павловну, просидеть с ней до сумерек, заглянуть к Ане, услышать на прощание ясный, отчётливый голос девочки: «Приходите, пожалуйста, Андрей Васильевич». Я не успел этого сделать.

В тот день я рано кончил свою работу в школе, ждал, когда Тоня кликнет с улицы Наташку и наша маленькая семья усядется за стол.

На пороге появился Акиндин Акиндинович. Его доброе носатое лицо было красным, расстроенным. Он сокрушённо высморкался в платок, спрятал его в карман и только после этого подавленно сообщил:

— Неприятная новость, Андрей Васильевич...

— Что такое?

— Аня-то Ващенкова... Не слышали?

— Ну?!

— Приказала долго жить.

Тоня охнула, выпавший из её рук нож зазвенел на полу. Я поднялся.

— Только сейчас Анфису Колодкину встретил, сестру из больницы... Час назад приступ... Вот оно...

...Как всегда, во дворе дома Ващенконых весело галдели ребятишки, прыгали по очереди с крыши сараюшки в измятый сугроб. Даже смерть не могла нарушить этого бездумного детского веселья, как не нарушали его и строгие законы нашей школы.

В знакомой мне комнате с жёлтым абажуром и пасмурным пейзажем на стене пахло медикаментами, всюду следы суety и тревоги: на стул в самом проходе брошено ватное полупальто Ващенкова, на ковровой дорожке мокрые следы ног, на диване какие-то скомканные простыни и резиновая кислородная подушка, а на обеденном столе микроскоп, детские пальцы с неоконченной незамысловатой вышивкой, старая кукла в кудельных буклях — вещи, до которых каких-нибудь два часа назад касались руки Ани Ващенковой. Только один угол комнаты, письменный стол у окна, продолжал сохранять размеренный порядок жизни: аккуратной стопкой сложены книги, крышка чернильницы открыта, лежит наполовину исписанный лист бумаги, на нём костяная ручка. Наверное, последний приступ Ани оторвал мать от письма.

Никого, а в Аниной комнате слышатся приглушённые до шёпота мужские голоса.

Я прислонился к дверному косяку, продолжая разглядывать микроскоп, куклу и пальцы на обеденном столе под сенью жёлтого абажура. Только тут я как-то по-особому близко и болезненно ощутил, что из жизни ушёл человек. Маленький человек со своим маленьким прошлым и неизведанным, неосмысленным будущим. Старая кукла, раскинувшая на столе свои тряпичные руки, — её прошлое. Сложный микроскоп — будущее этой девочки. Всё теперь ни к чему. Заботы, учёба, мечты — ничего нет, пустота. Нет ни прошлого, ни будущего, нет человека! Аня Ващенко, долговязая, нескладная девочка, неприметная ученица из моего класса, никогда больше не появится за партой. Никогда мой взгляд не остановится на ней, никогда не придётся задумываться над тем, какой она станет через десять — двадцать лет. Из многих судеб, которые я теперь всё ближе и ближе принимаю к сердцу, вычеркнута одна.

Дверь из Аниной комнаты приоткрылась, из неё бочком вылез известный всем в районе доктор Трешинов. Он заметил меня, нахмурился, вздёрнул голову, выразил на бритом, в крупных складках лице величаво-оскорблённое выражение, словно заранее хотел решительно возразить на мои упрёки: «Нечего глядеть так, я не бог. Я всё сделал, что в моих силах».

В эту минуту за моей спиной раздалось шарканье валенок, появились две старушки, обе туго обмотаны в платки, обе кургузые, неповоротливые в своих многочисленных одеждах. Они загородили дорогу доктору; одна с вкрадчивой певучестью спросила:

— Хозяева-то где? Мы уговориться пришли: покойную-то обряжать нужно.

Врач Трешинов секунду-другую молча, непонимающе глядел на двух помощниц смерти, ничего не ответил, отстранил их рукой, быстрым шагом прошёл мимо меня в переднюю и там, сосредоточенно посапывая, стал натягивать пальто.

Старушки потоптались на ковровой дорожке своими громоздкими валенками, повернулись ко мне, уставились вопросительно — обе ясноглазые, с румяными скулами:

— Оно кого же спросить? Ведь обряжать нужно...

Я уже за свой страх и риск собирался осторожно выпроводить старух, как тут шумно вошёл Вася Кучин. Сразу стало как-то легче при виде этого краснолицего, рослого человека в добротном дублёном полушубке, внёсшего с собой бодрый запах мороза и овчины.

— Уже здесь, слуги кладбищенские? — рокошующим шёпотом спросил он старух. — Идите, красавицы, идите. Позовём, когда нужно.

— Мы что?.. Мы ведь только уговориться...

— Сговоримся, придёт время, сговоримся.

Он легонько вытолкнул старух, повернулся ко мне, сдвинул на затылок шапку: «Вот дела-то какие...»

Дверь комнаты Ани распахнулась, преувеличенно решительной походкой, вытянув шею, незряче уставившись вперёд, вышел Ващенко. Он шёл на Кучина, но, за-

метив меня, круто повернулся. Веки его были красны, виски впали, набухший нос на осунувшемся лице выражал покорность и потерянность.

— Андрей Васильевич... — произнёс он высоким голосом и сорвался, поспешно от-
вернулся от меня.

Кучин бережно обнял его за плечи, отвёл в сторону, стал нащёптывать:

— Сделано... Заказано... Порядок...

Из-за дублёного рукава полушубка, лежащего на плечах Ващенко, лысеющая голова покорно кивала каждому слову.

А я в это время в раскрытых дверях увидел неподвижно сидящую Валентину Павловну. Сидела она напряжённо, глядела в мою сторону, но, должно быть, ничего не видела. У неё странно изменилось лицо: оно стало каким-то асимметричным — один глаз устало полуприкрыт, другой, округло-напряжённый, глядит мимо меня, глядит и ничего не выражает. И мне стало не по себе, я шагнул к ней, шагнул и остановился... До меня ли ей? Что я смогу сказать, чем утешить?

— Андрей Васильевич, — обернулся ко мне Кучин, — попробуйте Валентину Павловну привести сюда. Оторвать бы её на время надо...

Я вошёл в Анину комнату. На смятой подушке, среди смятых простынь поднималось остроносое лицо девочки, ещё не приобретшее восковой мертвенной бледности. Я наклонился к Валентине Павловне. Вблизи она ещё сильнее испугала меня: казалось, чья-то грубая рука варварски измяла прежде красивые черты.

— Валентина Павловна... — наклонился я к ней. — Валентина Павловна...

Она вздрогнула, повернулась ко мне, и из глаз — полуприкрытого и круглого — потекли слезы. Я беспомощно оглянулся на Ващенко. Тот освободился из-под руки Кучина, всё той же преувеличенно решительной походкой направился ко мне. Я ждал, что он что-то мне скажет, чем-то поможет, но он подошёл, остановился, словно споткнувшись, замер, с дрожанием губ глядя в лицо дочери, медленно-медленно опустил на стул, низко склонил голову, обхватил её руками.

— Их надо оставить в покое, — подавленно сказал я Кучину. — Выйдем отсюда.

В маленькой прихожей, где одна стена была увешана шубами и пальто, я вздохнул всей грудью. Мы с Кучиным опустились на деревянный диванчик возле узкого окна, на тот самый, на котором во время моего первого визита лежало чистое бельё, принесённое с мороза Валентиной Павловной.

Молча закурили. Я испытывал гнетущее бессилие.

— Ничего, переживут. Все переживают, — вздохнул Кучин.

В это время раздался громкий стук в дверь.

— Должно быть, плотник, — произнёс Кучин. — Входи!

Но вошёл не плотник, а девушка с почты.

— Бандероль заказная, — объяснила она, протягивая; широкий пакет.

— В райком не смогла снести, курносая? — спросил Кучин.

— Так по адресу же...

— По адресу, по адресу... Ващенкоу теперь не до чтения. Давай распишусь... Где тут?

Кучин расчеркнулся в книге, ворча под нос:

— Только бандероли теперь и читать Ващенкоу. — Сорвал обёртку, удивлённо повертел перед собой замусоленную канцелярскую папку, открыл её. — Что такое? — Выругался смущённо: — Ах, черт! Это же не Ващенкоу, а Ващенкоу! Валентине Павловне бандероль. Я-то думал: почему служебный пакет на дом?.. Снеси, Андрей, положи куда-нибудь...

Я взял папку, бросая взгляд на открытую дверь Аниной комнаты, на склонённую спину Ващенкова, прошёл к письменному столу, единственному месту, хранившему прежний домашний уют, положил рядом с недописанным письмом.

Я вернулся к Кучину и забыл о папке.

23

В день похорон Ани Степан Артёмович освободил от учёбы всю школу. Класс за классом неровными, но чинными колоннами с венками из свежей хвои шли ученики через село. Венки нёс наш класс. Вместе с нами шагал и Степан Артёмович. Как всегда, он с чопорным достоинством держал свою голову в высокой котиковой шапке.

Низкое белёсое небо висело над пухлыми, отягощёнными снегом крышами. Шум сотен ног, обутых в валенки, среди мягких сугробов, обложивших стены домов, казался глухим, каким-то вороватым.

Я глядел в узкую, прямую спину Степана Артёмовича, глядел и думал. Ведь он снял школу с занятий, торжественно повёл её на похороны не из жалости, не из-за мучений совести, не потому, что в нём зашевелилось какое-то ощущение собственной неправоты. Прямой, с высоко поднятой головой человека, которому нечего стыдиться и не перед кем прятать лицо, он вышагивает сейчас — глава парада, организованного им.

Вся коротенькая гражданская панихида на дальнем углу утопающего в снегу кладбища показалась мне неестественной, постыдно лживой. О девочке, прожившей каких-то тринадцать лет, ничего не сделавшей, не успевшей ещё принести пользу людям, говорить в высокопарных выражениях! Почему бы просто, по-человечески её не пожалеть? Почему бы прямо не сказать о том, что из миллионов человеческих жизней вычеркнута для будущего одна. Это само по себе тягостно. Не стало человека, у которого могла быть своя судьба. Смерть в детстве — слепая, вопиющая несправедливость! У любого и каждого она неизбежно вызовет в душе ответную боль. И нет нужды выдумывать достоинства, каких не было у Ани. Зачем оскорблять память девочки ложью?

А Степан Артёмович?.. Когда Аня ходила в школу, он и не замечал её, для него она была всего-навсего досадной единицей, снижающей успеваемость. Степан Артёмович не сталкивался с Аней вплотную, как сталкивались с ней рядовые учителя, он ничего не знал о её характере, о её привычках. Но сейчас этот Степан Артёмович стоит на на-

сыпи перед всеми — седая голова обнажена, на лице суровая, мужественная печаль, а голос его скорбно приглушён. И этим скорбным голосом он извещает всех о том, что школа потеряла прекрасного товарища, что школа вместе с родителями глубоко переживает утрату, что память об Ане Ващенкоу будет долго жить в стенах школы...

А молчаливые люди, столпившиеся у могилы, простодушно верят каждому слову. Две женщины неподалёку от меня сокрушённо сморкаются в платки, смахивают варежками слёзы со щёк. Чем не трогательная картина — седой педагог прощается с прахом любимой ученицы?

От нашего класса выступала Соня Юрченко. Нахмурившись от смущения, она развернула заранее приготовленную бумажку и начала читать. И каждое слово, произнесённое ею, словно обдавало меня кипятком. Я упрекал Степана Артёмовича, а сам... Ведь это я, классный руководитель, выбрал для выступления Соню Юрченко, я для Сони написал речь на бумажке, мои слова сейчас она громко читает:

— ...Будем вечно помнить нашу подругу. Спи спокойно, дорогая Аня!..

Степан Артёмович был сдержаннее, он хоть сказал: «долго помнить», а я не пожалел вечности. Какое там — «вечно помнить»! Ребята жизнелюбивы, их жизнелюбие по-своему эгоистично, смерть Ани не изменит их жизни. Мне и в голову не приходило, что совершаю ложь!..

На себе я почувствовал чей-то косой пытливый взгляд.

Рядом стоял учитель физики Василий Тихонович Горбылев. Встретившись со мной взглядом, он отвернулся, его горбоносый, нервный профиль таил какую-то скрытую загадку. Он, наверное, понял мои терзания. До конца панихиды мы, стоя бок о бок, не обмолвились ни словом, даже не взглянули больше друг на друга.

Заснеженный пустырь, отделявший кладбище от окраины села, чернел спинами расходящегося народа.

— Прошу прощения, Андрей Васильевич. Не найдётся ли у вас спички? — Горбылев стоял передо мной, протягивая пачку папирос, глядел из-под жёстких, колючих ресниц. — Курите...

— Спасибо.

Прошествовал Степан Артёмович с водружённой на голову высокой шапкой. Мы проводили взглядами его узкую прямую спину, переглянулись. В тёмных, до мнительности пытливых глазах Василия Тихоновича было нескрываемое любопытство.

— Вам сегодня что-то не нравится этот человек?

— Я сам себе сегодня не нравлюсь.

— Вы домой? Что, если нам пройти вместе?

— Идёмте.

И мы пошли к селу, косясь исподтишка, не находя темы для разговора, до сих пор лишь знакомые со стороны, чуждые и даже враждебные друг другу. Но в теперешнем молчании я чувствовал — между нами появилась обоюдная симпатия. У меня были в жизни друзья и знакомые, у Василия Тихоновича — тоже, хотя, наверное, меньше моего.

Но я ни с кем из знакомых, если не считать последнего разговора с Валентиной Павловной, не мог поделиться своим сокровенным — своими сомнениями, своими поисками в одиночку, своими скромными успехами на уроках, не мог, должно быть, ни с кем поделиться и Василий Тихонович. Мы молчали, но, без сомнения, оба одинаково чувствовали значение этой минуты. Возможно, я для себя сейчас открою нового, неизвестного мне доселе Василия Горбылева, а Василий Горбылев — нового Андрея Бирюкова.

Я, по-видимому, был по своей натуре более общителен, чем мой спутник, поэтому заговорил первым:

— Вы угадали, когда спрашивали про Степана Артёмовича. Но что там Степан Артёмович... Я сам хорош... Степан Артёмович фальшиво выступил, Соня Юрченко фальшиво прочитала по написанной мною бумажке. Стыдно и за себя и за Степана Артёмовича. И странно, никто не замечал лжи, все принимали её как самое естественное. Что это? Привычка верить и не задумываться?

— Нет, не привычка, просто бездумно живём. Часто по своему бездумью не понимаем опасности. Вот уж воистину: блаженны нищие духом, не ведают они, чего творят...

Василий Тихонович шагал, вытянув шею из просторного воротника пальто, подавшись всем телом вперёд. Я глядел на него сбоку и вспоминал слова доброго, со всеми уживающегося учителя математики Олега Владимировича: «Василий Тихонович не имеет трёх измерений — это сплошной профиль, и тот весь из углов». Его словно прорвало, он говорил поспешно, многословно, как человек, долго размышлявший наедине и только сейчас дорвавшийся до собеседника.

— ...Мы в Загарье едим, спим, занимаемся обычными делами, мимоходом рассуждаем об атомных и водородных бомбах, о новых открытиях в науке. Иногда поражаемся, что человеческая мысль выросла до устрашающих размеров. Но задумываемся ли мы? Да нет, мы просто отмечаем для себя: то-то случилось, то-то изобретено... Не имеем права жить бездумно! Сейчас, как никогда, бездумье грозит катастрофой! Неизвестно, к чему приведёт всеислие человеческой мысли. Быть может, научимся летать со скоростью света к звёздам, строить искусственные планеты во вселенной. А может случиться, что человечество, открывшее тайну атома, уничтожит само себя, как некогда монах Шварц убил себя им же изобретённым порохом. Вы, наверное, помните слова Энгельса: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит...» За великие же победы возможна великая месть!

Он говорил, а вокруг нас дремотно раскинулась придавленная снегами окраина села. По сжатой сугробами улочке трусила запряжённая в розвальни лохматая лоша-дёнка. Из прокопчённых труб успокаивающе тянулся дымок. На заборах, нахохлив-шись, сидели вороны. Не верилось в трагедию средь этого прочно обжитого, с печатью извечного покоя уголка земли.

Я возразил:

— Вы уносите куда-то очень высоко — в космос, а меня, признаться, волнуют только сугубо земные дела.

— Космос, земные дела... Между ними уже нет пропасти. Последние работы Жолио-Кюри или Ландау и дела нашей Загарьевской десятилетки связаны между собой. Физик Ландау делает сегодня свои открытия, а пользоваться-то ими станут они, наши ученики — Кости Коробовы, Сени Кузнецовы, Сони Юрченки. Они должны знать не только секреты науки от закона Архимеда до новейших формул Ландау, но обладать ещё сверхвысокими человеческими качествами: будь то честность, доверие друг к другу, способность к творчеству. Во имя процветания жизни на нашей планете будущие люди должны иметь чистую совесть и светлые головы. И в этом ответственные я, вы, Степан Артёмович. Я знаю, что вы чего-то ищете, как-то хотите отойти от канонов Степана Артёмовича. Я тоже который уже год ворочаюсь в одиночку. Это кустарщина! Надо сообща бить тревогу! Сообща поднять бунт против благодушного бездумья! И в первую очередь в школе, где готовятся люди, которые завтра станут хозяевами жизни.

— Что вы предлагаете? — спросил я.

— Что?.. — Василий Тихонович вдруг усмехнулся. — Кроме своего личного возмущения, ничего пока не могу предложить. — Он протянул руку. — Я рад, что мы разговорились...

Ладонь его была твёрдая, сухая и горячая. Это было наше первое рукопожатие за все годы сотрудничества в Загарьевской десятилетке.

Тоня тоже присутствовала на похоронах, даже всплакнула там. Сейчас она озабоченно накрывала на стол. В нашей чистенькой комнате, заполненной через полуза-мёрзшие окна снежным мягким светом, пело и воодушевлённо ораторствовало радио.

Усевшись за стол, сложив руки на скатерти, я невольно слушал бодрый голос из репродуктора:

*Строю я теперь плотину
Над великою рекой.
Рою землю я машиной,
А не старую киркой...*

Я слушал и думал о Горбылеве. Меня не слишком-то волнуют предсказания катастрофы на нашей планете. Я не верю в это уже только потому, что люди догадываются об опасности. Раз догадываются, пусть тяжёлой ценой, но сумеют её предотвратить. Меня волнует вообще жизнь людей, обычная, повседневная, с будничными интересами.

*Мы теперь не ищем кладов
По оврагам и горам,
А работаем, как надо,
Как велит отчизна нам...*

И в словах и в беззаботном голосе я чувствую сплошное бездумье: всё трын-трава, о чём задумываться — жизнь ясна, жить просто!

А разве так уж просто жить мне или тому же Горбылеву? Любая человеческая жизнь сложна, тем более жизнь тех, кто впереди других нащупывает дорогу. А все мы идём не по проторённому пути.

Тот, кто кричит о ясности и простоте, обманывает людей, усыпляет их разум. Старая истина, не мной первым сказана.

24

В сорок третьем году у речонки Разумной, про которую солдаты говорили: «Переплюнуть можно, а перейти нельзя», — мы шли в атаку за атакой с болотистого берега на высокий, известковый. Нас расстреливали в упор с прямой наводки. Живые лежали вповалку с мёртвыми, по ночам хриплые стоны тяжелораненых ни на минуту не прекращались на нашем болотистом плацдарме. Наши трупы завалили худосочную речонку, и она вышла из берегов. А какой-нибудь месяц спустя грузовик эвакогоспиталя вместе с другими ранеными спустил меня по высокому берегу к речке Разумной. Шофёр остановился у моста и выскочил с ведром, чтоб долить воды в радиатор. Мне помогли приподняться, и через борт кузова я смог разглядеть памятное и страшное место. Страшное... Тут полегло много сотен людей, тут были убиты мои товарищи: Сеня Горохов, Женька Смирнов, Рубен Оганян. А я увидел идилию: новенький, сияющий свежей желтизной добротных перил мост; на нём, спустив к воде ноги, сидят ребятишки с удочками; больно рябит солнце в речке; спокойно лежат кувшиночные листья в камышовых заводях — никаких следов кровавой трагедии, даже воронки от снарядов затянула болотистая почва левого берега. Помню, меня это потрясло. Жизнь прячет следы несчастий, и если память о них свежа, это кажется обидным, почти недопустимым.

В комнате с жёлтым абажуром и пасмурным пейзажем на стене всё приняло прежний вид: обеденный стол накрыт свежей скатертью, исчезли куда-то микроскоп, кукла и пальцы, пол чисто вымыт, каждый стул стоит на своём месте. Всё выглядит по-прежнему, но сам я чувствую себя здесь по-новому, никак не могу забыть, что соседняя комната пуста. Ващенко это чувствует, должно быть, намного острее меня. Он, чисто выбритый, в отглаженной сорочке, с запавшими сильнее обычного глазами ходит с сосредоточенным видом от стены к стене и, проходя мимо двери Аниной комнаты, трогает ручку, словно старается плотней прикрыть дверь.

Сама хозяйка изменилась. Черты вновь правильного, но бледного, похудевшего лица стали чётче, определённой и холодней. Она даже кажется тоньше и выше в тёмно-синем, строгом платье. Я застал её в тот момент, когда она собиралась выйти из дому, уже держала в руках шарф и перчатки. Между ней и мужем происходил какой-то разговор, прервавшийся с моим приходом.

— Вы были правы, Андрей Васильевич, — объявила Валентина Павловна, — под лежащий камень вода не течёт. Я не должна сидеть сложа руки и ждать, как вы тогда

выразились, когда осенит любовь свыше. Нужно идти навстречу делу, въедаться в работу.

Голос Валентины Павловны, как и её вид, был подчёркнуто холодный и в то же время напряжённо решительный.

— Но в какую работу? — перебил её Ващенко.

— Ту, которая мне всего знакомей. Я, Андрей Васильевич, оформляюсь ответственным секретарём в редакцию районной газеты.

— К Клешневу, — многозначительно добавил Ващенко, проходя мимо двери, опять сосредоточенно потрогав ручку.

— Да, Клешнев скучен! Да, у него бесцветная газета! Да, он убил всё живое! Да, работать с ним будет не весело! Я всё это знаю и тем не менее иду! — Валентина Павловна с вызовом посмотрела на нас обоих. — Что мне ещё делать? Подскажите другое, готова за всё схватиться.

Я молчал. Ващенко пожал плечами.

— Очередная вскидка, Валя, — сказал он мягко. — Тебе не понравилась работа в областной газете, а ведь там поживей люди действовали, чем этот Клешнев. Опять кончится ничем.

— Там я была неприметным работником. И что требовать от девчонки? Теперь я зрелый человек, ещё посмотрим, кто кого — Клешнев меня или я Клешнева. Вдруг да вопреки клешневской инертности сумею сделать газету интересной...

Ващенко с сомнением покачал головой.

— Я секретарь райкома, Клешнев на меня смотрит как на бога, но даже я бессилён перед ним. Легче сдвинуть с места тяжёлый камень, чем ком теста. Ему говоришь, чтоб нашёл живой материал о жизни рабочих на лесопунктах. Он обещает, он никогда не возразит, не скажет «нет». Материал появляется: «В борьбе за производственные показатели...» Перечисляются фамилии, ни одного свежего факта, ни слова живого. Нельзя винить горбатого, что не имеет стройной осанки, нельзя спрашивать с Клешнева больше того, на что он способен...

— А я спрашивать с него не буду. Я стану действовать, как смогу. Думается, что смогу больше, чем Клешнев.

— Не ты, а он тебе станет указывать, его утвердили во всех инстанциях ответственным редактором, он отвечает за газету. Поэтому он тебе шагу не даст ступить самостоятельно.

— Поживём — увидим.

Я молчу, не вступаю в спор. Я целиком на стороне Валентины Павловны: надо же ей в конце концов выбираться, надо действовать, в самом деле — под лежащий камень вода не течёт. Но мне почему-то грустно видеть у неё решительное настроение. Она не нуждается в моём сочувствии, нет повода её жалеть, а именно жалость-то меня и сблизжала с ней.

Она подходит к письменному столу, вынимает из-под книг уже знакомую мне потёртую папку, протягивает:

— Кстати, Андрей Васильевич, чтоб не забыть... Помните, я говорила вам о моём друге-учителе? Я написала ему о вас, и он ответил не только письмом — прислал эту работу.

Я взял папку.

— Это его работа? — спросил я.

— Нет. Автор живёт в Москве. Кандидат педагогических наук, некий Ткаченко. Моему знакомому эта рукопись попала через третьи руки. Он отзывается о ней как-то осторожно... Я её тоже просмотрела... Впрочем, прочитаете. Для педагога, мне кажется, будет небезынтересно...

Последние слова она произнесла торопливо. Она словно хотела сказать мне: «Есть ваши интересы, Андрей Васильевич, но есть и мои. Рада вам помочь, но моё собственное мне дороже, поэтому разбирайтесь сами, а я ухожу, я спешу».

Валентина Павловна быстро и ловко натянула на волосы вязаную шапочку с пушистым помпоном, кивнула мне на прощание. И пушистый помпон, когда она своей напористой походкой — голова приподнята, грудь вперёд — шла к двери, торчал вызывающе, почти воинственно.

Она ушла, я вертел в руках папку...

Ващенко последний раз приоткрыл дверь в Анину комнату, снова её старательно захлопнул, принялся натягивать пиджак.

— Мне тоже надо идти. Нам вроде по дороге, Андрей Васильевич?

25

В коротком полупальто, выступая негнушимся, журавлиным шагом, ссутулив спину, глубоко засунув руки в карманы, Ващенко сосредоточенно молчал, углублённый в свои мысли.

Я спросил:

— Пётр Петрович, почему вы отговариваете Валентину Павловну? Сейчас ей просто нельзя оставаться наедине с собой, и то, что она решилась устраиваться на работу, мне кажется, лучший выход.

Не поворачивая головы, по-прежнему уставясь под ноги, Ващенко не сразу заговорил:

— Если б такой порыв у неё случился впервые, то я всей бы душой его приветствовал. Но вся беда, что я уже научен горьким опытом.

— Она пробовала устраиваться на работу?

— В том-то и дело — неоднократно. Вскинется, загорится, бросится на первое, что подвернётся под руку, а потом... Потом ей кажется, что она совершенно уже ни к чему не пригодна, что всё кончено, жизнь несносна, она окончательно погибший человек. Тогда ещё Аня была... А теперь... Чем всё это кончится?..

Ващенко ещё больше ссутулился.

— Но что-то надо делать? Ей нельзя жить, как жила, — возразил я.

— Ах, Андрей Васильевич, я четырнадцать лет живу рядом с ней и все четырнадцать лет решаю этот проклятый вопрос... Слишком высокие требования...

— Но вся жизнь может пройти в неудачах. Пора уравновесить свои требования и свои способности.

— А вы их уравнивали? — живо откликнулся Ващенко. — Вы всем довольны, всего достигли? Вам уже нечего желать больше?

Я замялся: доволен ли? Нет, и неизвестно, буду ли доволен. Чем дальше в лес, тем больше дров, — я давно уже понял это.

— Вы правы, но...

— Хотите сказать, что вы что-то сделали, чего-то добились, недовольны совершённым, но стремитесь совершить больше, а её недовольство пустопорожнее. Не так ли?.. Но и на её счету имеются свои человеческие заслуги. Папку, которую вы держите сейчас в руках, прислал ей человек, который вот уже много лет сохраняет к ней чувство благодарности.

— Пётр Петрович, я не сомневаюсь в высоких человеческих качествах Валентины Павловны.

— Одно дело — качества, другое — заслуги. Некий Лещев попал на страницы областной газеты. Крошечный фельетончик, такой, что можно прикрыть ладонью, крест-накрест перечёркивал жизнь человека, уже пожилого, обременённого семьёй. Лещев написал письмо, где доказывал свою невиновность. По счастливой случайности оно попало в руки молоденькой сотрудницы Вали Валуевой. Она бросилась к главному редактору. Тот должен был или признаться публично в грубой ошибке газеты, или же сделать вид, что ничего не случилось. Признаться в ошибке — значит запятнать авторитет. Кислая гримаса, лёгкое движение руки, сдвигающее на край стола бумагу, — всё это так легко, намного легче, чем нажать спусковой крючок у винтовки...

Засунув руки в карманы, глядя себе под ноги, Ващенко некоторое время молча вышагивал.

— Она, размахивая письмом, стала стучаться во все двери, — продолжал он, не поднимая головы. — Я работал тогда в обкоме. В один из прекрасных дней она предстала передо мной. До сих пор не пойму, какой силой эта девчонка мне доказала, что равнодушие — самое позорное преступление. Я почувствовал, что я честен по своей натуре, что я добр... Да, и добр!.. Доброта... Мы как-то забыли это слово в своём первоизданном значении. Оно нам кажется сентиментальным, филистерски ограниченным. Добрый, добренький — в наших устах стало почти ругательством. Суровая эпоха не должна быть оправданием чёрствости. Всё лучшее, что сделано в истории человечества, сделано из любви к людям, настоящим и будущим!.. Ну, это уж философия...

Ващенко вдруг круто повернулся ко мне, бросил взгляд из-под надвинутой шапки:

— Вы слышали, чтобы обо мне плохо отзывались в райкоме?

— Нет, — ответил я.

— Если я по возможности отстаиваю правду, если я от районных партработников постоянно требую: доверяйте людям, не отмахивайтесь от самых малейших просьб, вникайте не только официально, но и по совести, — в этом, честное слово, есть какая-то заслуга Валентины.

Мы остановились перед райкомом. Ващенко пожал мне руку — сутуловатый, в шапке, надвинутой на глаза, длинными негнувшимися ногами зашагал к подъезду. Уже в дверях он обернулся и громко сказал:

— Не обвиняйте меня в беспомощности. Любой на моём месте не сумел бы сделать больше.

А ведь он угадал. Я до сих пор в душе упрекал Ващенко, как это он, так крепко стоящий в жизни, не может помочь самому близкому человеку?

26

Вечером, после чая я улёгся в своей комнате, раскрыл папку, взял рукопись и стал читать.

Представьте себе, что вы идёте по городской улице, безразлично глядите на прохожих и вдруг замечаете кого-то очень знакомого и в то же время чем-то чудного, непривычного для вас. На долю секунды вы чувствуете лёгкое недоумение, замешательство, и только после этого догадываетесь, что среди толпы, среди равнодушных прохожих видите своё отражение в зеркальной витрине. Знакомый и в то же время непривычный человек оказывается вашей собственной персоной.

Нечто подобное испытал я, когда проглотил первые страницы рукописи.

Нисколько не заботясь о красочности и образности своего изложения, сухо и деловито, как и подобает автору сугубо научной работы, неизвестный мне Ткаченко начинал издали: бич учёбы — пассивность ученика, урок в одинаковой мере должен служить и для обучения, и для воспитания ценных человеческих качеств.

Всё верно, но я учитель-практик, и практические советы для меня дороже высокопарных теоретических рассуждений, как лесорубу нужней удобная электропила, чем лекция о пользе электричества в лесоразработках.

Ткаченко заговорил о приёмах. Среди педагогических приёмов существует один, который можно условно назвать «организованным диалогом». Учитель как бы ведёт разговор с классом.

Ага, Ткаченко придумал не слишком ласкающий слух учёный термин — «организованный диалог», я же называл это как придётся, чаще простым словом — беседа.

Дальше... Что, если учитель организует такой диалог между учениками? Скажем, два ученика получают разработанные вопросы...

Я на минуту оторвался от рукописи. Всё-таки странно: в тот вечер, когда я сидел у себя за столом и сочинял пьесу с двумя действующими лицами на тему о придаточных предложениях времени, сочинял для того, чтобы после уроков мои ученики Се-

рёжа Скворцов и Федя Кочкин разыгрывали её, я самонадеянно считал: моя находка, моё открытие, никто до меня ещё не писал таких странных пьес. Пожалуй, это уже не зеркало витрины, отражающее мои мысли, мои сомнения, это похоже на встречу с двойником.

Я снова принялся за рукопись — и стоп! — чуть не подпрыгнул от удивления. Что же предлагает Ткаченко?! Оставив одну, две пары специально подобранных учеников после уроков, заниматься, как это делал я?.. Нет! Он советует перенести свой «оргдиалог» *прямо на урок, и все ученики без исключения должны им заниматься!*

Я сразу же представил себе свой класс: выражение бессмысленной младенческой наивности на лице Лёни Бабина, бесстрастное равнодушие, скрывающее настороженную хитрость, Паши Аникина, Галю Субботину с апатично отвисшей розовой губкой, Серёжу Скворцова, Федю Кочкина, Соню Юрченко...

Да, все разные лица, разные характеры, разные способности!

Ткаченко говорит: можно сделать так, что весь класс будет учить одного ученика и один всех.

Ой ли?.. Утопия.

В классе пятнадцать — двадцать пар. Каждая пара беседует между собой, все они работают над одним и тем же материалом. Одна пара кончила работу, в это время где-то в противоположном конце класса другая пара также пришла к решению — вроде всё, говорить больше не о чем. Что, если заставить учеников пересесть: из первой пары один — во вторую, из второй — в первую? Создаются две новые пары, с новыми знаниями, с желанием прощупать: а как подготовлен новый сосед?

Разные характеры в классе, разные по способностям ученики по-разному воспринимают материал; у одних более живое воображение, они всё представляют в образах; у других сильнее развита механическая память, быстрее запоминают формулировки и выводы; третьи обладают врождённой способностью к анализу и обобщениям... Разные характеры, разные способности приходят в общение друг с другом. В течение урока один ученик может встретиться с двумя, с тремя или, смотря по обстоятельствам, с большим числом товарищей. Неизвестно, с кем столкнётся судьба, скажем, Пашу Аникина, — может, с Серёжей Скворцовым, а может, с Лёней Бабиным. Серёжа Скворцов более развит, быстрее схватывает, чем Паша. Аникину волей-неволей придётся у него учиться. На какое-то время Серёжа становится как бы учителем, а Паша его учеником. Но вот после этого Паша сходится с Лёней Бабиным. Тут уж по быстроте сообразительности Лёне Бабину не сравниться с Аникиным. Паша учитель, Лёня учится у него! И то, что Паша Аникин, сам по себе ученик со средними способностями, со средним запасом знаний, должен втолковывать туповатому Бабину, шевелить его вялую натуру, полезно самому Павлу, быть может, даже больше, чем Лёне. Недаром говорит русская пословица: «Учи других — сам поймёшь».

Разные характеры, разные способности!.. Любой из твоих товарищей по классу может стать и твоим учителем и твоим учеником. Все ребята учат одного, один — всех.

Ткаченко предлагает целую систему проверки: оценки, которые должны ставить ученики друг другу, «ассистенты-контролёры» при учителе из лучших учеников — всё к тому, чтобы с любого и каждого можно было спросить: «Ты отвечаешь не только за свои знания, но и за знания своих товарищей!»

Активность...

Самостоятельность...

Коллективизм...

Я отложил в сторону рукопись.

27

Была поздняя ночь. Наш дом спал. За полузамёрзшим окном, небрежно задёрнутым лёгкой занавеской, спало село. Только возле почтового гаража с сердитым усердием рычал грузовик. Кто-то из шофёров уже поднялся с тёплой постели, чтоб по раскатанной зимней дороге ехать к пятичасовому поезду. Приглушённое двойными зимними рамами рычание грузовика, разогревающего свой мотор, — первая весточка наступающего дня.

Я взял в руки рукопись: подслеповатый шрифт третьего или четвёртого экземпляра с машинки, поправки химическими чернилами... Чья рука делала эти поправки? Рука самого Ткаченко, рука Лещева или ещё чья-нибудь?.. Почему такая работа не напечатана? Не знаменательно ли это?.. Я теперь читаю почти все педагогические журналы, проглядываю методические письма, роюсь в брошюрах. Я не мог пропустить, не мог не заметить. Ни отзвука в печати, ни намёка, что такая работа существует на свете. Хотя можно, пожалуй, объяснить, почему эта рукопись не появилась в печати. Я практик, я часто не удовлетворён тем, как учу детей и как их воспитываю, в последние годы я всё время искал, я даже без помощи Ткаченко пришёл к тому, что он называет «оргидаialogом», но даже меня сейчас пугает его работа. А те люди, что сидят в журналах, не так прочно связаны со школой, как я, им не приходится каждый день проводить уроки, их обязанность, их профессия — печатать статьи. Вполне возможно, что при виде такой необычной рукописи они отмахиваются обеими руками. Мне ли не знать, что нынешняя педагогическая литература не отличается особой дерзостью.

Я сел за стол, положил перед собой рукопись, закурил, снова стал листать, проглядывая уже знакомые мне страницы.

Когда я говорю об образе Тараса Бульбы, мне не так уж важно, чтоб мои ученики запомнили казённое определение из учебника: «В образе Тараса Бульбы Гоголь хотел выразить то-то и то-то». Для меня куда важнее заставить полюбить произведение. Ткаченко предлагает дать ученикам самостоятельность. Но разве может неопытный детский ум самостоятельно проникнуть в сущность материала? Они обязательно пойдут по линии наименьшего сопротивления — заучат готовую формулировку и отрапортуют её во время ответа. Ткаченко грабит моё творчество, через меня грабит учеников.

Да, но я забываю о своих возможностях. Если б я предоставил Серёже Скворцову учить правилам грамматики Федю Кочкина так, как он хочет, как умеет, то можно не сомневаться — скучна и неинтересна была бы такая учёба. Но ведь я не допустил этого, я заставил Серёжу подойти к материалу, как я бы сам подходил. Я передал Серёже частицу своего педагогического творчества. Смог передать одному Серёже, то почему бы не попытаться передать и многим? Трудно?.. Да! Но я и не стремился никогда легко зарабатывать себе хлеб насущный. Во всяком случае, не имею права говорить, что Ткаченко грабит моё творчество. Он предлагает новый путь, никем не исхоженный, не проверенный, весьма сомнительный. Кто-то должен решиться, кому-то нужно проверить...

Я отодвинул рукопись, встал из-за стола, распахнул во всю ширь форточки в обеих рамах. Морозный, свежий до едкости, как запах настоявшейся браги, воздух ворвался в накуренную комнату. Вместе с этим воздухом влетело отчётливое, напористое рычание разогреваемого мотора на почтовом грузовике. И это был единственный звук в сплошной тишине.

Пока ещё ночь, пока спит село. За спиной у меня, за дощатой перегородкой, спят Наташка и Тоня, храпит в кухне бабка Настасья. За бревенчатой стеной спит Акиндин Акиндинович со своей Альбертиной Михайловной. Но скоро, должно быть, завожжит, застучит. Хлопотливый, как пчела, он всегда встаёт затемно. На соседней улице в небольшом, утонувшем в заснеженных кустах домишке почивает Степан Артёмович. Чутко ли его сон или не по-стариковски крепок — не знаю. Для нас, учителей, личная жизнь директора покрыта мраком. На другом конце села спит и, почему-то мне думается, беспокойно ворочается во сне Василий Тихонович, с которым только-только завязывается у меня узелок дружбы. В разных концах по всему селу спят безмятежным детским сном мои ученики.

Спит и Валентина Павловна. И, кажется, утром у неё начнётся первый трудовой день. Да будет счастливо это начало!

Надо и мне прилечь, заснуть хотя бы часа на два, на три, вместе со всеми проснувшись, вместе со всеми начать своё завтра. Каким оно будет — скучно-привычным или загадочно-новым? Что оно принесёт — огорчения или радости? Каким бы ни было, мне сейчас хочется скорей попасть прямо в утро. Обидно терять время на сон, на бездеятельность. Я, наверно, оптимист по натуре — всегда жду лучшего от будущего, и оно меня тянет к себе.

Виталий Кузьмич Дьяченко (прототип упоминаемого в романе учёного Ткаченко) ведёт урок в парах сменного состава (фото нач. 1960-х годов).



Фотографии публикуются по материалам
сайта kso-kras.ru
«Общественно-педагогическое движение
по созданию коллективного способа обучения»



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Природа не одарила меня особым талантом. Я, самый заурядный из заурядных, увы, не сотворю своими руками ничего такого, что умилило бы потомков. Но надеюсь, что руками моих учеников будут совершаться великие дела на земле. В их всемогущем господстве будет и моя скромная доля. Я уже сейчас по мере сил и возможностей пытаюсь вносить её авансом.

Серёжа Скворцов, Федя Кочкин, Соня Юрченко — мои ученики! Не хочу, чтоб вы подвели меня! Не хочу, чтоб вашими руками творилось на свете зло.

На уроках я старался выглядеть беспристрастным, делал вид, что все ученики без исключения для меня одинаковы, ни к кому не чувствую ни особых симпатий, ни антипатий. Но в глубине души я к ним относился по-разному: кого-то уважал, кого-то порицал, кого-то по-настоящему любил, снисходительно прощал недостатки.

Одним из тех, к кому я испытывал такое тайное расположение, был Федя Кочкин.

Помнится, в первый же день, как только Кочкин появился в нашей школе, сразу же обратил на себя внимание.

Шла большая перемена. Стоял солнечный день первого сентября. Ученики высыпали во двор к спортивному городку, как раз напротив окон учительской. При каждой школе стоит такой городок — высоко поднятое над землёй бревно-перекладина, к которому подвешены кольца, шесты и канат для лазанья. Неожиданно все учителя с возгласами возмущения и испуга бросились к окну. По бревну-перекладине, вознесённому выше второго этажа, шёл мальчуган в выгоревшей рубашке, один из новеньких, что принят в пятый класс из начальной школы. Стоило ему оступиться, и он грохнулся бы на утопанную землю, а это если не смерть, то тяжёлое увечье. Мы, учителя, стояли у окна — мужчины качали головами, женщины вскрикивали. А мальчуган спокойно прошёл до конца, повернулся, осторожно, расчётливо ступая, двинулся обратно, благополучно добрался до лестницы, спустился вниз. Ребята во дворе восторженно кричали. Из своего кабинета появился Степан Артёмович.

— Видели героя? Ну-ка, вызовите его ко мне.

Так Федя Кочкин заявил о себе.

А через несколько дней он снова отличился, на этот раз в драке. Восьмиклассник Всеволод Пшёнков, из великовозрастных, из тех, у кого уже начинает пробиваться пушок на верхней губе, прибежал однажды к двери учительской с окровавленной головой. Кто ударил? Кочкин. Как? Он же на голову ниже...

Федю вызвали в учительскую, стали допрашивать: за что ударил? Оказывается, за дело. Из печной трубы Пшёнков вынул закопчённую заслонку (взбрело же такое в голову!), ради развлечения хватал малышей и заставлял их прикладываться к ней,

от души веселясь на измазанные сажей физиономии. Того, кто упирался, Пшёнков хватал за шиворот и прикладывал силой. Под руку подвернулся Федя Кочкин. Он безропотно взял заслонку, привстал на цыпочки, и... через минуту незадачливый шутник бежал по коридору, держась за пробитую голову. Я, признаться, заступился перед Степаном Артёмовичем за Федю, хотя и осуждал слишком вольное обращение с тяжёлым предметом — заслонка была чугунная.

Федя ходил с лёгкой раскачкой, ворот рубахи на груди постоянно распахнут, на скуластом лице спокойно-властное выражение, говорит скупно. Что-то было взрослое в этом мальчишке, сдержанное не по возрасту. Он никогда не нарушал на уроках тишины, не устраивал безобидных шалостей — стрелкнуть жёваной бумагой в соседа, повесить на спину товарища записку с надписью «Я дурак» — или что-нибудь в этом роде. Скучные уроки Федя переносил мужественно, как бы застывал в неподвижности, глядя перед собой невидящим взглядом. Большинство учителей отзывалось о нём кратко и нелестно: «Лентяй».

У меня же в последнее время Федя учился неплохо, на уроках не мечтал, а слушал, сдружился с Серёжей Сковрцовым. И Серёже льстила такая дружба с уважаемым в ребячьей среде заводилой.

И вот я начал проводить уроки по-новому.

Требования к ученику на обычном уроке просты до примитива, их преподносят школьнику в первый час первого дня учёбы. Руки положите на парту, сидите не сутулясь, если что непонятно или хотите ответить, поднимите руку, а главное — слушайте внимательно, старайтесь не пропустить ни одного слова учителя.

Новый же способ учёбы имел свои особые правила, свои законы, которым нужно было обучить, как обучают начинающих правилам игры в шахматы.

Класс, стоящие рядами парты, на каждой парте — два ученика. Кажется, не трудно усвоить: беседуйте с соседом, спрашивайте, отвечайте, поставьте друг другу отметку, потом поднимите руку, чтобы все видели — вы кончили, пора меняться местами. Вроде всё просто, но сколько на первых порах недоразумений.

— Андрей Васильевич, Субботина отвечать не хочет!

— Андрей Васильевич, а какую отметку ставить?

— Андрей Васильевич, я не хочу с Аникиным садиться, он драться будет...

Со всех сторон только и слышно: «Андрей Васильевич! Андрей Васильевич!» Я выясняю вопросы, налаживаю порядок, терпеливо жду, что кто-то наконец вызовется отвечать, и я пойму: провалилась ли моя новая затея или же есть надежды на успех. Кто же будет отвечать первым? Разумеется, кто-то из отличников, скорей всего самый сообразительный — Серёжа Сковрцов. Но ответ Серёжи не показателен, надо самому вызвать наугад кого-то из средних.

Ещё один голос окликает меня:

— Андрей Васильевич!

— Что тебе, Кочкин?

— Хочу отвечать. — Он поднялся за партой с тёмной чёлкой на насупленном лбу, с угрюмовато-спокойным взглядом исподлобья.

Я как-то среди общей суматохи не заметил: Федя Кочкин не терял, как многие, без толку время, он сразу же понял, что требуется от него, какие правила в этой новой игре.

— Три встречи сделал: с Аникиным, с Хлебниковым Васей и вот с Капустиной...

Шум в классе стих, все головы повернулись в его сторону, а он, как всегда, спокоен, уверен в себе, со скуластого лица открыто, безбоязненно, требовательно глядят на меня рыжеватые глаза. Наверное, не один он из класса подготовился, но выжидают в нерешительности. Федя Кочкин самый решительный.

— Иди ко мне, — произнёс я. — А все остальные продолжайте работу. Юрченко, проследи, чтоб работали, пока я буду занят.

И то, что кто-то уже вызвался отвечать, то, что я занят, меня теперь неудобно отрывать по каждому пустяку, повлияло на класс: бестолковые вопросы прекратились, беспорядочный шум стал каким-то организованным, ребята деловито поднимались со своих мест, шли пересаживаться — установилась рабочая атмосфера.

А Федя Кочкин, склонившись к моему столу, вполголоса отвечал. Когда он кончил, я поднялся и провозгласил:

— Минуточку внимания!.. Кочкин ответил весь материал правильно. Ставлю ему «пять»!..

— Я хочу отвечать! Я! — Со всех сторон потянулись руки.

— Кочкина назначаю своим ассистентом. Прежде чем ответить мне, надо ответить ему. Ты, кажется, хочешь отвечать, Сковрцов? Кочкин, займись им.

Я опустил на стул, сделав вид, что не случилось ничего особенного, всё идёт как нужно.

Серёжа Сковрцов с настороженно бегающими глазами поднялся из-за парты, неуверенно подошёл к Феде. Тот приподнимает плечи, подбирается, ест глазами Серёжу, глуховато приказывает:

— Ну!

Серёжа начинает отвечать, но Кочкин покровительственно и властно перебивает:

— Не кричи так. Не классу же отвечаешь...

Серёжа снизил голос до шёпота.

Не поднимая головы, я слушаю шум класса. Он, этот шум, теперь какой-то klo-кочущий, сдержанный — бурлит класс, переваривает знания... Недоставало лишь маленького толчка, чтоб всё наладилось. Этот толчок сделал Федя Кочкин, я благодарен ему.

Какого труда стоила мне эта минута!..

Если авиационному заводу нужно освоить новый тип самолёта, то, прежде чем рабочие станут к станкам и начнут вытачивать деталь за деталью, ведётся напряжённая подготовительная работа: заново рассчитывается технология, преобразуются цехи, меняется оборудование. Новый самолёт существует только в чертежах и схе-

мах, с бумаги его необходимо воплотить в дюраль, из мысли превратить в нечто материальное.

Рукопись Ткаченко для меня была ни больше ни меньше как схемой, к тому же весьма мало разработанной.

Сколько вечеров и даже бессонных ночей провёл я в расчётах и разработке! Сколько было исписано бумаги! Как только я не перекраивал материал, какие проекты карточек с вопросами не составлял! Составлял и отвергал, снова составлял... Сколько сил положено на то, чтоб ребята не просто набрасывались на зубрёжку параграфов из учебника, а задавали бы друг другу неожиданные загадки, ломали сообща головы над ответами!

Класс заполнен приглушёнными голосами, голоса переплетаются, сливаются, создают впечатление напряжённого клочкотания. Этот клокочущий шум — мой труд, мои вечера, мои бессонные ночи в накуренной комнате. Карточки — кусочки ватмана с вопросами — заставляют думать, спорить, сомневаться, выяснять, рыться в учебниках, обращаться к соседу за помощью. Это поиски, это родственно творчеству! А я — творец такого творчества, как мне не быть гордым!

Но это лишь начало. Мой самолёт из чертежей стал машиной, он поднялся в воздух, но ещё неизвестно, хорошо ли он будет слушаться руля, не развалится ли на кусочки от вибрации? Наверняка не всё учтено, что-то придётся менять, что-то уточнять, отвергать, что-то придумывать заново. Дело только начато.

2

Помнится, как-то однажды я вышел из дому с ружьём, скромно намереваясь пошататься только в мелколесье Дворцовой поскотины, не увлекаясь, чтоб к обеду вернуться обратно, — авось наскочу на шального зайчишку. Вечером ждали неотложные дела — никак нельзя было долго околачиваться в лесу.

Но, перелезая через овраг, пересекающий поскотину, я увидел разлапистый волчий след. Волки в наших местах не в диковинку. И обычно я полюбовался бы таким следом да прошёл мимо. Но след был какой-то рваный, расхлябанный: одни отпечатки лап неглубоки, другие пробивают наст. Волк прыгал. Меня словно ошпарило: да ведь волк трёхног, оттого и след рваный! Волк — калека, он не может быстро бежать, а след свежий, зверь здесь прошёл на рассвете. В патронташе у меня оказалось три патрона, заряженных крупной картечью.

И все здоровые расчёты — обед, вечерние дела — были мгновенно забыты. Я бросился по следу, через овраги, через поскотину, через поля, мимо деревни Крестовка, в лес, в чащобы. Я петлял за следом до глухой темноты, заблудился, выбрался на знакомую дорогу поздним вечером, домой вернулся только в полночь.

Неровный след сломал мне рассчитанный наперёд день, увлёк меня, заполнил совершенно неожиданными желаниями, новыми страстями. Я, конечно, не догнал хромого волка, но не жалел, что пропал день.

Год назад таким вот следом в моей жизни был урок Василия Тихоновича. После него надежды, непохожие на прежние страсти и увлечения, охватили меня. Вся жизнь пошла по-иному.

Я в долгу перед Василием Тихоновичем. Но теперь, похоже, и для меня пришло время показать самого себя.

Я пригласил его на урок.

С Акиндином Акиндиновичем я обменялся часами, решил проводить подряд два урока русского языка. Мне теперь тесно в рамках сорока пяти минут. Не успеют ребята вникнуть в дело, не успеют по-настоящему войти во вкус, как раздаётся звонок. Два урока один за другим с перерывом на перемену.

Василий Тихонович сел спиной к окну — лицо в тени. Я никак не могу разглядеть его выражение, вижу лишь настороженно торчащие уши возле высоко подстриженных висков да загадочный блеск тёмных глаз. Пристальнее всего эти глаза следят за одной партией.

Лёня Бабин, безобидный и бестолковый увалень, сидит с Верочкой Капустиной. Белокурая, с таким свеженьким личиком, словно всего минуту назад умывалась родниковой водой, с ямочками на розовых щеках, с большими светлыми глазами — воплощённая наивность и легкомыслие, — Верочка, собрав какое-то подобие морщинок на безмятежно-чистом лбу, держит перед собой карточку с вопросами и толкует Бабин.

Эти карточки, старательно исписанные моей рукой кусочки ватмана, — моё творчество. В них вложен весь опыт, вся изобретательность, на которую я способен. Они потайная пружина,двигающая мои уроки.

На прошлом уроке Верочка получила карточку, где среди других вопросов был, например, такой: «Расскажите о том, как в первый раз дед выпорол Алёшу Пешкова».

Вопрос бесхитростный. Прямого ответа в учебнике на него нет. Верочка, как смогла, ответила соседу по парте, пересказала своими словами эпизоды из повести. А у соседа в карточке под тем же номером вопрос другой: «Передайте своими словами рассказ деда Каширина у постели больного Алёши». Верочка менялась местами, встречалась с новыми товарищами, сталкивалась с новыми вопросами, схожими и в то же время отличающимися друг от друга, и мало-помалу совместными усилиями создавался образ деда Каширина — хитрого, жадного, жестокого, но не лишённого порой какого-то человеческого обаяния. Он более близок и понятен ребятам, чем тот, которого расписал бы я. Он — их творчество.

В карточке есть вопросы, которые требуют прямого заучивания (например, даты), есть же вовсе эмоциональные, на них всякий может отвечать, как ему подсказывает совесть. «Оправдываешь ли ты жестокость, жадность, хищничество деда Каширина?» — «Как! Его оправдывать?..» — возмущается тот, кому попал в руки вопрос. Товарищи согласны с ним: «Тогда надо всякого подлеца прощать». Но находится такой, который не соглашается: «Тебя бы так с самого детства дубасили, думаешь, лучше был бы?» —

«А Цыганок, а бабушка — у них разве другая жизнь, тоже не при коммунизме воспитывались. Почему они не такие, как дед?» И за партами разгорается спор. Отстаиваются мнения, у меня появляется новая возможность пристальнее взглянуть в ребячьи характеры. Не беда даже, если на подобные вопросы, в конце концов, не будет точного и ясного ответа, что кто-то не откажется от своих взглядов, не всем думать по трафарету.

Василий Тихонович не спускает взгляда с парты, где сидит Верочка Капустина. Ей сейчас выпала нелёгкая доля. Лёня Бабин, опустив коротко стриженную крупную голову, таращит глаза на свою наставницу, добросовестно слушает.

Если б то же самое, что говорит сейчас Верочка, объяснял учитель перед классом, Бабин давно бы уже клевал носом. Но сейчас ему нельзя не слушать. Верочка говорит специально для него. Попробуй отвлечься, когда в упор наведены требовательные светлые глаза, не отвернёшься, не размечтаешься — сразу же одёрнет: «Куда глядишь? Тебе же рассказываю». И Лёня, раскрыв рот, старательно таращит глаза. Он слушает и волей-неволей что-то понимает.

— Повтори.

Бабин заворочался, пригнулся к парте, заплетающимся языком принялся объяснять. Верочка смотрит мимо него, чуть кивает в такт его словам головой, загибает палец за пальцем. Бабин косится на её руку, на её сжимающиеся в кулачок пальцы, рассказывает.

— Ну, вот видишь, — доносится до меня голос Верочки. — Всё рассказал.

На пухлом лице Лёни Бабина облегчение, словно он переполз через страшную пропасть, донельзя рад, что теперь в безопасности.

— Ты только не торопись. Когда торопишься, у тебя язык заплетается. Ну-ка, давай сначала. Я поправлять буду.

И снова голова Бабина склоняется над партией. Но в нём теперь уже заметны перемены: наклон головы выражает упрямство, на мягком широком лице появляется выражение чего-то определённого, чего-то непривычно крепкого, и даже глаза таращит при заминках иначе: в них, напряжённо округлившись, уже нет прежней бессмысленности. Он сделал какой-то успех, воспринял это как значительную победу. А Верочка, сама того не ведая, подливает масла в огонь:

— Почти на четвёрку ответил. Всё запомнил...

И от этого в вялой, невосприимчивой к укорам совести душе Лёни Бабина появилось что-то отдалённо напоминающее страсть. Он, наверное, почувствовал себя не хуже других, он, оказывается, может получать четвёрки! Упрямо склонена ушастая стриженная голова к парте. Какие мысли сейчас шевелятся в ней? Они, верно, не лишены честолюбия. Он, Лёня Бабин, ответил почти на четвёрку — мало! Ответит и на «пять»! Ответит Верочке, ответит ассистенту Серёже Скворцову, ответит учителю, и весь класс станет удивляться: «Вот так Лёня Бабин!» Может, его самого назначат ассистентом, ему станут отвечать такие, как Серёжа Скворцов и Федя Кочкин. Морщится лоб у Лёни, краснеют уши, крылья носа лоснятся от выступившего пота.

С затенённого лица, загадочно поблёскивая, глядят на него глаза Василия Тихоновича. Как бы мне хотелось заглянуть в глубину этих глаз!..

Стриженная тяжёлая голова Лёни Бабина и маленькая, с кокетливым зачёсом льянных волос голова Верочки поднимаются разом. Звонок!

На лице Лёни досада в той степени, в какой вообще он может выразить это чувство. Пятёрка была так близка, вот-вот, казалось, её ухватит! Быть может, первая пятёрка в жизни. Лёня не двигается с места, он не прочь бы сидеть за партией всю перемену. А Верочка резво вскакивает, ей уже изрядно надоело вбивать несложную премудрость в неподатливую голову своего ученика. Неуклюже поднимается и Лёня — всё равно дежурный выгонит из класса. Но впереди ещё один такой же урок, надо только перетерпеть этот десятиминутный перерыв.

Василий Тихонович встаёт; теперь я вижу его лицо, удлинённое, с крепким костистым носом, с плотно сжатым тонкогубым ртом. Оно сосредоточенно, собранно, замкнуто, с тем особым непередаваемым выражением, какое бывает у человека, бережно несущего переполненную чашку, откуда нельзя выплеснуть хотя бы каплю. Мягко ступая, он прошёл мимо меня.

Он остался в коридоре. Мне тоже не хочется уходить в учительскую. Кажется, удалось! Василий Тихонович, мой первый судья, удивлён. И то, что он ничего не говорит, не расточает похвал, а молчит, как молчу я, не пугает меня. Самое важное я уже знаю — он удивлён. Во мне появляется чувство, близкое к нежности к этому высокому угловато-костистому человеку.

Верочка бежит к девочкам и через минуту, встряхивая волосами, носится по коридору, играет в салки. Лёня Бабин, углублённый в самого себя, вертится около неё. Он не глядит в её сторону, он делает вид, что случайно оказывается рядом с Верочкой. Но он неуклюж, он мешает играющим, терпеливо выносит от них толчки.

Бабин не выпускает из виду Верочку. Василий Тихонович, прислонившись острыми лопатками к стене, следит за Бабиным. Я, бесцельно прохаживаясь в стороне, приглядываюсь к Василию Тихоновичу. А вокруг нас ребячий шум, возня, топот ног.

При первом же дребезжании звонка Лёня Бабин решительно хватается за подол свою «учительницу» и тащит в класс. Мы с Василием Тихоновичем переглядываемся, улыбаемся и, пропуская шумный ребячий поток в дверь класса, входим вместе.

3

Уроки окончились, мы с Василием Тихоновичем остались одни в пустом классе.

Василий Тихонович деловито, скупно задаёт вопросы: как готовить карточки, какой объём материала можно использовать на уроке? Я отвечаю, слежу за его руками. Кисти рук у Василия Тихоновича широкие, костистые, с внешней стороны поросли тёмным волосом, но пальцы его гибки, беспокойны, нервны. Они сворачивают чистый лист бумаги в гармошку.

— Так, понятно...

Василий Тихонович комкает бумагу, отбрасывает в сторону, поднимается — высокий, поджарый, с острыми прямыми плечами, с длинным сухощавым лицом на тонкой кадыкастой шее. Он шагает размашистыми и в то же время мягкими шагами, несмотря на угловатость, весь напряженный, гибкий, сильный. Почему-то сейчас мне припоминается, как этот Василий Тихонович летом играл в волейбол. В майке и трусах, с оголёнными тощими руками и ногами, густо поросшими чёрным курчавым волосом, на горбоносом, лоснящемся от пота лице выражение ястребиной стремительности, он то выгибается, доставая длинной рукой рискованный мяч, то, узкий, вытянутый, легко возносится над землёй. Те же гибкость и сила чувствуются в нём и теперь, то же мятущееся беспокойство — переплёл пальцы, хрустнул ими, круто повернулся и вдруг разразился горячим, негодующим потоком слов:

— Чёрт возьми! Как это нужно — то, что ты делаешь! (Он впервые обратился ко мне на «ты» и не заметил этого.) Человечество захлёбывается в своих знаниях. Что ни день, то новые открытия, что ни день, то больше багаж. А система учёбы в своей основе почти такая же, какая была при Яне Коменском — триста лет назад. Триста лет! Тогда химия и астрономия были шарлатанством. А физика, а математика! Что это были тогда за науки! В те годы только-только появился на свет Ньютон. Не было Ломоносова, Лапласа, Эйнштейна. Не было Бальзака, Толстого, Пушкина. Если б ученик Яна Коменского увидел, сколько нужно знать заурядному ученику середины двадцатого века, то, наверное бы, не поверил, что всё это можно выучить за обыкновенную человеческую жизнь. А ведь жизнь-то человека осталась прежней, господь бог не прибавил веку людям нашего времени. Мы учим самыми варварскими способами. Наш учитель вооружён так же, как учителя сто, двести лет назад, — куском мела и вот этой самой доской! — Василий Тихонович тряхнул за край стоящую в классе доску. — У рабочего появились новые станки, крестьянину помогают трактор и комбайн, а учителю — кусок мела и традиционная указка. Кино, телевидение вошли в быт, но не в школу. Плохо ли заменить эту дедовскую классную доску экраном! Нельзя разве переложить учебники на узкую плёнку? Нельзя заставить мультимпликаторов объяснять диффузию материалов или битву под Бородином? Так ли уж дорого обошлись бы портативные кинопроекторы на каждый класс? Да можем ли мы мечтать об этом, когда у наших школ порой не хватает денег на покупку чернил и тетрадей! Наша школа не благоустроена и в то же время дорого обходится государству. А почему? Да потому, что кустарщина всегда дорога. Государству приходится держать целые армии Иванов Кузьмичей, Акиндинов Акиндиновичей, учителей полуобразованных, нетворческих, с грехом пополам знающих свой предмет. Иваны Кузьмичи и Акиндины Акиндиновичи непроизводительно теряют время, программам приходится под них подстраиваться, то, что можно преподавать в четыре года, преподаётся в шесть лет, то, что в восемь, преподаётся в десять лет!..

Василий Тихонович снова сел за стол, положил передо мной свои руки с крепко сцепленными пальцами.

— Усовершенствовать учебный процесс — великое дело, — сказал он, глядя на меня своими чёрными горячими глазами. — Но ты думаешь, это всё, что нужно сейчас школе?

— Наверное, нужно многое, — ответил я. — Но нельзя же хвататься сразу за всё.

— Нет, не многое. Перед школой стоят две огромнейшие проблемы. Только две!

— Какие же?

— Первое — усовершенствовать процесс обучения, то, что ты делаешь...

— Второе?..

— Второе — труд! Все остальные проблемы, какие возникают и могут возникнуть, — составные части той или иной половины.

— Труд?.. — повторил я.

В газетных статьях, в журналах — всюду, где разговор заходил о школе, я постоянно сталкивался с обсуждением трудового воспитания. Каждую осень все классы нашей школы во главе с учителями выходили помогать колхозам: месили грязь на раскисших полях, стынущими на холодном ветру руками выбирали из мокрой, липкой земли грязный картофель, сваливали его в кучи, насыпали в мешки, взваливали эти мешки на подводы — и это называлось трудовым воспитанием. Вместе со всеми я смотрел на такое воспитание как на неприятную обязанность, своего рода обузу, отнимающую от учёбы дорогое время. Её нужно скорей выполнить, упомянуть в отчётах и забыть. Степан Артёмович собирался организовать при школе столярную мастерскую, где бы можно было и зимой ученикам заниматься трудом. Но на мастерскую не отпускали денег, да и Степан Артёмович почему-то не был особенно настойчив. Ну а если Степан Артёмович сумеет выхлопотать средства на такую мастерскую, будет ли после этого решён вопрос о трудовом воспитании? Ученики научатся делать плохие табуретки, ненужные рамки для портретов, получат сноровку весьма посредственных столяров — ну и что же? Я не знал, как решить этот вопрос, старался о нём не думать, тем более что и без него хватало разных вопросов.

Сейчас я в упор спросил Василия Тихоновича:

— Может, ты мне скажешь, в чём, собственно, заключается это трудовое воспитание, о котором мы так много говорим?

— В чём? В старых, как мир, назидательных словах: надо любить труд! — ответил он.

— Как это сделать? Сунуть лопату в руки школьнику и приказать: копай и проникайся любовью?.. В этих назидательных словах мне всегда слышится ханжество.

— Ты прав, — согласился Василий Тихонович, стараясь спрятать беспокойный, тревожный блеск в глазах. — Прав! Толкать на труд неосмысленный, принуждать к труду и говорить при этом: «Люби!» — ханжество! Но скажи, ты сам испытывал наслаждение от труда?

Я задумался.

— Наверно, испытывал. Иногда мне приятно колоть дрова. Приятен сам процесс этого занятия, когда под моими ударами кругляки разлетаются на плахи.

— А ещё?

— Ещё знаю, что художник порой испытывает удовольствие оттого, что мазок к мазку накладывает на холст краску, ищет созвучие цветовых пятен.

— А когда ты писал те карточки, которые я сегодня видел в руках твоих учеников, скажи — доставляло это тебе удовольствие? А? — Василий Тихонович подался ко мне всем телом, из-под жёстких ресниц глядел мне в зрачки.

— Писать карточки?.. — повторил я нерешительно. — Иногда какие-то находки при этом радуют, но только иногда. А так — кропотливый, нудный, неблагодарный труд.

Составить карточки, потом их переписывать — нет, в конце концов, не приятная работа. Я бы с удовольствием отказался от неё, если б не нужно.

— Ага! Если б не нужно!.. Но раз нужно, ты её делал, не обращая внимания, что трудно, кропотливо, утомительно. И вдохновение художника вызывается не наслаждением от самой работы, не накладыванием красочек, а тем, что его работа, это накладывание красок нужны (понимаешь, нужны) для выражения чувств, мыслей, идей. Если б человек делал только то, что приятно, не насиловал себя ради каких-то больших и малых целей, то он до сих пор бегал бы на четвереньках. По-настоящему полюбить труд можно только тогда, когда полюбишь то, *для чего этот труд нужен*. Неприятно тебе писать карточки, а попробуй запретить тебе их писать, ты вой подымешь, будешь отстаивать своё право делать эту скучную работу. Подымешь вой?

— Наверно, подыму.

— Нельзя просто сунуть ученику в руки лопату, приказать: копай и проникайся любовью. Надо ему прежде объяснить, для чего он берёт в руки эту лопату, какую цель достигнет, если вскопает землю. Мало того, надо заставить полюбить эту цель. Если полюбит, то сам схватится за лопату.

— Красиво...

— Красиво? Это слово, с той интонацией, с какой ты произнёс сейчас, — словобудийца. Когда Циолковский в купеческой Калуге мечтал о полётах на Луну, наверняка какие-то просвещённые деятели пожимали насмешливо плечами: «Красиво». Попробуй возразить, попробуй опровергнуть это слово. Как погребальной доской, им замуровывали всё живое, дерзкое, всё, что пугало куций ум обывательской башки. И Макаренко в своё время слышал это слово. Но тогда дело Макаренко было каким-то откровением, скептицизму и недоверию можно было найти оправдание. А вот ты, знающий труды Макаренко, уважающий этого педагога, ты, человек беспокойный, пытающийся искать новое, как ты можешь бросаться этим словом?

— А что я мог ещё сказать, когда ты, кроме общих фраз, ничего не сообщил, во что можно бы поверить.

— Я не сообщил, так другие это сделали задолго до меня. Опыт Макаренко для тебя разве пустой звук? Ты учишь ребят правилам грамматики, учишь понимать образ Деда Каширина. Учишь и приговариваешь: «Надо знать, пригодится в жизни». *Пригодится*, а не *как жить*. А ведь это не одно и то же. Макаренко учил, как жить. Его ко-

лонисты копали бураки. Грязная, неприятная работа. Но каждый из колонистов видел за этими бураками новые здания с паркетными полами, корпуса заводов со сложными станками, видел новую, красивую жизнь. И это было той заманчивой целью, ради которой нужно рыть бураки, набивать на руках мозоли, покрываться потом. Не то важно, что колонисты научились выращивать бураки: быть может, ни один из них не стал в будущем свекловодом, — важно, что на этих бураках они учились сообща думать, сообща трудиться, учились, как жить. Ведь самое важное в человеческой жизни — коллективный труд!

— Всё верно, только у Макаренко были другие условия, да и время было непохожее. У нас...

Василий Тихонович не дал мне договорить:

— Другое время! Другие условия! Дай, видишь ли, подходящие условия — ты согласишься действовать. Переместите, мол, в более благоприятное время — добьюсь того, чего добивался Макаренко. А ты попробуй при тех условиях, какие есть, при том времени, какое наступило сейчас на планете, действовать и добиваться. И никто не предложит тебе повторить тютелька в тютельку Макаренко, копировать его. Это и невозможно и не нужно. Надо на его опыте искать своё собственное, которое бы укладывалось в рамки нашего времени, наших условий.

— Хорошо, — сказал я, сердясь на обличительный тон Василия Тихоновича. — Ты прав. Но сам по себе напрашивается вопрос. Как? Как сделать всё это? У Макаренко была какая-то база, на которой его колонисты могли развернуться, в конце концов дойти до завода со сложным оборудованием. У нас — ничего. Как нам быть? Ты знаешь?

— Вот это другой разговор. Если ты ждёшь от меня точного ответа, разработанного во всех подробностях плана действий, то должен огорчить — нет пока этого. Надо искать, нащупывать, как сейчас ты ищешь и нащупываешь новые способы ведения уроков. Вокруг нас колхозы, у них есть земли, есть машины, есть скот — к ним надо идти за помощью.

— За помощью?.. Вокруг нет колхозов-миллионеров, которые бы без особого ущерба для себя могли бы нас облагодетельствовать.

— А мы и не будем вымаливать благодеяний. Колхозы сами нуждаются в помощи, у них не хватает рабочих рук. У нас в школе есть эти руки, двести человек учатся только в старших классах. Не филантропия, а союз на обоюдных выгодах. А вот какими должны быть условия этого союза, об этом нам придётся поразмышлять...

Я задумался: трудовая школа по типу колоний Макаренко — советы командиров, обсуждения, работы в поле и учёба в классах. Чёрт возьми! Я мечтал с помощью одних только уроков сделать своих учеников коллективистами, а тут совместное планирование, совместный труд — нет, об этом я мечтать не осмеливался.

Василий Тихонович вглядывался в меня с прищуром, ждал, что скажу.

— Мы с тобой судим как хозяева школы, — договорил я, — а как ещё поглядит Степан Артёмович. Не в наших руках, а в его находятся вожжи, управляющие школой.

— Степан Артёмович нас не поддержит, на него рассчитывать нечего, — жёстко отрезал Василий Тихонович.

— Тогда на что рассчитывать? Выходит, что наш разговор — пустопорожняя болтовня.

— Я рассчитываю на войну со Степаном Артёмовичем, которую открыл ты.

— Я?.. Со Степаном Артёмовичем?.. Войну?!

— Да, ты. — Глаза Василия Тихоновича, тёмные и горячие, не дрогнули при этом.

— Ну, знаешь... Я предпочитаю не связываться с ним.

— Степан Артёмович верит, что он безупречный педагог, что его путь самый правильный. Вряд ли он будет терпеть, что у него под боком какие-то малоопытные, на его взгляд, учителя ломают его порядок. Тот урок, который ты мне сейчас показал, хочешь или нет, объявление Степану Артёмовичу войны.

— Рановато воевать. Дело только начинается, много непроверенного...

— Не рано. Вряд ли эта война будет скоропалительной. Не завтра же мы пойдём просить у колхоза: даёшь землю, даёшь фермы! Такой поворот в школе не делается с маху, в несколько дней. Кто знает, быть может, эти Лёни Бабины и Верочки Капустины уже к тому времени успеют окончить школу, но их место займут другие, и эти другие станут у нас воспитываться по-новому.

Мы вынули папиросы и в нарушение всех правил внутреннего распорядка закурили прямо в классе, молчаливо, оценивающе поглядывая друг на друга.

Говорят, что людей крепко роднит прошлое, годы, проведённые под одной ли крышей, в одном ли окопе, на этот счёт есть даже пословица: «Старый друг лучше новых двух». Что верно, то верно — прошлое роднит, но ещё крепче роднит людей будущее, общие устремления, общие надежды. Как я, так и Василий Тихонович чувствовали эту зарождающуюся родственность, но она была нова, неожиданна, непривычна для нас, потому-то мы и приглядывались друг к другу, старались оценить...

4

— То-оварищи! Андрей Васильевич! Василий Тихонович! Что за безобразие?

Вдверях стояла Тамара Константиновна и негодуя глядела на наши дымящиеся папиросы. Даже в глазах Василия Тихоновича, обычно самоуверенно-дерзких, промелькнула откровенная мальчишеская растерянность.

Мы только что говорили о войне со Степаном Артёмовичем — и вот вам, появляется Тамара Константиновна, правая рука его, самая ревнивая охранительница его прав. Мы невольно почувствовали себя виноватыми не в одном лишь ребячливом грехе — курении.

— Взрослые люди! Педагоги! Хорош пример для учеников. Как вам не стыдно? Одно остаётся — чтоб вы ещё и на уроках дымить начали.

Тамара Константиновна шагнула в класс — с величественной осанкой, тяжёлый пучок волос на затылке оттягивает голову, заставляет надменно поднимать подбородок. Она готовилась стать матерью, своё монументальное тело в просторной кофте носила с бережной важностью. И сейчас она медлительно, обходя стороной парты, подошла к нам.

— Просим прощения, забылись, — сказал Василий Тихонович, гася папиросу.

Тамара Константиновна повернулась на каблуках ко мне.

— Хорошо, что я вас застала, Андрей Васильевич. У меня к вам особый разговор.

— Слушаю.

— Я просматривала только что журналы... Странная вещь, Андрей Васильевич: в седьмом «А» по вашим предметам за последнее время каждый ученик получил огромное количество отметок. У меня сейчас под рукой, к сожалению, нет журнала, но помню, что у некоторых учеников выставлено астрономическое число оценок. Когда вы успеваете спрашивать всех? Ведь если считать, что вы обязаны преподносить на уроках новый материал, то, по здравому расчёту, вам просто не должно хватать времени на такое количество опросов. Соответствуют ли ваши оценки знаниям?

Белое полное лицо Тамары Константиновны, как всегда, величественно, взгляд строгий, но неуловимо в уголках губ, в глубине зрачков таится тревога и страх передо мной. Для неё действительно этот поток отметок, хлынувший по моей вине на страницы классного журнала, необъясним, противоречит здравому смыслу. До поры до времени я не открывал своих секретов, боялся вмешательства, лишнего шума, ненужных сомнений со стороны хотя бы той же Тамары Константиновны. Теперь прятаться незачем, нужно сказать. И я ответил:

— Всё дело в том, Тамара Константиновна, что я теперь свои уроки веду несколько иначе. Если хотите, мы можем сейчас сесть, и я подробно вам изложу всё.

— Вот как! — Под глазами на белых щеках Тамары Константиновны проступили вишнёвые пятна. — Разрешите спросить, почему вы заранее не поставили меня в известность? Почему заведующая учебной частью должна сама догадываться, что вы там творите на уроках?

— Для того чтобы поставить вас в известность, я сам должен твёрдо верить, что у меня получается. Даже теперь полной уверенности нет в успехе, но тем не менее я готов рассказать.

Василий Тихонович стоял в стороне и с тем же любопытством, с тем же загадочным блеском под ресницами, с каким он наблюдал за Лёней Бабиным и Верочкой Капустиной, глядел сейчас на Тамару Константиновну.

— Нет, вы понимаете, что это такое? Это партизанщина! Что получится, если каждый педагог станет действовать, как ему заблагорассудится! Вы обязаны рассказать мне свои замыслы, ещё не приступая к их осуществлению.

— А если б вам мои замыслы не понравились?

— Если б мне не понравились, то я, как лицо в какой-то мере отвечающее за школу, имею право потребовать от вас такого преподавания, какое нужно.

Василий Тихонович подал свой голос:

— Тамара Константиновна, а вы не допускаете такой мысли, что сами можете ошибиться насчёт интересов школы?

— Василий Тихонович! — вскинула подбородок Тамара Константиновна. — Мне кажется, Бирюков сам за себя может ответить. Если я помешала вашим разговорам, то могу удалиться, и вы продолжайте свою беседу. Только без папирос. Если же вы кончили свои обсуждения, то я бы попросила об одолжении, Василий Тихонович, оставить нас вдвоём.

— Да, мы уже переговорили. Я ухожу. Но прежде должен сказать: понравится или нет вам моё мнение, Бирюков добивается того, что должно преобразить всю школу. Имейте это в виду. До свидания, не буду вам мешать.

Василий Тихонович бросил на меня выразительный взгляд, словно говоря: «Разве я был не прав? Вот оно, начало». Мягко ступая, прошёл к двери, бесшумно прикрыл её за собой. Тамара Константиновна и я остались с глазу на глаз.

— Андрей Васильевич, — торжественным и властным тоном начала она, — я не противник нового, но я не могу допускать хаоса в работе. Я уже давно замечаю в вас желание уйти из-под моего контроля. В прошлом году вы занимались какими-то экспериментами, в этом году у вас новые фокусы. Ответьте сами, как мне относиться к вам: молчать, не замечать, глядеть сквозь пальцы? Тогда зачем же меня назначили заведующей учебной частью?

— Вот я и собираюсь поговорить с вами как с завучем. Хочу не только рассказать, но даже просить у вас помощи.

— Какой помощи?

— В первую очередь — выслушать и понять. Во вторую — если найдёте полезным, привлечь к этому делу других учителей. Тут мне без вашей помощи не обойтись.

— Выслушать? Я готова. Но имейте в виду, я не считаю, что наша школа находится в таком уж бедственном положении, чтобы требовалось её спасать какими-то срочными нововведениями. Впрочем, я сажусь, рассказывайте.

Она села, поджала губы, выставила вперёд подбородок. Её вид не очень-то предполагал к душевной беседе. Но я сел напротив и стал рассказывать...

Я рассказывал, а величественное выражение на лице Тамары Константиновны сменялось растерянностью, холодные, выпуклые, со стеклянным блеском глаза бежали беспокойно, беспомощно, белые руки нервно били пальцами по столу. Эта женщина была в своё время добросовестной учительницей истории. За свою исполнительность она и была выдвинута Степаном Артёмовичем заведующей учебной частью. Она с энергией и перенятая от директора властью выполняла поручения, не вдумываясь в них, свято веря в правоту каждого слова, каждого приказа Степана Артёмовича. Нужно — выполнено. В этом был весь нехитрый кодекс её жизни — и работать просто, и сама жизнь ясна. И вдруг эти простота и ясность рушатся. Надо, оказывается, что-то искать, нужно подвергать сомнениям то, чему она безоговорочно верила. Сначала

какой-то Бирюков. Попробуй-ка проверь, укажи, прочитай наставление, когда в его замыслах чёрт ногу сломит. Потом по его примеру начнут мудрить и другие учителя. Как работать? Чем поддерживать авторитет?..

Тамара Константиновна слушала и нетерпеливо стучала ногтями по столу.

— Так, — сказала она. — Вы не согласны, Андрей Васильевич, с тем порядком, какой установлен в нашей школе? Прекрасно! Никто вас не держит. Ищите более подходящий к вашей беспокойной натуре объект. Вносить сумятицу в работу не дадим!

— Тамара Константиновна! Вы же знаете мои дела только по тому рассказу, какой я вам бегло изложил в течение пятнадцати минут. Вы не побывали на уроках, не провели, не вникли, не вдумались, и всё-таки готовы уже гнать меня из школы. Чем вызвано такое недоброжелательство? За то, что у меня по некоторым вопросам не сходятся взгляды с вами, с работы не снимают.

Тамара Константиновна поднялась, рослая, широкая, вновь обретшая свою величавую осанку. Глядя мимо меня, как обычно умел глядеть Степан Артёмович, она произнесла:

— Вы правы. Но я и не думала предпринимать что-либо без проверки. Мы взглянемся, мы вникнем. Я завтра же побываю у вас на уроках.

— Хорошо. Но я хочу, чтоб в проверке участвовали и другие учителя. Назначьте комиссию.

— Предоставьте нам самим решить все организационные вопросы. — Тамара Константиновна кивнула подбородком. — До завтра... Соберите, пожалуйста, свои окурки, когда будете уходить.

С прежней бережной важностью, обходя углы парт, она вынесла из класса своё тело, облачённое в просторную кофту.

Я же, провожая её взглядом, думал: «Будет ли война продолжительной — не знаю. Но началась она, сверх всякого ожидания, быстро — в этом Василий Тихонович оказался прямо-таки прозорливцем...»

5

Я вышел из школы. Ранний зимний вечер был тих и морозен. За крышами села тлел жиденький закат. Пухлые, массивные, девственно чистые сугробы придавили ветхие загарьевские заборчики. За заборчиками — снежное кружево, все деревья в снегу, каждая, самая мельчайшая, веточка изнемогает от снежной ноши. На старой примелькавшейся ели, что стоит при дороге, — многопудовый снежный тулуп; тяжело ей, но крепится, держит. Снег выпирает с крыш козырьками, в снежной шапке каждый телеграфный столб, каждый колышек у заборов — снег, снег, снег... Изобилие снега, давнего, заматерелого. Я словно проснулся в эту минуту. Были оттепели, были метели, я надевал на валенки калоши, поднимая воротник от резкого ветра, жил и не замечал, как идёт время.

Идёт время — вечера за письменным столом в облаках табачного дыма, вороха исписанной бумаги, уроки, короткий путь из школы домой, когда голова занята опять мыслями о тех же уроках, о карточках-вопросниках, когда не замечаешь ни размытых зимних закатов над крышами, ни изобилия снега, ни оттепелей, ни морозов.

Гаснет сейчас вылинявший, холодный закат. Кончается ещё один день, чтобы уступить место другому. И завтра пойдёт то же самое: опять заваленный бумагами узкий стол, растущая куча окурков в пепельнице, опять расчёты, планировка, уроки, к этому прибавятся ещё столкновения с Тамарой Константиновной, со Степаном Артёмовичем, новые разговоры с Василием Тихоновичем; быть может, поближе сойду с какими-то учителями, передам им свои сомнения и надежды.

Идёт время. Я давно уже не снимал со стены ружьё, давно не выходил в лес, даже в кино нет времени выбраться, даже не заглядываю больше к Олегу Владимировичу, чтоб сыграть партию в шахматы. Я как-то забыл о самом себе, забыл, что существуют простые житейские радости, что иногда можно, не растравляя себя заботами, глядеть на мерцающий под луной снег, что есть застольные дружеские беседы, сумбурные, бесцельные, подогретые, быть может, стопкой водки, заставляющей распахивать душу наизнанку, есть музыка, есть книги, не педагогические, толкующие о проблемах школьного обучения, а просто повествующие о чужих страстях, чужих радостях, о красоте и многообразии жизни.

Я такой же человек, как и все, у меня не десять жизней, а одна. Я иногда должен подумать и о себе, о том, чтоб моя жизнь была приятна и разнообразна.

Книги, кино, музыка, живопись много говорят об одной из самых прекрасных сторон в человеческой жизни — о любви. Любил ли я? Любили ли меня? Если оглянуться назад, если спросить себя: богата ли моя жизнь любовью к женщине?..

Моя юность, самые светлые годы, те, что больше всего любят воспевать поэты, с семнадцати до двадцати лет, прошла в окопах. Тут уж не до любви.

В госпитале я тайно, по-мальчишески влюбился в операционную сестру. Что о ней сказать? У неё был свежий цвет лица — только это теперь и помню. Когда старый лысый хирург с басовитым командирским голосом делал мне операцию, она подавала инструменты. Операция проходила под местным наркозом, сшивали перебитый осколком нерв, стягивали его концы, и свирепая боль — словно все тело от макушки до пят заполнено беснующимися электрическими разрядами — не подчинялась наркозу. Но я не позволил себе издать стоны, так как рядом со мной стояла она. Я не стонал и тогда, когда наркоз уже потерял силу и хирург по живому воспалённому телу сшивал шёлком распоротую рану. Она рядом! Я был мужчиной, чтоб, стиснув зубы, без звука вынести боль. Но подойти к сестре и сказать, что она мне нравится, что я люблю её, — в этом я был ещё мальчиком, тут у меня не хватало мужества.

Помню душистый запах табаков из дачных садиков, помню песню: «Вытлкался над озером алый цвет зари...» Как пели будущие актрисы!..

Эмма Барышева... Помню её походку с мягкой развалочкой, её морщинку между бровей во время работы. Но разве это любовь? Нет, даже не увлечение.

А незнакомка в метро?.. Мокрая городская площадь, затихающий стук каблучков... Может, это любовь? Нет! Желание любви, надежда на неё — и только.

Леночка Круглова. Первое и единственное любовное письмо. Нстойчивые и грубоватые преследования... Поиски любви — да! Тоска по любви, бунт против того, что она не приходит!

А женитьба на Тоне?.. Была гордость за себя и за неё, было чувство успокоения — наконец-то нашёл, наконец-то заполнил пустоту.

Живу с Тоней уже седьмой год и не задумываюсь, что я испытываю к ней: любовь или привычку?..

У меня всегда чистые носки, свежие сорочки. Вот и теперь, несмотря на поздний час, меня ждёт дома горячий обед. Удобно жить рядом с Тоней.

В этом году в мою жизнь вошла ещё одна женщина — Валентина Павловна. Как-то она мне сказала: «Хотела бы я иметь рядом такого товарища». Она говорила, кажется, о другом человеке, но я это принял на свой счёт.

С того дня, как она мне вручила папку с рукописью Ткаченко, с той минуты, когда она, натянув на голову вязаную шапочку с воинственно торчащим пушистым помпоном, вышла из комнаты, наши встречи прекратились. Раньше она была одинока, она металась в какой-то пустоте, не знала, куда бросить себя, тогда я был нужен ей как человек, который её понимает. Мои посещения были для неё хотя маленькими, но событиями. Теперь она работает, засиживается в редакции, и уж моё появление для неё больше не событие.

Однажды я пошёл к ней, чтоб возвратить рукопись Ткаченко. Хотел поблагодарить за помощь, хотел поделиться тем, как эта рукопись изменила мою жизнь. Разве это не интересно? Она же может понять, она отзывчивый человек.

Я поднялся на второй этаж, не успел постучать в дверь, как она сама открылась, и на пороге выросла Валентина Павловна в застёгнутой наглухо шубке, в надвинутой на тёмно-серые глаза меховой шапочке. Потому ли, что я с ней долго не встречался, потому ли, что она для меня стала более недоступной, какой-то запретной, она мне в этот момент показалась неестественно красивой: тёмный мех цигейки оттенял нежный с ямочкой подбородок, вздрагивающие в знакомой улыбке губы, светлые ресницы доверчиво вскинуты, чуть уловимый запах духов смешивается с каким-то тёплым, комнатным запахом, идущим от шубы. Она взяла папку, попросила зайти в комнату, а потом сообщила:

— Андрей Васильевич, я рада вас видеть. Только я, к сожалению, тороплюсь. — Сама над собой иронически усмехнулась: — Занятой человек, как видите.

Мы вместе вышли на улицу. Она о чём-то говорила, я молчал. Я вдруг стал робеть перед нею.

— Заходите, обязательно заходите. Вы всё мне расскажете, — прощалась она со мной.

Но я не зашёл больше. Я сам себе не признавался в том, что боялся с ней встречаться. Между нами пропасть, зачем обманывать себя неосуществимыми надеждами, строить через эту пропасть маниловский мост? Будут ненужные мучения, осложнится жизнь, а уж моя-то жизнь и без того сложна, нет времени по-настоящему выспаться. Трезво рассудить — зачем я теперь ей? Пусть себе живёт спокойно.

Не велико село Загарье, все жители в нём в общем знают друг друга, но в нём можно годами не сталкиваться с человеком. Я даже на улице не встречался с Валентиной Павловной.

И вот сейчас я, словно проснувшись, увидел вокруг себя разгар зимы во всём её снежном величии, вспомнил про уходящее время, про однообразие своей жизни, идущей по кругу от письменного стола до школьных классов и обратно: вместе с пронзительной жалостью к самому себе я вспомнил и о Валентине Павловне. Её лицо с нежной, прозрачной кожей, на первый взгляд такое простое, наивное, — ох, эта простота!.. Её губы, маленькие, крепкие, даже в горькие минуты не умеющие скрыть какого-то жизнелюбия — о нет, самого беспорочного жизнелюбия! Её руки, массивные у запястья, тонкие, с хрупко выступающими косточками в кистях. Её напористая походка, мелкие, решительные шажки крепких ног, а голова при этом чуть вскинута. Есть что-то задрное, девичье, воинственное в её походке...

Почему я прячусь от этого человека? Мне приятно её видеть, мне приятно говорить с ней, чувствовать себя возле неё сильным и мужественным, приятно удивлять её — а мне есть чем удивить, есть о чём рассказать! Почему же лишаю себя этого, накладываю запрет, как когда-то запрещал себе петь песни со студентками в тот пахучий летний вечер московского пригорода! Может быть, я желал бы от неё большего, чем простая дружба, но хорошо и только это.

Я повернул к знакомому мне дому.

— Ага! Андрей Васильевич! Заходите, заходите! Давно что-то вас не видно. — Без пиджака, в подтяжках поверх сорочки, меня встретил Ващенко. — Валя вас частенько вспоминает. Жаль, её нет сейчас. — Ващенко развёл руками. — Работает, ночью домой приходит. А я, как видите, сам хозяйничаю, обеды себе разогреваю. Не хотите ли со мной за компанию?

Я отказался от обеда. Ващенко, извинившись, сел за стол. Мы разговаривали о Валентине Павловне, о её занятости, о неудобствах быта, когда жена с излишним рвением отдаётся работе. Поговорили о погоде, о больших снегах, вместе выразили желание, чтоб весна была дружной: «Тогда уж можно надеяться на урожай...»

После обеда Ващенко сосредоточенно ковырял в зубах, вид его был покойный и весёлый. И вся знакомая мне квартира с висящим над столом жёлтым абажуром хранила на себе следы покоя и довольства.

Дверь в комнату, где когда-то лежала Аня, распахнута, там теперь стоял письменный стол, перекочевавший отсюда. Корешки книг как-то успокоительно поблёскивали при лимонном свете, просачивающемся сквозь абажур. Даже пейзаж — болотце с ель-

ничком и пасмурным небом, — казалось, уже больше не тревожил прадедовской печалью, а занимал своё место в общем уюте.

Побыв ровно столько времени, сколько нужно для приличия, я стал прощаться. Чужие тревоги, чужие беды ещё могут вызывать и сочувствие, и интерес, и даже ответную тревогу, а чужое счастье всегда выглядит скучно. Не зря же романисты обрывают свои истории на том месте, когда после неудач и страданий герои обретают покой и благополучие.

Задевая за чёрные трубы, над голубыми пухлыми крышами плыла луна. Она освещала снежные богатства, затопившие село Загарье.

Хорошо бы утром встать пораньше, взять ружьё — да в лес, встряхнуться, выветрить из себя накопившуюся за последнее время муть! Завтра утром не выйдет. Завтра с девяти, как всегда, начнутся уроки. Да ещё Тамара Константиновна обещала нагрянуть с визитом. Надо быть готовым. Придётся снова сидеть часов до двух, курить, ломать голову, рыться в бумагах...

Завтра не выйдет, но в первый же выходной я вырвусь. Непременно!

6

На следующий день Тамара Константиновна оказалась слишком занятой, не сумела посетить мои уроки. Не собралась она и на третий день и на четвёртый. Я догадывался, что тут не обошлось без Степана Артёмовича. Он, верно, не хотел поднимать лишнего шума. Всякий шум мог бы вызвать любопытство, споры, обострённый интерес, а если я стану по-прежнему копаться в одиночку, то привычный ритм школьной работы не будет потревожен. Другое дело, когда я споткнусь, потерплю неудачу, тогда можно и спросить, осудить, запретить. Степан Артёмович не любил поступать неосмотрительно и без нужды торопить события.

Во время одной перемены в учительской подошёл ко мне Олег Владимирович Свешников и открыто обратился:

— Разрешите поприсутствовать у вас на уроках?

Олег Владимирович, этот краснолицый, грузноватый мужчина, с густыми бровями (он имел привычку подкручивать их, как усы), несмотря на своё грозное обличье, был застенчив и покладист, один из немногих находился в близких отношениях с ключим и задиристым учителем физики. Василий Тихонович, верно, постарался расписать ему мои уроки.

— У меня сейчас свободное время, а я так много слышал о ваших делах... Нельзя ли сейчас... — со своей угрюмоватой и застенчивой улыбкой, выкручивая толстыми пальцами брови, говорил Олег Владимирович.

— Конечно, конечно, в любое время, — поспешно согласился я.

— Пригласите-ка, дружочек, и меня! — весело откликнулся от стола Иван Поликарпович. — Весьма любопытно, что вы там творите.

Оба авторитетные педагоги, оба доброжелательные, искренние люди, никогда не случалось, чтоб они проявляли к кому-нибудь чувство профессиональной зависти. Если и заручаться чьей-то поддержкой, то только их.

Тамара Константиновна, сидевшая в это время на другом конце стола, со скрытым смутением уставилась на нас. Запретить посещение моих уроков она не могла, но интерес к ним её тревожил. И она, должно быть, решила — лучше пойти вместе со всеми, чем пустить на самотёк.

— Андрей Васильевич, — произнесла она, — сейчас и я, кстати, могу поприусловствовать на уроке.

— Очень рад. Идёмте вместе.

— И я с вами! — вызвался ещё один из молодых учителей.

Только в этом году он появился в нашей школе. Сразу же из пединститута, круглолицый, румяный, с большим ртом и мальчишеской беспорядочной шевелюрой, он всеми силами старался прикрыть свою молодость — курил вонючую трубку для солидности, держался степенно, старался говорить воркующим басом, знакомясь с новыми людьми, нарочито крепко жал руку, веско произносил: «Локотков, Егор Филиппович», — и не мог скрыть самолюбивой обиды, если его называли не Егором Филипповичем, а просто Жорой. Он испытывал трепетное уважение к Степану Артёмовичу, с горячим почтением относился к Ивану Поликарповичу за возраст, за внушительную седину, за то, что любого из учителей тот может называть попросту: «дружок мой». И сейчас Жора Локотков вызвался идти ко мне на урок только потому, что подал голос Иван Поликарпович.

После звонка, когда шум перемены улёгся в коридорах, стихийно возникшая комиссия направилась к дверям седьмого «А»: Тамара Константиновна со своей медлительной, бережной походкой, Олег Владимирович, выступающий вперевалочку, Иван Поликарпович, как всегда высоко державший свою седую голову, поминутно расправляющий крючковатым пальцем усы, Жора, он же Егор Филиппович Локотков, едва сдерживающий мальчишескую прыть в ногах.

Обсуждение урока началось ещё в коридоре, как только дверь класса захлопнулась за нашими спинами.

Олег Владимирович, забежав вперёд, склонив на плечо свою крупную, с дремучими бровями голову, с первого же слова выразил опасение:

— Простите, Андрей Васильевич, не выльется ли в конце концов такое коллективное заучивание в сухую зубрёжку?

— Да, если пустить на самотёк, если не принять мер, непременно выльется. Это самая большая опасность.

— Если не принять мер? А какие меры вы принимаете?

Но в эту минуту мы подошли к дверям учительской, и я не успел ответить Олегу Владимировичу.

Собравшиеся здесь учителя прекратили разговоры, уставились на нас с любопытством. Тамара Константиновна, почувствовав общее внимание, повернулась ко мне, широкая, монументальная, со взглядом, направленным прямо в переносицу.

— Фокусы! — заявила она громко. — Никому не нужны фокусы! Такое у меня впечатление, Андрей Васильевич.

Я развёл руками.

— Могу только возразить, что не согласен с вами.

— Разумеется, — презрительно дёрнула углом сочного рта Тамара Константиновна.

— Минуточку, — перебил её Иван Поликарпович, — Хочется беспристрастно разобратся... Олег Владимирович тут задал интересный вопрос: какие меры принимаете вы, Андрей Васильевич, чтобы избежать опасности зазубривания? Весьма любопытно, как вы ответите.

Учителя повставали со своих мест, один за другим направились от стола в нашу сторону. Олег Владимирович придвинулся вплотную, на красном широком лице — обострённое внимание. Иван Поликарпович возвышался передо мной, чуть закинув назад седую голову, бережно трогая согнутым костлявым пальцем усы, — невозмутимый, строгий, беспристрастный судья, — ждал ответа.

Я вынул из тетради одну из карточек-вопросников.

— Пока только такие меры.

Иван Поликарпович не спеша взял карточку, не спеша достал из кармана очки, не спеша оседлал свой нос, нахмурясь, стал вчитываться.

— М-да... Я не специалист по русской грамматике, но вопросы в этой карточке мне кажутся не совсем обычными.

— Если они будут обычные, трафаретные, то на них легко будет готовить и трафаретные ответы. Всё спасение от зубрёжки, что вопросы необычны. Ученики не должны заучивать готовые ответы из учебников, а искать их самостоятельно.

— Любопытно. — Иван Поликарпович вертел в руках карточку. — Ну, а если и такие карточки не окажутся надёжным средством?

— Попробую найти что-то другое.

— Что?

— Не знаю.

— А не получится так, что вы примиритесь с зазубриванием?

— Не получится. Я тогда прекращу эти занятия и признаю во всеуслышанье своё поражение.

Учителя плотно обступили нас. Тамара Константиновна протянула руку к карточке.

— Фокусы! И не только ненужные, но и небезопасные. — Она небрежно проглядела карточку и сунула её стоявшему рядом с ней Акиндину Акиндиновичу.

Тот пугливо взглянул и передал дальше. Карточка пошла по рукам.

— Всё-таки мне не совсем ясно, как вы думаете добиться успеха, — задумчиво, даже с ноткой какого-то соболезнования в голосе произнёс Иван Поликарпович.

Учителя, тесно окружившие меня, глядели одни с отчуждённым любопытством, другие, вроде Акиндина Акиндиновича, с опаской. Но как у тех, так и у других я читал в глазах откровенное недоверие. И это недоверие, и соболезнавание в голосе Ивана Поликарповича, и враждебность Тамары Константиновны заставили меня с какой-то болезненной остротой почувствовать значительность минуты. Если сейчас не сумею ответить, не смогу убедить в своей правоте, все от меня отвернутся. Работать среди подозрительной настороженности, искать, не рассчитывая на чьё-либо дружеское участие, знать наперёд, что и сегодня, и завтра, и послезавтра будешь одиноким. Нет! Это верное поражение, надо устоять сейчас, надо ответить! Искренне, не прикидываясь всемогущим. Только искренность может вызвать доверие.

И, глядя прямо в выцветшие стариковские глаза Ивана Поликарповича, я заговорил:

— Вы ждёте от меня точных ответов, Иван Поликарпович? Я больше вас хотел бы их знать. Пока я твёрдо знаю только одно: те уроки, какие я проводил раньше, меня не устраивают! Хочется, чтоб мои уроки были увлекательными, хочется за те же сорок пять минут давать больше знаний. Мало того, хочется, чтоб мой урок не только давал знания, но и воспитывал учеников. Плохо, если кто-нибудь из класса не запомнит особенности языка «Песни про купца Калашникова», но с этим ещё как-нибудь можно мириться. А вот если я не научу элементарной человеческой честности, самостоятельно думать, не привью чувства товарищества, то это уже преступление перед обществом. Я точно знаю, чего хочу. А как это сделать?.. Я ищу! Я надеюсь найти! Я пока в самом начале поисков! Мне многое неясно, наверняка будут ошибки. И всё-таки я буду искать!..

Я говорил и видел перед собой только Ивана Поликарповича — дублёные, крупные морщины, чуть тронутые табачной желтизной седые усы, ясные, доверчивые глаза, глядящие поверх очков. Я говорил, а его лицо, казалось, продолжало оставаться бесстрастным; только взгляд с каждым моим словом становился мягче, теплей и в то же время неуловимо тревожней. И я уже чувствовал: он понимает меня, он верит мне чем дальше, тем сильней. Это подхлёстывало меня.

— Многие из нас из рук вон плохо используют свои уроки. И почему-то это не слишком тревожит, зато желание искать сразу же вызывает недоверие. Фокусы?.. Ненужные?.. Вредные?.. А не больше ли вреда сидеть сложа руки? Я не семи пядей во лбу, один не открою Америки. Не сегодня, так завтра мне понадобится помощь всех, кто работает со мной бок о бок. И самое страшное, если вы все отвернётесь или постараетесь подставить ножку при первых, наверняка беспомощных, шагах, какие я сейчас пытаюсь сделать.

Я замолчал, рукой вытер выступивший на лбу пот. Учителя, внимательные и молчаливые, стояли вокруг. Олег Владимирович, стиснутый с боков, поднял высоко на лоб свои густые брови, и его обычно спрятанные за бровями глаза были открыты — на удивление наивные, бесхитростно добрые, с уютной домашней рыжевatinкой.

— Безответственные фразы, — первая подала голос Тамара Константиновна, но в тоне, каким были произнесены эти слова, не чувствовалось уверенности.

Все зашевелились, под ногами зашкрипели крашенные половицы.

Иван Поликарпович, закинув назад голову, продолжал разглядывать меня. Но вот пошевелился и он, чуточку смущённый, старающийся скрыть смущение за показной стариковской торжественностью.

— Андрей Васильевич, — произнёс он размеренно, — я слушал вас и... знаете, завидовал вам. Да, да, завидовал, что вам только тридцать три года, завидовал вашей дерзости. У вас есть чистые помыслы, есть впереди несколько десятилетий и, наконец, эта дерзунка. Вот вам моя рука. — Он протянул свою широкую, костлявую, со вздутыми суставами руку. — И если что — рад буду вам всегда помочь.

7

Степан Артёмович вызвал меня в конце дня.

Его кабинет ничем не изменился: та же карта на стене, усеянная красными кружочками, показывавшими, в каком месте страны живут и работают бывшие ученики нашей школы, те же фотографии молодых и славных ребят в военной форме и в штатских костюмах, так же, как всегда, за массивным столом, спиной к окну восседал маленький, крупноголовый, остроплечий Степан Артёмович.

Сбоку от него, сложив на выступающем животе руки, сидела Тамара Константиновна. Она отворачивала от меня лицо, в её облике уже не было прежней монументальности и подтянутости, она как-то огрузела сейчас, раздалась вширь, не вздёргивала с независимой высокомерностью свой подбородок.

— Присаживайтесь, Андрей Васильевич, — без тени недовольства, буднично пригласил меня Степан Артёмович. — Присаживайтесь и рассказывайте, что вы там замышляете?

— Пусть он объяснит, Степан Артёмович, почему никого из нас не поставил в известность, — произнесла в сторону Тамара Константиновна.

Степан Артёмович не повёл и бровью, ждал, когда я начну говорить.

Я уселся на стул и принялся подробно излагать всё, что в своё время рассказывал Тамаре Константиновне. Степан Артёмович слушал со своим обычным бесстрастным и вежливым выражением.

Он умный человек, кроме того, он не лишён какого-то тщеславия. Он хочет, чтобы школа, возглавляемая им, была передовой, чтоб о её успехах трубили по всей области. Так в чём же дело? Пусть поможет, пусть поддержит. Мы общими усилиями изменим преподавание, станем примером для всех школ области. Василий Тихонович ошибался, наговаривая на Степана Артёмовича. Степану Артёмовичу нет расчёта быть нашим противником, он должен поддержать нас. Он же не Тамара Константиновна, которой действительно есть основания бояться за свою судьбу. Она, как завуч, не сможет ни

помочь, ни подсказать. Но что значит Тамара Константиновна, если Степан Артёмович станет на нашу сторону!

Степан Артёмович, склонив на плечо голову, внимательно слушал, и его внимание подхлестывало моё красноречие.

— Одно замечание, — вежливо перебил он меня. — Поиски нового, как правило, начинаются тогда, когда не удовлетворяет старое. Без ломки старого появление нового невозможно. Так, если не ошибаюсь, гласит диалектика?

— Да, Степан Артёмович, что-то ломать придётся, — ответил я, в упор глядя в его холодные, не выражающие ни сочувствия, ни упрёка глаза.

— Прекрасно. Тогда вопрос: вы целиком уверены в успехе того дела, за которое взялись с такой энергией?

Ради того, чтобы выгодно показать себя, я должен кратко и твёрдо ответить сейчас Степану Артёмовичу: «Да». Но имею ли я право отвечать так? Авиаконструктор не может полностью быть уверенным в лётных качествах своего самолёта до тех пор, пока этот самолёт не поднимется в воздух, пока его досконально не проверят лётчики-испытатели. Микробиолог в самом начале своих опытов никогда не ответит точно, будет ли его вакцина способствовать выздоровлению. Моя работа только начата, я во всём сомневаюсь. Разве могу я ручаться, что впереди не откроются передо мной неожиданные пропасти и неприступные хребты и что не придётся длительно искать окольных путей? Всё, чем я могу похвастаться, есть скромное, не очень совершенное руководство к действию, но рецепта, гарантирующего полный успех, у меня не существует.

Степан Артёмович смотрит на меня спокойно и холодно, ему дела нет до тех сомнений, которые переполняют меня. Он терпеливо ждёт прямого и точного ответа. Он понимает, что даже солгать я не имею права. Солгу, скажу бодрое «да» — при первом же затруднении он спросит: «Где же успех? Вы обещали его».

И я ответил уклончиво:

— Много неясного. Мне одному всё выяснить не под силу. Давайте выяснять, открывайте дверь поискам, будем искать коллективом.

— Значит, вы в каких-то частностях не можете ручаться за правильность поисков? Не так ли?..

— В частностях? Конечно, не могу.

— А нужно ли говорить, что нередко неприметные на первый взгляд частности решают судьбу дела? Вспомним историю... — Степан Артёмович когда-то преподавал историю и любил иногда прибегать к историческим сравнениям. — Многие считают, что Наполеон, возможно, выиграл бы решающее сражение под Ватерлоо, если б некий генерал Груши не заблудился со своими отрядами и сумел вовремя подойти с подкреплениями. Вот что значит частность! А вы мне сейчас говорите, что не можете ручаться за частности. Могу ли после этого я доверять вам, могу ли вместе с вами рисковать школой?

— Но если бояться частных ошибок, то остаётся только топтаться на месте. Тем более что ваш опыт, Степан Артёмович, ваш трезвый расчёт поможет заранее подсказать сомнительные частности, — не без умысла польстил я.

— Дорогой Андрей Васильевич, мой трезвый расчёт подсказывает, что главная наша задача, ради которой государство содержит нас, — это учить детей. А вы мне вместо полезной деятельности предлагаете экспериментировать. Я не исследователь, а директор нормальной школы, эксперименты в моём положении просто опасны, они могут отвлечь, запутать, разрушить дело, которое я налаживал много лет.

Мои надежды сговориться, найти общий язык со Степаном Артёмовичем окончательно улетучились. Напротив меня за массивным столом в окружении портретов, пожелтевших документов, обширной карты Советского Союза, прославляющих деятельность школы, сидел человек с железным характером. Он доволен собой, доволен делом своих рук, и его дело признано, а какой-то рядовой, никому не известный учитель пытается поправлять всё то, что создано его многолетним трудом. Нет, Степан Артёмович ни за что не пойдёт на уступки. Я понял это и почувствовал себя свободнее: что ж, война так война!

— Степан Артёмович, — заговорил я с вызовом, — вы боитесь экспериментов, вас пугают частности, а почему вас не пугают такие наболевшие вопросы, как, например, недопустимая перегрузка наших учеников занятиями? Вы же знаете, сколько средний ученик отдаёт времени учёбе, вы знаете, что его рабочий день равен десяти — одиннадцати часам!..

— Молодой человек! — властно перебил меня директор. — Я всё знаю, нет необходимости открывать мне глаза на недостатки, я немного поосведомлённей вас. Перегружен? Да, перегружен! Я это открыто признаю. У нас два выхода: или освободить от перегрузки учеников и не дать им прочных знаний, или дать эти знания и перегрузить. Я придерживаюсь последнего. Я перегружаю учеников и учителей и не терзаюсь совестью. Так надо!

— А я считаю: можно и нужно найти третий выход.

— Вы будете считать по-своему, когда сядете на моё место и не головой какого-нибудь Степана Артёмовича или Тамары Константиновны, а своей собственной будете отвечать за успехи школы.

— А до тех пор я обязан вам слепо повиноваться?

— Степан Артёмович! — возмущённо и жалобно воскликнула Тамара Константиновна. — Каким тоном он позволяет себе разговаривать с вами!

Степан Артёмович не обратил внимания на её восклицание. Он перегнулся ко мне через стол и жёстко отрезал:

— Да, повиноваться! Этого требует элементарная рабочая дисциплина.

— Слепо?

— Зависит от индивидуальности. Не можете иначе, повинуйтесь слепо. Всё-таки это менее опасно для дела, чем замешивание утопических заквасок в коллективе.

— Ну, а если я всё же буду отстаивать свои взгляды?

— Если так... — Степан Артёмович сделал сухонькой рукой широкий жест над столом. — Отстаивайте, но потом пеняйте на себя. Вы же знаете, я шутить не люблю.

— Вот так же меня страдала и Тамара Константиновна.

— О нет, я не страшая, я предупреждаю.

— Что я могу оказаться за стенами школы. Не так ли?

— Если будете настойчиво мешать, ничего другого мне не останется сделать.

— Я удивлялся Тамаре Константиновне, удивляюсь теперь и вам, Степан Артёмович. Вы как-то уж слишком быстро решаетесь на крайние меры, практически не ознакомившись с тем, что я делаю.

— Вы ошибаетесь, Тамара Константиновна ознакомилась сегодня с вашим уроком и подробнейшим образом доложила мне. Почему вы считаете, что я не должен доверять своему завучу?

— Степан Артёмович, — я поднялся со стула, — вы влиятельный человек, вы сильнее меня, верю — можете сломать, выкинуть из школы, какими-нибудь другими способами призвать к повиновению. Но по мере моих сил я буду сопротивляться. Что мне сказать ещё? Прощайте.

— Я вас ещё не отпустил. Рано прощаетесь... Слушайте моё последнее слово, Андрей Васильевич. Я надеялся уладить недоразумение. К несчастью, не уладил. Мне придётся вынести вопрос на обсуждение коллектива. Пусть сами педагоги беспристрастно обсудят, кто из нас прав и кто виноват. И чтоб вы или кто другой не посчитали, что я бесконтрольно пользуюсь своей властью, силой авторитета заставляю учителей склоняться на свою сторону, на педсовете при обсуждении вашего вопроса будет присутствовать представитель роно. Я попрошу, чтобы пришла сама Коковина. В её ведении не одна наша, а все школы района, думаю, что можно рассчитывать на её полную беспристрастность. Теперь всё. Можете идти.

Я вышел из кабинета, провожаемый уничтожающим взглядом Тамары Константиновны.

За всё время моей работы в школе я не припомню, чтобы кто-либо осмеливался противиться Степану Артёмовичу. А тут вопрос стал: кто — кого. Конечно же, скорей всего он меня. Ну, мы так просто руки не опустим. Но кто мы? Я да Василий Тихонович. Нельзя же всерьёз рассчитывать на Ивана Поликарповича, на Олега Владимировича или на этого Жору Локоткова. Они знают мою работу только по одному сегодняшнему уроку, каждый из них привык прислушиваться к мнению Степана Артёмовича. На педсовете будет присутствовать заведующая роно Коковина. Может, она встанет на мою сторону? Ой, нет, мне уже известно, что это за человек. Она будет на стороне того, чей голос громче. А мой голос — мышинный писк по сравнению с авторитетным голосом Степана Артёмовича. Положение не из завидных.

Впрочем, поживём — увидим! Будем ждать педсовета.

8

К чёрту всё! Я устал от недосыпаний, отравил себя папиросами, устал от постоянного напряжения: получится или нет, удастся урок или не удастся? А впереди ещё стычки со Степаном Артёмовичем, обсуждение на педсовете. Устал! Надо встряхнуться.

Утром в воскресенье я снял со стены пыльное ружьё.

Ружьё у меня было самое обыкновенное — берданка шестнадцатого калибра, купленная в магазине сельпо четыре года назад. Моей гордостью были лыжи. Не узкие, не тонкие, не лёгкие на ходу, не из тех, что всей своей стремительной формой приспособлены для игривого бега по накатанной лыжне, лыжи ради развлечения, ради приятного отдыха. Мои лыжи были широки, тяжелы, неуклюжи на вид, у них непривлекательно рабочий вид, на них не помчишься птицей, наслаждаясь визгом плотного снега. Зато мои лыжи хорошо держат на самом хрупком насте, ими легко пробивать путь в наметанных сугробах, они не запутываются в кустах, а давят их, вминая в снег, наконец, на них очень легко взбираться на горы, так как в конце каждой лыжи врезана шкурка. Она снята с ноги лося повыше косматых бабок, где щетинистая крепкая шерсть стекает в одну сторону. Лыжи эти я купил у старика Фаддея Рюхина из деревни Петрово Осичье. Когда-то Фаддей был одним из лучших медвежатников в округе, теперь дряхл, чинит в колхозе сани, бондарничает, но при нужде может сделать и лыжи, такие вот топорные, не особо лёгкие на ходу, лыжи настоящего лесовика.

Сколько они мне доставили наслаждения! Сколько измывал я ими снежной нетронутой целины, сколько рубашек и свитеров промочил я на них своим потом, сколько раз я сминая кусты, слетал по крутому склону на дно дремучего, отгороженного от всего мира сугробами оврага! Случалось головой, плечами, всем телом зарываться в мягкий и жгучий снег, а потом, проваливаясь по пояс, искать убежавшие в сторону лыжи.

Лес, засыпанный снегом, красив, но чем-то и страшен. Ветер обычно бьёт только опушку, только с крайних деревьев он сметает снег. Они стоят перед полями тёмные, голые, начисто обмытые метелями. В глубину же леса ветер не проникает, и там день за днём, ночь за ночью нарастает снег. Только часть его достигает земли, добрая половина остаётся висеть в воздухе на ветвях. Ели больше других деревьев заметены: многие так укутаны в снежные шубы, что только кончики ветвей, словно чёрные пальцы, кое-где прорывают тяжёлое пушистое покрывало. Ели спокойно выносят снежную тяжесть. Для берёзок же, особенно молодых, гибких, у которых нет матёрой закваски, снег — наказание. Они летом тянутся к солнцу, стараются пробиваться вверх из еловой сумрачной тени — и пробиваются. Но вот приходит зима, пушинка за пушинкой, невесомый кристаллик за кристалликом падает на них снег, застревает в ветвях, растёт груз, гнётся под ним берёзка ниже и ниже в упругую дугу, пока не упрётся макушкой в ноги какой-нибудь беспечно стоящей ели, тепло укутанной тем же снегом.

Возьмёшь такую берёзку за вершину, тряхнёшь её, как кошку за хвост, — рухнет беззвучно снег, обдаст слепящей пылью, вырвет из рук свою вершину берёзка, со вздохом распрямится, но не совсем. Так и останется она наполовину сгорбленная. Раз уже поддалась, раз уже оказалась согнутой — жить ей и дальше смиренной калёкой всю жизнь. В следующую зиму ещё больше сожнёт её снег, ещё ниже придавит к земле — не тянуться вверх, не воевать за солнце.

Красив лес в снегу! Жалкий кустик, в своём обычном виде похожий на рас-трёпанный веник, напоминает теперь с силой вырвавшийся из-под запорошенной земли взрыв, казалось бы с незапамятных времён и навечно застывший в своём отчаянном взлёте. Куча полусгнившего хвороста, загроздившая крошечную полянку, похожа на перепутанное кружево, сплетённое рукою великана. Пень выглядывает из-под тучной чалмы. Еловые лапы — если приглядеться, каждая имеет свою физиономию — прямо в глаза строят немые снежные рожи. Всё необычно, с роскошью до безрассудства, с излишеством через край, со щедростью до иступления. Где-то высоко вверху шумит ветер, а здесь, в лесу, не дрогнет ни одна веточка, не шелохнутся в своих объёмистых снеговых рукавицах еловые лапы. Ни движения, ни звука, всё кругом нетронуто, всё мертво — исчезла жизнь, вместо неё холодная декорация.

И минутами тебе, живому, способному двигаться, глядеть, чувствовать красоту, ощущать холод осыпавшегося за воротник снега, становится не по себе. Невольно охватывает пронзительное чувство одиночества. Порой наваливаются щекощущие сомнения: а не перевернулось ли время, не попал ли ты из двадцатого шумного века куда-то в неразгаданно далёкий век, где ещё не появилось ни единого живого существа, тело которого заполнено горячей кровью, где стоят только не умеющие ни думать, ни чувствовать окаменелые деревья, родичи мёртвых скал? Где города с людскими толпами, бешеными потоками автомашин? Где сёла с чадным запахом дыма из труб? Где книги с высокими мыслями, газеты, кинематографы, самолёты? Где взвинчивающие нервы разговоры об атомных и водородных бомбах? Где школа, распри со Степаном Артёмовичем, неразгаданные проблемы, вечера за письменным столом в клубах табачного дыма? Нет этого, не верится в их существование. Всё, что осталось за спиной, несовместимо с этой устрашающе красивой первобытностью.

Красив лес в снегу!..

Я не убил ни одного зайца, только раз потревожил тетерева. Перед самыми моими лыжами раздался взрыв, лицо обдало колючей снежной пылью, и сквозь снежную чащу с шумом крупного артиллерийского снаряда полетела тяжёлая птица. А ружьё у меня было перекинуто за спину, его нужно снимать через голову. Я даже не попытался этого сделать.

Презирая санные дороги, торные тропинки и укатанные лыжни, я уже в сумерках выбрался на задворки МТС. В стороне маячили тёмные цистерны с горючим, впереди горели редкие огоньки мастерских.

Я попал в самое глухое место усадьбы, не посещаемое ни трактористами, ни жителями маленького энтээсовского посёлка.

Более двадцати пяти лет тому назад была организована эта МТС. За четверть века через неё прошло немало машин: тракторов, комбайнов, сортировок, косилок. Машины старели, на смену им приходили новые, тоже старели, изработывались, списывались, отвозились подальше от парка, в этот угол. Отсюда, наверное, не раз увозили металлолом — ржавые массивные колёса, рамы, износившиеся моторы, погнутую, искалеченную арматуру. Но немало осталось здесь ещё рухляди. На полусгнивших остовах комбайнов лежал толстым слоем снег, из сугробов то тут, то там высывались лопасти хедеров, на железных ржавых сиденьях косилок, как в лесу на пнях, покоились нетронутые снежные шапки. Здесь остатки битвы, продолжавшейся двадцать пять лет на полях ближайших колхозов, здесь погост железных тружеников, почтенная и бесславная свалка.

Спотыкаясь, проваливаясь, царапая лыжи, я прошёл мимо всего этого, пронося чувство некоторой подавленности, какое испытываешь обычно на любом кладбище.

Из дверей приземистой, похожей на рабочий барак мастерской вылетал на измятый снег ослепительно голубой, нервный свет сварки. В этом слепящем, то вспыхивающем, то гаснущем свете в распахнутых дверях стоял, расставив ноги, долговязый человек. Я узнал его.

— Василий Тихонович! — окрикнул я его. — Ты чего здесь?

Он оглянулся, шагнул ко мне. При вспышках сварки резкие тени плясали на его сухом горбоносом лице, пытались сорваться и не могли, — казалось, какая-то птица машет крыльями перед его глазами.

— Это ты?.. С охоты? Кого убил?

— Время убил, — ответил я обычной шуточкой всех незадачливых охотников.

— Время... Я тоже вот убиваю время. Безделку делаю. Ребята, кончайте без меня. Они мне деталь варят...

— Что за безделка? Какая деталь?

— Да вот ударила дурь в голову, приспособление для дверей сделать. Мальчишество!.. С фотоэлементом. Чтобы подошёл к двери, а она перед тобой сама распахивалась. Сейчас стою и думаю: «Зачем мне всё это?» — И неожиданно он приказал: — Сними-ка лыжи, сходим в одно место.

— Куда? Я, брат, с ног валюсь.

— Не бойся, недалеко здесь, за углом. Пока тут околачивался, пришла мне идея...

Мне пришлось снять лыжи и отправиться за Василием Тихоновичем. Он завернул за угол мастерской, стал прокладывать путь по колено в снегу.

— Вот видишь машину? — указал мне Василий Тихонович, останавливаясь.

— Какая же это машина? Такой рухляди там, — я кивнул головой в сторону, откуда пришёл, — обозами не вывезешь.

Утонув в сугробе, темнел в сумерках трактор — на капоте до половины кабины снег, снег на крыше кабины, в самой кабине.

— Не экспонат для выставки показываю. Но я уже ощупал — оживить можно.

— Зачем? Вместо экипажа, чтоб в школу из дома по утрам ездить?

Василий Тихонович ответил не сразу, стоял перед заметённым снегом трактором по колено в снегу, задумчиво его разглядывал.

— Хочу, чтоб у ребят было интересное занятие.

— Этот покойник?

— А почему бы и нет для начала?

— Что значит — для начала?

— Для начала того, о чём мы с тобой говорили.

— Труда?..

— Именно. Вот трактор — он отжил свой век, его на днях списали. Через месяц или два свезут как хлам. Почему бы его не прибрать к рукам? Соберём группу учеников и скажем: хотите научиться управлять трактором, хотите иметь свою собственную машину — засучивайте рукава, добивайтесь у МТС помощи, учитесь организации. Всё, о чём мы с тобой толковали, в миниатюре будет присутствовать здесь. С этой изъезженной эмтээсовской клячей хватит возни по горло. Тем лучше. Она заставит ребят сообща ломать голову, коллективно действовать.

Мне стало обидно за Василия Тихоновича. Мы мечтали о труде, который бы приносил доход, о хозяйстве, которое бы росло, тень Макаренко, казалось, вырастает за нашими спинами, а тут какой-то кружок юных трактористов, копание в железном ломе, который не успели выбросить на свалку. Что-то быстро мельчают у Василия Тихоновича замыслы.

— Не нравится. Я себя чувствую так, словно собирался на медвежью охоту, и вдруг вместо этого предлагают ловить блох. Мол, не всё ли равно, за чем охотиться, лишь бы охотиться.

— Если ты такой любитель бить крупного зверя с ходу, то выйди завтра, объяви всем учителям: «Ломай старое! Да здравствуют новые способы обучения!»

— Ну, знаешь...

— То-то и оно! Сам-то делаешь опыты, тщательно выверяешь, высчитываешь, не бросаешься сломя голову на авось, а передо мной корчишь кислую мину — ловля блох! Прежде чем строить машину, надо сделать модель. Эта возня с трактором и будет для нас такой моделью. Мы не знаем, на что способны наши ученики. Могут ли они увлекаться? Могут ли ради этого увлечения переноситьковыряния в грязном моторе,

неудачи в организации? Даже если этот трактор не удастся поставить на колёса, мы всё-таки кое-что сумеем для себя открыть. И то польза.

— А кто будет заниматься этим с ребятами?

— Я. Ты действуй в своём направлении.

— А Степан Артёмович? Его тоже надо принимать в расчёт, как ещё посмотрит.

— Если ему мало войны с тобой, пусть воюет на два фронта. Я придерживаюсь такого правила: чем труднее ему, тем нам легче.

Серые сугробы снега через несколько шагов от меня сливались с чёрным небом. Отсюда не было видно ни одного огонька — сплошная мрачная тьма, бездонная, засасывающая взгляд. Наверно, таким себе и представляли первозданный хаос люди, творившие библейские легенды, — ни света, ни времени, ни пространства, всё перемешано. Среди пепельных сугробов маячила длинная, несколько нескладная фигура моего товарища, да в тишине звучал его упрямый, с жёсткими интонациями голос. Мне пришлось начинать с урока, где я применил известный всем эвристический приём. Восстановить разбитый трактор тоже не новое дело, но, может, отсюда и станет трещать сколоченный Степаном Артёмовичем порядок.

Пусть будет трактор, начнём с малого.

— Ну, пойдём. Нам тут больше торчать нужды нет, — произнёс Василий Тихонович.

Мы выбрались из сугроба, вернулись к мастерской, двери которой были уже закрыты. Я подобрал свои лыжи, взвалил на плечо.

— А всё-таки ты веришь, что эту развалину можно поставить на колёса?

— Можно. Ходовая часть вроде в порядке. Мотор нужен новый.

— Где ты достанешь новый мотор?

— Я ничего не буду доставать. Пусть ребята сами берут за горло директора МТС, главного инженера. Выпрашивать, брать за горло — тоже труд, пусть и этому учатся.

С этими разговорами мы подошли к конторе МТС. Несмотря на воскресный день, там, видно, проходило какое-то собрание. На крыльцо высыпал народ: попыхивали папиросами, перекидывались прощальными словами, запахивая на ходу пальто, повизгивая валенками, расходились.

Впереди нас мелкими чёткими шажками шла женщина, прятая лицо в воротник шубы. По напористой, с резкими толчками походке я узнал Валентину Павловну.

Василий Тихонович двигался лениво, обстоятельно мне доказывал, что надо поторапливаться, пока трактористы не растащили по частям этот списанный трактор, а Валентина Павловна шла быстро. Сразу же за конторой МТС начиналось большое поле, летом обычно засаженное картошкой эмтээсовских работников. Сейчас, заметая дорогу, по нему стлался ветер. Если я не окликну Валентину Павловну, то через минуту-другую она скроется в темноте, исчезнет за лёгкой позёмкой.

И я окликнул:

— Валентина Павловна!

Она остановилась, обернулась, стараясь сквозь сгустившуюся темноту взглянуть — кто зовёт? Узнала, торопливыми шажками двинулась навстречу.

— Андрей Васильевич!

Придерживая воротник варежкой, стараясь закрыть щёку от ветра, она глядела на меня снизу вверх, и глаза её возбуждённо и как-то растерянно блеснули в темноте.

— Что за вид! И ружьё и лыжи! Здравствуйте, целую вечность вас не видела. Как вы сюда попали?

— Я с охоты... А вот... Вы, кажется, знакомы?

Василий Тихонович протянул руку:

— Горбылев. Встречались.

— Да, да, встречались... В МТС, совещание было. На них теперь со всех сторон жмут с ремонтом, по воскресеньям заседают. Из областного управления приехали к ним... Вы домой? Так идёте вместе. Что за ветер! Насквозь продувает...

Она была со мной нервно разговорчива, и по её словоохотливости, как и по возбуждённо блестящим глазам, я понял: она рада этой неожиданной встрече. Стало горячо и тревожно в груди, сразу же исчезла усталость.

10

Валентина Павловна спросила, что у меня нового.

Я ответил:

— Очень много. Василий Тихонович, — обратился я к нему, молчаливо вышагивающему рядом, — я тебе не говорил, а ведь это Валентина Павловна достала рукопись Ткаченко. Она, можно сказать, крёстная нашего дела...

И чтоб как-то приглушить неловкость первых минут встречи при отчуждённо молчавшем Василии Тихоновиче, я заговорил о школе, о своём недавнем разговоре со Степаном Артёмовичем, о том, что предлагал Василий Тихонович. Сказал и пожалел: Валентина Павловна сразу же набросилась на Василия Тихоновича:

— Копать картошку, пахать землю, выращивать свиней! Такую уж пользу принесёт это, как вы рассчитываете?

— Копать картошку, выращивать свиней — именно! — с холодной вежливостью отвечал Василий Тихонович. — Именно пользу, а не вред.

— Что ж, теперь это модная точка зрения. Труд, мозоли на руках с самого детства. Но не получится ли так, что у ребёнка этим отнимут его детство? Труд слишком значительная и серьёзная вещь, чтоб к нему можно было относиться легкомысленно.

— Как вы понимаете детство? Зубрёжка учебников да невинные развлечения вроде сломя голову гонять лапту или без цели торчать в подворотнях, перебивая косточки старшим?

— Сделайте так, чтоб эти развлечения были полезны, обогащали детей: устраивайте походы, заставляйте строить модели, знакомьте с природой. Когда человек ещё

может почувствовать красоту жизни, как не в детстве! После того как он вырастет, ему волей-неволей придётся познакомиться и с картошкой, и с подойниками, и с бухгалтерскими книгами — со всем тем, что называется прозой жизни.

— А если эту прозу мы сумеем опоэтизировать?

— Труд есть труд, выгребание навоза из скотного двора ни больше ни меньше как грязная работа. Опоэтизировать это?.. Бросьте убаюкивать себя красивыми словами. Научить лепить торфоперегнойные горшочки или сажать картошку легче, чем привить культуру, широту взглядов, любовь к природе.

— Я тоже хочу, чтоб мой ученик обладал широтой взглядов, культурой и всем прочим, что обычно высказывается в общих, звонких, внешне благородных фразах. Хочу, поверьте, не меньше вас. Но между мной и вами, Валентина Павловна, есть существенная разница. Вам не приходится задумываться над тем, как это сделать. Я же постоянно только об этом и думаю: как, какими приёмами?

— И вы считаете, что таким приёмом может быть копка картошки?

— Я в этом уверен.

— Тогда заранее могу сказать, что вы будете выпускать в жизнь духовно ограниченных людей. Вы хотите, чтоб человек с ранних лет рос в атмосфере практицизма. Может, вы считаете, что для машинного века нужны не живые люди, а просто дополнения к машинам? Тогда я пасую, тогда возражений с моей стороны нет!

Мы вошли в село. Василий Тихонович жил на этом конце. Он остановился, и я услышал в его голосе то знакомое, холодное, горбылёвское раздражение, какое обычно прорывалось в нём, когда он говорил о Степане Артёмовиче или о тупой ограниченности какого-нибудь учителя.

— Валентина Павловна! — покачиваясь с носков на пятки, глубоко засунув руки в карманы, произнёс он, отчеканивая каждый слог. — Простите за откровенность, но трудно спорить с несведущим человеком.

— Вы хотите сказать, невежественным, — храбро поправила Валентина Павловна.

Я же невольно поморщился, предчувствуя ссору.

— Вот именно, — хладнокровно подтвердил Василий Тихонович. — Астроном не докажет верующей старухе, что среди небесных тел нет места для господ бога. Я тоже бессилён раскрыть перед вами, что копка картошки или что-то в этом духе при определённых обстоятельствах не отнимет у детей детства, а обогатит его. Считайте, что спасовал перед вами. Ваш добрый знакомый Андрей Васильевич понял меня, согласился со мной. Буду рад, если он вам сумеет объяснить на досуге. До свидания. Мне сюда.

Он кивнул головой Валентине Павловне, повернулся ко мне.

— Мы с тобой завтра обсудим поподробнее то дело, о котором говорили. Всего!

Размашистым шагом он двинулся прочь.

— Похоже, что я получила пощёчину, — произнесла Валентина Павловна. — А вы на его стороне?

— Да, на его.

— Что ж, вы, помнится, когда-то были даже на стороне Степана Артёмовича.

— Был. Теперь, как Белинский, могу сказать: «Кланяюсь вашему философскому колпаку и иду дальше».

— Буду надеяться, что вы не остановитесь и на Горбылеве, тоже раскланяетесь с ним в своё время.

— Валентина Павловна, вы спорили, руководствуясь только своим наитием. Почему ваше наитие должно быть ближе к истине, чем убеждения Василия Тихоновича?

— Знаете что, не будем совсем спорить! — Лёгкая рука Валентины Павловны просунулась под мою руку, с приблизившегося лица, на котором темнота сгладила черты, по-прежнему возбуждённо и доверчиво блестели глаза. — Андрей Васильевич! Я давно ждала этой встречи с вами, не хочу отравлять её спором. Хорошо, я признаю, что не права, я даже ради вас была бы готова принести свои извинения этому фанатику модной идеи, если б он не сбежал. Идёмте к нам...

— Как?.. С ружьём, с лыжами?..

— Разве ружьё и лыжи помешают?

— Ладно, идёмте, но только одно условие...

— Не спорить! Согласна. Я уже вам сказала...

— Нет, покормить меня. Я не ел с утра и сейчас готов съесть живьём волка.

— О, и на это условие согласна, — рассмеялась Валентина Павловна. — Идёмте...

Придерживая одной рукой лыжи на плече, другой стараясь не отпустить невесомо лёгкую руку Валентины Павловны, я покорно зашагал рядом с ней.

Спор, так неожиданно случившийся на моих глазах, открыл мне, что эта женщина, которая идёт сейчас бок о бок со мной, очень далека от того, чем я живу. Случайно она помогла мне иначе взглянуть на Степана Артёмовича, случайно передала мне в руки рукопись Ткаченко. Я понимаю Василия Тихоновича. Легкомысленны и наивны возражения Валентины Павловны. Если б их произнёс другой человек, я бы к нему проникся снисходительным презрением. Но её не могу осудить. Я рад, что её встретил, рад, что иду с ней рядом, что буду разговаривать, видеть её. Ощущаю сейчас на своей руке её руку. Лёгкая, воздушная рука, но её нести труднее, чем тяжёлые лыжи, локоть просто немеет от напряжения.

11

Скинув ватник, с пылающим после мороза, после колючего ветра лицом, в вылинявшем, заштопанном на локтях свитере, размякший от комнатного тепла, от еды, от горячего чая, я сидел за столом.

На меня завистливо глядел Ващенко, расспрашивал:

— За Дворцовскую поскотину ходили?.. Как, до Гумнищенских полей дошли? Так ведь это добрых пятнадцать километров отсюда через поскотину-то. Без дорог, цели-

ной, лесами! Здорово! Это, я понимаю, отдых! А я вот не умею отдыхать. Сегодня воскресенье, дел вроде никаких, отказался на совещание в МТС идти, а как отдохнул?.. Посидел дома, полистал книги, а потом... Потом всё-таки от нечего делать потащился в райком, разбирал в одиночестве ненужные бумаги. Вот уж четырнадцать лет в лесных районах работаю, а ружья в руки не брал...

На столе блестела чайная посуда, углы комнаты залиты лимонным полумраком, сияет жёлтый абажур над головой, со всех сторон обступают толстые корешки книг.

Ващенко явно доволен моим приходом. Ему, должно быть, нравится моё одичавшее после целого дня шатаний по зимнему лесу обличье, нравится пылающий цвет моего лица, мои натруженные лыжными палками руки, которые сейчас, налитые тяжестью, неподвижно покоятся на скатерти. Его глубоко упрятанные под лоб глаза доброжелательны и улыбкивы. А я почему-то смущаюсь перед ним, нет, не за свой вид, не за цвет лица — меня смущает его взгляд, его доброжелательность.

Я давно не видел Валентины Павловны (дорогой в темноте не мог разглядеть). Она не то чтобы изменилась, она вообще всякий раз для меня новая, всякий раз не та, что была прежде, — лучше. И сейчас, скинув свою шубу, оставшись в тёмно-синем свитере — не таком, какой на мне, застиранном, обвисшем, а новеньком, плотно обтягивающем довольно полные плечи, небольшие груди, талию, — она кажется мне моложе, чем была в последнюю нашу встречу. Может быть, потому, что тогда я видел её вскоре после смерти дочери. На меня она старается не глядеть, деловито хозяйничает за столом, но за опущенными веками, за ресницами таится беспокойство.

Ноющие мускулы, ломота в плечах, блаженное тепло, разливающееся по всему телу, смущающий своей доброжелательностью взгляд хозяина и беспокойство Валентины Павловны, волнующее меня, — всё это выливается в необычайное ощущение полноты жизни.

Суетился, досадовал, утомлялся, давал себя разъедать волнениям и не понимал, что в моей власти отбросить всё это в сторону. Стоило только вырваться в лес — какая там суета, какие там волнения! — снежные рожи на еловых лапах, согнутые стволы берёзок, закуржавевшие кусты...

Красив лес в снегу! Обмыл душу, устал, и как устал!.. Руки и ноги сейчас словно свинцовые. И прямо из лесу, из его первобытности попасть сюда, в этот мир, где чинно стоят книги на полках, уютно звенит чайная посуда, льётся яркий свет на чистую скатерть, рядом красивая женщина, втайне, кажется, взволнованная моим присутствием, женщина, о встрече с которой я мечтал. И даже то, что рядом её муж, придаёт особую остроту. Полна жизнь, ничего больше не надо. Ничего! Мне теперь даже неловко от счастья.

Я сижу не двигаясь (и неподвижность — наслаждение!). Я молчу. Я так погружен в себя, что пропускаю мимо ушей разговор. Рокочет баском Ващенко, в него ручейком вливается голос Валентины Павловны. От моей охоты они переходят к тому, что надо уметь отдыхать, от отдыха к беспорядочности работы, которая без нужды загружена

бесполезной вознёй, от этой возни к Клешневу, редактору районной газеты, у которого сейчас работает Валентина Павловна.

Мало-помалу я начинаю наконец замечать, что Ващенко тускнеет, в его взгляде исчезает весёлость и доброта, а лицо Валентины Павловны становится замкнутым, складка рта выражает горечь и презрение.

— Нет, ты мне прямо объясни, — говорит она, — как Клешнев, этот ограниченный человек, этот чёрствый сухарь, попал в редакторы?

— Очень просто, — хмурится Ващенко. — Было свободное место, был в это время свободным Клешнев, анкеты подходящие, спросили — согласен ли, послали в область на утверждение. Словом, когда я появился здесь, уже всё было утверждено, подписано. Клешнев работал в газете.

— И вместо того чтобы поставить вопрос о снятии его с работы, ты помогаешь подыскивать для него умного секретаря: мол, хоть секретарь сгладит клешневскую тупость. Была Глазкова — ушла, был Дёмин — ушёл, теперь я играю в этой роли.

— Если помнишь, я как раз отговаривал тебя играть эту роль.

— Я не о себе говорю. Не меня, так кого-нибудь другого подыскивали бы, а Клешнева всё равно бы не тронули.

— Редактора газеты утверждает область. А там спросят: за что снимаете, какие у Клешнева ошибки? А он из тех, кто ходит только по истоптанным дорожкам. Какие же могут быть у него ошибки?

— А скука, а тупость, а бесцветность газеты? Разве это не достаточные поводы, чтобы снять?

— Скуки да бесцветности и в областных газетах хватает. К чему, к чему, а к этому привыкли. Дай явную ошибку, только тогда посмотрят — снять или оставить. Теперь я и вовсе безоружен перед Клешневым. Выступи против него, сразу же заговорят: а не для жены ли Ващенко старается, не для неё ли он собирается очистить место редактора?.. Я был против, чтоб ты к Клешневу устраивалась, но раз ты меня не послушалась, то тяни ляжку, как ты назвала, умного секретаря.

— Умного... Разве можно быть умным при клешневской подозрительности, при его постоянной оглядке: «Как бы чего не вышло?» — Валентина Павловна повернулась ко мне: — Вот какие дела у меня, Андрей Васильевич. Что мне делать? Снова отступить?

Я слушал её, и у меня в эти минуты, счастливого, уверенного в себе, накопала за неё обида. Опять неудача, опять несчастье, опять готова отступить! Сколько можно? Что за беспомощный человек!

— А что мне делать, Валентина Павловна? — спросил я её. — Меня на днях вызвал к себе Степан Артёмович и категорически запретил заниматься опытами. У него, видите ли, на этот счёт свои опасения. Он зачёркивает всё, чем я теперь живу. Всё начисто! Что мне делать? Опускать руки, хвататься за голову, как вы сейчас мысленно хватаетесь? Я верю, что Клешнев и ограничен и чёрств, что он не даёт вам развернуться, мешает вложить душу в работу. Верю! Но почему вы надеетесь на чью-то помощь?

Почему вы ждёте, что кто-то свыше, добрый, мудрый, всесильный, расчистит вам путь? Ищете няньку? Мечтаете о том, чтобы наша жизнь стала богаче, интересней, чище, и в то же время надеетесь на всесильного, доброго, всепонимающего дядю. Это значит рассчитывать, что жизнь устроится как-то без нашей с вами помощи, это добровольно выкинуть себя из жизни!

Валентина Павловна глядела на меня округлившимися глазами. А я чувствовал: надо быть жестоким. Некуда ей отступать, половина жизни прожита! Ещё немного, и сдадут силы, исчезнет энергия, появится апатия, начнётся угасание — кухня, магазины, обеды. Она мне не безразлична, не вижу другого выхода спасти её, как только ударить жестокой правдой.

И я говорил ей прямо во взволнованно порозовевшее лицо, в округлившиеся, потемневшие глаза, говорил, что она сейчас выглядит жалко, что её поступки ничтожны, а жалобы на беспомощность не могут вызвать ничего, кроме презрения.

Я все высказал, откинулся на стуле. В комнате наступила тишина. Ващенко смотрел в стол, Валентина Павловна не спускала с меня застывшего взгляда.

Сейчас решится, сейчас она скажет слово, которое или начисто отрубит наше знакомство, или сделает нас ближе. Но Валентина Павловна не успела ничего сказать, мне на помощь пришёл Ващенко. По-прежнему уставившись в стол, он глуховато произнёс:

— Валя... Андрей Васильевич прав... Я тебе не говорил этого. Что скрывать, оберегал тебя... А, наверно, нужно было говорить... Андрей Васильевич, вы сейчас себя показали решительным и порядочным человеком.

И тут Валентина Павловна опустила глаза — под ресницами проступила синева, лицо сразу стало каким-то утомлённым, помятым.

Снова молчание, и наконец она подняла глаза, они влажно блеснули:

— Я благодарна за то, что вы сказали. Поможет ли мне это?.. Не знаю. Но я благодарна...

Я отвёл взгляд в сторону.

Ощущение счастливого уюта сменилось неловкостью, разговор уже не мог продолжаться — всё сказано, не стоило повторяться.

Ващенко крепко пожал мне руку на прощание. Валентина Павловна, провожая, вышла за дверь.

На лестничной площадке неуютно и тускло горела в мохнатом от пыли проводном чехле лампочка. Валентина Павловна куталась в накинутый на плечи платок, невысокая, незащитная, ищущая вглядывалась мне в лицо. Я возвышался перед ней, держа в одной руке ружьё, другой обнимая лыжи.

— Я совсем не такая по характеру, как вы, Андрей Васильевич, — тихо заговорила она. — Другой человек... Мне всегда была нужна поддержка, без опоры, видно, не умею жить... С опорой же, наверно, смогу быть даже сильной по-своему. Наверно... Ведь я так до сих пор и не знаю, что из себя представляю... Сейчас мне, больше чем когда-либо, нужна опора... Андрей Васильевич, из всего, что вы мне только что сказали, я поняла

одно: рядом со мной у меня единственный товарищ — вы. Я бы хотела, чтоб вы помнили об этом... Заходите... Не часто... Часто даже не нужно, но заходите. Это моя единственная к вам просьба. Ничем другим досаждать не буду. Поверьте.

— Буду заходить. Обещаю.

— До свидания. — Она протянула сухую ладонь.

— До свидания. Идите скорей в комнату. Здесь холодно.

Перекинув через плечо ружьё, придерживая лыжи, я стал спускаться по лестнице. Валентина Павловна стояла возле перил и смотрела вниз. Я молча кивнул ей головой.

Наброшенный на плечи платок, упавшие на лоб волосы, руки, прижатые под платком к груди, — какая-то обездоленная. Всю дорогу к дому я не мог отогнать её от себя, шёл и видел, как она глядит на меня сверху.

А утром Василий Тихонович, встретив меня в школе, сказал:

— Ты что-то вчера был подозрительно покладист при этой Ващенко. Уж не подборок ли с ямочкой виноват? Смотри: разные там, пусть даже невинные, увлечения — непозволительная роскошь в такой обстановке, в какой ты окажешься, да и она-то... интеллектуальная щеголиха, за душой, кроме звона, ничего...

Я молча отвернулся от него.

12

Сам перед собой и перед другими я храбрился: не так уж и страшен Степан Артёмович. Как он может со мной расправиться? Самая высшая мера административного воздействия с его стороны — снять с работы, убрать из школы. Но это не просто сделать. За то, что не сходятся взгляды на методы обучения, за поиски нового с работы не снимают. И кто-кто, а Степан Артёмович это понимает лучше меня. Кроме того, я так просто, с покорно опущенной головой из школы не уйду, буду сопротивляться, бунтовать, требовать справедливости. Вряд ли решится директор на свой страх и риск выставить меня из школы.

Ну, а что он может сделать мне помимо этого? Запретить проводить уроки так, как я хочу? Не станут же он и Тамара Константиновна на каждом уроке постоянно держать меня за рукав. Что бы они ни делали, а на своём-то уроке я всегда буду повелевающим хозяином. Конечно, у Степана Артёмовича есть много способов отравить существование, испортить нервы. Но ещё посмотрим, чьи нервы крепче: мои или Степана Артёмовича.

Я без особого трепета ждал педсовета.

— Но вот за покрытым зелёным сукном столом, растянувшимся во всю длину учительской, расселись учителя. Я тоже занял среди них своё излюбленное место, в углу под матёрым фикусом, свешивающим жёсткие лакированные листья.

Сколько раз мне приходилось ждать начала педсовета! И сегодня всё выглядит обычным. Учителя переговариваются друг с другом, курят, кое-кто, не обращая вни-

мания на шум, пользуется моментом, проглядывает ученические тетради. Но сейчас я с особым вниманием, с придиричивым пристрастием вглядываюсь в знакомые лица.

Преподавательница химии Евдокия Алексеевна Панчук, низенькая, полная, молодящаяся женщина, с подвыщипанными бровями, с тугой курчавостью шестимесячной завивки на голове, с нитью искусственного жемчуга под двойным подбородком. Рядом с нею кроткая, тихая старушка Агния Никитична — учительница немецкого языка, Анисим Петрович, степенный, флегматичный, молчаливый, лацканы пиджака постоянно осыпаны табачным пеплом. Он много лет преподаёт зоологию, анатомию и основы дарвинизма, строг, педантичен, дружен с Акиндином Акиндиновичем, чья лысина сейчас скромно выглядывает из-за его плеча. На другом конце стола бойко о чём-то тараторит Любовь Анисимовна, его дочь, она тоже преподаёт естественные науки — ботанику и зоологию. Её терпеливо слушает Горшакова Мария Ивановна, преподавательница математики в пятых — седьмых классах. Она отличается своей неприметностью и робостью, ходит во время перемен по школьным коридорам бочком, постоянно получает выговоры от Тамары Константиновны за шум на уроках. Независимо держится учитель рисования и черчения, мой тёзка, тоже Андрей и тоже Васильевич — аккуратист, щёголь. Я никогда не видел его без туго затянутого галстука. За длинным столом почти нет свободных мест. Со всеми учителями я в самых добрых, товарищеских отношениях. Никто из них не желает мне зла, по если станет выбор, кого поддержать — меня или Степана Артёмовича, то каждый, без сомнения, поддержит директора.

Много друзей, много товарищей, но только четверо из всех сидящих, наверно, понимают меня сейчас. Выставив острые локти, поводя из стороны в сторону горбатым носом, как и я, оценивая учителей, дымит закушенной папиросой Василий Тихонович. Сидящая рядом с ним Мария Ивановна отворачивается от дыма, морщится, но не осмеливается попросить его отодвинуться подальше. Олег Владимирович сосредоточенно накручивает правую бровь. Иван Поликарпович с удобством расположился в своём кресле. Жора Локотков бросает в мою сторону доверительные взгляды. Эти четверо на моей стороне. Но из них я полностью могу положиться на одного Василия Тихоновича. Олег Владимирович покладист, не любит разногласий, если и выступит, то для того, чтобы помирить меня со Степаном Артёмовичем. Иван Поликарпович может и поддержать, ему при его независимости это не трудно, но будет ли портить он из-за меня многолетние добрые отношения со Степаном Артёмовичем? А Жора Локотков — кто к его слову станет всерьёз прислушиваться?

Только сейчас я по-настоящему начинаю ощущать силу Степана Артёмовича. Он сам не станет накладывать запрет, за него сделают учителя. И уж если я после этого ослушаюсь, стану противиться общему мнению, то надо мной повиснет сразу же страшный упрёк — выступил против коллектива. Такие вещи не прощаются.

Я гляжу на учителей, курю папиросу за папиросой.

Степан Артёмович занял своё место в конце стола, рядом с ним Тамара Константиновна со строгой важностью окидывает взглядом переговаривающихся учителей,

и под её взглядом учителя виновато притихают. Степан Артёмович отвернул рукав, взглянул на часы на тощем запястье, поднял седой ёжик волос.

— Должна, товарищи, подойти Коковина. Я думаю, нам надо начинать без неё, чтоб не терять зря времени.

Я и Василий Тихонович обмениваемся быстрым взглядом. «Держись», — говорят его глаза из-под жёстких ресниц. «Постараюсь», — отвечаю я.

Едва Степан Артёмович открыл рот, чтобы начать педсовет, как ворвалась Коковина.

— Прошу прощения! Виновата! Виновата! Каюсь... Задержал телефонный разговор, весьма срочный... Здравствуйте, здравствуйте! Продолжайте, продолжайте, Степан Артёмович... Ах, стул... Спасибо. Продолжайте, я не произнесу больше ни слова.

Она водрузила перед собой на стол портфель и застыла со строгим выражением на энергичном, морщинистом, остроносом лице.

Раиса Порфирьевна Коковина — старая дева, но в отличие от заурядных старых дев не была мужененавистницей, напротив, она никогда не упускала случая, чтобы с негодованием обрушиться на непростительные слабости прекрасного пола.

— Что мы, женщины! — частенько можно было услышать её патетическое восклицание. — Что мы практически значим для общества?! Выполняем одну только функцию деторождения. Даже для воспитания этих детей я считаю мужчин более пригодными. К нам приходят из институтов молодые учительницы, и ни на одну я не могу понадеяться. Почти каждая норовит выскочить замуж, обложиться собственными детьми, бросить работу. Мне чужды предрассудки, я, как сугубо деловой человек, отдаю приоритет мужчинам.

И хотя Коковина, обрушиваясь на женщин, употребляла местоимения «мы», «нас», но, по всей вероятности, себя к ним не причисляла. В меру высокая, без меры худая, с тощим узелком волос, пронзённым с разных сторон торчащими шпильками, она носила внушительных размеров мужскую пыжиковую шапку, курила дешёвые крепкие сигареты, не смущалась своих жёлтых, обкуренных пальцев.

Я ни разу ещё не видел её без туго набитого портфеля. Этот портфель среди учителей вошёл в поговорку. Если какая вещь не ладилась, говорили: «Строптивая, как коковинский портфель». Портфель действительно обладал несносным характером. Если на каком-нибудь совещании требовалось из него вынуть нужную бумагу, хозяйка, краснея от напряжения, теребила, рвала замок, трясла портфель и в конце концов восклицала:

— Что же вы смотрите? Мужчины, помогите!

В этих словах невольно звучало признание, что она, Раиса Порфирьевна Коковина, всё-таки женщина, мало того, не лишённая самого непривлекательного из женских пороков — каприза.

Как правило, портфель не поддавался и мужским рукам. Его оставляли в покое, документ пересказывался на словах. Но после того как Коковина рывком снимала

портфель со стола или с трибуны, он вдруг открывался сам, и на пол летели бумаги, газеты, недоеденные бутерброды.

Степан Артёмович, хладнокровно переждав суету, вызванную приходом Коковинной, произнёс:

— Предметом сегодняшнего совещания будет обсуждение, так сказать, новых изысканий в области обучения, сделанных товарищем Бирюковым Андреем Васильевичем. Не хочу ничего предувещивать. Предлагаю такой ход событий: заслушаем для начала Андрея Васильевича, заслушаем тех товарищей, которые захотят что-либо добавить в защиту идей Бирюкова, а уж затем со всей тщательностью взвесим и обсудим совместно. Никто не возражает против такого порядка? Нет. Тогда прошу вас, Андрей Васильевич...

— Я возражаю!

Над столом, над пришедшими в возбуждённое движение головами учителей поднялся Василий Тихонович, в своём просторном пиджаке, свободно висящем на острых плечах, из распахнутого ворота чистой сорочки вытянута вверх тонкая смуглая шея с выступающим кадыком, горбатый нос нацелен в Степана Артёмовича.

— Возражаю против постановки вопроса, предложенной Степаном Артёмовичем...

Василий Тихонович сделал паузу. Наступившая тишина была заполнена напряжённым скрипом стульев. Табачный дым лениво изгибался над заваленным бумагами зелёным столом. Степан Артёмович вопросительно склонил к плечу свой седой ёжик. Коковина впиалась взглядом в Василия Тихоновича. А тот, прямой, высокий, разделяя фразы лёгким постукиванием костяшек пальцев о зелёное сукно, заговорил:

— Степан Артёмович предлагает обсуждать, как он выразился, изыскания Бирюкова. Но ведь эти изыскания только начались, говорить лишь о них, рассматривать их с точки зрения какой-то практической пользы слишком рано. Такая поспешность ничего другого не даст, как только скомкает, сведёт на нет принципиально нужный для нас разговор о школе. Я предлагаю поставить вопрос так: нужны или не нужны нашей школе поиски новых путей? Если нужны, то насколько правильно борется за их осуществление Бирюков? Вот мои предложения!

Василий Тихонович опустил на своё место.

Встал Степан Артёмович. Опираясь ладонями на стол, подняв вверх узкие плечи, минуту-другую он молча спокойно разглядывал сидящих вдоль длинного стола людей.

— Товарищи, я бы попросил поменьше курить, — буднично обронил он. — В этой комнате нам придётся работать не один час... Разрешите ответить Василию Тихоновичу. Он, насколько я понял, предлагает не столько обсуждать эксперименты Бирюкова, сколько дела школы вообще. Мы регулярно собираемся на педсоветы и каждый раз обсуждаем не что-нибудь, а только свои школьные дела. Обсуждали их на прошлой неделе, на позапрошлой, непременно будем обсуждать и в дальнейшем. Сейчас же больше остальных вопросов нас интересует деятельность Бирюкова. Не пойму, по каким причинам Василию Тихоновичу понадобилось отодвигать это на второй план. Ну, а если

в связи с деятельностью Андрея Васильевича у кого-либо появится желание покритиковать наши школьные порядки или меня, как директора, в частности, — милости просим, никому рот закрывать не собираемся. Не вижу надобности менять нашу программу. Впрочем, проголосуем. Кто за моё предложение?.. Явное большинство.

Степан Артёмович невозмутимо сел на стул, бросил коротко:

— Андрей Васильевич, прошу сюда.

Держа в руках бумагу, я прошёл на тот край стола, где сидели Степан Артёмович, Тамара Константиновна, Коковина.

13

Для того чтобы подробнейшим образом изложить свои многочисленные сомнения, соображения, разработки, планы и прочее, нужен не час, не два, а много часов. Я же мог использовать для своего выступления лишь минут тридцать — сорок. Поэтому я решил зря не распыляться, а сделать коротенькое, как хроникальная газетная заметка, сообщение. Сделано то-то и то-то, такие-то перспективы открываются — и всё. Я сказал и вернулся на своё место.

Учителя, приготовившиеся к длинному докладу, с выкладками, с — цитатами, со столбцами цифр, озадаченно молчали. Только один Степан Артёмович одобрительно кивнул головой.

— Ну, кто просит слова? — произнёс он.

Вызвался Иван Поликарпович.

Он сидел впереди меня, и когда поднялся, то я видел только длинную, узкую спину с выступающими сквозь суконный пиджак лопатками, над ней тёмную шею и жиденькие седые завитки волос на затылке.

— Ни я, ни все здесь присутствующие, — начал он своим неторопливым, глуховатым голосом, — не знают, чего добьётся Бирюков. Даже сам Бирюков не может поручиться, выйдет ли у него всё гладко. Надо быть пророком, чтобы всё наперёд предвидеть. А пророков среди нас нет. Тогда давайте предположим самое худшее: что Бирюков на ложном пути. Предположим и начнём доказывать, опровергать, а следовательно, вникать, исследовать. Вы хотели бы этого, Андрей Васильевич? — Иван Поликарпович через плечо обернулся в мою сторону.

— Да, хотел бы, — ответил я.

— Слышите? Другого ответа я и не ждал. Вникать, опровергать, доказывать — это помощь тому, кто ищет. Помощь! Как бы Бирюков ни отстаивал сейчас свои взгляды, он будет рад, если ему докажут, что он на ложном пути. Кому хочется оставаться в заблуждении! И все те, кто начнёт сомневаться в его работе вдумчиво и серьёзно, неизбежно станут на путь того же поиска, окажутся сотоварищами Андрея Васильевича. Но одно дело — сомневаться, другое — отвергать без всяких сомнений. Нет — и basta! Зачем искать, когда мы и так неплохо живём? И в ответ на это мне хочется сказать толь-

ко одно: уважайте себя, гоните подалеже самодовольство. Нет ничего на свете презренней этого чувства. Все ли поймут меня? Все ли отнесутся правильно к тому, что делает Андрей Васильевич? Не знаю. Хотелось бы, чтоб поняли...

Степан Артёмович сидел, облокотившись на стол, прикрыв глаза сухой рукою. Коковина, положив руки на раздутый портфель, устремила вперёд неподвижный взгляд. Тамара Константиновна, прямая, величественная, поводя подбородком, зорко следила за учителями. А они молчали.

После Ивана Поликарповича вскочил с места Жора Локотков.

— Иван Поликарпович! Я вас понял! Я...

Уставившись в угол, запинаясь от переизбытка чувств и недостатка слов, Жора начал длинно говорить о том, как он хорошо понял Ивана Поликарповича, как он неудовлетворён тем, что делает, с каким уважением относится вообще к новаторским попыткам и т.д. и т.п.

Среди сидящих за длинным столом учителей послышалось досадное покашливание, нетерпеливый скрип стульев и отвлечённый шепоток. Но атмосфера скуки сразу же рассеялась, все зашевелились, громко задвигали стульями, когда снова поднялся со своего места Василий Тихонович. Уж его-то выступление сулит если не драку, то наверняка щекощущий нервы спор.

— Вот за той дверью, — Василий Тихонович длинной рукой указал на дверь, ведущую в директорский кабинет, — вы, Степан Артёмович, развесили по стенам реликвии, прославляющие нашу школу. Не спорю, может, стоит прославлять наше прошлое. Но ведь для всех нас важнее будущее школы. Вы это будущее собираетесь кроить по старой колодке. Растут запросы, растёт требовательность, в конце концов обувь со старой колодки будет жать, мешать движению вперёд. Один из рядовых учителей в меру своих сил и способностей пытается как-то кроить по-новому. Он сразу же натывается на вас. Или я не прав, Степан Артёмович? Или вы готовы пожертвовать налаженным порядком, согласны разбираться, докапываться до истины, искать новое? Ответьте нам без утайки. Если скажете: «Да, хочу», — тогда я принесу свои глубочайшие извинения и все свои силы отдам вам на помощь.

Василий Тихонович резко повернулся, громыхнул стулом, сел.

— Кто ещё хочет слова? — вместо ответа с прежней ледяной невозмутимостью обронил Степан Артёмович.

И наступило затишье. На этот раз не слышно было даже скрипа стульев. Учителя молчали. Я понимал, почему они молчат. Степану Артёмовичу брошен вызов (самому Степану Артёмовичу!), назревает бой. Вмешаться в него, стать одним из участников?.. Но тогда придётся иметь дело с таким отчаянным человеком, как Василий Тихонович Горбылев. Да и самый старейший, самый уважаемый из учителей, Иван Поликарпович Ведерников, по всему видать, не на стороне Степана Артёмовича. Затруднительное положение — чью взять сторону, как возражать? Нет полной ясности. Не лучше ли отсидеться в стороне? Пусть уж сам Степан Артёмович судит, как обычно судил во всех

затруднительных делах. Ему видней, а за его спиной покойней. Лучше отмолчаться. И учителя молчали, переглядывались.

— Так как же, товарищи? — спросил Степан Артёмович.

В ответ — тишина. И тогда, должно быть, Степан Артёмович понял, что пришла пора ему поднимать оружие.

Он медленно встал, откинул голову назад, выставил грудь, тихим голосом начал:

— Я разрешу себе сказать несколько слов... Василий Тихонович, вы сейчас бросили мне прямые вопросы. Ваша решительность и прямота похвальны. Но по тону вашего выступления я понял, что вы не надеетесь на мою ответную откровенность, думаете, что я буду мутить воду, вывёртываться. Так слушайте же, на прямые и ясные вопросы я даю здесь перед всеми такие же прямые и такие же ясные ответы. Вы спрашиваете: хочу ли я совместно с Бирюковым и с вами искать новые пути? Отвечаю: нет, не хочу. Вот вам ответ. А сейчас наберитесь терпения и выслушайте комментарии... Вы, Василий Тихонович, пугаете меня тем, что будущее может застать врасплох, что школа не станет отвечать запросам времени. Лет двадцать тому назад, когда я только что стал директором этой школы, сегодняшний день представлялся как туманное, далёкое будущее. Если я по натуре консервативен, если я не приемлю нового, то это грозное будущее с таким же успехом могло меня застать врасплох несколько раньше. Но школа до сих пор работает, и даже по сравнению с тем далёким временем стала не хуже, а лучше. Ваш же покорный слуга за этот срок стал чуточку опытнее...

По столу прошёл шорох и возбуждённый говорок, подтверждающие, что никто не сомневается в опытности Степана Артёмовича. Он переждал шум и с прежним спокойствием и уверенностью продолжал:

— По мнению Горбылева и Бирюкова, нужна перестройка школы. Тот порядок, который вы все вместе со мной создавали, товарищи, в течение многих лет, та школа, которой мы гордились, не отвечает поставленным перед нами задачам. Наша гордость, выходит, дутая, а я, как руководитель, не соответствую тому месту, какое теперь занимаю. Хорошо, согласимся, что у нас много недостатков, что их нужно незамедлительно исправлять. Но что предлагают Бирюков с Горбылевым: вместо старого, многими годами испытанного порядка — новый, весьма туманный путь. А то, что путь туманен и неопределён, не отрицает ни сам Бирюков, ни его сверхгорячий сторонник Василий Тихонович. Что ж, выбирайте, товарищи: или старое, испытанное, или новое, непроверенное. Выбирайте: или я, или Бирюков. Ежели вы встанете на сторону Бирюкова, я даю слово, не буду чинить ни малейших препятствий. Я уже старик, мне, пожалуй, пора и на пенсию...

Слова Степана Артёмовича перебил возмущённый гул голосов:

— Какие могут быть выборы!

— Что за разговор!

— Я пятнадцать лет работаю со Степаном Артёмовичем...

Степан Артёмович терпеливо выжидал, он ещё не всё сказал.

— Я — человек, — продолжал он, когда шум утих, — как и все, я, конечно, имею свои недостатки. И наверное, за нашу многолетнюю совместную жизнь каждый из вас может в чём-то справедливо меня упрекнуть. Я не святой, судите меня. Я достоин даже большего суда, чем Бирюков. Я опытнее его, поэтому имею меньше прав на опрометчивые поступки. Мы как могли делали большое государственное дело, и мне боязно... Да, да, не скрываю, боязно наше налаженное дело разменивать на эксперименты. Не приведут ли они к разброду, не упрётся ли школа в тупик, не наломаем ли дров? Помните, малейшая ошибка в нашем деле стоит слишком дорого. Расплачиваться за ошибки придётся детям, товарищи.

Как начинал, так и кончил Степан Артёмович при полнейшей тишине. И эту тишину нарушил глухой стук приподнятого и с силой опущенного на стол увесистого портфеля.

— Нет! Не могу больше молчать! — Разгневанная Коковина поднялась со своего места. — Меня поражает терпеливость Степана Артёмовича. Поражает, дорогие товарищи, удивительная выдержка и редкая доброта этого человека. Степан Артёмович, — повернулась она в сторону директора, — почему вы так либеральничаете? Почему вы не придёте к нам в роно и не заявите прямо, что подобные новаторы портят вам кровь, мешают работать? О-о, мы бы сумели принять меры, быстро бы освободили вас от досадных хлопот. То-ва-рищ Бирюков, — теперь она повернулась ко мне и поверх голов упёрлась в мой лоб пылающим взором, — неужели вы считаете, что ваша персона настолько драгоценна для нас, что мы согласимся пожертвовать таким опытным руководителем, каким является Степан Артёмович Хрустов! Оглянитесь, оглянитесь, товарищ Бирюков! Не покажется ли вам, что вы снимаете голову со школы? С какой школы! Наш район на протяжении многих лет гордится ею. В этом заслуга Степана Артёмовича, и никого другого! Мы не позволим вам ломать десятилетиями налаженную работу! Мы не позволим вам подрывать авторитет Степана Артёмовича! Да будет вам известно, в нашем районе этим человеком гордится каждый учитель, каждый ученик, любой родитель! Мы не позволим вам носиться со своими утопическими идеями, не позволим смущать легковерных! Мы заставим вас заниматься тем полезным делом, для которого государство вас обучало в институте. Берегитесь! Мы примем меры! Нам легко найти на вас управу! Мы не позволим шутить с нами!..

И так далее, через каждые три слова — «не позволим!». А учителя молчат.

14

«Не позволим!» А что они собираются не позволить?

Я хочу, чтоб наши ученики лучше учились, меньше тратили сил и времени на учёбу.

Не позволим?!

Я хочу, чтоб каждый человек ещё в школе почувствовал святой закон коллективизма: один за всех, все за одного.

Не позволим?!

Я хочу, чтоб ребёнок мог уделять время и для полезного труда, и для чтения книг, и для спорта.

Не позволим?!

Хочу, чтоб Серёжа Скворцов, Федя Кочкин, миллионы таких, как они, стали духовно богатыми людьми, которым будут по плечу сложнейшие дела грядущих лет.

Не позволим?!

Да я окажусь преступником, если сробею перед этим начальническим окриком. Не позволите?! Ну, это мы ещё поглядим, Раиса Порфирьевна и Степан Артёмович!..

Я не считал, что метод, который предлагает Ткаченко, единственный, неизменный, своего рода преподавательская панацея. В последнее время я уделял ему больше внимания только потому, что хотел раскусить этот орешек. Искать универсальный способ преподавания — всё равно что врачу искать лекарство, излечивающее от всех болезней. Пусть будет больше методов и приёмов, пусть арсенал школьного учителя станет богаче — вот чего я добивался, вот чего мне не позволяют!

За последнее время у меня выработалось особое чутьё, какая-то чисто преподавательская интуиция. Шум в классе или, наоборот, напряжённое молчание говорили мне много такого, о чём я прежде и не подозревал. И это чутьё уже давно подсказывало, что слишком ровно идут уроки, что их однообразие начинает надоедать ученикам. Нужна какая-то неожиданность, встряска, которая бы расшевелила ребят.

Мой класс закончил работу над темой. По программе на эту тему выделяется тридцать часов. Всё изучено, закреплено, проведены опросы, выставлены отметки — кажется, нечего топтаться на месте, следует идти дальше, начинать новую тему. Но кончен этап работы, и не отметить ли это событие, не преподнести ли встряску?

Я решил устроить что-то вроде поединка. Выйдут перед классом лучшие из лучших два ученика, в чьих знаниях не может быть никакого сомнения. Но одного багажа знаний мало — нужно, чтоб они умели по возможности интересно рассказать, нужно, чтоб они могли скупой и точно излагать свои мысли, нужно быстро ориентироваться, и самое главное — иметь собственный подход к материалу.

Урок — турнир, урок — смотр духовных сил и знаний. Весь класс до последнего ученика должен участвовать в нём.

Мне сказали: «Не позволим!» А я всё-таки буду проводить этот урок!

В классе три ряда парт. Кто в каком ряду сидит, до сих пор не имело значения для урока. Но сейчас я объявляю:

— Первый ряд! Выбирайте одного человека на поединок! Выбирайте самого лучшего, за которого бы не пришлось вам краснеть.

И сразу же шум:

— Скворцова выбираем!

— Скворцов!

— Лучше Юрченко!

— Нет, Скворцов!

Второй ряд сразу же смекнул, в чём дело, начинает бунтовать:

— И нам выбирать?

— В том ряду два отличника — Юрченко и Скворцов! У нас ни одного!

— Соня, садись к нам!

— Пусть Юрченко пересекает!

Я подсказываю:

— За последнее время многие отвечали ничуть не хуже Скворцова или Юрченко.

Во втором ряду лёгкое смятение: головы вертятся в разные стороны, слышится тревожный шёпот:

— Капустину, что ли?

— Федьку... Федька хорошо отвечал.

— Капустина быстрее говорит.

— Тш-ш-ш! Андрей Васильевич смотрит...

— Третий ряд, — продолжаю я, — станет судейским. Он будет решать, кто победил.

Он должен выбрать старшего судью.

— Хомякова Васю!

— Верно, Хомякова!

— Он справедливый!

— Первый ряд, кто от вас?

— Скворцов!

— Хорошо, пусть будет Скворцов. Не возражаете?

— Не-е-ет!

— Второй ряд?..

— Кочкина! — выкрикивает Павел Аникин.

— Капустину лучше! — пищит слабенький девичий голосок.

— Чем она лучше?

— Девчонки всегда суют девчонок.

— Ты ещё Бабина крикни.

— Кто за Кочкина — поднимите руки... Большинство. Выбраны на поединок. Скворцов и Кочкин. Судейский ряд, выберите старшего судью.

— Хомякова! Хомякова!

— Эй, Вася, садись ко мне на первую парту, вместе судить будем.

Рыжий, веснушчатый Вася Хомяков старается выразить на лице притворное безразличие, пунцовеет от гордости.

— Будем внимательно слушать ответы и запоминать, кто в чём ошибся. Советую для памяти записывать на бумажке, а когда начнётся обсуждение, подняв руку, сообщить, что заметил. Понятно?

— По-оня-атно!

— Теперь несколько минут тишины. Пусть Кочкин и Скворцов посидят и вдумаются, с чего начать, как лучше приступить к рассказу.

И действительно, в классе наступает тишина — головы вертятся от Феди Кочкина к Серёже Скворцову, от Серёжи к Феде Кочкину, лёгкий, напряжённый шорох, откуда-то просачивается придушенный шепоток.

Эту тишину нарушил решительный голос Кочкина:

— Лучше сразу отвечать.

— Начинай, а Серёжа пусть подумает.

Но самолюбивый Серёжа тоже вскочил с парты:

— И я готов!

— Тогда идите оба к доске.

Заметно волнуясь, от волнения цепляясь карманами пиджаков за углы парт, Скворцов и Кочкин вышли к доске, стали друг против друга. Кочкин Федя — широкий, плотный, как всегда, один палец на руке перевязан замусоленной тряпочкой, одет бедно — застиранный пиджачок, на каждом локте по заплате, штаны пузырятся на коленях. Лицо у Кочкина широкое, обветренное, в раздавшихся скулах чуть приметная азиатчина — эх, если б поединок был на кулаках!.. Серёжа Скворцов на полголовы ниже Кочкина, но это противник самый сильный, за ним слава способнейшего ученика. Кроме того, этот тщедушный Серёжа до болезненности тщеславен — он привык быть только первым. Сейчас его голубые глаза беспокойно бегают, узкое лицо бледно от волнения, однако стоит дерзко, выставив узкую, петушиную грудь.

Их волнение передалось всему классу: нетерпеливо ёрзают за партами, возбуждённо шушукуются, глядят напряжённо округлившимися глазами.

— Кто будет первым отвечать? — спрашиваю я. — Отвечай ты, Серёжа.

— Обождите, Андрей Васильевич! — раздаётся голос.

Вася Хомяков недаром заслужил славу справедливейшего человека, он неуклюже вылезает из-за парты с ушанкой в руках.

— Обождите. Не по правилам...

Подходит к Серёже Скворцову и протягивает сложенную ушанку.

— Тани, — предлагает он. — Вытянешь бумажку с галочкой — будешь первым отвечать. Не вытянешь — первый Кочкин.

Серёжка покорно запускает руку в ушанку, вытаскивает скрученную бумажку, долго её разворачивает. А весь класс до последнего человека следит сосредоточенно, серьёзно, словно решается не простой вопрос, кому первому отвечать, а судьба Серёжи Скворцова.

— Пустая. Ничего нет, — объявляет Серёжа.

— Ты, Федька, первый отвечаешь, — приказывает Хомяков. — Только обожди, не начинай, я на место сяду.

Кочкин взволнованно переступает с ноги на ногу. Десятки пар глаз сочувственно уставились на него.

Наш верховный судья, поёрзав, устроился на своём месте, взглядом разрешил мне: «Можно». Я произношу:

— Тишина и внимание!.. Кочкин!.. На...

Но я не успел договорить. Несколько учеников из тех, кто сидел ближе к дверям, поднялись со своих мест. Следом за ними весь класс вразнобой зашевелился, с шумом повскакал на ноги. Кочкин, напружинившийся, словно приготовившийся к прыжку, обмяк, зябко поёжился. В раскрытой двери, глядя в класс из-под полуопущенных век, стоял Степан Артёмович. Коротким кивком он приказал классу садиться, строгий, прямой, сделал несколько шагов вперёд. Я услужливо пододвинул стул. Он опустился на него, угрюмо нахохлился, сухо бросил:

— Продолжайте.

— Будем продолжать, — решительно объявил я. — Кочкин, начинай.

— Возьмём для сравнения такие предложения, — с хрипотцой от волнения, нарочито медлительно заговорил Федя, но сорвался и зачастил: — «Комната наполнилась запахом цветов, которые росли в скромном палисаднике». Если взглянуть в эти предложения...

А ученики ввелись в него глазами. Сразу же обрушилась мёртвая тишина. Только тревожный, напряжённый голос Кочкина звучал в стенах класса. Кто-то трусливо скрипнул партой, у кого-то звонко упала на пол ручка. У Кочкина налилось кровью лицо. Чтоб отрешиться от всего, он закрыл глаза, с поспешностью, в паузах жадно глотает воздух. Его слушают так, как не слушали ещё ни разу в классе, ни одна история с самыми невероятными приключениями наверняка не вызвала такого внимания.

Серёжа Скворцов вытянулся у доски, глаза его впились в одну точку — в шевелящиеся губы Феди Кочкина.

Забыв нахохлившийся у окна директор, забыт я, возвышающийся над своим учительским столом, забыто всё на свете, есть только Кочкин, рассказывающий об обособленных второстепенных членах предложения.

Когда Кочкин с мокрым от напряжения лицом замолчал, с несвойственной для него застенчивостью оглянулся на меня, по классу пролетел облегчённый вздох.

— Хорошо, — подчёркнуто спокойно заговорил я. — Все слышали? Запомнили ошибки и промахи Кочкина?

— Нет ошибок!

— Есть. Я заметила!

— Заметили — запишите для памяти. Скворцов...

Серёжа начал говорить, не торопясь, звонким, чистым голосом, в нужных местах делая паузы, легко, без напряжения перечислял примеры.

Снова тишина, снова обострённое внимание. А в стороне, как воробей во время дождя, сидел, не двигаясь, нахохлившийся Степан Артёмович.

И должно быть, звук собственного голоса воодушевил Серёжу — настолько красив, звучен, спокоен был этот голос по сравнению с хрипловатой, торопливой речью

Феди Кочкина. Серёжа, видимо, уже не сомневался, что победит, и его уверенность, его звучный голос угнетающе действовали на Кочкина: он увядал на глазах — плечи расслабленно опустились, лицо склонилось к полу.

Но вот в классе начал нарастать шум. Ребята нетерпеливо заёрзали на своих местах, некоторые порывисто скидывали руки, опускали их. Кочкин распрямился у доски, в его чёрных глазах вспыхнуло и сразу же глубоко притаилось торжество. Серёжа Скворцов слишком понадеялся на свою память, слишком был уверен в окончательной победе — он пропустил целый раздел.

Шум класса насторожил его, он стал запинаться, он наконец вспомнил, понял свою ошибку, но решил не сдаваться, вернулся обратно к пропущенному разделу. Но плавность и уверенность его рассказа была уже непоправимо нарушена — Серёжа с грехом пополам добрался до конца.

Сочувствующая, а потому и страшная, тишина наступила после того, как Серёжа сказал последнее слово. Даже ряд Феди Кочкина молчал, не отваживался на торжество.

— Приступим к обсуждению, — невозмутимо возвестил я. — Обсуждаем только Кочкина. Кто заметил какие-либо ошибки в его выступлении?

Ряд, пославший на подвиг Кочкина, не шевельнулся, оттуда только блестели направленные на меня глаза. Зато ряд Серёжи Скворцова ожил, поднялось несколько рук.

— Юрченко, что ты заметила?

Каждое замечание я отмечал минусами на доске. Несколько замечаний оказались спорными, ряд Кочкина негодовал:

— Не говорил о союзном слове!

— Нет, говорил! Я слышала!

— Ничего ты не слышала, пищуха!

Я в завершение от себя поставил ещё один минус:

— Кочкин слишком спешил, глотал концы фраз, там, где не нужно, делал паузы.

От моих придирчивых минусов Кочкин мрачнел, на его обветренной физиономии появлялось угрюмо-замкнутое выражение.

— Обсудим ответ Скворцова.

И тут-то началось, тут-то вспыхнули страсти.

Оказывается, у Серёжи Скворцова всего одна ошибка: пропустил раздел, но потом поправился — правда, не очень удачно. Выходит, ему можно поставить только один минус, а у Кочкина их три!

— Скворцов победил!

— Один минус!

— Десять минусов за это!

— Скворцов!

— Кочкин!

— Грубая ошибка у Скворцова!

— Но он же знал! Он же поправился! Разве это грубая?

Раздался звонок. Но какая там перемена — не до неё, тут решается острейший вопрос!

Однако в стороне сидит Степан Артёмович. Мне хорошо известно, как он уважает порядок, наверняка потом поставит на вид — раз объявлено время перерыва, то следует кончать урок, не задерживать детей в классе.

— У меня предложение! — старался перекрыть я голоса. — Так как урок окончен, нам придётся перенести обсуждение...

Но класс забушевал в неистовом возмущении:

— Не пойте-ом!

— Сейчас обсуждать!

— Мы без перемены! Не пойдём!

— Кочкин победил!

— Серёжка!

Я пожал плечами, виновато оглянулся на Степана Артёмовича. Тот по-прежнему сидел с каменным лицом, не выказывая внешне ни удивления, ни досады.

— Хорошо! Будем обсуждать сейчас. Требую полнейшей тишины!

Разумеется, полнейшей тишины не получилось — все шевелились, сердито вполшепота огрызались друг на друга.

— Слово старшему судье! Хомяков, как ты считаешь?

Хомяков поднялся:

— Я считаю, что победил Кочкин.

— Верно!

— Кочкин победил! Кочкин победил! Кочкин!!

— Ура-а!..

— Тише!.. Продолжай, Хомяков. Почему победил Кочкин?

— Я думаю, что ошибка Скворцова равна трём минусам Кочкина.

— Не равна...

— Больше!

— Равна!

— Тише!

— ...Но Кочкин выступал первым. Ему трудно было.

— Верно! Труднее!

— Голосует судейский ряд! Кто считает, что победил Кочкин?

Вместе с судейским рядом дружно взмахнул вверх руки ряд Феди Кочкина.

— Победил Кочкин! — сообщил я. — Можете идти на перемену.

Ребята сорвались со своих мест, у дверей сразу же образовалась пробка.

Я обернулся в сторону Степана Артёмовича. Он, глядя мимо меня, поднялся, не сказав ни слова, вышел из класса.

В коридоре ему пришлось посторониться: седьмой «А» под крики «ура» качал своего справедливого судью Васю Хомякова.

15

Я шагал по длинному шумному коридору за Степаном Артёмовичем в учительскую. При нашем приближении возня и шум стихали, ученики, оглядываясь на директора, жались к стенам. Мы проходили — шум возобновлялся.

Я шёл, поотстав шага на три, упираясь взглядом в затылок Степана Артёмовича. Несмотря на густую седину, этот затылок выглядел каким-то мальчишеским. Тонкая шея с ложбинкой, торчащие уши, сам затылок обиженно натянутый. Пока я гляжу в этот затылок, мне нисколько не страшно, мне почему-то даже жаль этого тщедушного пожилого человека, обиженного мною.

Мы вошли в учительскую. Там, как всегда во время перерыва, людно. Акиндин Акиндинович влез на стул, достаёт со шкафа пыльные рулоны географических карт. Учителя стоят кучками, переговариваются, мужчины, не торопясь, курят. Дым от папирос плавает среди глянцевиных листьев фикуса.

Мы вошли в учительскую. Степан Артёмович поворачивается ко мне. Мальчишеское, трогательное, обиженное сразу же исчезает в нём, передо мной узкоплечий, узкогрудый человек с тяжёлым квадратным лицом, с крупными морщинами на этом лице, с коротким, густым, крепким ёжиком седых волос над морщинистым лбом и прямым, пронизывающим насквозь взглядом маленьких холодных глаз.

Акиндин Акиндинович со свёрнутыми картами боязливо слез со стула.

Мы стояли. Я ждал, что скажет Степан Артёмович. Он медлил. По сравнению с ним, маленьким, сухопарым, узкоплечим, я чувствовал себя сейчас излишне высоким, громоздким, неуклюже сильным.

И вдруг под пристальным, недобрим взглядом Степана Артёмовича во мне постепенно начало рождаться глухое бешенство, яростное возмущение и решительность. Пусть он только упрекнёт, пусть только повторит слова Коковиной: «Не позволим!» Какое он имеет право ломать начатое дело? Я ищу, мне трудно, я отдаю этому всё свободное время, отдаю все свои силы, недосыпаю, отказываюсь от развлечений, я вправе ждать поддержки, а на меня смотрят как на преступника! Мы стояли и смотрели друг другу в глаза, а нас со стороны разглядывали учителя.

— Вы не подчиняетесь не только мне! — прозвучал в притихшей учительской сухой голос Степана Артёмовича. — Вы не подчиняетесь решению педсовета!

В это время раздался звонок на урок. За дверью, за моей спиной послышался топот ног по коридору, захлопали двери — это ученики бросились по классам. Учителя же стоят в стороне от нас, я загораживаю им дверь, никто не двигается, все молча продолжают смотреть.

— Вы не подчиняетесь коллективу! — Голос Степана Артёмовича становится высоким и чуточку торжественным.

— Я готов вам подчиняться, — ответил я так же сухо, — если вы докажете ненужность того, что я делаю, заставьте поверить меня, что я не прав. Вы мне этого пока не доказали.

— Я пытался это сделать, вы не соизволили меня понять.

— Вы не доказывали, вы просто отказывались понимать меня.

— Все остальные учителя приняли мои доказательства, согласились с ними, осудили вас. И то, что вы сейчас не подчиняетесь моим приказаниям...

— Я имею право оспаривать их... Оспаривать делом!

— Любовь Анисимовна! — Степан Артёмович поворачивается на каблуках к учительнице зоологии и ботаники.

— Да? — падающим голосом отвечает та.

— У вас сейчас, кажется, «окно»? Пойдёте на урок вместо Бирюкова. — Степан Артёмович снова поворачивается ко мне на каблуках. — Пользуясь правом директора школы, я отстраняю вас от занятий.

Я молчу. Молчат кругом учителя. Тихо по всей школе. За моей спиной, за окрашенной белилами стеклянной дверью учительской пусты коридоры. Все ученики разошлись по классам. Сейчас они, вертась и переговариваясь, ждут появления учителей. Но ни один учитель не двигается с места, не покидает учительской. Только Акиндин Акиндинович, нагруженный картами, бочком, бочком продвигается вдоль стены к двери и застывает, пугливо мигая добрыми глазами.

— Объясните точнее причины моего увольнения, — говорю я, и кажется, говорю спокойно.

— Не время.

— Вы не босс, я вам не приказчик. Без твёрдых и ясных обвинений вы не имеете права выбросить меня из школы.

— О, вы получите объяснения. Приказ о вашем освобождении будет вывешен, если не сегодня, то завтра. Там прочтёте. — Снова крутой поворот на каблуках. — Любовь Анисимовна, я вас прошу занять свободный урок.

Но в это время раздаётся голос:

— Это подло! Я тоже тогда не пойду на урок!

Раздвигая плечами поспешно сторонящихся учителей, подходит Василий Тихонович, упрямо упираясь подбородком в узел галстука. Теперь уже перед Степаном Артёмовичем нас двое. Двое рослых и плечистых парней перед хрупким, вытянутым в струнку седым директором.

— Я считаю это произволом! — Василий Тихонович наклоняется к директорскому лицу.

И Степан Артёмович прямо ему в глаза властно отчеканивает:

— Не могу тащить вас за рукав, уважаемый Василий Тихонович. Но помните: такое поведение будет рассматриваться как саботаж. Вы приносите вред не мне, а тем ученикам, которые ждут сейчас вашего урока! — Степан Артёмович поворачивает го-

лову, бросает через плечо: — Товарищи, был звонок, прошу вас приступить к своим обязанностям.

Я посторонился от дверей. Первым, задевая краями свёрнутых карт за косяк, выскользнул в коридор Акиндин Акиндинович. За ним, поспешно схватив со стола свои книги, бросилась Любовь Анисимовна. Уставясь в пол, один за другим учителя прошли мимо неподвижного, торжественного, как на параде, Степана Артёмовича.

Иван Поликарпович, кряхтя, поднялся со своего стула, костлявый, долговязый, с жилистой шеей. Он прошёл последним, остановился перед директором, покачал головой:

— На этот раз ты, Степан, слишком круто взял. Не могу одобрить. — Вскинув брови на Василия Тихоновича, у которого на впавших щеках перекатывались желваки, нервно вздрагивали ноздри горбатого носа, прикрикнул с напускной стариковской строгостью: — Иди, иди, не задерживайся, ребята не виноваты, что здесь сыр-бор разгорелся.

Василий Тихонович взглянул на меня, я ему ответил кивком: «Иди».

— Явно выраженное самоуправство, товарищ директор! — бросил он ещё раз Степану Артёмовичу, прошёл к столу, забрал свои книги и в дверях обернулся: — Уйдёт из школы Бирюков — уйду и я.

— Разумеется, — вежливо ответил Степан Артёмович. — Только каждый в своё время.

Мы остались вдвоём со Степаном Артёмовичем. Сквозь двойные рамы было слышно, как внизу, во дворе, скребёт чья-то лопата, расчищая от снега дорожку. На длинном, покрытом вылинявшим сукном столе разбросаны книги. В одной из пепельниц чадит непотушенный окурок.

— Думаю, излишним будет напоминать с моей стороны, — сухо обратился Степан Артёмович, — что можете жаловаться на меня во все инстанции, кому угодно.

Я промолчал. Степан Артёмович, невысокий, напряжённо вытянутый, глядел снизу вверх. Сухим голосом он добавил:

— Готов идти на уступки только в том случае, если вы при всех учителях признаете свою неправоту и станете исполнять свои обязанности по-прежнему. Тогда я буду вынужден ограничиться только выговором в приказе.

— Благодарю. Этого не случится.

Степан Артёмович понимающе кивнул и, скользнув внимательным взглядом по мне, направился к своему кабинету, невысокий, лёгкий в походке, с мальчишески наивным затылком.

Я стоял в пустой, беспорядочно заставленной стульями комнате и бессмысленно глядел, как из гранёной стеклянной пепельницы поднимается в воздух голубой, неустойчивый дымок тлеющей папиросы.

Я спустился со школьного крыльца. Впервые в жизни вдруг на минуту я испытал чувство безработного, чувство лишнего человека на земле. Моя школа работает, мои ученики учатся, а я в этот ясный зимний, рассеянно солнечный день стою спиной к школе среди сияющих сугробов, пересеченных синими, неяркими тенями, и мне нечего делать. И это после того, как мне не хватало времени, после того, как я засиживался ночами, поднимался по утрам с тяжёлой головой, бежал невыспавшийся на уроки, и только в работе снова приходили энергия и бодрость, к концу дня я снова чувствовал себя способным сидеть за полночь. И вот мне нечего делать, впереди пустота. Все работают — у меня каникулы.

Я двинулся с места, ноги сами понесли меня от школьного крыльца привычной дорогой к дому. Я шёл, а в моей голове была пустота. Я не испытывал ни обиды, ни горя, ни отчаянья. Я всё ещё никак не мог понять, что со мной случилось. Чувство беды обычно осознаётся не сразу, а некоторое время спустя. Не доходя до дому, я остановился. Тони там нет, на кухне хозяйничает бабка Настасья. Она остолбенеет при моём появлении: никогда ещё так рано я не возвращался с работы. Сейчас всего одиннадцать часов, впереди целый день, ничем не занятый, бесконечный. Я буду сидеть дома, в четырёх стенах, в обществе Настасьи и дочери. Буду ждать прихода Тони. Она придёт и... поймёт только одно, что я уволен с работы, нужно подыскивать другое место, возможно, уезжать из села, оставлять свитое её руками гнездо, наново устраиваться, терпеть неудобства. Она, конечно, примется упрекать меня. О, я наперёд догадываюсь, какие слова она мне скажет: «О себе только думаешь, не хочешь жить, как все живут. А то, что Наташка останется без куска хлеба, тебя не волнует?»

И мысль, что я сейчас перешагну порог своего дома, показалась противной. Нет, только не домой! Но куда? Кому рассказать? Вроде много знакомых, много друзей, а вот не придумаешь, куда идти, с кем перемолвиться словом. Одна только Валентина Павловна... Она сейчас, наверно, на работе. А если нет?.. Иногда в редакции работают по вечерам.

Я круто повернул и направился к Валентине Павловне.

Она была дома. В фартуке, рукава засучены, только что, видать, от плиты — лицо румяное, яркие губы приоткрыты, поблёскивают мелкие зубы. Я иногда видел её такой и прежде, до её работы, до смерти Ани. А может, даже не видел, а представлял себе её такой — хозяйка дома, простой человек, очень понятный.

Я забыл снять пальто; наверно, по этой забывчивости, по выражению моего лица она поняла — со мной произошло что-то необычное.

— Что случилось, Андрей?

Она назвала меня не по имени и отчеству и не заметила этого. Я опустил на стул.

— Случилось... Я, кажется, больше не работаю в школе.

Она стояла посреди комнаты в кухонном фартуке, с выбившимися волосами, глядела остановившимися серьёзными, внимательными глазами.

— Так... — произнесла она. — Одну минуточку, — бросилась в кухню, вернулась без передника, причёсанная, в кофточке с длинными рукавами, сразу утеравшая дорогую простоту и открытость. И только в возбуждённом блеске глаз, в исчезающем румянце заметна взволнованность.

Она села за стол, переплела гибкие пальцы, приказала:

— Рассказывайте.

Я стал рассказывать о вчерашнем педсовете, о сегодняшнем уроке, о стычке со Степаном Артёмовичем:

— ...Словом, он меня просто-напросто выгнал на глазах всех учителей.

— Так просто?

— Что может быть трудного для Степана Артёмовича в стенах его школы?

Валентина Павловна склонила светловолосую голову к столу, задумалась.

— Скажите мне откровенно: вы пришли за помощью? — спросила она, поднимая недоверчивый взгляд.

— За помощью? Чем вы мне можете помочь? Я не рассчитываю на это.

— Вы не пришли ко мне посоветоваться, не поможет ли вам Пётр?.. — Новый недоверчивый и даже ревнивый взгляд.

— Если я решусь искать помощи у секретаря райкома Ващенко, то пойду к нему не на дом, а в кабинет, — сухо возразил я. — Мне просто некуда было идти. Кому-то надо было рассказать. Вот и рассказал...

— Спасибо, — сказала она. — То, что вы пришли только ко мне, событие для меня... Знаете, я даже чем-то смогу вам помочь. Советом хотя бы...

— Вы?.. Через Петра Петровича?..

— Такой помощи вы от меня не примете.

— Не приму.

— Так не беспокойтесь, не совсем через него.

— Через газету? Через Клешнева?

— И тоже не совсем.

— Не представляю, как вы мне можете.

— Вы будете действовать через того и через другого вместе.

— Через Петра Петровича?..

— И через Клешнева, — подсказала Валентина Павловна.

— Гм...

— Скажем, вы пойдёте к Ващенкоу...

— Прижмёт — пойду. Но вы-то тут при чём?

— Я вообще ни при чём. Я только советчик. Так вот, я вам советую: просто так к Ващенкоу не ходите.

— Почему?

— Он не поможет.

— Почему же?

— Я прожила с ним много лет и хорошо знаю его. Это честнейший и доброжелательный человек, можно не сомневаться в его порядочности. Но в его характере есть одна сторона... Он живёт и постоянно ждёт от жизни какой-то решительной атаки. Он готов броситься в эту атаку, готов пожертвовать своей жизнью, без позы, искренне, но лишь тогда, когда будет верить в святость этой атаки.

— Так в чём же дело? Плохо ли начать атаку на этих Коковихных и Степанов Артёмовичей? На мой взгляд, самое святое дело.

— Но у него-то другой взгляд. Он наверняка будет сомневаться: атака ли, стоящее ли дело? Нет, это не трусость, что-то другое, более сложное... Он руководитель района, он считает, что должен быть расчётлив в своих поступках: если уж идти в атаку, то непременно за самое важное, самое коренное. Наверняка он станет оглядываться: «А прав ли Бирюков? А настолько ли важен этот вопрос, чтоб вмешиваться райкому партии? Так ли уж этот Степан Артёмович ошибается? Он, мол, опытнее Бирюкова...» Прямо на вашу сторону он не станет, а поведёт примирительные разговоры со Степаном Артёмовичем, предложит вам пойти на компромисс с директором.

— Компромисс?.. То есть Степан Артёмович принимает меня обратно в школу, под своё крылышко, а я должен дать обязательство быть полностью послушным. Так?.. Спасибо, я уже отказался от такого компромисса.

— Вот видите, — с готовностью подхватила Валентина Павловна, — значит, нужно действовать не прямо через секретаря райкома Ващенко. Вы писали когда-нибудь статьи в газету?

— Только в стенную.

— Придётся сейчас написать в районную.

— Но ведь Клешнев?..

— Да. Клешнев не поместит. Да, он слишком труслив, чтобы поддержать выступление против такой авторитетной личности, как Степан Артёмович Хрустов.

— Зачем же статья?

— Затем, чтоб нести её всё-таки к Клешневу.

Я развёл руками:

— Не понимаю... Статью?.. Клешневу?.. Чтоб отказал?..

— Да, отказал. Тогда вы со своей отвергнутой статьёй и направитесь в райком, к Петру. Вы заявите ему, что желаете высказать публично свои взгляды по педагогике, свои критические замечания по работе школы. Разумеется, статья не должна быть жалобой обиженного человека. Вы будете требовать права говорить своим голосом. В этом отказать Пётр не может.

— Он даст указание Клешневу напечатать мою статью?

— Даст. И Клешнев вряд ли ослушается секретаря райкома. Не такой человек, чтоб ослушиваться.

— Статья будет напечатана?..

— Будет. — Валентина Павловна победно улыбалась мне в лицо.

Чёрт возьми! Значит, есть возможность сразиться на равных условиях со Степаном Артёмовичем! Пусть поспорит, пусть докажет свою правоту не на заседании педсовета, где большинство учителей преклоняются перед его авторитетом, а перед всеми в районе, во всеуслышание. Тут-то мы посмотрим, кто кого!

— Ну, что вы на меня уставились? Действуйте.

— Вечером сяду за статью.

— Как вечером?! Или вам улыбается потрясать этой статьёй, имея уже печать откровенности на челе? Надо спешить, пока вы для всех ещё работаете в школе, пока вас не могут упрекнуть, что действуете по обиде. Статья сегодня же должна быть в редакции! Сегодня же её нужно показать в райкоме.

— Но ведь статья... Я ни разу не писал статей...

— В том-то и дело, статья не диссертация. Каких-нибудь три странички. Садитесь прямо у меня и пишите. Вон стол. Там бумага и чернила. Что ещё нужно?.. А я пока займусь по хозяйству. Да вы в пальто! Снимайте его. Быстро...

Письменный стол стоял теперь в комнате, где когда-то умерла Аня. Я неуверенно примостился к нему, положил перед собой чистый лист бумаги, взял ручку.

С чего начать? Как собрать мысли?

Я написал первую строчку: «Вопросы школьного воспитания в одинаковой мере должны тревожить...» Жирно зачеркнул, покусывая конец ручки, стал оглядывать побеленные стены комнаты. На маленькой этажерке в углу я заметил втиснутый в нижнюю полку странный предмет, отдалённо напоминающий какой-то снаряд — чёрный, матовый, сплюснутый с боков, со сферическим закруглением наверху и кожаной ручкой для переноски. Да это же микроскоп! Тот самый микроскоп, который я впервые увидел у кровати больной Ани, только в футляре. Я вспомнил слова Коковиной: «Не позволим!» И меня прорвало, я принялся писать...

За моей спиной осторожно ходила Валентина Павловна. Иногда она останавливалась позади, глядела через моё плечо. Я отрывался от бумаги, оглядывался, и мы встречались глазами. Она понимающе и подбадривающе кивала мне головой, отходила. Я снова склонялся над столом, уходил в работу, не переставая прислушиваться к её мягким, домашним шагам. Оттого что она рядом, что она бережно охраняет мой покой, понимающе следит со стороны, я, только что выгнанный из школы, чувствовал в себе какую-то налаженность. Вот так бы изо дня в день, из вечера в вечер, всю жизнь ощущать за плечами молчаливую поддержку — ничего не смогло бы испугать меня, ничто не вывело бы меня из равновесия!

Наверно, в то время когда в школе раздался последний звонок и ребята, стуча по лестнице, сбегали к раздевалке, я поставил последнюю точку.

Валентина Павловна придвинула стул, уселась рядом, подперла щеку рукой. Пока я читал, она глядела напряжённым, сосредоточенным взглядом, а я страдал и мучился:

мне казалось, всё, что я написал, плоско, неглубоко, постыдно, даже мой голос, читающий статью, фальшив.

— Хорошо, — сказала она, когда, морщась от смущения, я отложил последний лист. — Со статью...

И стыд, который заставлял меня внутренне корчиться, мгновенно исчез, как исчезает свирепая зубная боль от успокаивающего лекарства. На самом деле не так уж плохо, не равнодушно написано.

Она сидела, почти касаясь моего плеча, на крепкую щеку падала лёгкая прядь волос, её глаза блеснули совсем рядом, тянущие к себе глаза, в глубину которых нельзя заглянуть прямо, а хочется, ой, как хочется!..

— Только эта страсть чуть-чуть становится неумеренной, когда вы говорите о Степане Артёмовиче. Я такого же мнения о нём, как и вы, но нельзя в принципиальных вопросах допускать даже намёка на личные отношения...

Мы вместе правили статью. Иногда её рука случайно задевала мою.

Вместе мы направились в редакцию газеты.

17

Наша газета «Колхозная искра», один листок, две неширокие полосы, всегда появлялась в срок, в должной мере освещала весной сев, летом сеноуборку, осенью уборку хлебов, а зимой ремонт тракторов, лесозаготовку, удои, подготовку к севу. В ней регулярно сообщалось о всех конференциях, совещаниях, сессиях, время от времени, не слишком часто и не слишком редко, помещались обзоры международного положения. Для всякого материала была установлена строгая форма. Одни статьи начинались со слов: «В неустанной борьбе за высокие показатели...» Другие: «Наряду с достигнутыми успехами в ряде случаев...»

Валентине Павловне слегка удалось расшатать эту строгую форму, я стал замечать, что иные заметки приобрели некий облик свежести, как засохшие огородные грядки, чуть смоченные лёгким дождём. Но моя статья, лежащая сейчас в кармане пиджака, совсем не похожа на те, что помещались в «Колхозной искре». Тут уж дело не в форме. Валентине Павловне не удастся её пробить, как до сих пор не удалось ей изменить лицо газеты.

Она сейчас шла рядом, независимо вскинув голову, с каким-то воодушевлённым лицом, молчащая, должно быть верящая в удачу. Я, нерешительный, переполненный сомнениями, едва поспевал за ней.

В пахнущей типографской краской комнате мы застали редактора Клешнева.

— Вот, — объявила ему Валентина Павловна. — Андрей Васильевич Бирюков принёс нам интересный, на мой взгляд, материал.

Клешнев был членом бюро райкома, членом исполкома райсовета, членом каких-то комиссий и при этом обладал способностью оставаться самой неприметной личностью

во всём районе. Его не славословили на собраниях, не делали ему разносов, не вписывали выговоров. Невысокий, рыжеватый, с робко намеченной лысиной, в потёртом костюмчике — невозможно в его наружности найти какую-нибудь характерную черту, просто человек средних лет, не слишком молодой, не слишком старый, похожий на всякого заурядного служащего районного масштаба. Он никогда не учился на журналиста, никогда не писал статей и вряд ли даже имел пристрастие к печатному слову, даже в доступном для рядового читателя размере. Между ним и его детищем, думается, было прямое сходство. Если б Клешнев вдруг перестал появляться в кабинетах руководящих работников, присутствовать на собраниях, то, пожалуй, никому бы не пришло в голову спохватиться, где он, куда это делся? Так же если б неожиданно перестала выходить «Колхозная искра», то это событие нисколько бы не отразилось на жизни района.

Клешнев не удивился моему появлению, принял мою статью, склонил над ней лысеющую голову и долго-долго читал. Прочёл до конца, повернул, прочёл начало и наконец сообщил:

— Я думаю, что этот материал нам не подойдёт.

— Почему? — спросил я, переглядываясь с Валентиной Павловной.

— Э-э... Думаю, что вы не совсем правы.

— В чём? Возразите. С удовольствием вас послушаю.

— Э-э... Как вам возразить?.. Я не педагог, а вы разбираете сугубо профессиональные вопросы...

— А материал боевой, — вставила своё слово Валентина Павловна.

Клешнев пододвинул ко мне рукопись, косо взглянул на Валентину Павловну, вздохнул и признался:

— Вы же на Коковину да на Степана Артёмовича Хрустова нападаете...

— Ну и что ж? — возразил я невозмутимо.

— А то, товарищ Бирюков, что Коковина и Хрустов матёрые ёлочки, крепко в землю вросли. Что им наша статья? Ветер. От такого ветра они только сильнее зашумят.

— А если Андрей Васильевич подымет шум в райкоме о том, что вы не допускаете обмена мнениями? — спросила Валентина Павловна.

— Подымайте, не могу запретить. Если из райкома получу санкцию на напечатание, то всякая ответственность с меня снимается. — Клешнев ещё ближе пододвинул ко мне статью.

Я снова переглянулся с Валентиной Павловной, и она взглядом сообщила мне: «Разговаривать больше нечего, действуйте!» Я взял статью, сунул в карман, бросил Клешневу:

— Пойду в райком.

Клешнев без осуждения и одобрения кивнул головой:

— Пожалуйста.

Я ушёл, а Валентина Павловна осталась. И впервые я по-настоящему понял её беду. Сидеть изо дня в день рядом с таким человеком, подчиняться его воле, помогать ему, хочешь не хочешь, разделять его взгляды.

Ващенко был в своём кабинете. Я привык с ним встречаться на дому, на короткой ноге, прошёл сейчас прямо к двери, взялся за ручку. Меня остановила секретарша.

— Пётр Петрович занят.

— У меня срочное дело.

— Без срочных дел мало кто ходит к секретарю райкома.

Но я уже успел открыть дверь.

— Пётр Петрович, я помешал?

— Андрей Васильевич! — весело удивился Ващенко. — Заходите, заходите.

Кроме Ващенко, в кабинете сидел ещё Вася Кучин. Он поднялся, стиснул мне руку.

— Здравствуй. Ты чего это в неурочное время, мы уже по домам собрались.

Без лишних объяснений я вытащил из кармана статью, положил её на стол перед Ващенковым:

— Вот. Отдал в газету — отказываются печатать.

— Что-нибудь щекотливое? — спросил Ващенко, надевая очки. — Поглядим...

Он стал читать, передавая прочитанные листы Кучину. Тот брал, читал, двигая удивлённо бровями, молчал.

— Клешнев отказал? Понятно. Такая статья для него — кислое яблочко, — произнёс Ващенко, передавая последнюю страницу. — А вы злой человек — ни пощады от вас, ни жалости Степану Артёмовичу.

— Ну и Степан Артёмович не отличается кротостью. Сегодня при всех учителях приказал мне оставить школу, — сообщил я.

— Вон куда зашло!..

Кучин дочитал, взглянул на меня из-под своей густой шевелюры.

— Не боишься, козлёнок, с волком бодаться?

Я пожал плечами.

— Нужда заставляет.

Кучин с сомнением покачал головой, а Ващенко из-под очков (дома я никогда не видел его в очках) с любопытством прощупывал меня маленькими, запавшими глазами. Он молча снял с телефона трубку:

— С Клешневым соедините... Клешнев? Слушай, ты только что отказался напечатать статью учителя Бирюкова... Да, да, он действительно не согласен по некоторым принципиальным вопросам с Хрустовым и Коковиной. Ну и что ж из этого? Можем мы зажимать ему рот?.. Не прав? Пусть даже не прав. Нам с тобой в этом трудно разобраться. Напечатаем его статью, а потом предоставим место в газете Коковиной и Хрустову. Твоя воля, отказывай на свой страх и риск, а моё мнение — такие вещи следует печатать... В дискуссионном порядке? Конечно, в дискуссионном. Пусть столкнутся два различных взгляда, пусть поспорят, от этого ничего, кроме пользы, не будет.

Ващенко опустил трубку, встал, протянул мне руку.

— Идите к Клешневу, не мешкайте, жмите покрепче. Стоит ли вас предупреждать, что он будет тянуть и выяснять исподтишка.

— Спасибо.

— Не за что. Я сделал то, что на моём месте сделал бы каждый. Спорьте, опровергайте друг друга, а мы поглядим со стороны, может, и нам станет ясно.

Кучин снова крепко стиснул мою руку своей жёсткой ладонью:

— Я бы на твоём месте не лез на рога Хрустову.

Клешнев куда-то собирался уходить из редакции, я его застал в пальто и шапке. Валентина Павловна сидела за своим столом, читала готовые газетные полосы. Она подняла на меня глаза, одобрительно кивнула головой, сообщая этим, что всё знает, слышала телефонный разговор Клешнева с мужем. Во время нашей короткой беседы с редактором она не вставила ни слова, но по напряжённой позе, по медлительным движениям рук, осторожно, без шума перекладывавших бумаги, я чувствовал — внимательно ловит каждое слово.

Прямо в пальто Клешнев уселся за свой стол и снова долго-долго с примерным усердием перечитывал мою рукопись.

— Начало не совсем... — заявил он наконец. — Что это за начало? «На одном из педагогических советов заведующая роно товарищ Коковина с возмущением...» Какое же это начало? И это: «Не позволим!» Сухо как-то, товарищ Бирюков, узко. Надо бы пошире охватить. Сказать, например, о достижениях... А вы сразу: «Не позволим!»

— Нет уж, оставьте, как есть.

— Ваша воля. Имейте в виду, статья если и будет печататься, то в дискуссионном порядке.

— Согласен. Когда напечатаете?

— Я, собственно, ваших взглядов не разделяю...

— Не сомневаюсь в этом. Мне нужно знать, когда вы её напечатаете?

— Не горит.

— Нет, горит. Меня сегодня освободили от работы, грубо выражаясь, выкинули из школы. Как видите, у меня горит почва под ногами.

— Статьей себя хотите спасти?

— Себя спасти мог и без статьи, а вот свои убеждения, что правда, то правда, пытаюсь спасти с помощью вашей газеты.

— М-да... Я ещё посоветуюсь. Во всяком случае, на ближайшие два номера вам нечего рассчитывать — заняты.

— Я вам покоя не дам. Пока не увижу статью напечатанной, буду стучаться во все двери.

Клешнев ничего не ответил, покорно вздохнул, спрятал статью в стол.

Был вечер. На пухлых сугробах лежал жёлтый свет, падавший из окон. Я вдруг почувствовал голод: с утра ничего не ел, забыл пообедать. Ну и денёк! Утром — школа, всё, казалось, должно идти налаженным порядком, и вдруг этот размеренный порядок

лопнул, завертелись события. Кажется, сегодняшнее утро, когда я привычной дорогой от крыльца дома направился в школу, было где-то в прошлом году.

Почти у самого дома я столкнулся с Тоней — шерстяной полушалок наброшен на голову, свешивается поверх пальто, дышит прерывисто, увидела, бросилась ко мне:

— Ты!.. Полдня ищущи! Где пропал?.. Знаешь, что случилось?

— Что? — спросил я спокойно, ожидая от неё упреков за размолвку со Степаном Артёмовичем.

— Наташка-то...

— Наташка?! Что с ней?.. — испугался я.

18

День, который был для меня переполнен событиями, для всех других шёл своим чередом: продолжались в школе уроки; как всегда, учителя, окончив работу, разошлись по домам; как всегда, в строго определённый час вышел Степан Артёмович из школы домой по обычному маршруту мимо моста.

Но прежде я должен поподробнее остановиться на одном человеке, самом близком, самом дорогом для меня из всех людей на свете, который жил в стороне от моих дел. Я хочу рассказать о моей дочери.

Наташке шёл шестой год. Каждое утро я просыпался оттого, что чувствовал на себе её изучающий, доверчивый, немигающий взгляд.

— Папа, а почему, когда ты спишь, у тебя лоб сердитый?

Если у меня не было по расписанию первых уроков, не нужно было торопиться в школу, Наташка залезала ко мне под одеяло. Мои неуклюжие громадные руки обнимали её узкие, хрупкие плечики. Между нами начинался разговор, состоящий из тысячи «почему».

— А почему чайка называется чайкой? Она же не пьёт чай.

— А почему «свинец» такое нехорошее слово?.. Ну, какое же оно хорошее? Мама говорит «свинья» — нехорошее слово. А свинец от свиньи получился, правда?

— А почему у нас не живут верблюды?

— А почему они горбатые?

— А почему?..

И так без конца, пока не приходило время мне собираться в школу.

Как-то я возвращался домой. Наташка играла с младшим поколением Акиндина Акиндиновича. Я прошёл мимо мелюзги, громадный, сильный, воистину величавый Гулливер среди лилипутов. Раскрасневшаяся, с блестящими глазами, Наташка вдруг без всякой причины с горделивой запальчивостью воскликнула:

— Это мой папа! Мой!!

И столько силы, столько любви было в этом слове «мой», что остальные ребяташки с недоуменным восторгом, раскрыв рты, уставились на меня как на чудо. А я, в свою

очередь, содрогнулся от счастья, что так любим, что мной без всякой причины так гордятся. И это был один из многих случаев, подобными подарками Наташка меня осыпала каждый день по несколько раз.

Временами я исподтишка пристально разглядывал её, сидящую за столом, кроме сающую кусок бумаги непослушным карандашом. У неё лёгкие, податливо рассыпающиеся от близкого дыхания волосы. Они имеют рыжеватый оттенок — оттенок моих волос. У неё крутой, чуть выдающийся вперёд лоб — мой лоб. Под скулами, в крыльях носа, в изгибе шеи — всюду я узнавал что-то своё. Моё было и в характере неумелых пальцев, в форме крошечных ногтей. Наташка мало походила на мать.

Необъяснимо! Ревниво всматриваешься, ищешь и находишь себя в другом человеке. Вот она сидит за столом, выводит каракули, старательно посапывает, помогает руке языком. Она живёт уже не твоей жизнью, она сама по себе человеческое существо — она другое, не ты и в то же время ты. Какими способами природа твоё передала другому? Это чудо больше всех чудес на свете, тайна сокровенней всех тайн, вряд ли до конца её постигнет человеческий разум.

Я вырос, вошёл в силу, начинаю уже стареть, придёт время — сойду в могилу. Я исчезну... А это *моё* в рыжеватых волосах, чуть выступающем вперёд лбу будет жить и после меня. Будет жить!..

Может быть, именно поэтому для меня совсем не безразлично, как после моей смерти станут жить люди, так как в их жизни будет и моё личное, хотя бы в виде этой подростковой Наташки. Всё, что сейчас делаю, я делаю ради неё, ради таких вот будущих людей. Ради них я каждый день вижу солнце, страдаю от неудач, радуюсь победам. Моё сегодня было бы бессмысленно без тех веков, которые принадлежат моим потомкам!

Наташка играла обычно в компании детишек Акиндина Акиндиновича. Ей было запрещено уходить далеко от дома, запрещено бегать к реке, играть в больничном садике. Больница в представлении ревнивых мамаш всегда связана с прилипчивыми болезнями, а река даже зимой опасна. Под мостом из берегов били ключи, и в этих местах река замерзала только в очень сильные морозы. Нынешняя же зима была снежной, мягкой, с частыми ростепелями.

Но, несмотря на запреты, ребята играли возле больницы, бегали на реку. И в этот день Наташка вместе со всеми ушла к мосту.

Как случилось, что она упала в полынью, никто толком рассказать не мог. Толстая Александра Скундина, дом которой стоит на самом берегу, двор упирался в обрыв, увидела её уже в воде. Александра несла мешиво поросёнку, выронила бадью и, бестолково замахав руками, закричала на всё село, зовя добрых людей на помощь, забыв в эту минуту, что она и сама могла бы помочь.

Возле моста оказался только один человек. В своей высокой меховой шапке, в негнущемся зимнем пальто шествовал Степан Артёмович.

Он быстро, не по-стариковски, сбежал вниз, подняв тяжёлые полы пальто, не задумываясь пошёл к ледяной закраине. Она подломила, и Степан Артёмович оказал-

ся в воде. К счастью, в этом месте у берега было не глубоко, но всё-таки низкорослому Степану Артёмовичу вода достигала выше колен. Он вытащил полумёртвую от испуга Наташку и, мокрую, тяжёлую, потащил на руках к ближайшему больничному зданию. Сёстры и старый фельдшер Терентий Терентьевич быстро раздели девочку, растёрли ей тело спиртом, завернули в несколько больничных одеял.

В хлопотах о Наташке все забыли о Степане Артёмовиче. А он, старик, тоже выкупавшийся чуть ли не до пояса в ледяной воде, стоял в стороне и молчал, а когда убедился, что его помощь больше не нужна, тихонько вышел и отправился домой по ощутимому морозу, в мокрых валенках, в мокрых брюках, в намокшем пальто.

Вместе с Тоней я вбежал в дом. Наташка, напичканная порошками, напоенная чаем с малиновым вареньем, спала в своей кровати, розовая и спокойная.

Мы с Тоней перебрались несколькими тревожными фразами:

— Сколько просидела в воде?

— Был ли кашель?

— Только бы не схватила воспаления лёгких...

Мы тоже не обмолвились ни единым словом о Степане Артёмовиче, как-то забыли о нём.

Утром Наташка проснулась свежей, вполне здоровой, была только притихшей, покорной, виноватой: боялась, видимо, выговора заслушание. Она не схватила даже насморка. Я не стал дожидаться врача, ушёл в школу, чтоб встретиться со Степаном Артёмовичем.

После того как опасность у Наташки миновала, я сразу же вспомнил об этом человеке. Тот, кто совершил один самоотверженный и благородный поступок, способен и на другой. Я обращаюсь к благородству Степана Артёмовича, изо всех сил постараюсь найти общий язык с ним. Почему мы должны быть врагами? Мне дороги интересы школы, ему — тоже. Мешая друг другу, мы ничего не добьёмся. Нужно поговорить с открытой душой, начистоту.

С такими мыслями я вошёл в школу и там узнал, что Степан Артёмович болен. Воспаление лёгких, от которого так удачно избавилась Наташка, свалило в постель старика.

Кроме этой новости, я узнал и другую. Приказ о моём увольнении не был подписан Степаном Артёмовичем. Тамара Константиновна, оставшаяся за директора, оказалась перед сложной задачей. Степан Артёмович перед всеми учителями заявил, что запрещает мне проводить уроки. Но кто-то должен же их проводить, кому-то нужно преподавать русский язык и литературное чтение. Замены нет. То, что мог своей властью решить Степан Артёмович, Тамаре Константиновне было не под силу. Она позвонила Коковиной, спросила, как быть. И Коковина поступила так, как и должна была

поступить. Позднее я узнал, что она раскричалась по телефону, осыпая меня самыми нелестными эпитетами, соглашаясь со Степаном Артёмовичем, что меня нельзя больше держать в школе и что, как только Степан Артёмович выздоровеет, немедленно совместно с ним будет принято окончательное решение. Короче говоря, Коковина ничего не решила.

Поэтому Тамара Константиновна, величественно глядя мне в лицо, сухо сообщила, чтобы я пока продолжал занятия. И я пошёл на уроки.

Именно в эти дни, когда Степан Артёмович лежал дома с высокой температурой, временами впадая даже в беспамятство, среди учителей началось брожение. В старом коллективе прошла трещина.

«Коллектив учителей» — при Степане Артёмовиче эти слова в стенах нашей школы произносились очень часто и с надлежащей гордостью. Никто не сомневался, что этот коллектив существует. Да и как можно сомневаться: налицо несколько десятков учителей, все они заняты одним делом, у всех одинаковая цель — обучать знаниям детей. Кажется, какие могут быть сомнения?

Но очередь к хлебной лавке, скажем, в голодном Петрограде семнадцатого года тоже, казалось бы, имела одинаковую цель, одинаковое желание, одинаковое занятие — достаться и получить положенную пайку хлеба. Но от этого всех случайно собравшихся в очередь людей нельзя ещё назвать коллективом. Каждый хотел получить *свою* пайку хлеба, *себя* накормить, *свою* семью, желания и заботы других его интересовали постольку, поскольку могут интересовать чужие и далёкие нужды.

В нашей школе любого учителя прежде всего беспокоило, как он справляется со *своим* делом, как успевают *его* ученики, как он выглядит *сам* в глазах Степана Артёмовича.

Учителя работали в одной школе, делали в общем одно дело, но действовали в одиночку, своему товарищу по работе в лучшем случае могли только сочувствовать.

Конечно, у них было больше общих интересов, конечно, они были ближе друг к другу, чем люди из очереди на Невском в те голодные годы (какое сравнение!), но коллективом, в большом значении этого слова, я бы наших учителей не назвал.

Коллективы возникают по-разному. Случайно собравшиеся к дверям хлебной лавки люди в то беспокойное время перед Октябрьской революцией становились порой грозным коллективом. Сытый булочник приоткрывал дверь и объявлял голодной толпе: «Хлеба нет!» И толпа, жившая до этой минуты только личными заботами, эгоистическими нуждами, вдруг проникалась общей ненавистью к булочнику, к тем, кто заставляет торчать целыми сутками в очереди, лишает детей куска хлеба. Люди громили булочную, крича: «Хлеба!», «Долой войну!», «Долой министров-капиталистов!», шли по городу, принимая в свои ряды таких же голодных, таких же обездоленных. Одни желания, одна ненависть, одна страсть соединяли их в одно целое.

Такие внезапные и стихийные рождения коллективов — редкость. В будничной жизни коллектив рождается постепенно.

Степан Артёмович внезапно заболел, и учителя — одни с доброжелательным любопытством стали приглядываться к нам, другие же, во главе с Тамарой Константиновной, с молчаливым и даже враждебным подозрением следили за событиями.

Теперь ни один мой урок не проходил без того, чтобы кто-нибудь из учителей не присутствовал на нём. После таких уроков в учительской собирались в кружок, сами собой начинались обсуждения.

Стали интересоваться те учителя, на кого я меньше всего рассчитывал, и возражали такие, которые, я думал, станут помощниками.

Агния Никитична Лубкова, преподавательница немецкого языка, всегда послушная воле Степана Артёмовича, ничем не выделявшаяся среди других учителей, тихая, безропотная старушка, побывала на одном из моих уроков, вышла оттуда взволнованная, долго расспрашивала, как составляются карточки, какими способами следует приучать детей беседовать друг с другом.

Я надеялся, что заинтересуется учительница химии Евдокия Алексеевна Панчук. Мне нравилась её запальчивость на уроках, её любовь к своему предмету. Я даже завидовал ей во многом.

Она оказалась в числе откровенных моих противников.

— Вы сводите к нулю значение учителя! — громогласно возмущалась она. — Учитель должен заражать своих учеников творческим запалом! У вас учителю отведена роль контролёра и надсмотрщика!

До сих пор я действовал в одиночку. Вокруг меня есть сочувствующие, но нет коллектива. Я считаю, что до поры до времени это не должно меня пугать. Прежде чем Маркс и Энгельс написали в своём Манифесте: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма!», прежде чем они в своём деле ощутили такую силу, что смогли бросить призыв: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», первые идеи коммунизма задолго до этого возникли в головах одиночек.

Мои мысли и намерения не так уж глубоки и широки, быть может, даже в чём-то ошибочны. И уж во всяком случае я не обольщаюсь тем, что созрел до вождя коллектива. Я в самом начале большого и трудного пути, я пока могу предложить только одно: «Давайте искать».

Идут в школе споры, растёт интерес к нашему делу. Единого коллектива пока нет, но исчезает и равнодушие — самый злостный враг общих интересов. Не через споры ли да разногласия создаётся обычно сплочённый коллектив?..

Самым горячим моим поклонником стал Жора Локотков. Ему было неполных двадцать четыре года. До сих пор жизнь этого паренька шла, как пассажирский поезд, по твёрдому расписанию: в нужное время прибывал на нужную станцию, нигде не застревал, не стоял в тупиках.

В семнадцать лет окончил десятилетку, без задержки поступил в институт (тот самый, который окончил и я), после института направлен в нашу школу. Он сторонник передового, он готов засучив рукава ломать старое.

И в то время как опытные учителя вроде Олега Владимировича или Ивана Поликарповича ещё приглядывались со стороны, Жора Локотков уже решил действовать. Степан Артёмович лежал в постели. Тамара Константиновна не в состоянии наложить запрет — нет никаких препятствий. Жора всем стал говорить, что не собирается больше преподавать по старинке, в самое ближайшее время начнёт действовать по новому методу.

Со стороны кажется, не трудно поставить печь: кирпич к кирпичу, вывел под, шесток, трубу — не хитрое дело, клади дрова и затапливай. Дело-то не хитрое. Но сколько нужно знать профессиональных секретов, чтоб свод не обрушился, чтоб глина не выгорала, чтоб была нормальная тяга! Малейшее упущение — и печь, внешне похожая на все печи, вместо того чтобы обогреть, начнёт чадить, напускать угар, отравлять существование.

Жора Локотков побывал у меня лишь на нескольких уроках, узнал, что ребята беседуют друг с другом, меняются местами — всё это похоже на игру, всё просто, как проста и безыскусна на вид русская печь. Жора не подозревал, что я, прежде чем приступить к новым урокам, ломал сам себя, учился свободно беседовать с классом, что каждый мой день заканчивается напряжённейшим вечером, заполненным утомительным и неблагодарным трудом, что мне приходится исписывать кучи бумаги, рассчитывать каждое слово — своё собственное и учеников, — взвешивать по десять раз любой вопрос.

Такой Жора, не мудрствуя лукаво, засучив рукава начнёт ставить печи, не зная толком, как положить кирпич на кирпич. И обязательно у него всё разрушится, его усилия вместо пользы принесут непоправимый вред. Остальные учителя, глядя на его работу, схватятся за голову: «Какое же это новаторство? Чушь! Ерунда! Прав был Степан Артёмович, который хотел запретить эту ненужную затею!»

Жора Локотков может стать страшнее Степана Артёмовича и негодующей Коковиной. Сам того не желая, он может погубить всё дело.

На стихийных обсуждениях, которые проходили в учительской, я начал говорить о том, что нельзя, не зная таблицы умножения, браться за решение алгебраических задач, что каждый учитель должен стать прежде всего изыскателем, что, пока не будут разработаны точные приёмы, новый способ обучения не может стать массовым.

Порой нас слушала Тамара Константиновна. Слушала и молчала. При встречах со мной сторонилась, на её величавом лице я улавливал смятение.

20

Редактор газеты Клешнев оказался ещё более осторожным, чем мы рассчитывали. Даже звонок секретаря райкома не помог. Клешнев не отказывался печатать статью, нет, напротив, он был за её публикацию, но тем не менее перекладывал её из номера в номер: то срочно требовалось давать подборку о работе лесозаготовителей, то нужно

осветить семинар агитаторов, то почему-то в разгаре зимы печатались статьи по закладке силоса...

Меня это не особенно волновало, но Валентина Павловна была в отчаянье:

— Ну как справиться с этим человеком? Подскажите! Он никогда не возражает, соглашается с каждым словом, но делает только по-своему. Сейчас вот новый козырь ему в руки — болезнь Степана Артёмовича. Говорит: «Неэтично критиковать больного».

— Тут даже я ему не возражу, — ответил я.

— Но пройдёт неделя-другая, и интерес к статье пропадёт. Стол Клешнева не для одной вашей статьи стал могилой.

— С моей стороны недостойно бить лежачего. Пусть Степан Артёмович встанет на ноги, ещё раз попробую найти с ним общий язык, если же не найду, тогда насяду на Клешнева. А пока оставьте его в покое.

Я приходил к Валентине Павловне в то время, когда самого Ващенко не было дома, так как при каждом посещении неизбежно бы приходилось заводить разговор о статье. Я боялся, что Ващенко мог подумать: хочу использовать доброе знакомство с ним в корыстных целях. Разумнее было бы вовсе не навещать Валентину Павловну. Всегда найдутся злые языки, которые не упустят случая разнести слухок, что-де подмазываюсь через жену к секретарю райкома. Разумнее не встречаться до поры до времени, но это было уже свыше моих сил.

Среди всяческих дел, казалось бы, в самые неподходящие минуты, я вспоминал: «Она недалеко! Она, наверно, ждёт меня; наверно, думает обо мне в эту минуту!» Свежее светлое лицо, серые с синевой глаза, порой прозрачные, без мысли, с той трогательной чистотой, какая бывает лишь у ребёнка, порой же тревожно ждущие чего-то, беспокойные, с напряжённо разлившимся зрачком. Меня всегда поражает изменчивость её лица, её глаз. Я никогда не могу заранее представить себе, какой она будет при новой встрече.

Минуты, когда среди всяких дел я вспоминал её, походили на забытье, на какую-то странную болезнь. Ни о чём другом я не мог думать, всё остальное становилось не важным — нет у меня воли, я сам не принадлежу себе. На пять минут, на десять я выключался из жизни, а потом словно просыпался, освежённый, с бодрой радостью в душе. Она здесь! Она недалеко! Стоит мне пожелать, и я встречу с нею! За дело! И я принимался за разработку нового урока, брал в руки раскрытую книгу, проверял тетради.

Как ребёнок бережёт лакомство, оттягивает наслаждение, так и я ревниво берёг в себе желание встретиться с нею, оттягивал сроки. Одна уверенность, что рано или поздно её увижу, доставляла мне покойное удовлетворение. Но приходил наконец день, когда терпеливое ожидание кончалось. Я начинал сомневаться: а ждёт ли, а помнит ли, не изменила ли ко мне отношения?.. И меня охватывала лихорадка: скорей, скорей, надо узнать, как живёт, что делает, что думает!..

И я шёл к ней, убеждался, что она действительно ждала меня эти несколько дней. И сегодня синее платье, подчёркивающее стройность крепкой, маленькой, с лёгкой полнотой фигуры, надето ею не случайно.

Но как ни странно, а наши встречи стали какими-то тягостными для нас обоих. Мы говорили всё об одном и том же: о моей статье, о больном Степане Артёмовиче, о характере Клешнева. Говорили по обязанности, мучились от скованности, боязливо обходили самое важное, самое волнующее нас обоих — наши отношения.

Уходил я от неё с ощущением какого-то смутного преступления. Зачем я хожу к ней? Ведь нет же в этом прямой необходимости. Нам запрещено любить друг друга. У неё — муж, у меня — жена и ребёнок, не могу их бросить. Странно, я никогда не осмеливался (именно не осмеливался!) думать о Валентине Павловне как о женщине. С моей стороны какая-то нелепая мальчишеская страсть, и это в тридцать с лишним лет, у семьянина. Трезво рассудить — лучше не встречаться. Я думал, что стоит мне удержаться, не приходить месяц-другой, и мы снова сможем видеться просто как добрые знакомые. Так я думал — и терзался.

К Тоне после этих встреч я испытывал сложное чувство: затаённую неприязнь и вину перед нею.

Я давал себе слово не ходить, но на следующий день вспоминал: она здесь, она недалеко, она существует! И в конце концов шёл, обманывал самого себя, что иду лишь к товарищу, что мне незачем стыдиться этих встреч, никто не может упрекнуть меня, как никто не упрекает Василия Тихоновича за то, что тот приходит ко мне, когда ему захочется.

Я пришёл к ней в очередной раз. Валентина Павловна ждала меня. Она встретила у дверей, провела к столу, уселась напротив. На ней было новое платье, гладко облегающее, с вырезом у шеи. Я сначала не обратил на это платье внимания, только отметил про себя обычное обновление: она не похожа на прежнюю, она опять нова и непривычна для меня. Но едва я уселся напротив, стал украдкой вглядываться в Валентину Павловну, в её простое платье, как сразу же увидел то, чего никогда не замечал прежде, — женский вкус, женское желание нравиться. Обнажённая белая шея, обнажённые руки — всё остальное наглухо скрыто тёплой, кофейного цвета материей; она подчёркивает каждый изгиб, каждую линию, застенчиво и в то же время настойчиво напоминает о том, что под этой тканью спрятано крепкое, здоровое, согретое живой кровью женское тело.

Валентина Павловна сообщила мне новость, которая в другое время заставила бы меня восторгнуться, подняла бы целый водоворот мыслей в голове. Она говорила:

— Андрей Васильевич, я вчера разругалась с Клешневым. Я сказала всё, что о нём думаю. Я не вернусь больше на работу. Опять — в который раз! — карьера моя кончилась...

Она с тревожным вниманием глядела мне в лицо, а я молчал, я едва слушал, оглушённый своим открытием: белая шея, под самым горлом ямка, разделяющая ключицы, матово-белый кусочек кожи в вырезе...

Она вдруг почувствовала мой взгляд, залилась краской, отвернулась, сказала с досадой:

— Вы не слушаете меня.

И я, кажется, тоже покраснел, глухо произнёс:

— Слушаю... Продолжайте... Как же всё это получилось?..

— В редакцию приезжала Коковина, требовала у Клешнева показать вашу статью...

— Вот как! Пронюхала.

— Разумеется, возмущалась вами, но, что любопытно, при этом оговаривалась: она-де давно разглядела в вас, Андрей Васильевич, талантливого педагога...

— Что-то новое. Не слыхал от неё таких комплиментов.

— Ей лишь не нравятся ваша строптивость, излишняя самоуверенность и прочее в этом духе. Клешнев соглашался, по статью не показал, заявил, что до публикации любой материал — редакционная тайна.

— Бойтся, что я подыму звон в райкоме...

— Вас бойтся или меня — не знаю. Это не так уж интересно. Коковина ушла, а у нас с Клешневым начался обычный разговор. Я помнила вашу просьбу не наседать на него, но не исполнила её. Таким Клешневым следует ежеминутно надоедать. Я стала наседать, почему он не даёт ходу вашей статье. Слово за слово, и он обронил...

Валентина Павловна до слёз покраснела, нахмурилась, стукнула своим маленьким кулаком по столу:

— Какая пакость!.. Что скрывать, он недвусмысленно намекнул, что я стараюсь из особого к вам расположения, дурно пользуюсь добросердечием мужа... Фу, как грязно!.. Хуже пощёчины.

Я не осмеливался глядеть на Валентину Павловну, долго молчал, наконец решился сказать:

— Я не должен ходить к вам...

— Почему? — выкрикнула она. — Жить так, как требуют Клешневы?

— За такие намёки в старое время вызывали на дуэль. Теперь я не могу даже пойти к Клешневу и тряхнуть его за шиворот. И вы и я безоружны перед ним.

— Ну нет, думаю, он почувствовал, безоружна ли я перед ним. Через десять минут после своих слов он выскочил как ошпаренный. Но это ещё не всё...

— Кажется бы, достаточно и этого...

— Клешнев, должно быть, испугался, что я передам всё мужу, и решил первым донести.

— Как! Он посмел сказать это Петру Петровичу!..

— Нет, он просто жаловался, что я его извожу, что не подчиняюсь, что ему со мной трудно работать... Пётр мне позвонил, я рассказала. Он по своей милой привычке ответил: «Не обращай внимания». Как я могу не обращать внимания? Как мне работать бок о бок с ним?.. Я дождалась Клешнева, сказала то, что раньше не успела досказать, и заявила, что с этой минуты работать вместе с ним не буду. Поглядели бы вы на его физиономию: и радость, что я ухожу, и страх, что припомню обиду, и постное оскорбление за то, что его обозвала бездарью, сухарём, никчёмностью, даже не ожидала, что

такой выразительной может быть его суконная рожа. Вот... Ушла... Вы опять меня в душе должны презирать.

Она подалась ко мне через стол. Презираю ли я её? Обнажённая шея, обнажённые руки, вызывающе-дерзкое выражение на лице, глаза блестят — я отвернулся. Где уж презирать — поздно! Соверши она теперь заведомую подлость, я б и тогда прощал её и оправдывал.

Что же будет дальше?.. Пока не прочна та нить, что нас связывает, надо рвать её. Потом что ни день, то трудней это сделать. Я не мальчик, я могу себе представить, какой катастрофой может кончиться наше сближение. Катастрофой не только для меня и для неё, но и для тех, кто живёт вместе с нами... Порвать?.. Я у неё единственный товарищ, если не считать мужа. Сейчас у неё снова пустота впереди, сейчас, больше чем когда-либо, ей будет нужна поддержка со стороны. Порвать?.. Ведь этим я оберегаю свой покой, облегчаю своё существование. Своё, а не её! Не пахнет ли это предательством, не называется ли это: бросить в беде?

Сжать душу, мёртвыми узлами связать самого себя, свои чувства, свои желания, но не рвать, встречаться, как встречался. Другого выхода нет.

Я расстался с Валентиной Павловной в полном смятении. Я не верил в себя, не верил, что могу предотвратить катастрофу.

Слух о моей статье просочился сквозь стены редакции задолго до этого разговора. В селе Загарье не бывает секретов. Но то, что сама Коковина была в редакции, то, что Валентина Павловна ушла из газеты, разругавшись с Клешневым из-за моей статьи, — всё это вызвало многочисленные слухи. Какими бы они там ни были, но из-за них ненапечатанная, мирно покоящаяся в столе Клешнева статья приобрела ощутимую силу.

Статья! Против Степана Артёмовича, против Коковиной! Статья, вокруг которой разгораются страсти! Ничто не поражает так воображение, как смутные слухи, несущие полураскрытую тайну. За спиной Бирюкова не просто поддержка учителя физики Василия Тихоновича Горбылева, не только признание старейшего в районе педагога Ивана Поликарповича Ведерникова, за его спиной ещё и статья в газете! Таинственная, неведомая статья! Что-то в ней говорится? Как она обрушивается на авторитеты? Есть сведения, что за эту статью стоит горой сам Ващенко. Почему?.. Это тоже небезынтересно... Это тоже стоит обсосать... Но так или иначе, Ващенко на стороне Бирюкова. Ай да Бирюков! Уж не закатывается ли солнышко Степана Артёмовича! Уж не придётся ли уступить старику?..

21

А Степан Артёмович продолжал лежать у себя дома под наблюдением врача. К нему не пускали. Он был единственным человеком из школы, который был в стороне от событий. И то, что всё происходило за его спиной, мучило меня. Было бы легче, если б он по-прежнему оставался моим противником.

Тоня, как и большинство учителей, слепо поклонялась Степану Артёмовичу. Но после того как он спас её дочь, спас, а сам слёг в постель, благодарность и уважение Тони к нему переросли все пределы.

— Какой человек! Все говорят, что строг. Да разве можно без строгости! Он строг, когда нужно, а так добрый. Ты вот всё противилась ему, пользуешься болезнью. Тебе не стыдно? — повторяла она мне.

Я отмалчивался и ждал часа, когда можно будет встретиться с больным директором, разрешить начистоту все сомнения.

И вот нам сообщили, что Степану Артёмовичу легче, что его можно навещать.

Мы нарядились, словно шли не к больному, а на званые именины. Я надел свой лучший костюм. Тоня, как в добрые времена нашей молодости, долго вертелась перед зеркалом, поправляла кружевной воротничок на платье.

Молчаливые, торжественные, смущённые, преисполненные благодарности, мы переступили порог дома Степана Артёмовича.

Наш директор жил в маленьком домике, на железную крышу которого клали свои ветви старые липы. Не только я и Тоня, но и остальные учителя редко когда заглядывали за его стены — хозяин не отличался чрезмерной общительностью.

Просторная комната с яркими половичками на крашеном полу, цветы в потемневших кадучках, этажерки с книгами; на одной из этажерок гипсовый бюст Льва Толстого; на видном месте висит скрипка, которую, верно, много лет не снимали с гвоздя, — всё говорило о покойной, чистой, скромной жизни старого сельского интеллигента.

Степан Артёмович лежал в постели возле маленького столика, заставленного аптечными пузырьками, заваленного журналами. На белоснежно-чистой подушке его лицо казалось сейчас лимонно-жёлтым, морщины на нём утратили жёсткость и грубость, а большие уши, тонкая шея, голубовато-серые глаза вызвали впечатление чего-то детского, беспомощного. Так и хотелось погладить рукой по жёстким седым волосам.

Жёлтой, сморщенной рукой он указал нам на стулья, побряхтел:

— Садитесь... Вспомнили?.. Спасибо.

— Вам спасибо, Степан Артёмович, — проникновенно поблагодарила Тоня.

Она присела на краешек стула, в своём нарядном платье, рослая, зардевшаяся от смущения, налитая здоровьем, так не подходящая к скучной обстановке, окружавшей старого и больного человека.

— Вам спасибо. Дочь спасли — шутка сказать! Отблагодарить вас не в силах. — Тоня в чинно положенных на колени руках смущённо комкала чистый платочек.

— Бросьте, бросьте! — с напускной суровостью махнул на неё Степан Артёмович. — Лучше расскажите, что делается на белом свете. — Он перевёл взгляд на меня. — Что новенького, Андрей Васильевич?

Тоня выразительно покосилась на меня. А я в эту минуту пытался разгадать: насколько осведомлён Степан Артёмович о тех делах, которые идут сейчас в школе? Вряд ли его держали в полном неведении.

— Так что новенького? — настойчиво повторил Степан Артёмович.

Он глядел на меня утомлённым взглядом, но под этим утомлением, как угли под пеплом, чувствовалось, тлея подозрительность.

— Нового много, — ответил я как можно спокойнее.

— Вы продолжаете работать?

— Да. Вопрос о моём увольнении будет решаться после вашего выздоровления.

— А вы собираетесь одуматься или по-прежнему упорствуете и будете упорствовать?

— Должен сознаться перед вами, Степан Артёмович, что я продолжаю свою работу по-прежнему и...

— И?..

— И не смогу не продолжать...

— Так... — произнёс Степан Артёмович ледяным голосом. — Что ж, это тоже входит в вашу благодарность? — В его глазах исчезла усталость, взгляд стал острым.

— Что бы ни случилось между нами, Степан Артёмович, а моя благодарность к вам останется прежней.

— Так... Кончимте словесные расшаркивания в благодарности — ни к чему. Поговорим о деле. Собираетесь или нет гнуть свою линию? Вот что мне интересно знать.

Давно я ждал этого разговора, давно к нему готовился, по ночам, прежде чем уснуть, перебирал в уме горячие фразы, веские доказательства. В те минуты я верил, что буду говорить со страстью, заставлю поверить Степана Артёмовича в своё дело.

И я заговорил. Но Степан Артёмович глядел на меня с холодной подозрительностью, он замораживал меня. Горячие слова выскочили из головы, вместо них приходили фразы, сухие и бесцветные, как плотно сжатые губы лежащего передо мной больного старика.

— ...Наша школа может стать передовой по области. Она послужит примером для остальных...

Я говорил, а Тоня, сидящая бок о бок со мной, не поворачивая головы, косила круглым глазом, руки её ожесточённо терзали на коленях платочек. Она кипела от возмущения, ей было стыдно за меня, и только уважение к больному да законы приличия заставляли сдерживаться от слёз и упрёков.

Я кончал. Степан Артёмович, глядевший мне всё время в лицо, устало прикрыл глаза. За окном бесшумно падал крупный снег; его мягкий, нескончаемый полёт подчёркивал тишину. Степан Артёмович, откинувшись на подушки, лежал с жёлтым лицом. Тоня нерешительно скрипнула стулом, замерла. Я сидел выпрямившись, в неудобной позе, ждал с замиранием сердца, когда Степан Артёмович нарушит молчание.

Он пошевелился, с усилием привстал на локте, ворот его рубахи распахнулся, открыв тонкую, туго выпирающую под сухой кожей ключицу. В его глазах было страдание, настоящее страдание слабого и незащитного существа, которому приходится вы-

носить незаслуженное оскорбление. И я в душе содрогнулся под этим взглядом всегда волевого, сильного, не терпящего возражений человека.

— Ясно... Подлость, молодой человек! — произнёс он. — Да, да, другого названия не нахожу. Воспользоваться моей болезнью... При каких обстоятельствах воспользоваться!

— Степан Артёмович!..

— Молчите! — срывающимся, тонким с хрипотцой голосом выкрикнул он. — Вы можете считать меня рутинёром, можете сколько угодно презирать меня за косность, но уважайте во мне человека, не пользуйтесь случаем, что я незащищён, что не могу вам ответить.

— Степан Артёмович!..

— Молчите!! Я всю жизнь отдал школе. Всю жизнь!.. А вы... Вы своим отношением плюёте на мою жизнь, на мой опыт. Мало того, плюёте свысока, самым бесстыдным образом... Молчите! Какой нужно обладать наглостью, чтоб появиться вот так и объявить: вы теперь ничто, пустое место, вам выгоднее слушаться меня.

— Степан Артёмович, как вы можете?!

— Как ты можешь! Ты! — неожиданно взвизгнула Тоня, вскочила на ноги, повернулась ко мне, в округлившись по-кошачьи глазах блестели злые слёзы. — Где твоя совесть?! Как не стыдно!..

Она снова упала на стул, уткнулась лицом в истерзанный платочек и затряслась от рыданий.

На шум к постели больного прибежала жена Степана Артёмовича Анастасия Николаевна, полная, чистенькая старушка с робким выражением на добром лице. Она, вытирая руки о кухонный фартук, пряча от смущения глаза, испуганно, суетливо и виновато принялась повторять:

— Прошу... Прошу вас. Он же болен... Очень прошу... Уходите...

Я, растерянный и оглушённый, поднялся со своего места.

— Простите, Степан Артёмович... Я никак не хотел...

— А что ты хотел? — дрожащим от негодования голосом снова набросилась на меня Тоня. — Подлость совершил и думаешь — все будут радоваться! Ради твоей же дочери Степан Артёмович здоровья лишился. А ты...

— Прошу же... Очень прошу... Ах, господи!

— Андрей Васильевич, ваша жена не в пример вам более благородный человек.

— Лежи, Стёпа, лежи, не волнуйся... Очень вас прошу... Он же болен, ему нельзя волноваться.

Старушка с мягкой настойчивостью стала подталкивать меня к двери:

— Очень прошу... Очень...

Дорогой Тоня прятала своё заплаканное лицо от встречающих, молчала.

Только что над селом прошёл снегопад. Каких-нибудь десять минут тому назад густо летели мягкие, пышные хлопья, воздух был сумрачен, небо угрюмо. Тогда казалось,

что близок вечер, день кончается, впереди ночь. Но вот небо очистилось, и день вернулся. Подновлённые свежим снегом крыши, сугробы, дороги казались белей прежнего. Снег лежал на ветвях деревьев, на проводах. Каждый дом утопал в пышных кружевах. Летали воробьи над дорогой, молодой пёс носился по улице, дурашливо хватал ртом снег; за ним с визгом бегали ребятишки. Все радовались возвращению дня. А я угрюмо глядел на сияющий белизной мир.

И я надеялся, что договорюсь со Степаном Артёмовичем. Согласиться ему со мной — значит отойти бесславно в сторону. Сегодняшний разговор не мог быть иным.

Дома Тоня дала волю гневу: как я мог оказаться таким неблагодарным, как я могу оскорблять Степана Артёмовича! Степан Артёмович — святой человек!..

— Нашу дочь спас от смерти! Понимаешь или нет — твою дочь! Надо же быть таким безмозглым идиотом, таким толстокожим, чтоб не понимать этого! А ещё считаешь себя порядочным человеком! Что теперь о нас подумает? Что будут говорить люди? Да что там люди! Своя собственная совесть покоя не даст!

Наташка забилась в угол, следила за нами испуганно мерцающими в полутьме глазами. Тоня стояла посреди комнаты, высокая, гибкая, сильная, лицо перекошено, в округлившихся глазах ненависть.

«Совесть покоя не даст!..» Покоя... Она больше всего на свете бережёт свой покой. Не дай бог, если проснётся совесть и начнёт тревожить — неприятность.

— Мы, видите ли, ищем великие идеи! Мы не желаем жить, как все живут. Мы умнее остальных! Да кому нужны твои идеи! Таким, как ты, как этот физик, умникам. Всем остальным плевать на них. И я плюю на ваши идеи! Плюю! Всегда буду на стороне Степана Артёмовича. Всегда!..

Я вышел из дому, громко хлопнув дверью.

22

Утром, едва я перешагнул порог школы, как почувствовал: что-то изменилось. Тётя Паня, наша гардеробщица, принимая пальто, взглянула на меня как-то значительно. В дверях учительской я столкнулся с Акиндином Акиндиновичем. Он смутился и с поспешностью уступил мне дорогу. Иван Поликарпович при моём появлении не ограничился обычным дружеским кивком, а, кряхтя, поднялся со своего кресла, подчёркнуто поздоровался за руку.

Выскочившая из директорского кабинета Тамара Константиновна, заметив меня, вздёрнула надменно своё белое лицо и взглянула так, как давно уже не глядела: не в глаза, а в брови. И я понял. Когда Василий Тихонович с озабоченным выражением подошёл ко мне, кивнул на дверь директорского кабинета: «Он там...» — я коротко ответил: «Знаю».

Через несколько минут я увидел его. В пальто, с шапкой в руках, седой ёжик волос торчит над меховым воротником, он вышел из своего кабинета, прошёл молча по учительской и исчез в дверях.

В конце рабочего дня на стене учительской, там, где вывешивались сообщения об изменении в расписании, приказы по школе, появилось объявление:

«Сегодня в восемь часов вечера в роно, в помещении методического кабинета, состоится совещание. Явка всех преподавателей обязательна».

В методическом кабинете, не особенно просторной комнате с побеленными стенами, заставленными стеллажами, было тесно и душно. Я оказался прижатым к окну, от которого веяло зимней стужей.

Степан Артёмович сидел за столом, рядом с Коковиной. Он утонул в своём распахнутом на груди громоздком пальто. Лицо его было бледно, глаза устало прикрыты веками; свет от электрической лампочки, висевшей над его головой, резко подчёркивал глазные впадины и провалившиеся щёки.

Всё, что он сейчас говорил, не ново. В общем, он повторял своё выступление на педсовете. Но интонации его голоса — тихого, усталого, с затаённым страданием, с искренней, неподдельной болью — новы. Чувствовалось, каждое слово идёт от сердца.

— В нашей школе, товарищи, произошёл раскол. Одни учителя желают жить прежней, нормальной жизнью, работать, как работали до сих пор. Другие — их меньшинство — во главе с Бирюковым предлагают установить новые порядки, новые, нигде не испробованные, никем не проверенные приёмы обучения. Охотно поверю, что в этом есть что-то интересное. Я не могу отмахнуться от того факта, что такой опытный, уважаемый всеми педагог, старейший член нашего коллектива — Иван Поликарпович Ведерников заинтересовался работами Бирюкова. Я бы сам с удовольствием глядел со стороны на деятельность Бирюкова, любопытствовал, что получится... Со стороны, товарищи! Но для меня, как директора, не может быть взгляда со стороны. Я должен или подхватить идеи Бирюкова, на свой страх и риск проводить их в жизнь, или играть нечистую игру: похваливать, делать благодущную мину, а втихомолку осаждать порывы. Первое я не могу принять потому, что при всём уважении к новому я боюсь прожектёрства. Верю только проверенному делу, не имею права допускать ошибок, так как любая ошибка в школе может покалечить десятки, если не сотни, человеческих судеб. Я не могу взять на себя смелость ошибаться. Моя совесть не разрешает вести и двуличную игру с Бирюковым. Потому я открыто выступаю против. Я высказал свои сомнения Бирюкову лично, предупредил его на педсовете — ничто не помогло! Тогда я поставил вопрос перед своей совестью: могу ли принять крайние меры? Кто больше имеет прав оставаться в школе, я или Бирюков? Я рассудил, что должен остаться я, как старший, как более опытный. Я запретил Бирюкову идти на урок. Своеволие? Превышение прав директора? Судите как хотите. Если б Бирюков раскаялся, дал слово, что не будет мешать нормальной работе, я охотно пошёл бы ему навстречу. Но он не подумал раскаиваться, он воспользовался моей болезнью. Судите меня. Но как бы вы ни судили, от вопроса «я или Бирюков» уже никто отмахнуться не сможет. Осудите меня — уйду из школы. Признаете меня правым — нога Бирюкова не ступит ни в один из наших классов...

Опущенные веки, измождённое болезнью лицо, слабый, с душевными интонациями голос, который, казалось, вот-вот перейдёт на шёпот, угаснет совсем. Каждый из сидевших боялся пропустить хоть слово; глухая, подвальная тишина висела в комнате: ни скрипа, ни шороха, ни лёгкого вздоха. Я видел впереди себя неподвижные затылки, видел нездоровое, с провалившимися щеками лицо Степана Артёмовича. Его слабый, искренний голос подкупал и меня. Я не испытывал ни возмущения, ни гнева. Мне было жаль этого человека. Если б сейчас стоял вопрос о каких-то личных интересах, я, не задумываясь, встал бы и сказал: «Сдаюсь, уступаю, считайте себя победителем».

Но дело не в личном. Я не имею права быть жалостливым. Этим бы я предал своих учеников. Да только ли их?..

Не могу с ним согласиться, не могу пойти на уступки, не могу потому, что стану считать себя предателем перед своим собственным будущим, перед будущим тех, кто сидит рядом со мной, перед будущим своих учеников, своей дочери!

Жалость к Степану Артёмовичу, какую испытываю сейчас я, испытывают и другие. Рядом со мной сидит Жора Локотков: волосы взъерошены, плечи опущены, тонкая шея вытянута, на мальчишеском лице со вздёрнутым носом, как в зеркале, отражаются боль и страдания Степана Артёмовича. Сейчас его сочувствие на стороне директора. А что ж тогда переживают другие, те, кто относится ко мне настороженно? Скорей всего не Степана Артёмовича, а меня оттолкнул в сторону.

Степан Артёмович умолк, отвалился на спинку стула. Коковина с бесстрастным лицом, с прямой посадкой, занимающая своё председательское место, предоставила слово заведующей методическим кабинетом. Пожилая, рыхлая, с вяловатыми движениями, вечно озабоченная Полина Фёдоровна Решетова много лет раскладывала по полочкам различные приёмы преподавания, собирала литературу, выдавала на руки брошюры. Сейчас она, склонив набок голову, с жалостливым упрёком бабушки, жelaющей добра непутёвому внуку, заговорила:

— Андрей Васильевич, дорогой товарищ Бирюков, мне хотелось бы сказать о вашей самонадеянности. Вы мечтаете о перевороте, пытаетесь низвергнуть старое. Но есть ли у вас на то основания? Достаточно ли опыта? Хорошо ли вы знаете все сокровища, накопленные в течение веков педагогической наукой? Нет, не знания движут вами, а излишняя самонадеянность, которая толкает вас не только на прямую бестактность, но даже на подлость. Да, да, оглянитесь на самого себя! Степан Артёмович спасает вашу дочь, жертвует здоровьем, надолго ложится в постель, а вы тем временем пишете на него какую-то статью в газету, подбиваете против него учителей. Оглянитесь! Я верю, что ещё можете оглянуться, верю, вы не до конца потеряли совесть. Не становитесь на путь подлости, Андрей Васильевич! Вы ещё молоды...

Излив душу в родительских наставлениях, Полина Фёдоровна уселась на своё место.

Возле меня взвился Жора Локотков:

— Разрешите!

Коковина разрешила.

Задевая сидящих, он торопливо прошёл к столу, повернулся, взъерошенный, с изумлённо наморщенным лбом, не знающий, куда спрятать руки.

— Товарищи! — Жора заложил руки за спину, вновь освободил их. — Товарищи! До этого вечера я был сторонником Андрея Васильевича Бирюкова. Я верил в него, как... Ну, как в гения... Андрей Васильевич! — Он приподнялся на цыпочки, через головы попытался взглянуть на меня. — Не подумайте обо мне плохо. Я не предатель. Но моя совесть подсказывает: мне не по пути с вами. И каждому честному педагогу — я понимаю теперь это — не по пути. У меня сердце кровью обливалось, когда слушал Степана Артёмовича. Больной человек, спасший вашу дочь, вам же вынужден доказывать свою правоту. Какое бы ни было ваше дело, но оно не проверено, оно сомнительно. Как же внедрять сомнительное? Я прежде об этом почему-то не думал. В стране у нас есть исследовательские институты, есть особые опытные школы. Пусть они ищут. А наша обязанность учить...

Жора разгорячился, стал размахивать руками. У Василия Тихоновича, сидевшего рядом с Иваном Поликарповичем, раздувались ноздри, проступал хрящ на носу. А я не удивлялся и не обижался на Жору. Бессмысленно негодовать, как бессмысленно озлобляться на корову, истоптавшую цветы в палисаднике: не ведает, что творит, чего уж...

Чёрная, в жёстких прямых волосах голова Василия Тихоновича прислонилась к седой шевелюре Ивана Поликарповича. Василий Тихонович что-то горячо доказывал. Иван Поликарпович с серьёзной озабоченностью кивал в ответ, и когда Жора Локотков, снова слепо натываясь на стулья, задев за плечи сидящих, прошёл в глубь комнаты, к дверям, подальше от меня, поднялась жилистая, со вздувшимися суставами рука старого учителя:

— Можно мне?

Он встал, длинный, сухой, в мешковатом выгоревшем пиджаке, на тёмном сморщенном лице выделяются белые усы.

— Упрекаете, а за что?.. Вы, Полина Фёдоровна, упрекаете Бирюкова за бессовестность, приписываете ему даже подлость. А я не могу осудить Бирюкова! Я бы точно так же поступил на его месте. Человек со всеми потрохами отдал себя делу. Степан Артёмович собирается поставить на этом деле крест и делает, как вы все знаете, по-своему энергично. Он даже не останавливается перед тем, чтобы показать Бирюкову: «Вот бог, вот порог, простись, милый, со школой». Должен Бирюков защищать своё дело? Должен! Честь ему и слава, что он неуступчив. Вам, Полина Фёдоровна, кажется, что он, отстаивая свои идеи, пользуется недозволенными приёмами. Так нет этих недозволенных! То, что сделал Степан Артёмович, обязан был сделать каждый из нас. Никто не сомневается, что Степан Артёмович не мог поступить как-то иначе, точно так же не мог иначе поступить и Бирюков. Уважаемая Полина Фёдоровна, разрешите сообщить вам маленькую подробность, которую я сейчас только что услышал от Василия Тихоновича Горбылева. Статья Бирюкова написана и сдана в газету за несколько часов до того,

как Бирюков узнал о спасении дочери. В тот момент он просто не мог рассчитывать на болезнь Степана Артёмовича. И, что знаменательно, статья до сих пор не появилась в газете. Бирюков не проявил активности, он ждал выздоровления Степана Артёмовича, чтобы ещё раз поговорить с ним, убедить его. Затормозить же работу до выздоровления Степана Артёмовича, который грозил выкинуть из школы, значит отказаться от дела, утопить его в угоду приличию. Слишком большая цена такому рыцарству... Наш юный коллега Егор Филиппович Локотков только что заявил: наше дело учить, а не заниматься поисками, пусть-де ищут другие. Ждать, чтобы кто-то для вас нашёл новое, преподнёс его на тарелочке — кушай, дружок, не подавись, будь примерным новатором. И так думать в ваши годы! Представляю, каким новатором вы со временем станете... Бирюков, быть может, и для меня угроза. Мне в свои без малого семьдесят лет переучиваться-то поздновато. Но что бы ни случилось, а я не лягу бревном на дороге у этого парня. Обскачут нас с тобой, Степан, молодые, пойдём на пенсию, будем в тишине и покое капустку на огороде выращивать. Такова жизнь...

— О чём разговор, — своим слабым, спокойным голосом возразил Степан Артёмович, — если придут здесь к выводу, что я способен сажать только капусту, а не руководить школой, покорно соглашусь, ни упрёка, ни жалобы не услышат.

— Эх-хе-хе, смирение паче гордости! — вздохнул Иван Поликарпович, опускаясь на своё место.

Коковина, восседающая рядом со Степаном Артёмовичем, заявила:

— Время позднее. Всех нас завтра с утра ждёт работа. Будем закругляться. Хотелось бы услышать Бирюкова. Я бы попросила вас, Андрей Васильевич, выйти к столу...

Поведение Коковиной показалось мне несколько неожиданным. Я несколько не сомневался, что Коковина всей душой на стороне Степана Артёмовича. Она его защищала в прошлый раз, она знает, что я в своей статье бью не только по Степану Артёмовичу, но и по ней самой, — не может она встать на мою сторону, исключено! Тогда почему она предлагает оборвать обсуждение как раз в тот момент, когда высказались в мою защиту, когда разбиты те, кто напал на меня? Почему она не пытается выпустить ещё одного, двух, пять ораторов, которые бы возразили Ивану Поликарповичу, поддержали Степана Артёмовича, вместе с тем поддержали бы её, Коковину? Кто-кто, а Коковина опытный лоцман, знает, в какое время и куда повернуть руль...

Но мне предоставлено слово, размышлять некогда, я вышел к столу.

— Здесь идёт спор не о том, прав я или не прав. Просто не нравится тот факт, что я пытаюсь что-то искать. Зачем искать, когда и так у нас всё хорошо, зачем идти вперёд, когда можно стоять на месте? Вот позиция Степана Артёмовича. Он не опровергает меня, он заявляет: «Бирюков мне мешает, увольте его». Увольте без доказательств, без опровержений, примените высшую меру педагогического наказания — отстраните от преподавания. Все это, товарищи, смахивает на суд Линча! Я требую доказательств! И вы не имеете права отказывать мне в этом! Вот моё слово.

Я направился от стола.

— Ещё раз прошу слова! Разрешите! — взметнулась отчаянно рука Жоры Локоткова.

— Да ведь вы уже высказывались, — возмутилась Коковина.

— Но я должен признаться...

Однако Коковина не удостоила его ответом, озабоченно взглянула на часы, энергично вдавила в пепельницу очередной окурков, поднялась:

— Разрешите мне, так сказать, обобщить итоги обсуждения.

Она направила поверх голов непроницаемо бесстрастный взгляд, начала с внушительной размеренностью:

— И до меня здесь говорили и о личности Бирюкова, и о его деле, но как-то недостаточно чётко проводили границу между этими двумя различными темами нашего обсуждения. Попробуем разделить, попробуем разобраться. Итак, я начну с обрисовки Бирюкова как личности. Вы, товарищ Бирюков, нетактичны в высшей степени! Вы дерзки, вы несдержанны! Вы нескромны, заносчивы! Вы самовлюблённы до предела, мните себя чуть ли не новым пророком в педагогике! Вы преисполнены самого грубого неуважения ко всяческим авторитетам! И все эти ваши недостатки переносил Степан Артёмович. Да, да! Поглядите, как он выглядит. Поглядите, как сдал этот человек за последнее время. Чьих рук это дело? Что заставило слечь в постель этого энергичного человека? Только ли несчастная случайность, где Степан Артёмович проявил себя героем? Кто подточил этот стальной характер?.. Бирюков! Я вижу, вы морщитесь! Вам не нравятся мои слова. Вы любите критиковать и, ох, как критиковать! Мы все терпим вашу критику. Разве я не знаю, что вы в частных разговорах не очень-то лестно отзывались обо мне? Разве я не догадываюсь, какие выпады находят-ся в той статье, что лежит в редакции нашей газеты? Лежит! Но кто знает, не сегодня-завтра она выйдет в свет, и мы познакомимся... Что мы — весь район познакомится с вашей милой манерой обрушиваться на людей. Но мы терпим, мы молчим. Да, да, мы молчим! Лично я ни единым словом не упрекала и не упрекну вас за критику, пусть несправедливую, пусть нетактичную, пусть высказанную с чрезмерной заносчивостью. Я вытерплю, я смолчу... Так снесите же и вы со всем достойным вас мужеством нашу принципиальную критику! Вот, товарищи, вам фигура Бирюкова во всей, так сказать наготе. Фигура, достойная всяческого порицания. Но, товарищи!.. Должны ли мы из этого сделать вывод, что дело, которым занимается Бирюков, не стоит внимания? Должны ли мы крест-накрест перечёркивать его стремление внедрить новое, изведать неизведанное? Никоим образом! Товарищ Бирюков, быть может, в чём-то и не прав, в чём-то ошибается. Значит, мы должны поправить его, уяснить ошибки вместе с ним. Да, да, вместе с ним засучив рукава мы должны трепетно холить те ростки, из которых, кто знает, быть может, вырастет в будущем новая педагогическая система. Мы все сочувствуем Степану Артёмовичу, глубочайшим образом уважаем его, понимаем, что ему нелегко расставаться со своими старыми понятиями, но из этого не следует делать вывод, что Степан Артёмович во всём прав, что он ни в чём не

ошибается. Вы знаете моё безграничное почтение к вам, к вашему опыту, Степан Артёмович, к вашему трезвому взгляду на жизнь, к вашей решительности. Но давайте здесь, дорогой Степан Артёмович, при всех, как честные люди, положи руку на сердце, взглянем правде в глаза. Вместо того чтобы принять из молодых, неопытных рук нужное дело в свои руки, в руки старого педагога, вы отворачиваетесь. Не ошибочно ли это поведение?.. Что за категорическая постановка вопроса: или я, или он? Мы уважаем ваши заслуги, Степан Артёмович, уважаем вашу преданность своей школе, мы ценим тот факт, что школа поднята вами на достойную высоту, но тем не менее мы обязаны остановить всякого, кто тормозит движение вперёд!

Коковина негодуяще гремела, а её слушатели недоуменно замерли. Крутой поворот её речи был неожиданностью не только для меня.

Степан Артёмович, сидевший рядом с ней за столом, побледнел ещё сильнее, ещё резче выступили морщины на его квадратном лице, глаза, болезненно блестящие, бегали, сопровождая энергичные взмахи рук Коковиной.

Кто-то горячо дышал мне в затылок.

А Коковина ничего не замечала, она оседлала своего конька, говорила громким ораторским голосом, словно стояла перед многолюдной толпой, а не перед тремя-четырьмя десятками людей в тесной комнате.

«Остановить! Не позволить!» — ежесекундно отдавалось в тёмных оконных стёклах. Теперь эти слова падали не на мою голову, а на голову Степана Артёмовича.

— Перед нами выступал наш старейший и заслуженный педагог Иван Поликарпович Ведерников. Он признал деятельность Андрея Васильевича, высоко её оценил. Он признал, он оценил, а что вам, дорогой Степан Артёмович, застилает глаза? Что мешает вам видеть новое?..

И тут во время секундной паузы, пока Коковина набирала воздух, чтоб выдать новый заряд, Степан Артёмович, бледный, с плотно сжатыми губами, поднялся с места.

Коковина грозно повернулась к нему.

— Вы!.. Вы ничтожество! — срывающимся голосом бросил он и засуетился, слепо нашарил шапку, натываясь на стулья, на не успевших подняться со своих мест людей, двинулся к выходу.

— Степан Артёмович, что с вами? — выкрикнула Коковина.

Но Степан Артёмович лишь болезненно повёл плечами.

Дверь захлопнулась за ним. Все стали беспомощно оглядываться друг на друга. И вдруг за дверью в коридоре что-то загрохотало. Все повскакали на ноги, задвигали стульями. Я бросился к двери, столкнулся там с Жорой Локотковым.

На крыльце, прямо на пороге, — лицо и грудь освещены высоко стоящей на небе луной — лежал Степан Артёмович в своём негнущемся широком пальто, без шапки, лицом вверх. Сквозь чуть прикрытые веки видны были голубоватые белки закатившихся глаз.

Я схватил податливую руку Степана Артёмовича, попытался нащупать пульс.

— Шапку ему надень, голова на снегу, — посоветовал за моей спиной Василий Тихонович.

Сзади стояли, плотно забив двери, люди. А за их спинами неистовствовала Коковина.

— Врача! Врача! Ну что же вы все стали? Бегите за врачом! До какой степени довели человека! Боже мой!.. За врачом!

— Вася! — окликнул я Василия Тихоновича. — Помоги мне внести в комнату. Осторожно, осторожно... Егор Филиппович, не мешайся. А ну, из прохода!

Маленькое сухое тело Степана Артёмовича было лёгким. Если б не громоздкое пальто, то и вовсе казалось бы, что поднимаем ребёнка. Боясь оступиться в тёмном коридоре, мы перенесли директора в комнату, бережно уложили прямо на длинный стол.

23

Он лежал на столе, всё ещё в пальто, в больших стариковских тёплых ботах, под голову подсунута меховая шапка.

Коковина подскочила ко мне, сердито зашипела в лицо:

— Это всё вы! Ваши штучки! Довели человека!

— Идите вы!..

Она ступевалась. Я нагнулся к Степану Артёмовичу — кожа на его лбу стала чуть лосниться от лёгкой испарины, веки дрогнули и открылись.

— Жив! — вздохнул я облегчённо. — Просто обморок.

Тусклые, старческие глаза уставились прямо на меня, грудь подымалась и опускалась, ссохшиеся губы раскрылись.

— Выпейте воды, — поднёс я к нему стакан.

Он с натугой покорно приподнял голову, сделал два глотка, откинулся, снова тусклые глаза внимательно, изучающе уставились мне в лицо.

За моей спиной теснились, шумно разговаривали, стучали стульями.

Пришёл врач Трешинов, не снимая пальто, подошёл к больному, укоризненно покачал головой, обернувшись к народу, приказал властно:

— Прошу выйти всех! Вот вы останьтесь! — Он ткнул в меня пальцем. — Вы, — он ткнул пальцем в Василия Тихоновича, — бегите сейчас в больницу и принесите носилки. Сейчас ночь, дежурят женщины, а вы оба ребята здоровые, поможете мне перенести больного. Товарищи! Кому сказано? Расходитесь, расходитесь по домам.

Все, оглядываясь на нас, натягивая на ходу шапки, потянулись к дверям. Возле стола остались я и Коковина.

— А вам что здесь нужно? — обратился к ней Трешинов.

— Я заведующая роно, обязана присутствовать...

— Ваша обязанности кончились. Прошу мне не мешать.

Коковина бросила на меня ревниво-негодующий взгляд, подхватила портфель и скрылась в своём кабинете.

— Помогите снять пальто, — буркнул Трешинов.

Я помог снять пальто, пиджак, рубашку, обнажил высохшую, узкую грудь директора. Трешинов с сердитым лицом выслушал Степана Артёмовича, помог мне снова натянуть рубашку, пиджак, пальто; на мой вопросительный взгляд бросил:

— Сердце... — повернулся к безмолвно лежащему с опущенными веками Степану Артёмовичу. — Нельзя после болезни таскаться по собраниям. Теперь уже будете отлёживаться в больнице. Понятно?

Лицо Степана Артёмовича ничего не выразило, веки не дрогнули. Трешинов принялся укладывать свой стетоскоп в чемоданчик.

Василий Тихонович, красный, запыхавшийся, притащил носилки.

По пустынным, залитым светом луны улицам села мы отнесли Степана Артёмовича в больницу. Там уже ждала его жена, поминутно прикладывавшая платок к глазам.

— Здоров будет ваш муж, не волнуйтесь, — объявил ей Трешинов. — Только за послушание положу теперь в больницу. Идите-ка домой, ложитесь спать.

И старушка завсхлипывала, наклонилась над мужем:

— Степан... Стёпа... Я же говорила...

Жёлтая, сухая рука Степана Артёмовича потрепала её по щеке.

Трешинов повернулся к нам:

— Спасибо и до свидания!

Час был поздний. Только кое-где светились огни. Спали даже собаки, ни одна из них не лаяла на нас из-за калиток. На дороге были видны следы автомобильных скаотов, выбоины, сделанные копытами лошадей, каждая случайная соломинка.

Василий Тихонович шуршал кожаным пальто, посапывал, выставив вперёд свой костистый нос.

Я произнёс:

— Как она повернула против течения...

— Против течения?.. Коковина никогда против течения не плавает, — ответил Василий Тихонович. — То, что она сегодня выкинула, — верный признак, что течение повернуло в нашу сторону.

— Мне кажется, ошиблась. Пока что течения нет, просто в тихой заводи зашевелилась вода.

— Возможно... Неопубликованная заметка в газете, слухи, что за её напечатание стоит секретарь райкома, потом Иван Поликарпович, заслуженный учитель, орденоносец... Тут не мудрено брожение за течение принять.

— Легко же, однако, она предала Степана Артёмовича.

— У французов есть поговорка: «Предают только свои». А Коковина — ничья, общая.

Мы простились перед моим домом.

24

Степан Артёмович опять слёг в постель. А спустя несколько дней он сообщил Тамаре Константиновне, посетившей его, что больше не вернётся в школу, уйдёт на пенсию.

Степан Артёмович вышел из игры.

Но эта победа меня не радовала. Неприятно сознавать, что в ней сыграла свою роль Коковина. Грязь никогда не останется лежать только на дороге, она переносится и в то место, куда идёшь. Путь к цели должен быть таким же чистым, как и сама цель.

Тамара Константиновна ушла в декретный отпуск. На её место, а следовательно, и на место Степана Артёмовича, был назначен учитель математики Олег Владимирович, один из моих друзей.

Моя полемическая статья, лежавшая всё время в столе редактора, так и не увидела свет. Клешнев вызвал меня, вынул из стола статью, сказал:

— Сами понимаете, устарела ваша статья... Вы тут нападаете на директора, а он уже, собственно, не у дел. Какой вам смысл теперь полемизировать с ним?

— Никакого, — согласился я.

— Опять же упрёки по адресу Коковиной. Она, кажется, изменила свою позицию, придерживается ваших взглядов. Может, вы переделаете статью, выкинете нападки? Мы бы с удовольствием откликнулись на педагогическую тему.

— Нет, переделывать бесполезно.

— Тогда как же быть с вашей статьёй? В таком виде её печатать нельзя.

— Бросьте в корзину для мусора, — посоветовал я.

Клешнев сокрушённо пожал плечами. На этом мы с ним расстались.

Тоня жалела Степана Артёмовича, по-прежнему упрекала меня в бездушном к нему отношении, но в этих упрёках уже не слышалось озлобления, в её глазах я был победителем.

Однажды вечером она встретила меня приодетая, слегка оживлённая.

— А у нас гость, — сообщила она.

Из-за стола навстречу мне поднялся Анатолий Акиндинович, старший сын Акиндина Акиндиновича, в новом костюме, мешковато сидевшем на его тощем теле, со своей преисполненной достоинства осаночкой.

— Андрей Васильевич, — начал он, значительно поглядывая на меня, — я узнал о ваших новых методах преподавания. Как директор школы, я не имею права проходить мимо. Вы согласитесь с тем, что никакого значения не может играть тот факт, что моя школа находится в глубокой периферии. Ростки нового должны проникать в самые отдалённые углы...

И он пошёл распространяться о сельских учителях — культурном авангарде, о неприемлемости им лично всего косного, рутинёрского, о его желании сделать свою

школу образцовой и т.д. и т.п. Говорил он своим обычным наставническим тоном, не терпящим никаких возражений, поднимал вверх носатую физиономию, с особенным вкусом произносил: «Мы, педагоги...»

— Мы, педагоги, собственно, основные двигатели прогресса. Не будь нас, человечество застыло бы на месте. Мы кровь, переносящая духовное питание в теле общества.

— Среди нас есть всякие, — возразил я. — Есть и такие, как песок, — мешают движению.

— Возможно, возможно. Вы, наверное, намекаете на Степана Артёмовича. Он сказал своё слово, об этом не стоит забывать, надо к этому относиться с уважением. Теперь должны расправить свои плечи мы. Вот потому-то пришёл и я к вам. Можете быть уверены, что ваши достижения попадут в руки, которые смогут распутать те узлы, какие пока не удалось распутать вам. Будем работать сообща: вы у себя, а я у себя.

Я как раз не был уверен, что новое дело попадёт в нужные руки. Этот самоуверенный человек начнёт с прямолинейностью бездари внедрять — внедрять, а не искать! И скорей всего после первой же трудности такой вот Анатолий Акиндинович с лёгким сердцем заявит: «Не выходит, неприемлемо!» Где только можно, станет громогласно возражать: «Я проверял! Новый способ нежизнен!» Докажи ему, что Земля круглая, когда он видит её перед собой плоской!

Степан Артёмович вышел из игры, но в неё вступят новые противники.



Три друга. Серия графических набросков В.Ф. Тендрякова.

Подпись на рисунке:

«Познакомьтесь — три друга.

Первый: Вова — самый высокий, но не самый сильный.

Второй: Вася — самый сильный, но не самый умный.

Третий: Саша — зоолог.

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

1

Первое мая.

Крыши домов вымыты первым ливнем.

Утром до половины девятого на улицах села хозяева одни галки. Они толкуются на булыжной мостовой, сварливо кричат друг на друга; должно быть, удивляются: почему это задержалась человеческая жизнь? Ни единого прохожего на влажных дощатых тротуарах, ни подводы, ни грузовика на дороге — пустынность и тишина. Гуляют галки...

Но около девяти каждая улочка, каждый загарьевский переулок, крылечки домов, завалинки, уже подзатянутые яркой травой, оживают. Галки исчезают, уступая место людям. Мужчины в свежих рубашках, в отутюженных костюмах (кое-кто в орденах и медалях), женщины в пёстрых платках и платьях — все несколько смущены своими нарядами и предстоящим бездельем. В разговорах слышится непривычная доброта и снисходительность друг к другу:

— Иван Кузьмич! С праздничком вас.

— И вас также, Трофим Егорович.

— Сегодня к Дерюгиным нас приглашали, а завтра заходили бы погостить.

— Спасибо. К нам милости просим.

В лужах искрится солнце, режет глаза, с реки тянет свежим ветерком, празднична погода, красочна одежда людей, светлые лица, светлые разговоры — такое утро бывает раз в году. Утро, когда праздник внове, когда во всём селе ещё нет ни одного пьяного.

Наша старая бревенчатая школа подпоясалась кумачовыми плакатами, голубое небо отражается в её промытых окнах. У крыльца шевелится, толкается, смеётся, визжит ребячий цветник. Девочки отдельными кучками, голова к голове, секретничают. О чём? Наверно, обсуждают наряды: свои собственные, старшеклассниц, наряды учительниц. По всему двору над беспокойной сутолокой ребячьих голов гуляют из конца в конец, кланяются, раскачиваются флаги, флажки, гирлянды бумажных цветов. Озабоченной рысцой трусит, поминутно наталкиваясь на зевак, какой-то активист-старшеклассник, исполняющий самое последнее и самое неотложное поручение.

А по всему селу, заглушая беспечный и суматошный шум школьного двора, поёт, наигрывает марши, кричит лозунги, читает стихи радио. Далеко-далеко, за много сотен километров от села Загарья, празднует Москва. И её шум подхлестывает нашу праздничную суету, от её далёкого торжества и наше скромное торжество становится как-то шире и значительнее.

Ровно в половине десятого не без суматохи, не без окриков, не без коротких скандалов вся школа начинает выстраиваться в длинную, через весь обширный двор, не-

устойчивую шеренгу. Руководит построением учитель физкультуры Кузьма Демьянович. В эти минуты он наш главнокомандующий, все — от ученика-первоклассника до директора — подчиняются ему. Кузьма Демьянович с красным лицом, покачивая широкими плечами, бежит по двору, припадая на покалеченную на фронте ногу, подаёт команды старшинским басом:

— Пятый класс, подравняйся!.. Седьмой «А»! Аникин! Шаг назад! Шко-о-ола-а, рра-ав-няйся!.. Смир-рна-а!

Старшинский бас действует и на меня. Я стою в голове своего класса, ревниво кошу глаз: выравнялись ли мои? — невольно помогаю Кузьме Демьяновичу:

— Аникин! Хомяков! Отступите назад!

— Рра-аз-говорчики!.. Напра-а...о!!

В центре села, напротив райисполкома, стоит тесовая трибуна, сверху донизу обитая кумачом, с красным флагом на длинном шесте. В то время когда наша школа растягивается в неровную колонну, медленно вытекает со двора на улицу, со всех концов идут группами организованные загарьевские жители.

От конторы маслопрома, от льнозавода, от промкомбината, от райпотребсоюза кучками по десять, по двадцать человек, не в ногу, не заботясь о красоте и стройности, движутся несолидные с виду шествия.

В одном месте тонкие женские голоса поют извечную «Катюшу», в другом тоже женскими и тоже тонкими, но с примесью басовитых мужских выводят «По долинам и по взгорьям».

«Колонну» райпотребсоюза, составленную из делопроизводителей, продавцов, кладовщиков, возглавляет, конечно, сам председатель Гужиков, восьмипудовый мужчина, с лицом, словно натёртым кирпичом. Сам Гужиков плясать не может, — где уж с его животом выкидывать коленца! — зато неумоимо организует веселье, с начальственным задором покрикивает:

— Толька! Развернись!

Рядом с ним экспедитор Анатолий Щелчков — и в будни и в праздник верный слуга Гужикова. Он с готовностью раздвигает мехи гармошки, победно глядит из-под козырька новенькой фуражки. А Гужиков колышется, кипит:

— Настасья Васильевна! Любушка! Ай мы постарели, ай мы молодым уступим! Выйди-ка из строя, щёлкни каблучками. Эх, себя повеселим, других потешим!

И все эти «организованные колонны» вливаются на площадь, тесно сбиваются перед разукрашенной трибуной. Вместе со всеми прибываем и мы. Наша колонна самая многочисленная, самая нарядная и благодаря усердию Кузьмы Демьяновича самая организованная.

Минуты перед началом митинга я люблю всего больше. Толчея, устройство, распорядители бегают, до хрипоты кричат, а ряды ломаются, знакомые сходятся со знакомыми, соседи с соседями, заводятся случайные разговоры, заключаются договоры: у кого собраться, как гульнуть. Около райпотребсоюзских демонстрантов и

девчат со льнозавода сами по себе расчищаются «пяточки», к ужасу распорядителей гармошки беззаботно начинают шпарить «Барыню», высокие каблучки топчут молодую траву. И возле пляшущих Гужиков густо хохочет, приказывает, хлопает себя по толстым ляжкам.

А на крыше райисполкома торчит одинокая фигура загарьевского фотографа из артели инвалидов, лысого старичка Исаака Куропевцева. Он каждый год запечатлевает на плёнке первомайское празднование села Загарья, причём всегда с одного и того же места — с райисполкомовской крыши. Его снимков потом никто никогда не видит, они не выставляются напоказ, не печатаются в газете. Делает их Куропевцев, по всей вероятности, ради святого искусства или же, кто знает, с расчётом на то, что историки грядущих лет захотят лицезреть первомайский праздник села Загарья с высоты двух этажей исполкома райсовета.

Всё шло, как всегда: суeta, веселье, неразбериха. В колонну нашей школы между шестым и моим седьмым классами втесалась делегация пищекома с огромным фанерным транспарантом, взывающим заготавливать грибы и ягоды. Их с наслаждением и шумом выставили.

Во время суety и неразберихи трибуна заполнилась: Ващенко в светлой шляпе, председатель райисполкома в парусиновом картузе, комсомольский секретарь, начавший полнеть Костя Котов, свинарка Лапшина из колхоза «Заветы», от нашей школы пятиклассник Женя Доронин, едва выглядывавший белобрысой макушкой из-за бортов трибуны.

Речи, поздравления, снова речи, не весьма энергичные крики «ура»...

После этого, как и положено, шествие. Все организованные демонстранты вытягиваются в одну колонну, уходят с площади, огибают хозяйственный магазин и магазин райпотребсоюза, возвращаются обратно на площадь, подтянувшись, проходят мимо трибуны.

А с трибуны секретарь райкома Ващенко бросает им лозунги, каждой организации особый, подходящий по профилю.

Проходит больница, им лозунг:

— Работники медицины! Врачи, сёстры, санитарки! Отдадим все силы на благо здоровья трудящихся!

Делегация больницы по мере сил отвечает криком «ура».

Проходит райпотребсоюз, снова лозунг:

— Работники торговли! Добьёмся отличного обслуживания покупателей!

Льнозаводу — лозунг о повышении производительности труда. Школе — лозунг о подрастающем поколении.

Всё шло обычным порядком. Но на этот раз должно было произойти такое, чего не случалось ни в прошлом, ни в позапрошлом годах. Знала об этом только школа, да и то не вся.

От окраины Загарья, из МТС, должен выехать трактор...

Этот ДТ-54 в своё время поднимал пары, надрывался на клеверищах, таскал волоком тяжёлые сани. Немало распаханых гектаров было на его счету, немало километров непролазных дорог измял он своими гусеницами, но подошла пора, и век труженика кончился. Ремонтники отказались лечить его натруженное тело. Он стоял под стеной мастерской, занесённый снегом... И быть бы ему на свалке, если б на него не обратил тогда внимания Василий Тихонович. Конец зимы и всю весну возились с ним ребята под надзором Василия Тихоновича. Почти каждый день надоедали директору МТС, отправляли даже депутатов в райком партии, как-то сумели подладиться к крикливому, вечно задёрганному главному инженеру Кириллу Брызжалину, сошлись душа в душу с трактористами. Запасные части доставались правдами и неправдами. На усадьбе МТС, чтоб чем-то умаслить чёрствое директорское сердце, проводились субботники. В промкомбинате ребята выпросили партию тёса. Тёс не для трактора, тёс нужен МТС, чтобы перекрыть крышу общежития трактористов. Но после этого тёса около десяти человек — слесари, трактористы, механики — возились вместе с ребятами у разваливающейся по частям машины: сваривали, подгоняли, меняли части.

Закончивший свой век ДТ-54 снова ожил. Его недавно выкрасили. С минуты на минуту он должен появиться здесь, на площади.

Трактор приведут Федя Кочкин и Серёжа Скворцов. Их выбрали на собрании юных трактористов.

Ждём, должен появиться... Но прошла больница, прошёл промкомбинат, льнозавод, сушильный завод, почтовые работники. Прошли мы, прокричали «ура» и снова под строгим наблюдением Кузьмы Демьяновича выстроились в отдалении, напротив трибуны, вызвав этим любопытство праздных зрителей. Я слышал за своей спиной разговор:

— Не концерт ли какой устраивают?

— Какой концерт! Физкультурные упражнения.

— Эй, Семён! Обожди, не уходи домой, физкультурников посмотрим.

Мой класс возбуждённо шевелится, топчется, ребята вытягивают шеи, вслушиваются: не застучит ли мотор на дороге. Но мотор не стучит.

Проходит последняя организация, пищеком, с транспарантами о заготовке грибов и ягод.

Те, кто стоит на трибуне, предупреждены, но надолго ли у них хватит терпения торчать на солнцепёке перед пустой площадью?..

Кричит радио, из Москвы доносится шум моторов. Там идёт военный парад. По Красной площади, должно быть, проходят колонны танков. Но в этом гуле моторов не слышно мотора нашего трактора.

Оказывается, пищекомовцы не последние. С жиденьким криком «ура» движется ещё одна группа — пять человек, семеноводческая лаборатория.

Площадь пуста. На примятой молодой траве обрывки бумажных украшений, конфетные обёртки. Грустный вид у площади, на которой только что стояла праздничная толпа.

Школьный строй шевелится, изгибается, слышен ропот, но никто не уходит.

Стоят и переговариваются районные руководители на трибуне. Они тоже ждут и сомневаются. Среди них пятиклассник Женька Доронин тревожно вертит белобрысой головой.

А позади нас село начинает жить обычной праздничной жизнью: слышатся взрывы смеха, песни, играют несколько гармошек — каждая своё, позванивают разъезжающие велосипедисты, ораторствует радио. Мы ждём, мы слушаем. Ждёт трибуна.

Ващенко, добрая душа, понимает наше состояние. Он терпит, из уважения к нему терпят остальные.

К Кузьме Демьяновичу, с невозмутимым видом расхаживающему вдоль шеренги, подходит одна из учительниц:

— Первокласники устали. Хочу распустить их по домам.

Разбегаются первые классы, вторые... С одного конца тает наша шеренга.

Совсем неожиданно поворачиваются и уходят строем десятиклассники. Им ли, самым старшим в школе, ждать сомнительного триумфа группы ребяташек из седьмых классов!

— Назад! — грозно кричит им вслед своим старшинским басом Кузьма Демьянович.

Но десятиклассники дружно затягивают песню:

*Славьте великое Первое мая,
Праздник труда и паденье оков!..*

Я уже который раз гляжу на часы и неуверенно произношу:

— Что-то случилось... Не оставить ли нам эту затею?..

Но класс устраивает бунт:

— Дождёмся!

— На трибуне ждут, а мы сбежим?

А на трибуне сошлись в тесный кружок, переговариваются.

И вдруг рядом со мной раздаётся торжествующий вопль:

— Едут!

Зашевелились, закричали:

— Едут!

— Тише! Тише!

— Замолчите! Дайте послушать!

— Е-е-едут!..

— Ура-а!..

Уже и я сквозь шум голосов слышу стук мотора.

— Ура-а!..

Из-за угла магазина выкатывается ядовито-зелёный, как травяная букашка, трактор. На нём позади кабины гроздьё висят ребята. Человек пять бегут следом.

Трактор стучит, чихает, но двигается довольно прытко.

— Еду-ут!..

— Наши едут!

— Э-эй! Ребята-а!..

— Куда? Куда?! А ну, назад! Соблюдать дисциплину!

Представители на трибуне подтягиваются. Трактор, громко стуча изношенным мотором, подкатывает. Ващенко, подняв над своей светлой шляпой руку, кричит:

— Нашей славной смене, будущим механизаторам — ура!

— Ура-а-а!.. — подхватываем мы.

Трактор проехал...

Только и всего. На этом и кончается столь долгожданная церемония. Но все довольны. Ващенко, сияя, оборачиваясь то к одному, то к другому, машет вслед шляпой. Ребят уже не удержишь: сломав и без того непрочные ряды, мимо грозного Кузьмы Демьяновича врассыпную, наперегонки бегут за трактором. А тот, трясясь, поблёскивая на солнце гусеницами, удаляется.

Я повернулся, чтоб напрямик, кратчайшим путём бежать к школе. Но тут наткнулся на одного зрителя, о существовании которого никто из нас не подозревал. На обочине стоит Степан Артёмович со своей прямой осаночкой, в хорошо подогнанном костюме, с сильно опавшим жёлтым, морщинистым лицом. Заметив меня, он подчёркнуто сухо поклонился и пошёл прочь своей расчётливо-строгой походкой.

Он всё-таки стоял, ждал: придёт или не придёт трактор. Быть может, он даже волновался за ребят, этот школьный директор в отставке. Я стоял и глядел в прямую узкую спину. Но разве можно что-либо понять по спине, кроме того, что человек держится с холодным достоинством?

В школьном дворе вокруг трактора — тесная толпа. В самом центре — Федя Кочкин и Серёжа Скворцов. У обоих счастливые лица, хотя по своей привычке Федя глядит на всех угрюмовато. На лице у Серёжи видны следы размазанных слёз.

— Что случилось у вас? — спросил я.

— Горючее не подавалось... — ответил Федя.

— Кажется, впрыскиватель, — неуверенно заметил Серёжа.

Я вгляделся в его испачканное, со следами слёз, грязное, счастливое лицо и всей душой поверил, что «впрыскиватель» может стать трагедией.

— Всё хорошо, что хорошо кончается. — Рядом со мной оказался Василий Тихонович; ноздри горбатого носа вздрагивали у него в непривычно доброй усмешке.

2

Трактор поставили под стеной школы. Вокруг него толпились ребяташки, ощущали, лазали. Федя Кочкин, Серёжа Скворцов и другие члены кружка трактористов стали героями всей школы. Они демонстративно копались в моторе, время от времени запускали его, при немом восторге влезали в кабину, делали по школьному двору круг. Машина подчинялась им, они были её полными хозяевами, а это вызывало зависть, восторг, обожание.

Афанасий Семёнович, наш рачительный завхоз, носивший среди ребят странную кличку «Курок», не мог вытерпеть такой самостоятельности. Он считал, что раз трактор стал школьной собственностью, то и распоряжаться им должен не кто иной, как он, заведующий школьным хозяйством. Афанасий жаловался в учительской:

— Балуются. Лезут к машине без всякого спроса. Слушаться не хотят. Ещё изломают, чего доброго, или покалечат кого. Трактор-то как-никак денег стоит. Запретите...

Но ему отвечали:

— Не можем запретить. Ребята же сами отремонтировали трактор, они и хозяева. Сломают, сами починят.

Афоня Курок уходил недовольный.

— Ну и порядочки завелись!

Тамара Константиновна всё ещё находилась в декретном отпуске, школой управлял Олег Владимирович. Этот широколицый румяный человек, с бровями, закрученными словно вильгельмовские усы, исполнял обязанности директора нешумливо и обстоятельно. Никаких нововведений он не предлагал, делал то, что до него делали Степан Артёмович и Тамара Константиновна, отличался от них лишь одним — покладистостью. Нужно изменить расписание, для того чтобы удобнее было проводить уроки новым способом, — пожалуйста, лишь бы другие учителя не протестовали.

В это счастливое для нас межвременье открылся особый талант в Василии Тихоновиче Горбылеве.

Каждому из учителей было понятно, что для любого парнишки сесть за рычаги трактора, управлять громоздкой, сильной машиной — верх наслаждения, соблазн из соблазнов. Но путь к вожделенным рычагам слишком тернист: ковыряние на морозе в моторе, грязная работа, попрошайничество запасных частей у скупого эмтээсовского начальства, хождение с жалобами по разным инстанциям. Даже я не очень-то верил, что ребята до конца выдержат, сумеют поставить на колёса разбитый трактор.

А вот поставили... Василий Тихонович сам не притронулся руками к трактору, сам ничего не просил, не обивал пороги учреждений. Он только время от времени собирал ребят на какие-то совещания, и ребята сами решали, сами планировали, сами ходили по учреждениям, выпрашивали, требовали, жаловались, когда нужно, хитрили, рабо-

тали, заставляли работать других — всё сами, всё без нажима. Вот в этих-то словах «сами, без нажима» и проявился талант Василия Тихоновича. Поставь перед собой задачу, докажи другим, что её можно решить, а раз поставил, раз доказал — трудно идти на попятную, стыдно признаваться в своём бессилии.

У нас в учительской время от времени стал появляться новый человек — председатель колхоза «Свобода» Иван Шубников. В выгоревшем офицерском галифе, в штатском тесном пиджачке, в помятой фуражке, натянутой на самые брови, он чувствовал себя среди учителей скованно, разговаривал с угрюмоватой застенчивостью, при этом напряжённо и сосредоточенно глядел своими светлыми, ничего не выражающими глазами мимо собеседника.

Два года назад Иван Шубников сидел на скромной должности заведующего райпищепромом. В сутолочной, по-своему нервной жизни района с её аврами во время сева, уборочной, непрекращающимися заботами о выполнении планов по молоку, мясу, яйцам есть свои тихие заводы. Одной из таких заводов был пищепром. Заготавливали клюкву и рыжики, выпускали квас, называемый «витаминизированный», пахнувший почему-то канифолью. Случалось, Ивана Шубникова вызывали на исполком, прорабатывали, но это было в порядке вещей: и в тихой заводи случается рябь.

Два года назад Ивана Шубникова направили в колхоз «Свобода». Колхоз был рядом с райцентром, Ивану Шубникову не нужно было переезжать, ломать привычный уклад жизни, — он согласился работать председателем. Согласишься, коль поднажмут.

Во Дворцах, основной бригаде «Свободы», если поглядеть со стороны, полно народу, под каждой крышей семья: мужчины, женщины, парни, девичьи на выданье, не считая уже стариков, старух и детей. Но почти все они работают не в колхозе, а в райцентре — рабочими при сплавконторе, делопроизводителями при учреждениях, плотниками при промкомбинате, простыми уборщицами или ночными сторожами. Верны колхозу старики да старухи. А земли много, одной пахотной с полтысячи гектаров, луга, выпасы — всё требует ухода, на всё нужны рабочие руки, за каждый гектар отчитывайся перед государством хлебом, молоком, мясом. В районе постоянно напоминают: «В твоих руках богатства, используй!»

То-то и оно! Велик каравай, да беззубым ртом не укусишь. Велико бремя земли! Где найти рабочие руки? От кого ждать помощи?

И вот помощь пришла с той стороны, откуда нельзя было и ждать. К Шубникову явился из школы учитель физики Горбылев и заявил:

— Школа может взять часть земли в свои руки.

— Как это?

— Очень просто. Передайте нам одну бригаду. Мы сами будем отчитываться перед государством, сами распоряжаться доходами, расширять хозяйство. Одно лишь условие: требуем полнейшей автономии, не мешайте нам действовать по собственному усмотрению.

— Учителя, что ли, будут руководить хозяйством?

- Не учителя, а сами ученики. Выберут между собой бригадиров, звеньевых...
- А разрешат такую вещь? Земля-то за колхозом закреплена.
- Будем добиваться, чтоб разрешили.

И вот в учительской стал раздаваться стук подбитых подковками сапог Ивана Шубникова. Были поданы первые запросы в райком партии. Олег Владимирович, временно исполняющий обязанности директора, по своему обыкновению, ничего не предпринимал, ни в чём не возражал, молча выслушивал, осторожно соглашался и жестоко крутил свои густые брови.

Не было споров, не было шумихи. Василий Тихонович ненавязчиво предлагал школе свою программу. Нужно трудовое воспитание? Нужно. Следует ли обучать тому, как выращивать картошку, как мастерить тумбочки, как притирать клапаны в моторе, проводить электропроводку, ремонтировать выключатели? Достаточно ли к физике, химии, алгебре, литературе и прочим предметам школьной программы прибавить ещё столярничество, слесарничество или полеводство и успокоиться на этом? Многообразна жизнь, много в ней разновидностей труда, бесконечно число профессий, всему не обучишь. Для того чтобы стать квалифицированным столяром или монтёром, нужно учиться специально, а не между делом. Конечно, на худой конец даже такой навык — польза. Он может пригодиться в жизни. Но куда полезнее научить ребёнка не только тому, что может пригодиться, но тому, как жить.

Как жить?.. Разве этому можно научить? Недаром же говорится: век живи, век учись. Сколько людей, прожив долгую жизнь, так и сходят в могилу, не научившись достойно жить. Мало ли таких, что до конца своих дней остаются мещанами без особых идеалов, узколобыми педантами, трусливыми эгоистами, готовыми при первом же затруднении продать товарища, просто равнодушными ко всему, что не касается их лично?

Труд создал человека! Все человеческие качества — ум, изобретательность, взаимопомощь и прочее — ярче всего проявляются в коллективном труде. Но обучение столярному, слесарному или какому-либо другому мастерству — делай так-то, делай то-то — ничего не имеет общего с коллективным трудом: это ни более ни менее — обучение каждого человека в отдельности. Труд тогда становится коллективным, когда каждый участвует в его организации, вместе со всеми ломает голову, что и как сделать. Тут приобретаются не только навыки какого-то труда, а умение сообща действовать. Это уже из области «как жить».

Моё имя чаще повторялось, чем имя Василия Тихоновича. Все учителя в нашей школе считали: я инициатор, я виновник событий, я фигура первого плана, а Василий Тихонович ни больше ни меньше — мой помощник. Но я-то понимал, что планы Василия Тихоновича шире, значительнее, глубже моих.

Какая польза сравнится с тем, чтобы научить детей, этих людей будущего, достойно вести себя в жизни? С решением, как жить им, решается и вопрос, как устроить общество.

3

Ни Степан Артёмович, ни Тамара Константиновна, ни даже Коковина нам теперь не помеха. Среди учителей у нас много друзей. Что ещё нужно?

Была одна маленькая тревога: как-то отзовётся облоно на наши события? Мы ждали инспектора, а он не появлялся. Прошёл месяц, другой, и мы перестали его ждать.

Инспектор появился перед самыми экзаменами. В учительскую в сопровождении Коковиной вошёл осанистый человек. Я не успел в него взглянуться, как он двинулся на меня прямо своей широкой грудью, раскрыл объятия. И только тут я узнал его — Пашка Столбцов!

Пять лет мы проучились вместе на одном курсе, пять лет мы спали койка к койке, ели подчас из одной чашки, держали свои студенческие деньги в одном кармане. Пашка Столбцов, получавший на экзаменационных сессиях более высокие отметки, лучше меня прыгавший на студенческих соревнованиях, Пашка, женившийся на Лене Кругловой, за которой я пытался ухаживать. Он стал крупнее, просторный светлый костюм скрывал преждевременную полноту, крепкая угловатость исчезла с его лица, черты стали расплывчатей, но в то же время внушительней.

Мы обнялись на глазах учителей, хлопая друг друга по спине.

— Здравствуй, старик... Ну-ка, ну-ка, дай взглянуть! Изменился, брат.

— А ты?.. Фигура, что у министра.

Вечером он сидел в гостях у меня. Тоня, румяная от плиты, тщательно причёсанная, хлопотала за столом. Она ведь тоже была нашей сокурсницей, нашим институтским товарищем, Павел был не только моим гостем, но и её.

А Павел скинул пиджак, остался в одной сорочке, с налитыми полными плечами, с выпуклой грудью, краснолицый от первых стопок. Он внимательно слушал меня, качал головой:

— Вот как, вот как. А не смахивает ли тот способ обучения, которого ты придерживаешься, на бригадный метод? У тебя обучаются коллективно, и там тоже. Основано вроде одна. Сам знаешь, бригадный метод давным-давно вдребезги раскритикован, крест стоит на его могиле.

— Нельзя же считать сахарный песок и снег одинаковыми по химическому составу на том основании, что они оба белые по цвету. Ничего нет общего с бригадным методом.

— Гм... — Павел перегнулся через стол, розовый, пышущий здоровьем, знакомый и в то же время какой-то благообразно чужой: вместила растрёпанной курчавой шевелюры времён студенчества высоко подстриженная волнистая причёска. — Завидую тебе, понимаешь.

— В чём? Ты вроде не обижен судьбой.

— Вот я в прошлом году попал в одну школу. В деревеньке эта школа, глухие места, учитель один там, эдакий старичок-лесовичок в увесистых подшитых валенках. Он мне душу перевернул. На урок математики во второй класс (понимаешь, во второй!)

приносит ребятишкам... Что бы ты думал?... Ведро воды! Ставит это ведро и предлагает: «Подсчитайте, сколько в нём капель». Понимаешь, сколько капель в ведре? Предложи это мне, право бы, не подсчитал. И ребятишки, разумеется, смущены и заинтересованы. Если каплю по капле считать, то на ведро не только урока не хватит, а дня, даже недели. А этот старичок в подшитых валенках подсказывает ребятам: что, если измерить, сколько в ведре кружек, сколько в одной кружке ложек, а в ложке — капель? Вот тебе урок арифметики во втором классе!

— Любопытно.

— Тебе любопытно, а мне грустно. Когда ребятишки кружками воду переливали, боясь обронить хоть каплю, у меня, брат, в душе скулёж стоял. Перестал я быть учителем. Выезжаю в инспекторские поездки, поучаю свысока: так-то, мол, и так-то, а сам что ни день, то дальше от школы, от живого дела, от того, что творят такие, как ты и этот старичок.

— Кто тебе мешает оставить облоно и податься к нам хотя бы? Найдём место.

— Э-э, не так-то просто. Назови меня честолюбцем, но мне мало успехов эдакого одиночки-новатора в подшитых валенках. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Генералом — не знаю, а капитаном быть хотелось бы. Стать у руля какой-нибудь школы да двинуть её вопреки всем инструкциям и положениям. Я, брат, чувствую в себе силёнки. Работа в облоно, инспекторские поездки тоже не прошли даром: ездил по разным местам, приглядывался, насобираю кой-какой капиталец. Жду случая, чтоб вручили в мои руки школу, вложу этот капиталец в дело. Вот и к тебе приехал узнать, что и как. Хотели другого послать, сам напросился... А ну, выпьем! Пойдёшь ко мне работать, если стану директором школы?

— Не пойду.

— Почему же?

— Я и в этой школе себя неплохо чувствую.

— А мы бы с тобой завернули дело. В столице бы о нас трубы трубили. Обычным зауряд-директором не хочу. Только поиски! Только на шаг вперёд других! Выпьем, Андрей, за наше будущее! Тоня, и ты с нами. Все мы из одного гнезда вылетели...

Через час Павел уже обнимал меня за плечи, возбуждённо кричал в лицо:

— Наша жизнь, братец, только начинается! Да, да, та жизнь, то время, когда и создаются человеческие ценности. Все, что до сих пор было, — подготовка к этой жизни. У каждого человека на веку должен быть подвиг, большой или маленький, смотря по способностям. Да, да, подвиг! Ты, Андрей, уже подступил вплотную к нему. Серьёзно говорю, ты начал свой подвиг! Я поддерживаю. Всё сделаю, что в моих силах. Найти, сделать открытие — это половина дела...

— Никаких открытий я не делал, — перебил я его. — Чужой ум как-то пытаюсь пристроить к делу.

— Всё равно, об этом я и говорю. Кто-то открыл — ты поддержал. Сообщить миру об открытии так же важно, как и открыть. Сколько больших и малых открытий кануло

в безвестность только потому, что их изобретатели не умели крикнуть так, чтобы их услышали! Мы крикнем, нас услышат! Ты практически будешь проверять, я провозглашать. Будем же, Андрей, дорогой, чувствовать плечо друг друга. Руку, Андрюша! Помни, что это рука настоящего товарища!

Он говорил, мы обнимались. Тоня хозяйничала за столом, слушала признания Павла, заливалась румянцем, исподтишка глядела на меня. Павел Столбцов, самый удачливый из ребят выпуска, тот Павел Столбцов, который так быстро выдвинулся, который руководит школами из области, умный, красивый, внушающий уважение даже Коковиной, этот Павел превозносит её мужа, сам набивается в друзья! Тоня горделиво рдела.

Павел вспомнил, что Тоня неплохо поёт, и они в два голоса запели в честь прошлых студенческих дней:

Коперник целый век трудился...

Неумело подтягивал и я.

Когда-то я пел эту песню в один из самых счастливых и тревожных вечеров в моей жизни. Вчерашние солдаты, офицеры, школьники, рабочие, мы каких-нибудь три часа назад стали студентами. Мы шли, схватившись за руки, перед нами расступались прохожие. На мокром асфальте отражались городские огни. Впереди у нас вся жизнь. Хотелось верить, что у каждого из нас эта жизнь будет необыкновенной. Сердце сжималось от счастья, и охватывала тревога, что вдруг да неудача, вдруг да что-нибудь помешает этой необыкновенной жизни!

*Коперник целый век трудился,
Чтоб доказать Земли вращенье...*

Как это было давно! Каким наивным и глупым был я в те дни! Счастье молодости в неведении. Теперь я знаю, что моя жизнь — самая обычная, в ней нет и быть ничего не может необыкновенного. Нет, не Рембрандт, нет, не Микеланджело, даже не из тех многих незапоминающихся, чьи фамилии озаряют экран в начале кинокартины. Знаю, слава не коснётся меня. Я уже прожил половину жизни, не стыжусь за неё, но и гордиться пока особенно нечем. Простой сельский учитель. Большого мне не дано. Всё-таки что-то сделано, быть может, не так много, как хотелось бы, всё-таки не зря проживу то время, которое отпустила на мою долю природа.

Студенческая песня... Она напоминает мне, как я изменился, повзрослел, потрезвел, поумнел, постарел...

Закинув назад голову, выставив белую шею, поёт сильным, грудным, немного грубоватым и негибким голосом Тоня. Она ещё свежа, у неё ещё румянец во всю щёку, но я недавно заметил в её проборе первые седые волосы...

Круто наклонив вперёд лоб, собрав под подбородком жирок, поёт Пашка Столбцов. Он изменился, пожалуй, больше нас обоих. А каков он теперь? Сейчас он для меня

почти так же незнаком, как и любой другой инспектор облоно. Что-то мне в его словах не понравилось. В рассуждениях его о показательной школе было нескрываемое желание выдвинуться. Прежде я никогда не относился к его словам подозрительно. Может, я сам повинен в этом. Я изменился, растерял с годами былую доверчивость.

Полузабытая песня зовёт к прежней дружбе, зовёт раскрыть душу нараспашку. И какой смысл Павлу обманывать меня, льстить мне? Если на то пошло, я должен к нему подлаживаться, я — льстить. От него, наверное, иногда будет зависеть успех нашего дела. Нет, сказывается возраст, я излишне подозрителен, не мешало бы стать добродушнее и снисходительнее. Даже если он в чём-то тщеславен, то почему и не простить эту слабость? От человеческих слабостей свободны только покойники.

Я подтягивал песню и разглядывал Павла.

А на следующий день Василий Тихонович со своей обычной ядовитостью сказал мне:

— Что-то твой друг старается нас с тобой обворовать, что сваха на сговоре. Не из тех ли он, что на чужом горбу метят в рай въехать?

Я ответил, не скрывая обиды:

— На нашем с тобой горбу далеко не уедешь. Я лично надеюсь даже на горб Столбцова, авось при оказии в области облокотиться придётся.

— Облокотился чиж на жабу в пруду, да потом пёрышки сушить пришлось.

— Всё-таки я считаю удачей, что приехал Столбцов, а не другой инспектор.

— Ну, ну, не стреляй злым глазом из-под бровей. Верю на слово и молчу.

4

Павел пробыл у нас в школе десять дней, побывал на последних уроках, присутствовал на экзаменах, встретился даже с председателем Иваном Шубниковым, заглянул для беседы в райком партии. Вникал он во всё с пристальной серьёзностью, судил толково и доброжелательно, даже недоверчивый Василий Тихонович в конце концов отозвался:

— Я ошибся. Выходит, он мужик с головой. В таких случаях всегда приятно ошибиться.

Я провожал Павла до станции. У вагона мы обнялись.

— Ну, Павел, знай: буду помнить, что ты существуешь где-то там, — сказал я ему на прощание.

Он похлопал меня по спине, заглянул в глаза и легко вскинул своё располневшее тело на вагонную подножку — сильный, крупный, в добротном костюме, с плащом, перекинутым через руку.

— До скорой встречи! Встретимся в городе! — крикнул он.

А поезд, вдавливая рельсы в шпалы, медленно тронулся. Я пошёл вслед за вагоном, отстал, помахал рукой.

И снова потянулись дни, одинаково беспокойные и в то же время не похожие друг на друга. Вечерами я опять ложился спать с ощущением нетерпения и досады: к чему ночь, зачем перерыв в жизни, скорей бы наступило утро.

Любой человек, пусть он будет самым обычным, самым заурядным из всех, просыпаясь по утрам, должен помнить: его ждут великие дела, только в этом случае он может считать себя счастливым.

Между мной и Тоней были мирные, хорошо налаженные отношения. Даже простые размолвки не омрачали их. Тоня убедилась, что столкновение со Степаном Артёмовичем не принесло никаких неприятностей. Она начинала понимать: существует нечто большее, чем повседневные хлопоты — зарплата, квартира, картошка на усадьбе, обеды, одежда. Что-то высокое вошло в нашу жизнь. Она не задавала себе вопрос: что это? Ей достаточно было знать — это безопасно, это необычно, это красиво по-своему, и она чувствовала ко мне благодарность.

После встречи с Павлом она стала ещё предупредительней ко мне, ещё ласковей. Если я работал в своей комнате, Тоня поминутно шикала на Наташку: «Не шуми, папа работает». Если я засиживался за полночь, она входила и принималась упрашивать: «Утром тебе вставать рано, ложился бы...» А утром она бережно будила: «Вставай, Андрюша, опоздаешь... Умывайся быстренько, завтрак уже на столе». Я отвечал ей благодарностью и сдержанной лаской. Это была почти любовь.

Валентина Павловна жила тихой, затворнической жизнью: заботилась о муже, читала книги, поражала иногда меня осведомлённостью в вопросах педагогики и неприимиримостью своих взглядов. Она продолжала до сих пор считать, что мысли Василия Тихоновича о школе ненужные и даже вредные. Она постоянно повторяла: «У детей должно быть детство, а ваш друг отнимает его. Он тот же Степан Артёмович, только изнанкой наружу». Она говорила, что Василий Тихонович из породы фанатиков, а фанатики всегда узкие, ограниченные люди. Василий Тихонович отвечал ей такой же нелюбовью, как-то при случае обронил по её адресу: «Комнатный философ в юбке». Моё счастье, что эти два близких для меня человека почти не встречались.

Я не хотел думать, что у неё есть муж, славный, добрый, перегруженный всегда работой Пётр Петрович Ващенко, что он каждый вечер остаётся с ней один на один, что она принадлежит ему. Если и появлялись какие-то зачаточные ревнивые мысли, я сразу же гнал их. Дай им волю, и они загрызут меня, ни о чём другом я уже не буду способен думать. Я спасал себя бездумьем, я, на удивление самому себе, был расчётлив: заставлял себя встречаться с ней время от времени, обманывал себя, что между нами нет ничего, кроме простой дружбы.

Каждый раз я перешагивал порог её квартиры со смятением, с усиленно бьющимся сердцем. Постучать в её дверь всегда было для меня мучением. В самую первую минуту Валентина Павловна казалась мне не такой, какой я воображал её себе: менее красивой, более обыденной и простой. В моих мечтах она всегда была лучше настоящей Валентины Павловны. Но я быстро привыкал к той, какая есть, сидел за столом,

солидно и независимо рассуждал на посторонние темы, большей частью о школьных делах (ох, уж эти школьные дела, как они были безразличны в те мгновения!), а сам исподтишка любовался её лицом. Вроде ничего особенного в этом лице не было: нежная, прозрачная кожа, голубые жилки на висках, чистый лоб, над тонкой, чуть намеченной бровью, едва приметная морщинка — ничего особенного, но во всём, в плавной округлости скул, в чётко очерченных крыльях носа, во всём какое-то мягкое, пронзающее душу совершенство. Если б можно, я бы целыми днями, не отрываясь ни на минуту, смотрел и смотрел в это лицо — никогда бы мне не надоело! Я порой забывался, слишком долго задерживал на ней взгляд. Валентина Павловна розовела, опускала глаза, и я тогда панически смущался. Не оскорбил ли я её своей нескромностью, боже упаси это сделать!

Любила ли она меня так, как я её любил? Да, любила. Это я точно знал. Существует масса мельчайших примет, безошибочных, как то, что грозовая туча над головой обещает неизбежный дождь. Об этих приметах даже не расскажешь. Что толку, если я сообщу о том, что она напряжённо взглянула исподлобья, или о том, как она вздрагивает, когда её рука нечаянно задевает мою руку?..

Меня спасала работа. А Валентина Павловна стала бледнеть и худеть, её округлые щёки ввалились, под глазами я часто замечал синеву.

Как-то она, слушая мои глупые и ненужные рассуждения, вдруг взорвалась, впервые за все время знакомства раздражительно набросилась на меня с упрёками:

— Вы эгоистичны! Вы увлечены собой! Вы несносно односторонни! Если вы считаете себя моим другом, то следовало бы почаще вспоминать и... и задумываться над тем, как я живу...

Мы сидели с ней вдвоём. Я видел её вспыхнувшее лицо, её гневные и страдающие глаза, слушал её раздражённый и всё же милый мне голос. Я повинно склонил голову, преодолевая хрипоту, произнёс:

— Валентина Павловна, я слишком часто вас вспоминаю. Следовало бы реже это делать.

И её гнев сразу же потух, на глазах заблестели слёзы, а лицо выразило страх: сейчас всё откроется, сейчас я всё ей скажу!

— Извините!.. Глупо веду себя... Последнее время легко раздражаюсь. — Она поднялась и вышла в другую комнату.

Во второй половине июня, в один из дней, когда школа отдыхала от только что кончившихся экзаменов, когда мы, учителя, привыкали к безлюдности и тишине коридоров, пришло письмо на моё имя. Меня вызывали в область с докладом о новых методах обучения.

Письмо не столько обрадовало, сколько испугало меня. Нужно докладывать о чём-то сделанном, завершённом. Да, я за последние месяцы кое-что успел узнать, да, я что-то принял на вооружение, но многое откинул как ненужное, во многом разубеждался. Открылись новые нерешённые вопросы, появились новые сомнительные

места — конца выяснениям не видно. Сделано? Завершено? Разве я могу один всё завершить? Только-только зашевелились другие учителя. Каждый из них должен взглянуть по-своему, со своей сноровкой приступить к поискам. С разных концов, с разными подходами, сообща. Нет, этим я не могу похвастаться...

Но, с другой стороны, мне предоставляют высокую трибуну. Почему бы не воспользоваться ею, не признать во всеуслышание: «Давайте не топтаться на месте, есть возможности искать, есть надежда найти новое, насущно нужное всем нам!» Может быть, шире станет круг моих товарищей, меньше придётся действовать ощупью...

Я не мог уехать, не простившись с Валентиной Павловной. Я выбрал время, когда дома должен быть Ващенко. Оставаться с глазу на глаз с нею мне было всё страшнее и страшнее: сидишь всегда напряжённо, чувствуешь её отчаянное напряжение, каждую секунду ждёшь, что вот-вот вырвутся роковые слова, а уж если они вырвутся, то всё полетит вверх тормашками — семья, работа, Ващенко!..

Ващенко весело встретил меня:

— А-а, милости просим! Мы только что о вас вспоминали.

Я сообщил, что уезжаю в город. Меня усадили за стол, началось традиционное чаепитие с незначительными застольными разговорами. Валентина Павловна, как всегда последнее время, была замкнута, разливала чай, не глядела в мою сторону.

— У нас тоже новости, — произнесла она наконец безразлично.

И холодное безразличие в её голосе заставило меня насторожиться: что за новости, из приятных ли?

— Пётр хлопочет, чтоб его перевели в другой район.

— Как? — обернулся я к Ващенко. — Вы переезжаете в другой район?

— Куда там! — отмахнулся Ващенко. — Разве отпустят? В Никольниках не могут подыскать первого секретаря. Вот и прошусь туда.

— Что ж, у нас вам плохо?

— Мне-то не плохо, а вот за Валю опасаясь. Она человек городской, никак не приживётся на благословенной почве села Загарья. Никольники же, считай, пригород. До города всего час на автобусе. Валя и работу сможет найти в городе, и круг знакомых у неё там свой. А то посмотрите, как она выглядит. Трешинов советовал переменить обстановку...

— Теперь от него только и слышишь: в город, в город! Как у чеховских трёх сестёр — в Москву! — вставила Валентина Павловна.

— Э, да что говорить! Меня не отпустят отсюда. Выгодно ли обкому в одном месте вырезать, чтоб другое латать? Ты бы хотя на время переменяла обстановку, Валя. Вот, Андрей Васильевич, посылаю её вместо себя на курорт — не едет.

— Здесь заниматься бездельем или в другом месте — разница не велика, — нехотя ответила Валентина Павловна.

Ващенко огорчённо поглядел на неё:

— Ну что мне с тобой делать? Съездила в город хотя бы, встряхнулась. Сколько лет здесь безвыездно сидишь, кроме Андрея Васильевича, у тебя даже знакомых

нет. А в самом деле, съезди в город. Вместе бы с Андреем Васильевичем и отправилась. Остановиться можно у Натальи Павловны или в гостинице... В гостинице чувствовала бы себя менее связано. Я позвоню в обком, помогут достать номер. Поезжай...

Я увидел, как при этих словах Валентина Павловна побледнела и поспешно наклонилась к столу, чтобы спрятать лицо. Только после этого понял и я, какие последствия скрываются за заботливыми словами мужа. Ващенко предлагает Валентине Павловне ехать в город, нам вместе ехать, одним, с глазу на глаз!

— Нет, нет, — поспешно возразила Валентина Павловна, не поднимая лица. — Не выдумывай, никуда не поеду.

Я молчал.

— А почему? Что за упрямый человек! Навестишь знакомых, сходишь в театр. Там московские артисты приехали. Ты же недавно говорила, что тебе хочется побывать в театре, быть нарядной, потолкаться в фойе...

— Хочу. Едем вместе...

— Но ты же понимаешь, что я не могу так сразу сорваться, бросить работу ради увеселительной поездки в город. Смешно же, право...

— Значит, и говорить не о чем. Не поеду, не упрасивай.

Я молчал.

— Но почему? Почему? Оторвись на недельку, на две от Загаря.

— Не поеду.

— Андрей Васильевич, вы-то что молчите? Скажите ей, что нужно ехать.

Я молчал.

— Как, Андрей Васильевич, — вызываясь обратилась ко мне Валентина Павловна, — ехать мне или нет?

Я проглотил застрявший в гортани комочек:

— Решайте сами.

— А если решу?

— Буду рад... быть вашим попутчиком.

— И всё-таки не поеду. — Лицо Валентины Павловны сразу стало усталым.

Ващенко расстроено развёл руками.

— Вольному воля...

Рано утром попутный грузовик, подбрасывая в кузове меня и мой чемодан, подрулил к станции.

Наша станция была грязной, голой, с приземистой рыжей водонапорной башней, несколькими станционными зданиями на отшибе и бревенчатым вокзалом, внутри которого и зимой и летом одинаково крепко пахло хлорной известью.

Как и всякий добропорядочный пассажир, желающий скорее получить билет, я перемахнул вместе с чемоданом и плащом через борт кузова, бросился к тёмным дверям вокзала.

— Андрей Васильевич! — раздался за моей спиной голос, от которого у меня сразу обмякли ноги.

Я обернулся. По влажному, слежавшемуся за ночь песку дорожки твёрдо ступали маленькие тупоносые туфли. Вскинув подбородок, грудью вперёд, чёрный берет воинственно держится на светлых волосах, на лице детски наивное, решительное выражение, приближалась она.

— Вы? Здесь?

— Еду, — сухо ответила она.

— Вы же...

— Хотите сказать, не хотела? Неправда, хотела. Вы это знаете. Хотела, вот и поехала... с вами.

— А я думал...

— И сейчас, наверное, думаете: муж уговорил. Нет. Сама напросилась.

— Я сейчас. Я за билетом... Я быстро...

— Не суетитесь. Вот билеты. Два — для меня и для вас.

Я опустил на землю чемодан, выдохнул:

— Хорошо.

— Не знаю, хорошо ли. Скорей всего, плохо... Да отойдёмте в сторону, до поезда ещё долго.

Мы уселись на скамью за вокзалом.

Вокруг был разбит скверик, худосочный, казённый, с тощими деревцами, объединёнными козами. Но было раннее утро, мокрую от росы, истоптанную траву пересекали длинные свежие тени, прыгали, кричали, перелетали с места на место воробьи. Жалкий кусочек земли в эту минуту был красив, по-своему радостно встречал наступление ясного летнего дня.

Валентина Павловна, сложив руки с сумочкой на коленях, сидела прямо, напряжённо вздёргнув вверх плечи, как по-праздничному принаряженный деревенский парень перед объективом фотоаппарата. Её лицо с тонким, мягким профилем упрямо было направлено в сторону, край берета заносчиво заломлен над гладким лбом.

— Что ж вы молчите? — почти враждебно произнесла она, не поворачивая головы. — Скажите что-нибудь, обругайте хотя бы. — Она резко повернулась, взглянула тёмным, тяжёлым взглядом, и этот взгляд дрогнул, заблестели слёзы, её рука, холодная и влажная, словно вымоченная в росе, опустилась на мою руку. — Я не могла... Не могла не поехать... Пусть валится всё в тартарары!

К водопроводной колонке, водружённой на выщербленный кирпичный фундамент, подошёл парень с заспанным лицом, открутил кран, скинул со свалившихся волос на землю фуражку и поставил под сверкающую струю воды тяжёлые ладони. Оплеснул лицо, напился из пригоршни, довольно крякнул, дружелюбно взглянул на нас и весело сообщил:

— Вот как мы. По-солдатски: в родничке моемся, шапкой утираемся.

И он действительно утёрся изнанкой своей фуражки, довольный, освежённый, потерявший сонливость, бодренько враскачку двинулся прочь.

Он не знал нас, а мы не знали его. Мы оторвались от Загарья, где первый встречный обратил бы на нас внимание. Мы теперь в другом мире, где не надо было притворяться. Валентина Павловна улыбалась, а в её глазах всё ещё стояли слёзы.

5

Мы попали в купированный вагон. Пассажирам дальнего следования не было никакого дела до двух чужаков, появившихся после безвестной станциوشки.

Мы стояли в коридоре возле приоткрытого окна. Стояли и молчали. Мы привыкли или молчать, или говорить о постороннем, несущественном. Мы слишком долго скрывали от себя всё, что думали, мы даже боялись думать, и этот страх не мог исчезнуть сразу.

Ровный ветер, врывавшийся на ходу поезда в открытое окно, шевелил ей волосы. Её лицо было рядом, ничто теперь не мешало мне вглядываться в него, а я не решался, глазел старательно в окно.

А мимо вагонного окна не спеша, с какой-то величавой солидностью разворачивалась перед нами земля, вся свежо-зелёная, в не выгоревшей на солнце траве, в невыколосившихся хлебах, ещё не утратившая до конца недавней весенней яркости. Телеграфные столбы, провода от них, то спадающие вниз, то круто взлетающие вверх, неподвижная листва перелесков, вороньи стаи, крыши деревенек, колокольни стареньких церквей, далёкие трубы каких-то заводов, дороги с железнодорожными шлагбаумами, стоящие перед ними в терпеливой дремоте колхозные лошади. Мимо нас проходили стороной большие села, схожие с нашим селом Загарье и не похожие на него. Сёла, где шла своя жизнь, где свои Андреи Бирюковы и Валентины Ващенко, чему-то радовались, чем-то были недовольны, чего-то добивались, за что-то воевали, влюблялись друг в друга, боясь людского осуждения, скрывали это или же, пренебрегая всем, открыто сходились.

Обжитая зелёная земля! Крыши домов разбросаны на ней. Под каждой крышей свои человеческие судьбы, простые и бесхитростные, путанные и трудные. Попробуйте, люди, осудите меня за это счастье, что стою рядом с женщиной, которая по закону не принадлежит мне, попробуйте это счастье назвать порочным! Я отвечаю, что порочного счастья вообще не существует, его выдумали завистники, те, кто перестал понимать одну простую истину, что снисходительность так же нужна, как и непримиримость, лишь бы то и другое употреблялось к месту и вовремя.

Незаметно её плечо прислонилось к моему, растрёпанные ветром волосы почти задевали моё лицо. Светлые и лёгкие волосы, такие же светлые и такие же лёгкие, как у моей дочери. Я боялся пошевелиться, ощущая её тепло, её кровь, поддерживающую беспокойную жизнь, кому-то безразличную, мне дорогую.

Стояли у окна долго, пока Валентина Павловна не сказала:

— Я устала...

— Сядем.

Мы уселись на откидные сиденья. Сидели, опять же молча встречались глазами, смущённо отводили их в сторону. Но я уже стал смелее, я теперь с осторожностью стал всматриваться в её лицо, не испытывая при этом чувства преступности. И она выдерживала мои взгляды, не краснела.

Её лицо с опущенными веками, её лицо, серьёзное, собранное, обманчиво спокойное, оно то обливалось ярким солнцем, то попадало в тень, то на нём трепетали прохладные отсветы листвы проносящихся мимо вплотную придвинутых к насыпи весёлых рожиц и перелесков. Обременённая зеленью земля, щедро заполненная солнечным светом, земля утренняя, земля свежая, — я её словно читал сейчас на лице Вали.

— Славное утро, — произнёс я.

— Славное, — с готовностью согласилась она.

И мы опять молчали.

А поезд шёл, стоял на станциях, задерживался на полустанках, снова шёл, открывая перед нами всё новые и новые просторы обжитой земли с полями, речками, лесами, лугами, крышами деревенек. Мимо, задевая и не замечая нас, ходили проводники и пассажиры. Мы сидели, не думая ни о том, что осталось за нашими спинами, в селе Загарье, ни о том, что ждёт нас впереди, в городе...

За окном городской гостиницы начиналось новое утро — бодряще-синее. Улица, кусок сквера в сочной зелени со скамейками и песчаными дорожками, непотушенные фонари, болезненно бледные в свете утра, усталые... Ни одного человека, ни единой живой души — пустынные тротуары, пустынная проезжая часть с чёткими квадратами пешеходной тропинки, подслеповато отсвечивающие окна, наглухо закрытые двери парадных, ненужные, кричащие вывески магазинов. И в этом пустом, безжизненном городе с утомлённо горящими бледными фонарями звонко пели птицы. Город без жителей, вымерший город — и голоса невидимых, казалось тоже несуществующих, птиц! И красиво и немного страшно... Мы одни, нас забыли...

Мы сидели обнявшись. У неё были растрёпанные волосы, осунувшееся, милое, скорбное лицо.

Неуверенный свет, вливающийся в окно, сообщал, что возвращается день. Даже пустынность города не могла уже ни обмануть, ни успокоить. День возвращается, вместе с ним возвращается и жизнь, хочешь не хочешь, а приходится заглядывать вперёд. Уже проскакивают досадные мысли, что скоро надо возвращаться в свой номер, проходить мимо дремлющей на диванчике в сумрачном холле дежурной по этажу, выносить её пытливый и осуждающий взгляд. День, другой, несколько таких вот ни на что не похожих ночей, а потом... Загарье, Ващенко, Тоня, Наташка, падкие на новости соседи. Докажи, что иначе и быть не могло, что всё это, случившееся сейчас,

так же неизбежно, так же непредотвратимо, как после ночной темноты неизбежно наступают вот это утро.

Счастье было минутное, часовое, недолговечное. Какое же счастье, когда оно делает несчастливыми других людей, вовсе не безразличных нам обоим!

У Вали скорбное лицо...

Поют, пересвистываются невидимые птицы в пустом городе с бледными фонарями.

Валя поднимается, глядит, не отрываясь, в окно, произносит:

— Не будем думать о будущем.

И я впервые в своей жизни согласился, что да, не надо думать о будущем. Лучше не заглядывать вперёд.

6

Но от будущего никуда не убежишь, оно само идёт навстречу.

Наступил день, и мне нужно было заняться делами.

Валя заявила:

— Я не могу с тобой расстаться... Не могу быть одна. Можно, вместе с тобой поеду в институт?

И мы поехали.

Знакомый конференц-зал. На возвышении длинный стол, академически солидный, накрытый зелёным сукном, по стенам портреты: Ян Амос Коменский, Ушинский, Макаренко... Шесть с лишним лет тому назад я ещё сидел в этом зале среди других студентов. Ничего не изменилось с тех пор, ровным счётом ничего. Тот же стол, те же портреты, наверно, даже графин на столе тот же самый, много-много раз испытывавший на себе удары председательского карандаша, водворяющего приличествующую этому заведению тишину и благопристойность.

Шесть лет! За это время у меня появились седые волосы на голове, родилась и выросла дочка, многие из моих учеников окончили школу. В это время для меня рухнули и разбились вдребезги некоторые авторитеты, по-иному я стал мыслить, по-иному глядеть на жизнь и на самого себя. Здесь же всё по-старому, в этих стенах время остановилось.

Так же, как в мои студенческие годы, к столу, вплотную к председательскому графину, вышел профессор Никшаев. Он по-прежнему внушительно сед, по-прежнему в складках мягкого старческого рта таится снисходительная загадочная улыбка.

Сегодня в том институте, который меня выпустил в жизнь, будет проходить учёный совет в присутствии городского учительского актива: директоров школ, работников роно и облоно; будто бы пришли даже представители из облисполкома.

Этот учёный совет посвящён проблемам ведения урока в школе. Сперва выступит профессор Краковский, второе выступление моё. Пока я сижу в зале рядом с Валей и сжимаю в потной руке туго скрученную тетрадь с тезисами моего доклада.

Профессор Краковский выходит на трибуну. Он мужиковат на вид, лысая голова ушла в широченные плечи, массивный подбородок подпирает узел галстука, кисти рук лопатами. Никшаев и Краковский — два педагогических столпа в нашей области, оба с незапамятных времён преподают в институте: один заведует кафедрой методики преподавания, другой считается специалистом по вопросам дидактики.

Они преподавали и мне. Без сомнения, каждый из них вложил в мою голову какие-то знания, чему-то научил, но я никогда не вспоминал ни об их лекциях, ни о них самих. Ни разу не случилось, чтоб я вдруг спохватился: а ведь верно, это ещё говорили в своё время Краковский или Никшаев!.. Я даже и не вспомнил бы об их существовании, если б они сейчас мне не напомнили о себе, появившись в знакомой обстановке, за знакомым мне столом.

Краковский привычно упёрся толстыми и короткими руками в борта кафедры, нацелился обширной лысиной в зал и заговорил суровым гулким голосом. И с первых же слов я понял: уже знаю, что он скажет дальше. Он и во время моего студенчества, так же устрашающе уставив на слушателей свою лысину, вещал на ту же тему. А тема не очень-то глубокая: утомляемость учеников на уроках и методы борьбы с ней.

— М-мы нив-велируем состав учащихся! — гремел Краковский. — Семилетних детей, только что севших за парты первого класса, и семнадцатилетних юношей и девушек, стоящих на пороге самостоятельной жизни, мы одинаково заставляем отсиживать сорок пять минут без перерыва. Академический час для нас остаётся чем-то вроде языческого табу. Академический час неприкосновенен! Мы боимся поднять на него руку!..

А Никшаев, конечно, улыбается. О нет, он не сторонник взглядов Краковского. Он терпеливо и скромно ждёт своей минуты. Он будет говорить мягко, вкрадчиво, с язвительной иронией, суровость и напористость не его черта. Он, профессор Никшаев, очень давно пришёл к выводу, что утомляемость учеников на уроках — очень важная проблема, но его уважаемый коллега, профессор Краковский, к её решению подходит сугубо механически, предлагая урезать уроки, вводит тем самым страшную путаницу. Проще разбивать уроки на двухминутные перерывы. В первых и во вторых классах во время урока можно делать три таких перерыва, в третьих и в четвёртых — два и т. д. и т. и.

В своё время я смотрел на этих профессоров, как и подобает смотреть студенту на научные светила первой величины, верил, что каждое их слово содержит недоступную мне премудрость. Теперь же слушал и удивлялся. Из месяца в месяц, из года в год два учёных мужа ведут между собой войну. Со стороны может показаться, что это поединки великанов. На самом же деле дерутся лилипуты, их проблема так же важна для жизни, как спор, с какого конца разбивать яйцо. Можно утомить не за сорок пять, не за двадцать минут, а за десять, можно и два часа без всяких перерывов преподавать так, что ученики не захотят уходить с урока. Не может быть вопроса: сколько времени преподавать? Есть вопрос: как преподавать?

А Валя, родной мне человек, слушает с видом примерной ученицы: вытянула шею, подалась вперёд. Её подкупает вид Краковского, его суровый голос, его поза неуступ-

чивого воина, он для неё ниспровергатель основ. Она думает, что он прокладывает мне дорогу, мне, ещё неопытному в крупных схватках, ещё не крепко стоящему на ногах. По неосведомлённости и простоте душевной Валя видит в нём друга.

И только для того, чтобы разрушить это впечатление, я сказал:

— Руки чешутся...

— На кого? — спросила она.

— Да вот на этого корифея, — кивнул я на Краковского. — Так и хочется ударить.

С минуту она недоуменно мигала светлыми ресницами, потом отвернулась, и с новым вниманием, с новым выражением на лице принялась слушать.

В это время сзади меня негромко окликнули:

— Андрей... Бирюков...

Я оглянулся. В проходе стоял Павел Столбцов в светлом костюме, широкий, внушительно серьёзный. Он многозначительно кивнул мне: «Выйди сюда». Я поднялся.

Взяв за локоть, мягко поскрипывая ботинками, он повёл меня из зала в комнату, которая во время моей учёбы в институте называлась «профессорской».

— Ты когда приехал?

— Вчера.

— Почему не позвонил вечером или утром? Нам надо было встретиться, обсудить.

— Не смог, Павел, — ответил я, пряча глаза, боясь одного, чтоб не спросил, что за женщина сидит рядом со мной.

Но Павел был озабочен: он, хмурясь, закурил, бросил спичку, заговорил торопливо:

— Положение сложное. Старики дружно, в один голос возражают против тезисов, которые ты представил в облоно.

— Кто эти старики?

— Никшаев и Краковский. В один голос...

— Так и должно быть. Тут-то они споются.

— Но ты понимаешь, чем это пахнет?

— Наверно, порохом.

— Пахнет не порохом, а сырой землёй. Чихнуть не успеешь, как все твои высокие идеи закопают в глубокую могилу.

Павел глядел на меня серьёзно, с осуждением.

— Ну и что же ты предлагаешь?

— Я телефон оборвал, разыскивая тебя утром. Всю гостиницу на ноги поднял. Знаю уже, в сто двенадцатом номере остановился. Но нет и нет — испарился...

— Вышел, значит, прогуляться.

— Хороша прогулочка! Надо было тебе встретиться со стариками, кого-нибудь из них перетянуть на свою сторону, сообщить, что я-де ваш ученик. Именно на учеников-то они и клюют. Иметь подающего надежды ученика для таких старцев что-то вроде наградного листа.

— То есть примите под крылышко за-ради Христа. Но ведь такой Краковский или тот же Никшаев под крылышко из-за одной только старческой филантропии не примут, плату возьмут, заставят под свой голос петь.

— Слушай, не время играть в благородство. Тебе нужен крепкий локоть, так уж не гнушайся, кое в чём иди и на уступки. Донкихотство не к месту, коли твоё дело грозит обрушиться.

— Всё равно на хребте старика Краковского к истине не подъедешь.

— Не нравится Краковский, иди к Никшаеву.

— Чем этот лучше?

— Уж не собираешься ли с ними копы скрестить?

— Не хотелось бы, но если выхода не будет...

— Тоже мне рыцарь! Заранее могу расписать, как тебе шею свернут. Краковский и Никшаев лишь намекнут, что облоно вытаскивает на свет божий фантастические проекты. А наше облоно не Олимп, в нём сидят смертные люди. Они, конечно, испугаются, что обком или облисполком намылит им шеи, и, поверь, быстренько отмежуются от тебя, осудят со всей строгостью, дадут сигнал в район, а там уж тебя... Я знаю вашу заведующую, эту бабу-ягу Коковину. Она за тебя грудь не станет. Посыплется перья.

— Я затем и приехал сюда, чтобы доказывать — планы не фантастические. Буду огрызаться, буду втолковывать...

— И веришь, что тебе удастся доказать?

— Не верил бы, так сидел бы себе спокойно дома. Буду верить, пока...

— Пока костями не ляжешь? Не мальчишествоуй.

— Костями так костями, не я первый, не я последний. Да ты-то на что? Раз взялся за гуж, не говори, что не дюж. Помогай, вместе-то легче пробить.

— Мне быстрее твоего когти остригут. Кто тебя вытащил? Кто рекомендовал? А ведь я представитель облоно, должен защищать интересы своей организации.

— Во-от как! Драка ещё не началась, а ты уж оглядываешься, за какой куст бежать?

— Не горячись, а слушай, как исправить положение. Сейчас на трибуне Краковский. Никшаев слушает, и ему не терпится потоптаться на оппоненте. В перерыв я све-ду тебя с Никшаевым, он будет рад помощнику, который помог бы лягнуть Краковского. Только в этом твоё спасение. Пойми...

Павел стоит передо мной, широко расставив ноги на паркете. В эту минуту его раздражение сменилось властной решительностью, брови туго сошлись над переносицей, лицо приобрело прежнюю твёрдость, в уголках красивого рта ощущается что-то жестокое. О нет, он не рубаха-парень!..

Я понял: ни о чём не договоримся, — повернулся и пошёл прочь. Павел не остановил, не окликнул, проводил меня тяжёлым молчанием.

Я шёл по длинному проходу посреди зала. По ту и по другую сторону от меня сидели люди, устремившие лица к трибуне, с которой бросал сердитые фразы Краковский. Я шёл и в эти самые секунды думал: если уж Павел оказался не тот, на кого можно

рассчитывать, то от кого мне ещё ждать помощи? Нет в этом зале у меня товарища, я одинок. Единственный друг — слабая женщина, случайный человек среди этих людей. Только она будет мне сочувствовать. Провал! Никакими силами я его не предотвращу.

И я испытал запоздалое раскаяние. А может, прав Столбцов? Может, следовало бы расколоть этих двух апостолов? Пришлось бы заигрывать, льстить, подлаживаться — неприятно, но другого-то выхода нет. Не ради же себя подлаживаться, ради дела, ради школы, ради учеников...

Я сел на своё место рядом с Вале́й.

— Что случилось? Что тебе сказал Павел? — спросила она шёпотом.

— Предложил сделку.

— С кем?

— Да хотя бы вон с ним, — я кивнул на разглагольствующего Краковского.

— А ты?..

— А я не согласился.

Валя молчала, пристально приглядываясь ко мне, наконец снова спросила:

— Уж не жалеешь ли?

— Затопчут они наше дело.

— А если пойдёшь на сделку?

— Бросят кость, не больше.

И мне стало стыдно за минутную слабость. Я незаметно нашёл её руку и молча с благодарностью пожал. Я должен подпевать, я должен угождать, я волей-неволей стану сдавать позиции — это ли не топтать самого себя!

7

Перерыв. Я мог бы пройтись по коридорам, заглянуть в аудитории: как-никак в этих стенах прошло пять лет моей молодости. Но мне сейчас не до этого. После перерыва мне выходить на кафедру.

Вокруг меня толпятся люди, разговаривают, курят, никто не замечает меня, никто из них не догадывается, что через несколько минут я предстану перед ними. Они будут меня слушать, они будут меня судить. Кто-то из них, наверное, попытается меня защищать. Должен же кто-то понять меня, поверить мне, поддержать. Найдутся же и здесь друзья. Кто они? Может, вон тот добродушно-толстый, с проницательно умным взглядом из-под очков, а может, эта молодая миловидная учительница или её собеседница — пожилая, озабоченная, с близоруким прищуром добрых глаз. Или, быть может, этот старичок, беспокойно о чём-то толкующий в кучке людей, энергично встряхивающий своей стриженной головой. У него какой-то сугубо провинциальный вид: узкий, жмуций в подмышках костюмчик, на жилистой шее неуклюжим узлом завязан галстук, руки грубые, с обкуренными пальцами. Как узнать, кто из них поймёт меня, а кто не сумеет, не захочет понять?..

Я, прислонившись спиной к стене, жадно курю. Рядом со мной стоит Валя, молчаливая, подавленная, доверчиво-беспомощная. Время от времени она робко вскидывает на меня глаза, и я чувствую, как она волнуется.

И когда она глядит так, с волнением, я начинаю недоумевать. Именно сегодня, сейчас, после того как из окна гостиницы мы глядели на спящий пустынный город с устало горящими фонарями, с пением невидимых птиц, мы волнуемся предстоящему докладу, возможному разгрому. Да так ли это всё важно! Неужели важнее того, что она рядом со мной, что я могу на неё глядеть, до неё дотронуться, могу даже увести отсюда и остаться с нею с глазу на глаз! Кто мне здесь это запретит?

Взять бы сейчас её за локоть, вывести из этого заполненного людьми, накуренного коридора, пойти на вокзал, сесть в поезд и... уехать, но не в Загарье, а куда-нибудь далеко-далеко от родных, от знакомых, от дел, от замыслов, от докладов, от всех забот. Куда-нибудь... Не задумываться бы о будущем, не терзать себя разными проблемами, не портить кровь диспутами и ожесточёнными спорами, жить бы ради маленьких наслаждений, радоваться бы ручьям весной, новизне и свежести первой пороши глубокой осенью, цветам в собственном палисаднике, радоваться жизни и любить эту женщину, такую беззащитную, такую беспомощную, по сути, одинокую в этом мире. Любить бы!.. Одарить её не роскошью, не богатыми нарядами, не сверкающими хоротами, а простым человеческим покоем, испытывать счастье оттого, что она тоже отвечает тебе преданной любовью. И почему-то сразу же представилась картина: сад перед домом, жёлтые цветы, мокрые от дождя, серое, покойное-покойное, ровное небо, и под этим небом, среди мокрой зелени, среди цветов — она, со склонённым лицом идёт мне навстречу, мягко ступая по влажному песку маленькими крепкими ногами, центр этого спокойного, уютного уголка с его зеленью и серым небом...

Передо мной вырос Павел Столбцов, стал напротив, выставив грудь, разделённую галстуком, бросил полувопросительный, полунастороженный взгляд на Вале́ю и, сразу же выразив на лице полнейшее бесстрашие, проговорил:

— Тебя ждёт Никшаев на пару слов, если, разумеется, ты согласишься удостоить его вниманием.

— Это его желание или твоё? — спросил я.

— Моё желание, — ответил он твёрдо.

— Не буду встречаться.

Павел молча кивнул, повернулся и пошёл прочь. В его пухлой и широкой спине, в его решительно размашистой походке я уловил оскорблённое достоинство и презрение ко мне. Этот не окажется в числе моих друзей.

Зазвенел звонок, как звонил он когда-то, созывая на лекции. Теперь он сообщал, что перерыв окончен, все должны пройти в зал, занять свои места.

— Ну, — Валя взяла меня за руку, заглянула в глаза, — иди. Я сяду поближе. Не волнуйся.

— Постараюсь.

— Иди же...

Я взошёл на кафедру. Лица, лица, лица из просторного, полутёмного зала, обращённые ко мне. Все до единого внимательны, но их внимание кажется мне суровым, отчуждённым, убийственно бесстрастным. Все они для меня похожи друг на друга. Я перебегаю взглядом с одного лица на другое, я лихорадочно ищу лицо Вали. Мне надо её видеть, если я не найду её, то, кажется, не смогу начать, не смогу произнести и двух слов. Где же она? Сколько лиц! В каком ряду сидит?.. Я же видел, как она вошла в зал...

И я наконец нахожу её. Она совсем близко, во втором ряду, серьёзно, напряжённо смотрит на меня. Она смотрит, и под её взглядом я не могу сфальшивить.

Должно быть, я слишком долго стоял на трибуне молча, вглядываясь в рассыпанные передо мной лица. Зал начал шевелиться, кашлять.

Я заговорил о лилипутской борьбе, о никчёмной суете, возведённой в степень научного спора, о том, что не может быть утомительных уроков, если преподавать увлекательно.

Заговорил о том, что мы часто с преступным равнодушием миримся с застоём в своём деле или же для очистки совести начинаем заниматься такой вот мелочной борьбой...

Зал перестал шевелиться и кашлять, зал притаился. Со второго ряда следили за мной глаза Вали.

8

Со своего председательского места поднялся Никшаев, с привычной свободой окинул зал, мягким голосом произнёс:

— Что ж, товарищи, приступим без излишних разглагольствований к обсуждению. Здесь уже есть записавшиеся... Минуточку. — Он надел очки, заглянул в бумажку. — Так... Просил слова товарищ Лещев, директор школы-семилетки из Голубянского района. Прошу вас, товарищ Лещев.

Суетливой походочкой, беспокойно вертя стриженной головой, прошёл по проходу старичок, на которого я обратил внимание во время перерыва. Кто он, противник или сторонник, этот первый из выступающих по моему докладу?

Старичок водрузил на нос очки, вытряхнул из старого портфеля бумаги на кафедру и заговорил:

— Мне бы очень хотелось услышать от наших уважаемых профессоров: знали ли они о существовании тех нерешённых проблем до того, как о них рассказал Бирюков? Я всего-навсего сельский педагог, но и я постоянно сталкивался со всеми без исключения перечисленными вопросами. Подчас эти столкновения были довольно болезненны. А казалось бы, уж профессорам и карты в руки, должны бы знать. Только почему-то до сей поры они молчали об этом...

Я начинал понимать, что говорит друг, и, кажется, довольно активный, от которого должно влететь Краковскому и Никшаеву. А старичок продолжал бойкой скороговорочкой:

— На этом высоком учёном совете я человек случайный. Оказался вот в командировке, пригласили послушать, ума набраться. Я слушал товарища Краковского, и вертелась у меня в голове эдакая беспардонная мыслишка, которой не могу не поделиться. Очень уж жалеет нас, простых учителей, профессор Краковский: трудно-де работать учителям, утомляются у них на уроках ученики, а отсюда и в дисциплине разлад, и успеваемость низкая. Я слушал, и мне, признаюсь, было совестно, что меня так жалеют. Не стою я такой высокой жалости, если у меня на уроках скучно, если моим ученикам трудно высидеть положенное время...

Я слушал язвительный голос старика, глядел на его узкие плечи, на его стриженный затылок и думал: «Лещев, Лещев... Где же я слышал эту фамилию? Что-то знакомая...»

Склонив голову, в каменно-неподвижной позе сидел рядом со мной Краковский. Никшаев, навалившись на стол, слушал с блуждавшей на губах загадочной улыбкой. Они оба спокойны; им, видать, не впервой выслушивать упрёки, знают, как держаться в таких случаях.

Лещев сошёл с кафедры, и Никшаев предоставил слово новому выступающему:

— Товарищ Столбцов из областного отдела народного образования.

Павел! Он порывистыми, сильными шагами возносит себя на возвышение, уверенно, как-то по-особенному прочно занимает место за кафедрой, окидывает взглядом зал.

Я сижу сбоку от него, мне видна его широкая спина, полная шея, крепкое ухо, часть щеки. Он наверняка чувствует моё соседство, не может не чувствовать мой выжидающий взгляд. И он под этим взглядом спокоен и уверен в себе. Может быть, ему стало стыдно за то, что подговаривал меня на сделку, может, он решил оправдаться передо мной. Так поспешно появился на этой кафедре, держится уверенно. Если он сделает хоть какую-нибудь попытку защитить меня, пусть беспомощную, неуверенную, я снова протяну ему руку, как товарищ товарищу.

Павел начал:

— Товарищи! — И в этом слове сдержанная сила человека, чувствующего собственное достоинство. — В докладе Бирюкова много полезного, много нужного, много тонко подмеченного. Заслуга доклада в том, товарищи, что Бирюков затронул самые сложные, самые болевшие вопросы...

Мне не нравится его начало. Что-то есть каверзное в этих похвалах, не последует ли за ним злое слово «но»?

— ...По простоте душевной некоторые товарищи клюнули на эти весьма положительные качества доклада, не заметив...

Вот оно «но»! Я сижу в стороне, в трёх шагах от Павла. Я, выслушавший от него столько похвал, столько дружеских излияний, уверенный в поддержке, что-то сейчас

услышу от него я?.. Он стоит ко мне почти спиной, и я не могу видеть, краснеет он или нет. Голос его по-прежнему уверенный, звучный, спокойный.

— ...В экспериментах Бирюкова много практически неприемлемого. За каждой, я бы сказал, благородной попыткой что-то сделать чувствуется убогая кустарщина, незнание элементарных основ педагогики. Он, как сами убедились, может хлётко раскритиковать, в иных случаях даже справедливо, но в нащупывании пути по своей, мягко выражаясь, неосведомлённости, Бирюков волей-неволей скатывается на позиции давно осуждённых и раскритикованных методов. То, что он пытается выдать за новаторство, пахнет давно уже выветрившимся из нашей здоровой педагогической среды духом бригадного метода. Я, товарищи, был в школе, где работает Бирюков, подробно ознакомился на месте с его работой, не в пример предыдущему оратору я сужу не по наитию. И те выводы, к которым я пришёл, беру на себя смелость утверждать, не голословные выводы...

Он говорил уверенно, проникновенно, и я видел: зал слушает, ему верят и, по всей вероятности, осуждают выступавшего ранее Лещева, который защищал доклад, не ознакомившись с делом, лишь слепо веря докладчику на слово.

9

Пока я разыскивал Валу, ко мне один за другим подошли три человека. Первый попросил тезисы моего доклада, второй адрес, чтоб можно было впоследствии связаться, третий просто выразил свою признательность.

Этот третий был высокий, с седыми висками и горделивой посадкой головы. Он отрекомендовался директором одной из городских школ. Я его с досадой спросил:

— Вы говорите, я прав. Тогда почему же вы это не сказали там?.. — я кивнул в сторону дверей конференц-зала.

— Видите ли, — спокойно улыбаясь, ответил он, — кроме эмоций, я пока ничего не смог бы предложить. Надеюсь, что ещё выступлю в вашу защиту, но попозднее, с фактами, с собственными наблюдениями. Поверьте, ваш доклад, разбитый и разруганный, не пропал даром. — Помолчал и добавил: — По крайней мере для той школы, в которой я работаю.

Он вежливо со мной простился.

На нижнем этаже у выхода я наконец увидел Валу. Она разговаривала с Лещевым. Морщинистое лицо старика сияло счастливой и смущённой улыбкой.

Валя заметила меня, подалась навстречу:

— Андрей! Иди скорей. Ты знаешь, кто это?

Лещев, повернувшись ко мне, продолжал смущённо и счастливо улыбаться — узкоплечий, в тесном пиджаке, как провинившийся ученик, робко опутивший руки по швам.

Я протянул ему руку:

— Спасибо за поддержку. Вы хорошо выступали.

— Андрей, да это же Лещев! Помнишь, я тебе рассказывала, что переписываюсь с одним учителем? Это он тебе прислал рукопись Ткаченко.

— Ах, вот что! Я все думал: где это слышал вашу фамилию?

— Сколько лет переписывались и ни разу не встречались, — взволнованно говорила Валя. — Я вас точно таким представляла себе. Точно таким!..

— Валентина Павловна подошла сейчас ко мне и спрашивает... Боже ты мой!.. Вы так много для меня в жизни значили!.. Простите, моя старая голова идёт кругом. Не выбраться ли нам поскорее из этих стен на свежий воздух?

Мы вышли на улицу.

Где-то за высокими городскими крышами погромыхивал гром. Улицы были мокры от дождя, мимолётного дождя, которого никто из нас, находившихся в стенах института, не заметил. От городского сада, названного суровым именем старого революционера, погибшего на виселице за попытку убить царя, тянуло влажным запахом цветов.

Заговорили о моём докладе, о выступлении Столбцова.

— Этот Столбцов и меня обхаживал, — сообщил Лещев, — восторгался: «Ах, новатор, ах, у вас все должны учиться, ах, на уроках арифметики вы приносите ведро воды!..»

— Вот как! Значит, это он про вас мне рассказывал, — припомнил я. — Вы заставляли считать учеников, сколько капель в ведре...

— Рассказывал и, наверное, хвалил? — подхватил Лещев.

— Хвалил.

— И это ему не помешало с умным видом толковать: узко, мол, нет обобщений... В этом Столбцове особый стиль проявляется. Я бы его назвал стилем прогрессивного карьеризма. Откапывается какой-нибудь человек со свежими мыслями, поднимается вокруг него шум, а потом под этот шум с расшаркиванием человека топят без угрызений совести и без жалости. Таким Столбцовым нужен только шум, нужна деятельность, и не простая, а благородная. Быстрее заметят, быстрее выдвинут. Столбцов бы с полной охотой и не продавал вас, но не продавать — значит помогать, чем-то поступаться, быть может, идти навстречу неприятностям. А уж тут, пожалуй, вместо того чтобы подниматься, того и гляди загремишь вниз, да ещё с травмами, с увечьями...

Я слушал и вспоминал, как Павел обнимал меня за столом, вспоминал, как он пел проникновенно и растроганно студенческую песню: «Коперник целый век трудился...»

Наш новый знакомый остановился и принялся прощаться. Он рад, очень, очень рад был с нами встретиться, он верит в мою правоту, верит в победу, верит ещё и потому, что на моей стороне Валентина Павловна, а где Валентина Павловна — там справедливость, быть иначе не может! Он жмёт нам руки и вдруг, повернувшись к Вале, подавляя смущение, говорит:

— Валентина Павловна, простите, не могу унести после встречи с вами что-то неясное... — Лещев с беспомощной растерянностью смотрит на меня.

— Вы хотите спросить, — спокойно произносит Валя, — кто мы друг другу?

— Я хочу спросить, не случилось ли у вас, Валентина Павловна, несчастье в жизни? Вашим мужем был, я помню...

— Другой человек. — Лицо у Вали независимое, подчёркнуто горделивое. — Я не собираюсь скрывать от вас: мой муж жив и здоров, но... но я хотела бы, чтобы моим мужем был он. — Валя сдержанно указала на меня взглядом. — Больше ничего не могу добавить, потому что и сама пока ничего не знаю, ни на что не надеюсь.

— Я вас понимаю... Да, да, понимаю... Поверьте... — Лещев снова стал с нами прощаться.

Локоть к локтю мы направились с Валею к гостинице, оба сурово молчащие, оба чуть подавленные этим объяснением.

— Одну минуточку! Одну минуточку! — Нас догонял запыхавшийся Лещев. — Прошу вас на минуточку!..

Простодушное лицо каждой своей морщинкой выражает тревогу, подбежал, схватил одной рукой Валину руку, другой мою, с трудом переводя дыхание, заговорил:

— Поверьте, понимаю вас... Не могу уйти... Вы должны знать: понимаю, отношусь с уважением... Да, да... И желаю... Как глупы слова! Желаю обоим вам счастья... От всей души... Прощайте... Был бы рад, если б когда-нибудь моя помощь пригодилась... Не так-то просто быть полезным тем, кого искренне уважаешь...

Он махнул нам рукой и скрылся за прохожими.

А прохожие не спеша, не обращая на нас внимания, шли мимо, все празднично неторопливые в этот вечер, принаряженные, весёлые, беспечные — редко увидишь озабоченное лицо. Широкие витрины изливали на них яркий свет, в липовой листве горели фонари, шипя скатами по мокрому асфальту, проносились автомашины.

И Валя вдруг прижалась ко мне:

— Я всё-таки счастлива. Какая жизнь, сколько волнений! Я бы хотела, чтоб волнения не кончались.

Она счастлива. Я не мог этого сказать о себе.

Идут по-праздничному принаряженные прохожие, говорят о своём, смеются, наслаждаются освежённым после дождя воздухом...

10

Вечер ещё не кончился, а в гостинице нас ожидал новый сюрприз. Едва мы вошли, как мимо нас к лестнице устремилась странная публика: женщины в накинутых на плечи лёгких плащах и пыльниках, из-под которых раздувались старинные кринолины, мужчины в долгополых сюртуках с зачёсанными бачками; у одного раздвоенная борода, по толстому животу золотая цепь — ни дать ни взять купчина середины прошлого столетия.

— Что это? Маскарад? — удивилась Валя.

Швейцар гостиницы, седой, морщинистый, словоохотливый, как деревенская старуха, ответил:

— Артисты. Из Москвы кино приехали снимать. У нас живут. Тут на втором этаже комната, где их наряжают. Приедут на автобусе и сразу же быстренько туда. Глядишь, выйдут, как все люди. А вон этот у них вроде самый главный.

Швейцар указал на плотного мужчину с подстриженными усиками, тяжёлым, с залысинами лбом и маленькими глазами, запавшими под этот лоб.

Я уже мимоходом видел его в гостинице. Это было сразу же после нашего приезда. Наскоро умывшись, сменив сорочку, я вышел из своего номера, ждал Валу, мерил шагами холл четвёртого этажа. Валя задерживалась. И мне начинало казаться, что она, оставшись наедине в своём номере, одумалась, трезво взвесила последствия, испугалась и не хочет выходить, не хочет больше меня видеть. Я вглядывался в длинный гостиничный коридор с уходящей вглубь ковровой дорожкой, поминутно глядел на часы... В это время прошёл он, приземистый, твёрдо ступающий, с устремлённым вперёд лбом. Я взглянул на его спину, и спина с крутым затылком, покоящимся прямо на широких плечах, показалась мне знакомой. Я поспешно отвернулся, я не хотел никаких знакомых, я мечтал быть среди чужих людей один на один с Валею.

Сейчас он шёл прямо на меня, и я почувствовал, что его глаза пристально вглядываются из-под тяжёлого лба. Походка с развалочкой, крупная голова, лежащая вплотную на плечах, и я узнал его:

— Стремянник! Юрий!

Брови удивлённо поднялись, из-под рыжеватых жёстких усов блеснули белые зубы, он протянул мне руку:

— Кого вижу!

— А помнишь ли?

— Хорошо помню. Андрей... Сколько лет прошло? Десять? Нет, больше... Простите. — Он повернулся к Вале. — Стремянник Юрий Сергеевич, старый знакомый Андрея.

С непринуждённостью столичного человека он взял протянутую Валею руку, склонился, приложил к ней свои жёсткие усы. Валя зарделась. Я, глядевший на неё в селе Загарье, как на воплощение городского изящества и простоты в обращении, сейчас увидел, что она провинциалка, застенчивая, милая провинциалка, не умеющая скрыть смятенной смущённости. А каков тогда я рядом со Стремянником, небрежно одетым в какую-то куртку с накладными карманами, я в своём парадном костюме, купленном два года назад в магазине райпотребсоюза?..

— Как ты? Как живёшь? Впрочем, не отвечай. Поднимемся ко мне в номер, там расскажешь.

В тесном номере с двумя столами — письменным, заваленным бумагами, и круглым, покрытым дешёвой скатертью, — принесли из ресторана полуостывший ужин и бутылку вина. Стремянник заставил меня рассказывать. Он смотрел на меня незнакомым мне тяжёлым, немигающим взглядом, чуть обрюзгший, начинающий лысеть: вид-

но было, по нему крепко проехала жизнь. Я рассказал всё, кроме одного, что Валя не моя жена. Она же, притихшая, с чуть приметным румянцем на щеках, казалось, более красивая, чем обычно, переводила взгляд то на него, то на меня.

— Так, так... — задумчиво произнёс Стремянник. — А я часто вспоминал тебя. Не веришь?

— Не верю.

— Ты вот толковал о своих делах, я в них не разбираюсь, но, если б пришлось выбирать, на чью стать сторону, но задумываясь, стал бы на твою.

— Откуда такое доверие?

— Ушёл из института в пустоту, в неизвестность, просто оторвал себя и ушёл. Не всякий бы сумел так сделать.

— Ты до сих пор этому удивляешься. Не пойму, что тут особенного?

— Особенное. Самому себя осудить, самому себе вынести приговор, привести его в исполнение... Я сейчас ставлю вторую самостоятельную картину. Старика Островского с его разгульными купчишками тащу на экран. До этого снимал на современном материале. Ты учился на художника, можешь себе представить, как приходится искать, даже отчаиваться, пока не найдёшь то, что кажется тебе нужным. Кончил работу, и тут появились наставники, не особенно задумываясь, не страдая, не отчаиваясь, они начали кромсать: не так, невыразительно, перекроить, переделать, плевать нам на твои поиски, на бессонные ночи! Сами они не ломали, не резали, они заставляли ломать и резать автора. Вот в то время я и вспоминал тебя. Я пошёл против себя, против своей совести, а ты бы не пошёл, ты бы бросил работу, ушёл из режиссёров в грузчики. Как мне тебя не вспоминать, когда ты был для меня постоянным укором! Теперь вот прячусь за Островского: авось этот матёрый классик подпортит мой авторитет, уберёжёт от переделок. А мне хотелось бы показать, как сейчас живут люди, чему они радуются, над чем грустят. Хотелось бы помогать им, быть их советчиком, твоим советчиком, её советчиком, советчиком какого-нибудь рабочего. Что мне купцы-кутилы, цыгане, страдающие любовницы прошлого века! Бегу во вчерашний день, вместо того чтобы вглядываться в будущее...

Он сидел, подперев висок кулаком, изучающе смотрел на меня. Я же приглядывался к нему, к его непривычным усам, к его незнакомой усталости в глазах. Встретились два человека, встретились на половине жизни. И у меня и у него ещё мало сделано, и у меня и у него ещё есть впереди время. Оно-то и беспокоит: как прожить? Одинаковое беспокойство у двух разных, ни в чём не похожих по биографии людей.

— Ты не можешь сказать, что получилось из ребят, с которыми я учился? — спросил я.

— А кто тебя интересуется? Помнишь Серёжку Ковалевича?

— Помню. С нашего курса.

— Работает у нас на студии. Толковый художник. Хотел бы, чтоб у меня работал. А Саблина помнишь?

— Не-ет, что-то не припомню.

— Он старше тебя, раньше пришёл в институт. Ушёл из кино, выставляется... У вас, кажется, учился такой Гавриловский?

— У нас. Вроде меня бездарь.

— То-то и оно, что не вроде тебя. Благополучно окончил институт...

— Благополучно?!

— Ну, что значит благополучно? Без высоких баллов, в хвосте, но окончил. В кино тоже не работает. Что-то рисует, в каких-то ходит организаторах, кого-то учит. Встретил как-то — нарядный, видный, отрастил солидную бороду, судит обо всём свысока.

— Считает, наверно, что жизнь удалась прекрасно.

— Наверно. А впрочем, кто знает... И такому, пожалуй, тоже постоянно хочется большего: больших заработков, большего авторитета...

Я жадно вслушивался в каждое слово Стремянника. Моё прошлое! Я не старик, в моём возрасте прошлому не отдаются целиком. Когда думают и говорят о том, как жил, что делал, то всегда взвешивают, что ещё не сделано, как дальше жить. Эти полузабытые мною имена не только пожелтевшие страницы моей биографии, не просто любопытные окаменелости моей жизни. Нет, мне до болезненной страсти хочется знать, как складывалась жизнь у других. Быть может, в их счастье, в их удачах я смогу угадать своё собственное счастье, свои пока ещё не пришедшие ко мне удачи. Но такая удача, как у Гавриловского, не вызывает у меня зависти. Пусть себе живёт и преуспевает.

— У нас училась Эмма Барышева, — спросил я, — помнишь?

— Толстущка такая?

— Да. Как она? Талантливая девчонка.

— Как?.. Вот не скажу. Ничего не слышно о ней.

— О Гавриловском слышно, а о ней нет?

— Наверно, вышла замуж и...

— И?..

— Дети, суeta семейная — канула, случается и такое.

— Случается.

Почему-то тоскливо сжалось сердце. Что мне Эмма Барышева, не близкий человек, даже знакомы постольку-поскольку — приходилось стоять бок о бок за мольбертами, — а меня волнует её судьба. Канула?.. Она забыла свой этюд — туфли под койкой, а я его до сих пор помню: разношенные туфли, чуть покрытые пылью, поблёскивающие в полутьме пряжками, будничные туфли — частица чьей-то простенькой жизни. Канула! Несправедливо!

— Поздно, — спохватился я. — Не пора ли нам, Валя, раскланяться с хозяином?

— Не держу, — согласился Стремянник. — Сегодня встал в семь утра, а завтра надо подниматься в шесть. Едем снимать катание на лодках с цыганами. Только выпьем на прощание. Вряд ли мы ещё встретимся, Андрей. А жаль... За что бы нам выпить?

— Не будем оригинальничать, — ответил я, поднимая свой стакан, — выпьем за то, за что все пьют.

— За здоровье?

— Нет, за успехи.

— За успехи, за то святое время, в которое они произойдут. За твои успехи, Андрей! Жаль, что не встретимся, мы были бы хорошими товарищами... У тебя есть товарищи?

— Есть.

— Много?

— Один и ещё несколько, не считая тех, которые продают.

— Один? Вот за этого одного я и выпью. — Стремянник повернулся к Вале. — Пью за вас.

— Выпейте за моё святое время, — подсказала она. — Я хочу, чтоб оно у меня было не хуже других.

— За ваши удачи. Пусть они придут как можно быстрее!

Мы выпили, простились и ушли.

В номере Валя опять сказала мне задумчиво:

— Всё-таки я счастлива. Очень счастлива!.. Ты этого не поймёшь.

Нет, я не понимал. Мне было жаль её. Она счастлива сейчас, счастлива только минутой. В таком счастье признаются с отчаяния. Мы лишь отмахиваемся от того, что нас ждёт.

11

Мы снова в поезде, снова сидим у окна, снова с прежней солидностью разворачивается перед нами земля: зелёные невыколосившиеся поля, мутная синева далёких лесов, столбы, берёзки, колокольни, крыши, дороги. Только солнце перевалило за полдень, только суше выглядит зелень, нет той утренней свежести, которая была в нашу первую поездку.

Мы молчим, каждый думает об одном — о том, что поезд сделает пятиминутную остановку на маленькой станции, нам придётся там сойти, придётся ехать в Загарье. Мы даже не скрываем друг от друга своей подавленности, голова к голове глядим в окно: поля, дороги, шлагбаумы, крыши.

Почему бы нам не остаться ещё на день-другой в городе, побыть вместе, продолжить, насколько можно, наше непрочное счастье? Нас никто не торопил, никто не требовал срываться с места, не выживал из обжитых номеров гостиницы. Но даже Валя, твердившая о том, что она счастлива, даже она с какой-то боязливой поспешностью стала вдруг собираться в дорогу.

Нам слишком хорошо было вдвоём, и это пугало, тяготило нас, в конце концов не стало сил выносить неверное счастье. Бежать от него, пусть в Загарье, но бежать! Велик белый свет, много в нём разных городов, сёл, деревень, и дорога нам никуда не заказана.

Но мы можем ехать только в Загарье, которое нам сейчас страшнее любой чужбины. Едем туда...

Мы ничего не решили, ничего не придумали, что делать, как поступить, — едем навстречу полной неизвестности. Но мы оба твёрдо знаем, что это не конец, что после этих дней мы не можем уже расстаться чужими друг другу, не можем уже быть и друзьями, какими мы были раньше. Что-то будет!

Стучат колёса, отмечая на рельсах стык за стыком, секунды за секундами, метр за метром ближе Загарье. Телеграфные столбы мимо окна, сверкающий белыми стволами березнячок, залитые солнцем просторы полей, влажная полутьма ельника. Стучат колёса...

У Вали серое, какое-то поблекшее лицо. Я сам чувствую, что отупел от беспокойных, тягостных, ненужных, мыслей. Стараюсь думать о другом — о школе, о работе...

На вокзале перед отходом поезда я купил газету. На третьей странице я наткнулся на большую статью. Она называлась «Совершенствовать учебный процесс в школе», автор — П. Столбцов.

Тут же на вокзальной скамейке, среди чьих-то чужих узлов и чемоданов, прижавшись друг к другу, мы прочитали её.

Нет, эта статья не походила на выступление Павла при обсуждении моего доклада. Начиналась она с высоких рассуждений о подрастающем поколении, о великих задачах воспитания. Дальше шли критические замечания о перегрузке школьников, о непродуктивности уроков. Об этой непродуктивности я, помнится, говорил Павлу, но как он старательно обкатал мои мысли, как постарался сгладить все острые углы! И только после такой подготовки начался разбор моего доклада: «затронуты принципиально верные положения», «сам факт поиска новых путей — явление положительное», но «далёк от совершенства». Никаких резких выпадов по моему адресу, но и достоинства поставлены под вопросом, так себе — лёгкие шлепки и снисходительное поглаживание.

— Как тебе нравится? — спросил я Валу.

Она отобрала у меня газету, скомкала и выбросила в урну.

— Забудем об этом Столбцове, — сказала она.

Я согласился его забыть. Я даже на самом деле забыл его, хотя и знал, что по приезде в Загарье мне напомнят о нём, ещё как напомнят! Но до того ли мне сейчас, есть заботы важнее.

Поезд подходил к нашей станции. Показалась рыжая водонапорная башня, появились станционные здания. Вот и сам вокзал, позади которого находится скверик, где я и Валя ждали поезда, откуда и началось наше путешествие, скверик с чахоточными деревцами и водопроводной колонкой на кирпичном фундаменте.

К поезду прибыли машины. Они ждут у самого перрона: два грузовика, почтовый «газик» и старая, потрёпанная по районному бездорожью райкомовская «Победа». Возле неё, засунув руки в карманы, закусив папиросу, стоит Ващенко, вглядывается из-под полей шляпы в окна вагонов. Мы его заметили одновременно и переглянулись.

Это был наш последний открытый взгляд свободных людей. Через минуту мы уже не имели права глядеть так друг на друга.

Он подошёл к нашему вагону быстрым шагом, с выражением откровенной радости на лице. И в ответ на эту радость Валино лицо ответило спокойной, чуть снисходительной весёлостью. С таким лицом она, наверное, привыкла его встречать из затяжных командировок. Он обнял её и поцеловал, привычно, с родственной озабоченностью, как целует муж жену.

— Как съездила? Всё ли в порядке?

— Потом расскажу. Едем. Устала.

— Здравствуйте, Андрей Васильевич. Как ваши дела? — Он глядел на меня своими маленькими, близко поставленными к переносице глазами. И глаза его были добрые, наивно-голубые, какие обычно бывают у детей и стариков.

Оттого, что я был глубоко виноват, чувствовал себя перед ним преступником, оттого, что он с откровенным дружелюбием глядел на меня, во мне вспыхнуло против него раздражение: что он строит из себя наивного, он, умный, опытный! Ему знакомы житейские каверзы. Лучше бы подозревал: не приходилось бы выносить тогда эту неприличную двусмысленность.

Я ответил ему сдержанно:

— Далеко не всё благополучно.

— Осложнения какие-нибудь?.. Ну, без них не бывает.

Он ещё ничего не знал, сегодняшняя областная газета со статьёй Павла Столбцова прибыла сюда с нашим поездом. Её сейчас отвезут в село, распределят на почте по адресам и лишь завтра утром разнесут по домам.

— Без осложнений не бывает, — повторил Ващенко.

А я, чтоб он не увидел моего неприветливого лица, поспешно нагнулся за чемоданом.

Меня посадили рядом с шофёром, Ващенко и Валя уселись на заднем сиденье. Он имел право сидеть рядом с ней. Мы ещё близко, я ещё слышу её голос, но мы уже растались, она чужая и говорит сейчас чужим голосом.

— Наталью Павловну видела? — спрашивал Ващенко.

— Два раза заходила, — поспешно, без запинки отвечала она. — Никого не видела. К Тетюховым тоже не собралась зайти... Ходила в театр, в кино, была вот на обсуждении доклада Андрея Васильевича. Ты знаешь, кого я там встретила? Лещева!..

Валя боялась вопросов Ващенко, потому была излишне словоохотлива. Она лгала. Мне был неприятен её оживлённый голос, но осуждать её я не мог. Как ей поступать? Если б мы что-то решили, если б знали, что нам делать. Нет никаких решений, нет планов, единственный выход для неё, как это ни неприятно, как ни унижительно, — лгать. Она лжёт и не стыдится передо мной.

Солнце опустилось. Впереди, над колючим лесом, куда поднималась пыльная дорога, на полнеба разлился зелёный закат. В этом прозрачно-зелёном разливе плавала

Венера — крупная бледная звезда. Загарье близко, за лесом начнутся поля, за полями покажутся крыши первых домов.

Я до сих пор не верил, что прошлое можно вернуть. Оказывается, можно, по крайней мере на время.

Когда машина въехала в село, остановилась, я, захватив свой чемодан, простился.

— До свидания, Валентина Павловна.

Опять она для меня не Валя, а Валентина Павловна, опять «вы» в обращении. Всё по-старому.

12

В школе нет занятий, поэтому вставал я поздно, не спеша завтракал, перекидывался за столом равнодушными фразами с Тоней, не спеша шёл в школу.

Всё стало для меня безразлично. Поражение на учёном совете — плевать, предательство Павла — о нём и не вспоминал, а выжидание Коковиной, её молчание, не обещающее ничего хорошего, замыслы Василия Тихоновича, с которыми он носится с прежним упорством, то соболезирующее, то настороженное отношение учителей ко мне после газетной статьи — всё к черту, ни о чём не хочу думать.

Я вспоминал. Вся моя жизнь теперь состояла из воспоминаний тех удивительных дней, которые я провёл вместе с Валей. И чем мельче, чем незначительней события приходили на память, тем больше наслаждения они мне доставляли.

Болезненные наслаждения! Тоня за завтраком мне рассказывала, что младшие сыновья Акиндина Акиндиновича устроили на крыше сарая клетку для голубей. Наташка тоже лазает с ними, а крыша худая, долго ли провалиться... Она говорила, а я глядел на её чужое, знакомое до тоскливого отупения круглое лицо с маленьким жёстким ртом, а сам думал о том, как, набродившись по городу, мы уселись на скамейке. Возле нас ковырялись в песке дети. Валя сидела, опираясь локтями на колени, выставив вперёд плечи, веки у неё опущены, но глаза под светлыми ресницами живут, с затаённой улыбкой следят за играющими детьми. А лицо покойное, разглаженное, ни мысли на нём, ни желания — вся отдалась отдыху, ничего ей больше не надо, достаточно того, что есть: солнца, то скрывающегося, то прячущегося за облаками, лёгкого ветерка, неподвижности, моего тихого соседства. Я тогда мог взять её за руку, почувствовать влажное тепло её ладони, перебрать её тонкие пальцы. Я не сделал этого. Теперь жалею...

А утро в гостинице, пустынный город, усталый свет фонарей, пение птиц в росяной зелени скверика... Мы не испытывали тогда радости, мы были подавлены, нас пугало будущее. И вот это будущее наступило — оно скучно, серо, безрадостно, но вовсе не страшно. Стоило тогда думать о нём, стоило портить счастливейшие минуты! Эх, если б вновь повторилось! Если б опять сидеть перед окном, смотреть на пустынный город, на непотушенные фонари, слушать птиц.

А после того как расстались с Лещевым... Смоченная дождём зелень, асфальт, отражающий огни фонарей, сияющие витрины, праздничная вереница прохожих... Валя мудрей меня, она быстрее почувствовала радость, первая признала её: «Как я счастлива!» — и прислонилась плечом...

Я ещё сомневался в этом, я не решался согласиться с нею. Теперь вспоминай, кусай кулаки — всё, что случилось тогда, неповторимо, прежнее не вернётся. Она прислонилась, тёплая, доверчивая — сейчас я готов кричать от нежности.

Повернуть бы всё обратно, повторить бы сызнова, если б возможно такое чудо — остаться в тех днях, видеть её, слышать её, быть рядом с нею.

Просто не верится, что она сейчас живёт рядом. Десять минут ходьбы — и её дом, её лестница, её дверь! Что стоит пойти туда, подняться по лестнице, открыть дверь и сказать: «Не могу больше! Нельзя жить! Нет сил терпеть эту муку!..» Десять минут самым вялым, самым медленным, самым неуверенным шагом до её дверей. Рядом же! Не за тридевять земель!

Люблю! Но чего-то жду, не осмеливаюсь прийти к ней, сказать, нет, не просто сказать, а потребовать: «Идём со мной!» Потребовать так, чтоб не ослушалась. А Наташка, а семья, а люди, а как глядеть потом в глаза Ващенкову? То-то и оно, не хватает ни сил, ни решимости перешагнуть через всё это.

Так прошло три бесконечных дня, три тяжёлые ночи. Утром четвёртого дня я направился, как всегда, в школу. По улице пропылила райкомовская «Победа». Я не успел заметить, сидит ли в ней Ващенко. Там мог сидеть и Кучин и другой райкомовский работник. Но мог и Ващенко... Машина выскочила на мост, обдала пылью бревенчатые перила и скрылась во Дворцах.

И у меня появилась решимость пойти к Вале, только сейчас, только не откладывая на другой раз.

С тяжело стучащим сердцем я поднялся по лестнице. Вместо страшных слов: «Не могу. Нельзя жить», — я спросил:

— Вы дома?

Она вышла из комнаты в выцветшем халате, непричёсанная, с остановившимся взглядом. Она не бросилась мне навстречу, а стояла, положив руку на горло, и жадно смотрела.

— Вот... Решил зайти... Не мог...

Она опустилась на дощатый диванчик, стоявший в прихожей, я сел рядом с ней. Она припала к моему плечу и заплакала. Я стал гладить её спутанные волосы, вздрагивающие плечи, гладил, что-то говорил, а сам еле сдерживался, чтобы не разрыдаться.

— Что же делать?

— Не знаю.

— Я кругом изолгалась... Я противна себе... Он начинает догадываться...

— Догадываться?.. Может, это к лучшему?

— Он хочет уехать отсюда.

— А ты?.. Ты хочешь уехать?

— Не знаю.

Она плакала, я гладил ей плечи. Ни на что не было ответа.

— Иди, — сказала она, освобождаясь из моих рук.

— Я посижу ещё.

— Зачем? Так хуже.

— Я не могу уйти.

— Нет, иди. Если ты здесь останешься, будет походить на воровство. Я не хочу этого. Ты мне нужен не на день, не на вечер. Иди...

Я покорно ушёл.

А она мне разве нужна на день, на вечер? Тоже на всю жизнь она нужна мне! Я теперь это твёрдо знаю. Нельзя ждать решения со стороны, надо самому решать.

13

Тоня тоже стала замечать, что после поездки в город я очень изменился. Возможно, ей даже кто-то из досужих осведомителей успел что-либо шепнуть на ухо. Она смутно догадывалась, но эта догадка была так страшна для неё, что она не решалась высказать её вслух, только ко мне приглядывалась, иногда пробовала расспрашивать о городе.

— Как там? Весело было? Не один, чай, ездил, было с кем проводить время.

— Весело, — отвечал я скупой. — Ты видишь, какой я весёлый оттуда приехал.

И она умолкала, у неё не было прямых доказательств. Мою угрюмость, моё не-людовое настроение можно объяснить ещё и провалом при обсуждении доклада, предательством Павла, его статьёй в газете.

Я же пытался решить тяжёлый вопрос: оставить мне Тоню, дочь, дом, уйти и начать новую жизнь? Валя ни словом, ни намёком не давала мне понять, что ждёт от меня такого решения, но я знал: ждёт, не может не ждать, не она мне, а я ей должен приказывать, позвать её.

Наташка... По утрам, как и прежде, возле моей подушки появляется её милая рожица. Она всегда встаёт раньше меня. У нас с ней крепкая дружба. Я для неё всемогущий и всеумеющий, и, если у меня есть свободное время, а оно не часто случалось, для Наташки большой праздник. Летом в солнечные дни мы мастерили большого змея — две лучины крест-накрест, крепкая бумага и верёвочный хвост с двумя пу-стыми катушками из-под ниток на конце. Этот змей поднимался выше крыши нашего дома, выше старой берёзы, выше всего в селе, даже выше колокольни старой церкви. Я передавал упругую, гудящую на ветру бечёвку в слабенькие ручонки Наташки, приказывал крепко-накрепко держать и бежать бегом, сам бежал вместе с ней, вместе с ней смеялся и радовался, только что не визжал от восторга вместе с ней.

А в ненастные осенние дни мы с ней читали книги. Она знает всего четыре буквы, из которых складывается её имя, книг же сама читать не умеет, зато умеет их внима-

тельно слушать. Ох, эта милая сосредоточенность и углублённость на детском лице, а её счастливый смех, когда выстроганный из полена Буратино бьёт деревянными кулачками папу Карло по лысине!.. Мы ещё умели с ней вдвоём искать на необитаемом острове спрятанные пиратами сокровища. Для этого нам не надо было уходить из дому, мы могли путешествовать, сидя за столом, склонив головы к большому листу бумаги. На этом листе моя рука рисовала контуры неизвестного всему миру острова с заливами, реками, озёрами, болотами, скалами. Нас двое отважных путешественников, вооружённых ружьями и лодками. Мы плаваем по реке, на нас нападают крокодилы, мы стреляем диких кабанов, разводим костры (они помечаются на листе красным карандашом), жарим свинину. И, конечно, в конце концов мы находим пещеру, где стоят бочки с золотом и сундуки с драгоценными камнями. Мы радуемся и сожалеем. Радуемся, что наше путешествие так удачно окончилось, сожалеем, что оно всё-таки окончилось.

Наташка! Гляжу ли на неё, просто ли вспоминаю — чувствую: нет сил уйти, нет смелости решиться.

Держит меня и непонятная жалость к Тоне. Я её не люблю, мне тяжело на неё глядеть, и всё-таки она мне не посторонний человек.

Держат даже стены дома. Теперь, когда задумываюсь, что придётся расстаться с привычной, годами налаженной жизнью, невольно открываю для себя неприметные до сих пор удобства и прелести. Полки, заставленные книгами. Каждый гвоздь вбит в них с любовным расчётом. Помню, как бегал на промкомбинат, доставал морилку. Тридцатитомное сочинение Горького — первая крупная покупка из моих книг — было для меня праздником. Мой старый рабочий стол с лампой, накрытой вылинявшим абажуром, — мой верный друг, мой молчаливый единомышленник! Сколько вечеров проведено за ним, сколько исписано на нём бумаги, сколько передумано и пережито!..

Но нет минуты, чтобы я не вспоминал о Вале. Жить и постоянно травить себя мыслями о ней — какая же это жизнь? Не могу не слышать её голоса, не могу не видеть её лица. Не могу!

Никогда прежде я не ненавидел Тоню. Без всякого насилия над собой я терпел её общество. Теперь же я её ненавижу за широкие бёдра, туго обтянутые юбкой, за покато опущенные плечи, за всё её тело со знакомыми, надоевшими щедротами, гибкое, сильное, с несоразмерно маленькой головой. Я ненавидел её за то, что она живёт рядом со мною, что нисколько не похожа на ту женщину, которую люблю. Я сдерживаюсь, глубоко прячу свою ненависть, притворяюсь, нет, не любящим — где уж! — а равнодушным. Жить и постоянно скрывать свою ненависть невозможно. Рано или поздно она прорвётся. Я должен решиться. Должен! Но как?

Не люблю! Ненавижу! И жалею!.. Как быть?

В самый разгар таких сомнений пришёл ко мне Василий Горбылев. Он, как обычно, суров, на его ещё больше похудевшем и почерневшем от летнего солнца горбоносом лице выражение упрямой решительности, чёрные в маслянистой влаге глаза из-под жёстких, колючих ресниц глядят на меня требовательно.

Он подсел к столу, положил на белую скатерть тёмную мослаковатую руку, постукал крепкими ногтями, начал без предисловий:

— Только что от Коковиной... — Сделал значительную паузу, настойчиво вглядываясь мне в самые зрачки, ожидая, что я, как бывало раньше, настожусь, буду слушать, боясь пропустить слово.

— Так вот, был у нас с этой милой дамой разговор, подымались друг перед другом на дыбки. Обвиняет тебя кругом: в интриганстве против Степана Артёмовича, в разваливании школьного коллектива, в прожектёрстве...

Василий Тихонович снова замолчал, выжидающе приглядываясь. А я молчал и про себя досадовал: «Эк ведь устался! Обвиняют в интриганстве, в разваливании коллектива. Да хотя бы в убийстве — пусть себе тешатся! У меня душа не резиновый пузырь — сколько ни суй, растягивается и вмещает. Хватит! Сыт! Того, что есть, переварить не сумею. А Василию не расскажешь. Он весь в заботах — усох так, что нос да глаза остались. Разве поймёт?.. Я молчал.

— Не позднее как завтра, в пять часов, — с холодной сдержанностью, по которой я чувствовал — накапливает злость на моё равнодушие, продолжал Василий Тихонович, — собирает Коковина совещание. Цель его — добить тебя, смешать с грязью, со временем освободить из школы. Коковина напугана, что в области её будут упрекать за Степана Артёмовича, за потворство тебе. Ей, как всегда, для собственного спасения нужна жертва. В прошлый раз, спасая себя, она пожертвовала Степаном Артёмовичем, теперь жертвой будешь ты. Слушаешь меня или мечтаешь? Жертвоприношение завтра намечается.

— Ну, слышу. Надоело. Сбежать бы...

— Куда...

— Куда глаза глядят.

— Ты болен?

— Нет, здоров.

— Крылышки с отчаянья опустил... Рано. Нужно драться. Нужно перед всеми вывести Коковину на чистую воду. Учителя должны поверить тебе. Тебе, никому другому! Сейчас самый ответственный момент. Смолчишь, руки опустишь — ставь крест на всём деле. Разуверившись в тебе, учителя перестанут и мне верить. Полетит всё к чертям под хвост. Запомни: завтра в пять! К этому времени, надеюсь, у тебя настроение изменится.

Он встал, долговязый, узкоплечий, с кадыкастой шеей и чёрным, ссохшимся лицом, на котором торчал жёсткий нос. С подозрительным вниманием последний раз окинул меня взглядом, шагнул к двери, но тут же круто повернулся, снова прочно сел на стул.

— Слушай, — произнёс он сурово, — мы с тобой вроде никогда не признавались друг дружке в любви и дружбе...

— А разве нужно?

— Видно, было не нужно, раз молчали. Теперь нужно. Ты доверяешь мне или нет?

— Ну, доверяю. А что такое?

— Без „ну“. Могу я тебя продать, как продал тот твой дружок, которому ты в любви объяснялся? Не отвечай, не сомневаюсь, что веришь мне.

— Что это тебя на объяснения кинуло?

— Потому что ты таишься передо мной. Потому что ты мне не говоришь: что случилось?

— Ничего. Кроме того, что тебе известно.

— Нет, не всё известно. Скажи: это верно, что про тебя говорят по селу?

— Мне не докладывают, что про меня говорят.

— Ты с женой Ващенкова какие-то амуры завёл. Это правда?

Я поднялся, встал перед Василием Тихоновичем грудь в грудь, спросил тихо:

— Кто говорит?

— Пальцем в таких случаях не указывают.

Так вот, если опять услышишь, то пришли ко мне такого шептуна. Пусть попробует повторить. И сам знай, что у всякого есть в душе такие уголки, куда не следует влезать чужими руками.

Василий Тихонович постоял, подёргивая скулой, повернулся, в дверях бросил:

— Завтра в пять...

Дверь захлопнулась за ним.

14

Да, трудно, да, тяжело, не под силу найти решение, но разве это даёт право подводить других? Дело, которому ты решил служить, перестало быть твоим личным делом. Подвести Василия Тихоновича, подвести учителей, которые начинают нам верить, учеников?..

Утром я сел за стол. Сегодня в пять часов вечера совещание, Коковина готовится нападать. Я должен ответить ей.

Она считает моё дело прожектёрством. Хорошо! Но вы, товарищ Коковина, признаёте, что перед нашей школой стоит много нерешённых проблем, или же вы считаете, что во всём гладь и божья благодать, не о чем беспокоиться, не о чем задумываться? Нет, вы признаёте, что есть ещё нерешённые проблемы? Тогда давайте решать. Мои поиски вам не нравятся, мой план вам кажется прожектёрским? Предложите другой. Вы не против, чтобы искать, но вам нужны поиски без ошибок, чтобы истина падала с неба в готовом виде. Вы страшитесь заблуждений. Вы даже не можете указать, в чём мы заблуждаемся. Вы не хотите рисковать. Пусть проблемы останутся проблемами, пусть в жизни будут изъяны, лишь бы соблюдалась видимость благополучия!..

Мне пришлось бороться, а вы эту борьбу подаёте как интриганство.

Вы обвиняете меня в том, что я разваливаю коллектив учителей. А я рад, что старый коллектив дал трещину, что часть учителей стала на мою сторону.

Я писал, забыв на время даже Валю. Я чувствовал в себе прилив энергии, ощущал какое-то пьянящее отчаяние, верил, что из предстоящего сражения выйду победителем. На поведение Коковиной не трудно открыть глаза людям!

Я уже заканчивал наброски своего выступления, когда в комнату просунула голову бабка Настасья:

— Тебе тут письмо. На-кося.

Она протянула мне конверт и скрылась. Мой адрес, написанный мелким, несколько растрёпанным почерком, обратного адреса нет. Я никогда не переписывался с Валею, не знал даже её почерка, но сразу же понял: письмо от неё.

Листок бумаги, покрытый всё тем же мелким нервным, растрёпанным почерком. Валя писала:

„Андрюша, уезжаю. Это уже решено, этому нельзя помешать! У меня никого больше нет, кроме тебя. Как великому бы тебе служила, воистину беззаветно, без всякой к себе жалости. Это, наверное, единственное, на что я способна. Отвернись от тебя друзья, останься без близких, я бы сидела ночи напролёт, когда ты болен, зарабатывала бы на хлеб, когда голоден, не смогла б заработать — воровала бы. Что б ни случилось, была бы с тобой счастлива.

И я отказываюсь от тебя!

Петра переводят в Никольничи. Я всё ему сказала, всё! Люблю! Не поеду! Уж лучше бы закричал, лучше бы ударил, нет, он только произнёс: „Теперь — конец“.

Не могу убивать человека. Жалость? Да! Но есть что-то ещё, сильнее жалости. Чем счастливее всё у меня устроится, тем больше начну думать о нём. Вечное мучение, вечные угрызения — не могу, не могу!..

Теперь — конец...

Ты ещё близко. Выскочить, добежать... Никогда ты так близко не будешь. Исчезнешь. И помешать нельзя.

Прости. Нет сил... Валя“.

Внизу уже не чернилами, а карандашом, который прорывал бумагу, поспешно, воровски брошены неразборчивые слова:

„Выезжаю второго, к вечернему, в четыре...“

Сегодня второе июля. Письмо написано позавчера. Больше суток шла оно десяти-минутное расстояние от Валиного дома до моего. Я взглянул на часы: без четверти два. Она ещё здесь. Ни боли, ни отчаянья. Я бессмысленно верю в какое-то чудо.

15

Во дворе её дома стоят два грузовика. Один уже нагружен вещами, шофёры набрасывают брезент, стягивают верёвками груз. Несколько зевак торчат на улице, глядят, как собирается в дорогу секретарь райкома. Я остановился неподалёку от них.

Пыльный булыжник на дороге. Напротив дом начальника почты Кирюхина обнесён новым, кричаще жёлтым забором. За железной крышей этого дома вяло склонялся колодезный журавель. Старая черёмуха с сухой верхушкой раскинула рябую тень на дощатом тротуаре. Знакомая, как надоевшее лицо соседа, улица. Такой я её видел вчера, позавчера, месяц назад, год... Я эту улицу буду видеть завтра, послезавтра, через год, быть может, через десять лет. Буду видеть и вспоминать, что здесь жила Валя.

Этот пыльный булыжник, скрипящий колодезный журавель, черёмуха, забор, который потемнеет со временем. Что бы ни случилось, какими бы подарками ни осыпало меня будущее, я уже не стану счастливым. Я теперь согласен на всё, мне теперь надо мало. Пусть бы шло по-прежнему, изредка бы встречать её, знать, что она не просто моё воображение, она существует на свете, может пройти по этой улице, ступать ногами по этому булыжнику.

Праздные зеваки, прислонившись к забору, лениво перебрасываются замечаниями:

— Не дай бог так с места срываться! Маета.

— Это нам, грешным, маета. А тут тебе и машины под порог подгонят, и место в вагоне оставят: езжай себе спокойненько.

Во двор из дому вышел Ващенко, озабоченно-сутуловатый, в надвинутой на глаза соломенной шляпе, с какой-то туго набитой авоськой в руках, которую он сунул в кабину машины. Он увидел меня, постоял, опустив руки, и не спеша направился навстречу, вглядываясь из-под шляпы мне в лицо. Я не двигался, ждал.

— Андрей Васильевич, поднимитесь вверх.

Я не пошевелился, ничего не ответил.

— Поднимитесь вверх. Вас ждёт Валентина Павловна.

Я неуверенным шагом направился к двери.

Пока я не скрылся в дверях, затылком и спиной чувствовал на себе взгляд Ващенко. Он не пошёл за мной следом, остался возле машины.

За моей спиной нагружают машины. В последний раз шагаю по этим ступенькам. Полумрак, обычный лестнично-чердачный запах, неуклюжие перила, отполированные руками. Неужели конец?.. Всё ещё надеюсь на какое-то чудо. Надеюсь...

Дверь распахнута настежь.

Валя снимала со стены знакомый пейзаж ельничка на болоте. Она не слышала, как я вошёл. Её движения были задумчивы, неторопливы. Сняла с гвоздя картину, взяла с подоконника тряпку, старательно вытерла пыль, протянула руку, чтоб положить тряпку обратно, и... застыла у раскрытого окна.

А из окна слышатся голоса, подвывание стартера, сердитая шофёрская ругань. Она стояла и смотрела...

Разгромленная комната, пустые книжные полки, пятна невыгоревших обоев, обшитые мешковиной тюки, рваные газеты на полу, она, неподвижно застывшая у окна. И всё-таки я не могу верить, что конец. Я в глубине души продолжаю надеяться на чудо.

Картина в раме со стуком упала на пол.

Валя обернулась. Всё! Чудо не случится! Мне передалось её выражение: на лбу, на щеках судорожно натянулась кожа, собственное лицо стало непослушным, чужим.

Она не двигалась от окна, на её помертвело застывшем лице с напряжённо опущенными углами рта широко открыты с сухим, горячим блеском глаза.

Она первая пошевелилась, старательно обходя картину, валявшуюся на полу, двинулась ко мне. На полпути опустилась на ящик, сжала кулаками виски...

Я глядел сверху на её опущенную голову, выбившиеся из пучка волосы, прижатые к вискам стиснутые кулаки и молчал. Я мог лишь тупо осознавать: она плачет, ничем не могу ей помочь, не могу вместе с ней плакать.

А из раскрытого окна долетал подвывающий звук стартера. Никаких мыслей в голове, кроме самых простеньких, ненужных, отмечающих события: плачет Валя, одна из машин во дворе не заводится.

Звук стартера смолк, снова донеслась сердитая ругань.

Она отняла от головы руки, поправила сбившуюся юбку на коленях, глядя в пол, глухо, запинаясь, произнесла:

— Андрюша... Ты бы воевал на моём месте?.. Ты бы защищал себя, скажи?..

И эти виноватые, запинаящиеся слова вывели меня из оцепенения. Она не уверена в своей правоте, она ждёт ответа. На минуту появилось волчье желание: а что, если потребовать от неё — перемени решение, не уезжай, останься? Что, если заставить её защищать своё право на счастье? Своё и моё! Такого случая больше не представится!

А Ващенко?.. Он послал меня сюда, а сам ходит сейчас под окнами. Беспомощный в эту минуту человек — убрать его с дороги? А Валя?.. Я перед ней хочу быть всегда и во всём чистым. Хочу, чтоб она мной гордилась. Она, возможно, даже согласится сейчас: убита, в смятении, любит! Сейчас согласится, но пройдёт время — оглянется, вспомнит, что без жалости переехали человека, начнутся угрызения... Что может быть гаже счастья, устроенного на чужой беде?

Я молчал. Валя подняла голову — просительные, влажно блестящие глаза, обмякшее после слёз лицо.

— Так надо, Андрюша, — сказала она тихо, и по интонации нельзя было понять, оправдывается она или спрашивает, ожидая моей поддержки.

И я молчал.

— Пиши мне...

— Писать? А может, не надо?.. Зачем напоминать, зачем травить друг друга?..

— Андрюша, милый! Ты последнее у меня отнимаешь!

— Уже всё отнято...

Лицо её передёрнулось, губы задрожали.

— Как ты не понимаешь?! Как ты не догадываешься?!

В это время громко застучали по лестнице шаги, мужской голос басовито спросил:

— Можно?

Несколько человек — шофёр и комхозовские рабочие, — переминаясь, нерешительно поглядывая на нас, вошли в комнату.

— Извиняемся. Вещички остальные забрать...

Валя встала с ящика.

Стук, шум передвигаемых на полу тюков, голоса: „Подхватывай с того конца!.. Придержи!.. Правей, правей!..“ Нас оттеснили в угол. Валя безучастно следила, как проталкивают в дверь объёмные тюки.

Вытолкнули последний ящик. В комнате стало просторно, вызываяще голо, сильней били в глаза невыгоревшие пятна обоев на стенах, захламлённость пола.

Шум голосов, скрип, стук раздавались уже на лестнице.

Валя нервно передёрнула плечами:

— Закрой дверь.

Я плотно прикрыл дверь в прихожую, вернулся к ней.

— Валя, — заговорил я, — раз уж ничего нельзя сделать, раз уж так вышло... Надо отрубать. Каждое письмо и для тебя и для меня — страдание. Валя!.. — Я старался заглянуть в её опущенное лицо. — Родная, милая, что нам ещё делать, что делать? Решили так... Что ж... Как нелепо!..

В дверь раздался стук.

— О господи! — Валя мученически сморщилась.

Вошёл Ващенко, уставился в пол, произнёс:

— Прошу простить. На станции могут быть осложнения с вещами. Валя, я сейчас уеду... распоряжусь там... Через два часа за тобой подадут легковую...

— Нет! — резко перебила Валя. — Поеду с тобой. Через пять минут я спущусь вниз.

Ващенко, глядя под ноги, помялся, хотел, видно, что-то сказать, но не сказал, повернулся.

И едва дверь за ним закрылась, Валя бросилась ко мне, схватила руками за плечи, совсем рядом заблестели её глаза.

— Андрюша! Мне нужно знать, что ты помнишь обо мне, ты думаешь, хочу даже, чтоб ты любил! Хочу! Всё может случиться! Сейчас ничего не могу, а потом... Вдруг да повернётся, вдруг да он поймёт?.. Я надеюсь! На невозможное надеюсь! Других надежд нет... Не отнимай этого!

В эту минуту я услышал за закрытыми дверями на лестнице медленные и тяжёлые шаги. Ващенко, должно быть, задержался в прихожей, слышал слова Вали.

Я обнял Валу, она до боли стиснула мне шею. Её щека была мокрой и горячей.

Ветер ворвался в окно, прошелестел газетой на полу, во дворе вдруг взревел мотор, взревел и, словно испугавшись, заглох. И в комнате и во дворе наступила тишина. Валя разжала руки.

— Мне пора...

Она, избегая встретиться со мной взглядом, стала приводить себя в порядок. Последний раз я наблюдал за ней. Родные, знакомые мне руки, ширококостные в запястье

и узкие, хрупкие в кистях, наклон шеи, волосы, которые она поправляла сейчас, — всё, всё знакомо и дорого! Неужели в последний раз?..

Медленно, бок о бок, касаясь локтями, мы спустились ступенька за ступенькой по лестнице.

А во дворе в это время происходило что-то необыкновенное. Уже нагруженная, увязанная, укрытая брезентом машина снова разгружалась. Вокруг неё, сутулясь больше обычного, ходил Ващенко. Часть вещей была снята с кузова и лежала на траве.

Валя остановилась, ухватила за мой локоть.

Ващенко, высокий, сгорбленный, с устало качающимися у колен тяжёлыми руками, медленно подошёл к нам. Глядя прямо в лицо Вале, негромко, чтоб только мы одни слышали, но твёрдо произнёс:

— Валя, ты остаёшься. Я так хочу.

Валя прижималась к моему локтю. Возле машины возились шофёры, кидали на нас пытливые взгляды, с улицы наблюдали любопытные.

— Тут я вещи снял... Там и моё... — Запавшими глазами он угрюмо и спокойно глядел на Валу.

— Что это? — слабо спросила она.

— Валя, я всё знаю. У нас уже ничего быть не может. Будешь ждать разрыва. Иди домой. Иди... — Ващенко повернулся ко мне: — Андрей Васильевич, с вами я хотел бы поговорить наедине. Идёмте!

Я отстранил от себя Валу.

— Вертухов! — крикнул Ващенко одному из шофёров. — Увязывай оставшиеся вещи — и на станцию. Приеду к поезду.

Ващенко медлительным, тяжёлым шагом направился со двора. Я, глядя в сутуловатую, с выступающими лопатками спину, шёл послушно за ним.

16

В нашей чайной, кроме общего зала с буфетной стойкой, двумя рядами столов, неизменными фикусами в деревянных кадучках, была ещё маленькая комнатка с одним столом — на всякий случай, для особых гостей.

В эту комнату и привёл меня Ващенко. Сразу же, поскрипывая протезом, появился сам Трофим Коптелов, бывший разведчик, вернувшийся с фронта без ноги и с набором орденов, теперь заведующий чайной.

— Пётр Петрович...

— Организуй нам чего-нибудь, — попросил Ващенко, — только побыстрей.

Взгляд Трофима Коптелова стал проникновенно пытливым. Он неуверенно помялся, но уточнять просьбу не решился, молча повернулся и скрылся за дверью.

Ващенко сидел, облокотившись на стол, подперев голову руками, молчал. Я глядел на его большой, покрытый морщинами лоб, крупный мясистый нос, опущенные

веки. Этот человек ничего не сделал мне плохого. Почему людям так скупно отпускается счастье? Почему непременно приходится переезжать чью-то судьбу?

Девушка-официантка принесла накрытый салфеткой поднос, и на столе появились стаканы, пол-литра водки, сыр, холодное мясо. Загадочное „чего-нибудь“ прозорливый Трофим Коптелов понял по-своему.

Девушка ушла, старательно прикрыв за собой дверь.

— Что ж... — Ващенко разлил по стаканам водку. — Прошу, ежели желаете. — По-прежнему не глядя на меня, спросил: — Понимаете, что вы сейчас сделали?

— Понимаю, — ответил я.

Снова молчание. Ващенко разглядывал налитые стаканы.

— Не трудно понять... Я не сентиментальный человек, немало видел, немало пережил, могу при нужде быть и жестоким. Уж я бы сумел оттолкнуть вас в сторону. Да, оттолкнуть, без всякой жалости! И что вас жалеть? Вы ещё молоды, вы оправитесь. А скажем, и не оправитесь... Вы мне чужой. Но Валя... Я её просил спасти меня, не отнимать последнее. Да, просил! Не часто прошу. Она не из тех, кто ради собственного благополучия без угрызения совести затопчет другого. Согласилась, не отказала. А я решил принять эту жертву. Не легко было принять. Какое я имею право спасти себя её несчастьем! Её!.. Того человека, которого больше всего люблю. Больше себя...

Он глядел на меня своими запавшими голубыми глазами, глазами больного ребёнка, которому непонятно почему приходится выносить страдания.

— Вы... — вглядывался он в меня. — Неужели вы такой, какой ей нужен? Ой ли?! Может, она ошибается? Она мечтатель, в каком-то роде не от мира сего, от нашего практического, здорового, трезвого, большей частью не поэтического, а прозаического мира. Впрочем, любой мир в любые времена был прозаичен. Ей же нужен человек, который бы прозу жизни перекладывал на стихи. Тогда она станет и другом, и женой, и силой, толкающей вперёд. Вы тот человек? Не верю! Ошибается. Может, опомнится, уйдёт от вас. Хотя она и во мне ошиблась, а протянула же со мной почти пятнадцать лет. Если столько и с вами протянет, то ей будет под пятьдесят. Поздно тогда уходить... Что ж, живите... — Ващенко тяжело замолчал, разглядывал нетронутые стаканы с водкой и, когда молчание стало невыносимым, повторил: — Живите счастливо. Не подумайте, что красуюсь. Впрочем, что бы вы ни подумали, для меня не так уж важно.

Впавшие виски, тяжело нависший нос, глаза, старательно прячущие от меня взгляд, складка крепко сжатого рта, судорожно напряжённая... Пытается и не может спрятать боль. Я не дерево, я живой человек, не могу не отвечать на боль болью. Складка рта, дрожащая от напряжения... Жалость, стыд, чувство вины, нет сил — жжёт, хоть кричи!..

Стоят непочатые стаканы с водкой. Протянуть бы руку, опрокинуть залпом, оглушить мозг, остудить кровь. Но Ващенко не притрагивается к своему стакану.

— Всё-таки жалею, что прощаться вас допустил. Не допусти, уехал бы с Валей. А там, кто знает, как бы ещё получилось.

— Пришёл бы провожать, — сказал я.

— Даже если б я стал поперёк дороги?

Я промолчал.

Ващенко поднял на меня глаза и секунду, показавшуюся мне бесконечной, безжалостно вглядывался. И по всей вероятности, он понял, что я испытываю, потому что с хмурой поспешностью отвернулся, заговорил:

— Выпейте свою водку... И пойдём... Мне пора убираться, вам утрясать свои дела... Смотрите, чтоб досужие сплетни не слишком-то её пачкали. Сумеете ли защитить?.. Кучин тут за меня остаётся. Он провожать меня будет, я ему всё скажу. Скажу, чтоб вам помогал, чем может.

— Спасибо.

— Да, что я ещё хотел сказать?.. — Он потёр лоб ладонью. — Наверное, думаете: «Позвал, уединился, к чему такая многозначительность?» Я и сам не понимаю: зачем этот разговор? Без него всё понятно. Но не мог... молча уехать. Передайте Вале, чтоб она за меня не боялась: в омут не брошусь, травиться не стану, алкоголиком тоже не сделаюсь. Буду жить, как сумею, буду ей письма писать, к себе буду её звать, буду надеяться... А уж если не оправдаются надежды, для разных там разводов и формальностей, скажите, всегда к её услугам.

Он на минуту смолк, в углах сжатого рта снова появилась напряжённо дрожащая складка, под правым глазом дёрнулся живчик. Я отвернулся, чтоб не видеть его. Я боялся, что не выдержу, попытаюсь что-то сделать, а сделать ничего нельзя. Ничего!.. Кроме ненужных и постыдных глупостей.

— Берегите Валю... — выдавил он из себя.

Не поднимая на него глаз, я отвернулся к стакану, залпом, не чувствуя вкуса водки, выпил.

Ващенко встал, поднялся и я. Он стоял передо мной, выставив вперёд изрезанный морщинами большой лоб, со свисающими руками, внешне спокойный, сумрачный, решительный.

— Ещё одно. Когда вы были в городе, видел ли кто вас из знакомых?

— Лещев видел.

— Не то. Из загарьевцев кто-нибудь видел?

— Вроде нет.

— Должно быть, кто-то видел. В обком на вас чья-то досужая рука анонимку написала. Не точно это, но догадываюсь. Очень скоропалительно решили меня перебросить. Бояться за авторитет, спасают меня. До сих пор на мои просьбы приходили только отказы. Имейте это в виду. Вале не говорите. Незачем. Берегите её...

По заполненному людьми залу Ващенко прошёл твёрдой поступью, с непроницаемо-спокойным лицом. Возле крыльца чайной его ждала «Победа». Шофёр при его появлении зашевелился за рулём.

Ващенко протянул мне руку:

— Прощайте.

Я пожал её:

— Прощайте, Пётр Петрович.

Во всех окнах чайной виднелись лица.

Ващенко сел рядом с шофёром, уткнул подбородок в грудь, приказал:

— Побейте к поезду.

Я стоял, пока машина не свернула за угол.

17

Валя сидела одна в комнате, снова беспорядочно заваленной нераспакованными вещами. Она поднялась мне навстречу:

— Уехал?

— Уехал.

Она снова опустилась на ящик, взгляд её был рассеянный, руки беспокойно двигались, то поправляли юбку, то ощупывали шершавые доски ящика, то трогали сумочку на коленях, и всё это при отсутствующем, рассеянном взгляде.

Я почувствовал, что она не просто жалеет его, а она любит его, любит, пожалуй, в эту минуту больше, чем меня. И я прощал ей это, я понимал её, я сам был подавлен, уничтожен поступком Ващенко, признавал его превосходство над собой.

— Что мы будем делать? — спросила она безучастно.

— Будем устраиваться. Завтра будем подыскивать себе место для жилья. Нам же нельзя здесь оставаться. Это его дом, здесь станет жить другой секретарь райкома.

— Это его дом, — повторила она.

— А сейчас я пойду.

Она подняла на меня глаза.

— Туда?

— Да.

Она устало кивнула головой: «Иди».

Я вышел.

Сказать? Всё? Вот она, катастрофа. Мы её предчувствовали, перед ней содрогались. Вот она разворачивается полным ходом. Она беспощадна, заставляет быть беспощадным и меня. Только что проводили на станцию человека, хорошего человека, которого я обрёл на одиночество. Жалость и помощь не могут теперь исходить от меня, я несу только крушение, только ломку. Я сейчас иду, чтоб разрушить ещё одну жизнь, и даже не одну, а две жизни.

Я был опорным столбом своего дома. Тоня лишь занималась тем, что вокруг меня лепила гнездо, ежеминутно, ежечасно надстраивала; и делала она всё это любовно, вкладывала все силы, какие у неё были. Я уйду, рухнет опорный столб. Что ей останется? Работа? Так она не увлечена ею, она для неё была только лишней подпоркой к дому.

Дочь? Так и дочь для неё лучшее украшение дома, его гордость. В представлении Тони дочь станет теперь сиротой, вместе с крушением дома рухнет в глазах Тони и судьба дочери. Трагедия Тони несколько не меньше, чем трагедия Ващенко. Тоня наверняка менее мужественна, потому и катастрофа покажется ей ещё более ужасной.

Но что же делать? Нельзя обойти Тоню. Я и здесь не смогу быть жалостливым, не смогу ничем помочь. Я разрушитель, я иду в свой дом и несу разрушение. Нет большего несчастья, чем сознательно отнимать счастье у других.

А Наташка?.. По утрам возле моей подушки — её розовая рожица и изучающие глаза. Никогда этого не будет! Никогда больше я не услышу её восторженный выкрик: «Мой папа!» Что она подумает о своём отце? Жить без Наташки, видется изредка, стыдливо приносить подарки, смотреть ей в глаза... Дочь моя! Что я делаю? Ухожу от тебя! Предаю!

Нельзя думать об этом! Повернуть всё по старому невозможно. Думай о том, что Наташка ещё ребёнок, она не сумеет понять всего, она перенесёт разрушение легче, чем Тоня. В этом её счастье. И моё. Я должен вспоминать о Наташке только так! Всею силой воли, на какую способен, должен заставить себя забыть на время её глаза, её милое изучающее выражение по утрам, её любовь ко мне. Забыть... На какое-то время, не навсегда. Навсегда не забуду.

Настасья время от времени уходила в деревню к родне, часто забирала с собой и Наташку. И сейчас не было дома ни Настасьи, ни Наташки. Не было дома и Тони.

Я облегчённо вздохнул. На несколько минут, на полчаса катастрофа откладывается. Могу оглядеться, могу обдумать.

А стены дома встретили меня обжитым покоем. Чистый половичок у дверей, у стола бахромой скатерти в безмятежном одиночестве играет котёнок, в углу разбросаны Наташкины игрушки, целлулоидная кукла с наивной доверчивостью глядит разрисованными глазами. Тревога пока ещё не вошла в эти стены, здесь всё как было.

Я прошёл в свою комнату. На письменном столе разбросаны бумаги. Это моё выступление, которое я писал для совещания, моя защитная речь перед Коковиной. Неужели не дальше как несколько часов тому назад я писал это, писал взволнованно, возмущался Коковиной, верил в своё святое возмущение! Это было всего несколько часов тому назад!

Среди моих бумаг лежит листок, на нём что-то написано крупным, аккуратным почерком. Что это? Я взял в руки листок.

«Андрей Васильевич, — прочитал я. — Как честный человек, я не хочу действовать исподтишка. На сегодняшнем совещании я выступаю против Вас. Это мой долг. На опыте своей работы я убедился, что Вы глубоко заблуждаетесь. Хотел перед совещанием Вас видеть и объяснить».

Неизменно Вас уважающий *Анатолий Пояров*».

Здесь был Анатолий Акиндинович. Он выступает сегодня на совещании. «Как честный человек...» Честный? Мне не приходилось ни убеждаться, ни разуверять-

ся в этом. Но в том, что он непробиваемо глуп, нет для меня сомнения. Он приходил сюда доказывать, что я заблуждаюсь, только потому, что у него не получилось. Понятно, этого Анатолия Акиндиновича вытащила Коковина, он для неё та дубинка, с помощью которой можно усердно бить меня. У него не получилось. Разве это не доказательство, что я прожестёрствую, что из моих потуг ничего толкового не выйдет!

Я взглянул на часы: без десяти минут семь. Совещание уже началось.

Без десяти минут семь на моих часах. И вся окружающая меня жизнь как бы развернулась передо мной, я её увидел объёмной.

Без десяти семь. Ващенко сейчас ходит возле железнодорожного полотна, ждёт поезд. Невесёлые у него мысли...

Валя сейчас тоже думает об одиноком Ващенкове, ожидающем поезда. И её мысли такие же невесёлые...

Без десяти семь. Идёт совещание. Быть может, выступает Коковина, говорит обо мне, упрекает меня за недисциплинированность, за партизанщину, как особое доказательство выставляет моё отсутствие на этом совещании. А возможно, выступает Анатолий Акиндинович. Кичливо рассуждает о том, как он взялся проверять на практике и у него ничего не получилось. Он не может ошибаться, могут ошибаться только другие. Я всегда чувствовал, что его глупая активность сыграет со мной злую шутку. Впрочем, плевать!.. Василий Тихонович сейчас, верно, глядит на свои часы: без десяти семь, совещание идёт, а меня нет. Василий Тихонович мысленно обкладывает меня всяческими ругательствами. Ему не плевать, он не хочет поражения...

Без десяти семь. Я стою у своего стола и жду Тоню. И то, что она вот-вот появится, для меня сейчас самое важное, самое значительное, значительнее всех Коковиных, Анатолиев Акиндиновичей и ругательств Василия Тихоновича.

Тоня о чём-то догадывается, что-то подозревает, но не ждёт удара. Легко ли вдруг, с маху обрушить: «Ухожу!» Какой бы она для меня ни была, как бы к ней я ни относился, но живая! Живая! Но что делать? Ващенко вот-вот сядет в поезд. Валя одна, она ждёт, катастрофа разразилась, не в моих силах её приостановить. Жду Тоню, чувствую себя преступником.

Надо взять какие-то вещи, самые необходимые, те, что никогда не пригодятся Тоне. На стене висит ружьё, оно первое бросилось мне в глаза, оно-то Тоне никогда не понадобится. Но и мне оно сейчас не нужно. Надо взять пару белья, зубную щётку. Мыло можно не брать — найдётся у Вали.

Я прошёл в кладовую, достал пыльный чемодан.

И тут появилась Тоня. Она сделала крутую дугу по комнате, остановилась перед открытым чемоданом, глаза с зеленоватым отливом уставились на меня, на лбу вздулась вена. Я понял, что Тоня, переступая порог, уже что-то знала, о чём-то была осведомлена.

Она стояла в лёгком, по-летнему весёлом цветастом платье, выставив вперёд грудь, откинув назад маленькую, гладко причёсанную голову, напряжённо округлив глаза. Между нами лежал открытый чемодан.

— Куда собираешься? — спросила она сквозь зубы.

— Ухожу, — ответил я.

С этих слов началось нечто унижительное и безобразное, о чём я всегда буду вспоминать со стыдом.

18

И это продолжалось долго, вплоть до сумерек.

Открывались ящики комодов, на пол, на мой раскрытый чемодан летело чистое бельё, сорочки, наволочки, брюки, костюмы. В комнате, недавно хранившей обжитый, покойный уют, стоял разгром. Были крики, были мольбы, вопли, проклятия и поношения ожесточившейся женщины.

Я оставил Тоню обессиленной, уткнувшейся в подушку растрёпанной головой.

Я шёл по улице с лёгким чемоданом в руке.

Был тихий, тёплый вечер, с остывающим закатом, с вялой, отяжелевшей от росы листвой на деревьях. Я шёл переулками, чтобы меньше встретить прохожих. Шёл и по-минутно морщился, вспоминая всё, что случилось дома.

Грубость Тони, её крики и ожесточённая ругань приглушили к ней жалость. Я чувствовал себя уверенней, я лишний раз убедился, что иначе не мог поступить, как только так вот уйти с лёгким чемоданом в руках. Если б даже не было Вали, рано или поздно это случилось бы. Я и Тоня по-разному думали, по-разному глядели на жизнь. Валя только развязала случайный узел.

Шаг за шагом я ухожу дальше от дома. Ухожу навсегда.

Нельзя думать о Наташке... Через час, через полчаса, через десять минут Тоня созообщит Наташке... Сейчас Тоня ожесточена, что-то ей скажет, какие слова? Она мать, я надеюсь, она будет бережна.

Но нельзя думать о Наташке!..

Я иду к Вале. Она ждёт, она с полуслова, нет, не с полуслова, с одного взгляда поймёт. Я теперь буду принадлежать ей, она — мне. Одна жизнь у нас впереди, одни мысли, одни желания, одни заботы. Мне не знакомо такое счастье, я никогда тесно ещё не жил с человеком, который бы во всём понимал меня, сочувствовал тому, что я делаю. Катастрофа разразилась, она позади, теперь на её обломках будем создавать новое.

Нас ещё многие не поймут, многие осудят, кто-то из людей ещё проявит к нам жестокость, но мы и это должны вынести.

Я шагал узеньким переулком, по крепко утопанной, глухо стучавшей под ботинками тропинке. Свисающая из-за заборов листва черёмух и рябин задевала меня, обдавала росой.

Неожиданно на моём пути появилась долговязая фигура; тонкие ноги широко расставлены, кулаки упёрты в поясицу, острые локти торчат в стороны, жёсткие волосы упали на брови. Мне загородил дорогу Василий Тихонович.

Поздно сворачивать — он глядит на меня, — да и некуда сворачивать.

— Не спеши, — надвинулся он. — Дай поглядеть, каков ты в новой роли.

— Спросить хочешь, почему не пришёл? — начал я.

— Хочу сказать, что ты подлец! — оборвал он меня. — Таскайся за юбками — твоя воля, но не продавай за юбку дело. Не явиться, подвести, дать козырь Коковиной!..

— Слушай, Василий, случаются вещи важнее...

— Важнее дел, которые ты сам заварил! Продать всё за бабёнку!

— Молчи!

— Нет уж, мне пришлось молчать там. Когда Коковина твоим именем мне рот заткнула. Уж разреши поговорить. Или теперь тебе всё безынтересно, кроме этой юбки со смазливой рожницей да сладенькими речами?

— Василий! — подался я на него.

Меня охватил страх: вот оно, начинается! Насмешки, грязь, и не на меня, на Валю! И кто насмехается? Если Тоня выкрикивала ругательства, то перед ней я беспомощен, я чувствовал за ней право — пусть постыдное, недостойное, — но право ругаться, негодовать, обзывать. Но тут Василий Горбылев, он считается моим другом.

— Меня ругай, а её не тронь, — сказал я.

— Тебя?.. Да ты невменяем. Тебя ничем теперь не прошибёшь.

— Василий...

В рассеянных сумерках быстро сгущавшегося вечера я видел туго сведённую линию бровей, притушенный блеск глаз, обтянутую кожей переносицу.

— Что Василий? Кланяться тебе прикажешь за то, что эта комнатная болонка так тебя...

Он не договорил. Я с размаху ударил, целясь в мерцающие глаза, в костистую переносицу. Василий дёрнул головой, и удар пришёлся в зубы. Он покачулся, вытер ладонью рот, внимательно оглядел её, бросил быстрый взгляд на меня, сплюнул кровавую слюну мне под сапоги, сначала отвёл в сторону крючковатый нос, потом медленно, с трудом повернулся и так же медленно, толкая себя вперёд, нескладным шагом двинулся прочь.

А я стоял, одной вспотевшей рукой сжимая ручку лёгкого громоздкого чемодана, на другой руке ощущал в суставе мертвенно-холодящий след от удара.

Никогда мы не мерились с ним силою, но я-то знаю, он не из слабеньких, может при нужде дать сдачи. Но он не сделал этого...

Переулок был пустынен. Влажно шуршала листва в ближайшем палисаднике. На чьих-то огородах деревянным, несмазанным голосом скрипел заблудившийся гусь.

И раскаяние, и стыд, и предчувствие страшной, непоправимой беды вдруг навалилось на меня. Катастрофа позади? Она окончилась? Нет, всё только начинается, всё

ломается и дальше будет ломаться. Вот и сейчас я сломал дружбу с Василием Горбылевым. Нет товарищей, нет дома, нет дочери — ничего нет, кроме Вали, беспомощной и одинокой.

Дорогой же ценой она мне достанется...

Мы улеглись, подстелив под матрацы на затоптанный пол газеты. Лежали, обнявшись, в нежилой комнате, беспорядочно заставленной упакованными вещами, чужой комнате, временном, неуютном пристанище, которое утром нам нужно оставить.

Время от времени по дороге проезжала машина, и свет её фар проникал сквозь незанавешенные окна, скользил по оголённым стенам, освещал на минуту тюки, обшитые мешковиной, поблёскивающие никелем спинки кровати, обвязанные верёвками. И от этого плывущего света становилось ещё неуютней.

Мы не спали, молчали. Я прислушивался к боязливому дыханию Вали. Мы оба одинаково чувствовали одиночество, от этого теснее прижимались друг к другу, и нас охватывала щемящая родственность. Ведь у меня только одна она, у неё — только я.

19

Жить в Загарье, изо дня в день чувствовать косые взгляды, постоянно ощущать себя в центре досужего любопытства, знать, что добросердые хозяйшкы, встречаясь у колодцев, бесцеремонно перемывают косточки тебе самому и, что хуже, Вале. Жить и помнить, что рядом живёт озлобленная, ненавидящая тебя Тоня. Твой самый близкий друг незаслуженно обижен тобою. На работу, которой ты прежде отдавал все свои силы, пытаются наложить запрет. Нет у тебя здесь дома; кроме дочери, нет родных.

Казалось бы, что проще — найми машину, побросай туда нераспакованные Валины вещи, поезжай на станцию, возьми билет на поезд — и новые места, новая жизнь!

Так думал я, лёжа рядом с Валею, в ту ночь. Но утром понял, что сорваться немедленно с насиженного места невозможно. Тысячи мелочей не пускают. Надо оформить свой уход с работы. Придётся, возможно, хлопотать в области о направлении в другой район. Предъявлять доказательства, вести щекотливые разговоры... На всё нужно время.

Но самое важное, самое серьёзное, что меня прочно держит в Загарье, — это Наташка. Отмахнуться от неё, уехать, писать письма, высылать деньги, пусть себе растёт в стороне... Нет, не могу! Надо договориться, чтоб можно было время от времени навещать её. Сейчас Тоня слишком ожесточена, с ней невозможно вести разумные переговоры. Признание о поспешном бегстве из Загарья вызовет у неё бешеное негодование. Надо ждать. Надо жить...

Днём я случайно столкнулся на улице с председателем колхоза Иваном Шубниковым, и он свёл меня к хозяйке, которая согласилась сдать нам пол-избы.

Мы стали квартирантами Марьи Никифоровны Клюкиной. Была у неё когда-то большая семья: муж, свёкор, свекровь, сын и дочь. Мужа убило в первый год войны. Скончались свекровь и старик свёкор, а сын погиб в первых числах мая сорок пятого года где-то в Германии. Дочь года три тому назад вышла замуж и уехала искать счастья в Сибирь. Марья Никифоровна жила одна — маленькая, ссохшаяся старушка, на морщинистом, продублённом лице выделялись ясные, кроткие глаза; ни слёзы по умершим, ни тяготы вдовьей жизни, иссушившие её тело, не помутили чистоты этих глаз, не вытравили из них врождённой доброты.

Нам была отведена просторная горница, отделённая от жилья Марьи Никифоровны массивной русской печью и лёгонькой дощатой переборкой. Некрашенные полы хозяйка вымыла до солнечной желтизны, на низенькие окошечки повесила вырезанные из газеты незатейливые украшения.

Из окраины Дворцов, где мы поселились, до центра Загарья было всего минут двадцать ходьбы через мост, соединяющий оба берега реки Курчавки. Там — булыжные пыльные мостовые, двухэтажные здания, там — деловой центр района с вывесками учреждений и магазинами. Здесь же — околица деревни, вместо булыжной мостовой поросшая травой дорога, по которой раз в день простучит колхозная телега; вместо двухэтажных зданий с высокими окнами — крестьянские избы с сараями, поветями, бревенчатыми замшелыми въездами на эти повети; здесь ветхие крыши осевших в землю банек утопают в зарослях крапивы; здесь покосившиеся изгороди, связанные из длинных жердей; здесь по утрам вместе с чадным запахом печного дыма разносится запах парного молока из хлебов. Тут своя неторопливая жизнь, которая на первых порах как-то успокаивала меня.

Марья Никифоровна старалась, как могла: не оказалось в Валиных вещах подушек — дала свои, нужны были доски для полок — разрешила разобрать в старом амбарах пол, у соседей выпросила рубанок и стамеску; топор, молоток и гвозди нашлись в её хозяйстве.

Я принялся тесать, строгать, сколачивать. Хозяйственностью и домовитостью я окончательно подкупил Марью Никифоровну. Она любовалась с крыльца, как я подгоняю доски друг к другу, сокрушённо качала головой и не уставала повторять:

— Вот ведь мужик в дом пришёл. Алексея моего напоминаешь, сердешный. Тоже, бывало, за что ни возьмётся, всё в руках горит...

Во мне, наверное, погиб недюжинный плотник. С детских лет любил я действовать топором и рубанком. Во время учёбы на художника никто из ребят не мог быстрее меня сколотить крепкий подрамник, обтянуть его так, что при одном прикосновении холст звучал, словно бубен. Запах свежей щепы и стружки всегда вызывал во мне смутное волнение. Теперь работа избавляла меня от назойливых мыслей.

Я поставил полки, разложил на них Валины книги. Валины платья, расправленные на плечиках, повисли в дощатом простенке возле дверей. Всё непривычное, ненастоящее, всё временное.

И как ни странно, я вдруг понял, что в этом временном нам придётся жить долго-долго, что в ближайшие дни и недели мы не уедем из Загарья, эти полки, эти занавески, такие непривычные для меня, — новые корни.

Единственная вещь, к которой я испытывал родственные чувства, картина в простой раме, изображавшая поросшее ельничком болотце.

Я теперь подолгу глядел на неё, и, кроме того, что она вызывала во мне смутную щемящую грусть своими рыжими кочками, влажностью мутного неба, теснящимися друг к другу ёлочками, она ещё навевала воспоминания. Первая встреча — настороженно-выжидательный взгляд Вали, больная Аня в соседней комнате... Долгие сдержанные разговоры под этой картиной... Безвестный — не укажешь в календаре — день, когда оба поняли: любим друг друга. Поняли, но не разрешали себе признаться... И наконец, увязанные в мешковину вещи. Валя у окна, со стуком выпавшая из её рук картина... Невероятное! Не смел даже мечтать! Свершилось! О чём ещё жалеть? На что жаловаться? Незатейливый пейзаж под низким потолком деревенской избы был моим молчаливым другом.

Валя была всегда рядом, она мне помогала устроиваться. Я мог в любую минуту окликнуть её, позвать. В этом было что-то новое, непривычное, радостное. Произнести её имя, и она обернётся, позови — она подойдёт; я могу следить, как она двигается, могу наблюдать, как, усевшись на крылечке, натянув на крепкие колени лёгкий подол платья, сосредоточенно действует иглой, подрубает занавески или же со вдумчивым лицом развешивает на верёвки только что выстиранные кофточки. Она здесь, она моя, она будет моей, я единственный человек, право которого она признаёт над собой.

Но во всём этом было ещё и другое, появилась какая-то привычка, появилась уверенность — так, а не иначе и должно быть. У меня уже больше не теснило в груди, когда я её видел, я уже не опасался, что она может вырваться от меня, что кто-то помешает мне её видеть, ощущать рядом с собой.

Я продолжал любоваться Валей, не меньше её любил, но любил ровнее.

Устройство скромного жилья не могло занять много времени. Вбит последний гвоздь, мне надо входить в привычное русло.

Шли летние каникулы, в школе начался ремонт. Один вид пропахших олифой коридоров, заставленных козлами, бочками, вёдрами из-под краски, вызывал у меня чувство чужеродности: я лишний в этих стенах.

Я проходил в учительскую, заставлял там одного или двух учителей, здоровался, мне с излишней торопливостью отвечали, и наступало тягостное молчание.

Все помнили последнее совещание, где Коковина заявила, что моя дальнейшая деятельность в школе небезопасна для коллектива, что следует поставить вопрос о переводе.

Вернулась из декретного отпуска Тамара Константиновна, приняла на себя обязанности директора. При встречах она едва достаивала меня величественным кивком.

Кроме всего, скандальная слава: ушёл от жены, сошёлся с другой женщиной. Учителя — мои недавние добрые знакомые — не знали, как держаться, чувствовали себя в моём присутствии связано.

Ходячая, тривиальная фраза — «беда не приходит одна». Мне кажется, в ней скрыта железная закономерность. Случись так, что мои отношения с Валею остались бы прежними, наверняка я пошёл бы на совещание в роно, дал бы Коковиной бой, возможно, вышел бы победителем, дружил бы с Василием Тихоновичем, и учителя не поглядывали бы на меня отчуждённо.

Но всё переплетено в жизни: рвётся одна нить, расползаются и остальные. Несчастья распускаются не в одиночку, а махровыми соцветиями. Если б только неудача в работе или же только катастрофа в семье — не терялся бы, не дрогнул. Но всё вместе... Трудно!..

Как-то в учительской я застал одного Олега Владимировича. Он, как все, был смущён, тербил брови, глядел в сторону. И я не выдержал.

— Олег Владимирович, вы прячете от меня глаза. Прячете и молчите. Вы, отзывчивый, честный, доброжелательный человек, скажите мне всё, что думаете, упрекните, осудите, не бойтесь оскорбить. Я ещё не стал настолько невменяемым, чтоб не понимать человеческих слов.

Олег Владимирович, добрая душа, покраснел, с мучительной застенчивостью взглянул на меня.

— Лично я вас ни в чём не упрекаю. Всё, что с вами случилось, может случиться с каждым из нас.

— Тогда почему же вам сейчас даже с глазу на глаз тяжело со мной?

— Эх, Андрей Васильевич, Андрей Васильевич!.. Тяжело? Да, тяжело... Потому что не знаю, чем вам помочь, как выправить положение. И каждый не знает. Видеть вас и испытывать собственное бессилие, верьте мне, не слишком-то легко. И вы должны понимать это и не судить нас строго.

Олег Владимирович с минуту помолчал, потом добавил не столько для меня, сколько отвечая себе на свои мысли:

— Не созрела, видать, наша школа для кардинальных реформ. Боюсь, что вы стучались лбом в каменную стену.

Иван Поликарпович был в отпуске, жил затворником в своей тихой обители. У меня не было никакого желания встречаться с ним. К чему? Он, возможно, мне посочувствует, попытается утешить, а этого мало!

Из всех моих прежних друзей и знакомых теперь смог бы поддержать один Василий Тихонович. Он-то уж не стал бы опускать смущённо глаза, не калялся бы передо мной в собственном бессилии. За эти дни были у нас с ним две случайные встречи при народе. Василий прошёл мимо, не поздоровавшись, не глядя в мою сторону. Я же не осмелился заговорить с ним.

Пусть даже всё утрясётся, пусть забудется, но, если я не сойду по-старому с Василием, всё равно моя жизнь станет неполной, работа ущербной. Буду преподавать по-

своему, возможно, добьюсь виртуозности, сделаю каждый урок насыщенным и интересным, увлеку даже своим примером других преподавателей. Не всех, большинство останется верным старым приёмам, старым методам, так как задачи школы не изменятся. Нужен энтузиазм, бескорыстное подвижничество, чтобы выполнять больше, чем требует того школа. А рассчитывать, что все учителя станут энтузиастами и подвижниками, — утопия.

Год назад я, может быть, с охотой согласился бы и на это. Теперь мне этого мало. Василий Тихонович рассчитывает изменить лицо школы: новые задачи, новые требования, учёба и работа в одно и то же время, волей-неволей все учителя будут вынуждены по-новому взглянуть на преподавание. Все! А вместе со всеми искал бы я, не в одиночку, не с избранными энтузиастами — со всеми! Человек, который знает, что можно пересекать материк на курьерских поездах и реактивных самолётах, не может уже довольствоваться ломовым извозчиком.

Но Василий Тихонович оскорблён и не собирается простить меня.

Коковина и Тамара Константиновна за моей спиной готовят какие-то решения.

Учителя боятся глядеть в глаза.

Та пустота, которую я смутно предчувствовал, теперь открылась передо мной, реальная, неизбежная, как унылое болото, раскинувшееся на пути пешехода. Я входил в эту пустоту. Вглядываясь в своё будущее, я уже не видел в нём ничего. Ничего ровным счётом!

Я не мог подолгу оставаться в школе. Сквозь пропахшие олифой коридоры я бежал на улицу. Скорей во Дворцы! Скорей домой! К Вале! Вот единственно близкий и верный человек. Ей могу без стеснения вывернуть наизнанку душу. Скорей к Вале!

Выходя однажды из школы, я увидел Степана Артёмовича. Он стоял перед трактором. Этот трактор, торжественно проехавший Первого мая мимо праздничной трибуны, трактор, с которым вплоть до летних каникул возились ребяташки, заводили, чистили, ездили на нём, теперь осиротело приткнулся под стеной школы. Под его радиатором выросла молодая крапива, усики повилики тянулись вверх по колёсам, в кабине выбито стекло, выкрашенный зелёной краской капот покрыт тусклым слоем пыли. Весь вид этого трактора, чуть осевшего на один бок, напоминал о конце. Старая машина, которой посчастливилось возродиться на короткий срок, теперь умирала снова.

Вот возле неё и стоял Степан Артёмович. Он не заметил меня. Маленький, с жёлтым сморщенным лицом, потерявшим свою былую тяжеловатость в чертах, одетый, как всегда, со старицкой аккуратностью в тёмную отглаженную пару, с туго затянутым на тощей шее галстуком, он стоял перед трактором, насупившись, внимательно разглядывал, осторожно трогал палкой ржавые сочленения гусениц.

О чём он думал в эти минуты? О чём-то своём, важном, наболевшем. На его сосредоточенно насупленном лице не было ни презрительности, ни злорадства. Может, он, глядя на безвозвратно умирающую машину, думал о своём собственном покое.

Мне стало почему-то тоскливо, так тоскливо, что хотелось плакать.

Представилось, что мы все трое — доживающий свой век на пенсии Степан Артёмович, старый трактор и я — в чём-то сейчас родственны. Пока живём, пока можем двигаться, топтать землю, но кого это интересует?

А дома мне нечем занять себя. Полки сколочены, уставлены книгами — Валиными книгами, не моими. Поправлено пошатнувшееся крылечко, разбитое стекло в окне заменено новым, а дальше что? Куда деть себя?.. Пустота вокруг, пустота в душе.

Валя страдала за меня. У неё стало появляться незнакомое мне прежде выражение пугливости. Если я окликал её, она вздрагивала.

Как-то, вернувшись, я не застал её дома, долго ждал. Она пришла вечером, странно переменившаяся, сдержанно решительная, серьёзная, даже причёска на голове какая-то новая, гладко забранная назад со лба.

— Где ты была? — спросил я.

Она под села ко мне на кровать, не снимая кофты.

— Была у Кучина.

— У Кучина? Зачем?

— Поступаю на работу.

— Вот как?.. Куда?

— Да опять же на старое место. Опять к Клешневу. Никак до сих пор не подберут секретаря. Теперь, Андрюша, буду работать.

И я почувствовал испуг, наверно, тот самый испуг, какой в своё время испытывал Ващенко. У Вали — очередная «вскидка», снова в отчаянии бросается на работу.

Но ведь она уже однажды отказалась от неё, теперь-то должна бы поступать умнее. Ко всем моим невзгодам прибавятся ещё её разочарования.

— Андрюша, я знаю, о чём ты думаешь. Но теперь совсем не то, теперь — другое...

— На что ты надеешься? — спросил я.

— Надеюсь только на себя. Пусть будет опять та же работа, пусть снова тот же Клешнев. Пусть. Я теперь всё вынесу, потому что есть смысл, которого прежде не было. Давай говорить начистоту. У тебя трудное положение. Возможно, что тебя снимут с работы. Из-за страха, что мы оба потеряем кусок хлеба, тебе придётся уступать, соглашаться... Так вот, я иду на помощь тебе, я буду работать и зарабатывать, ты можешь чувствовать себя уверенней, независимей. Нужно будет — станешь выжидать. Работа, пусть у Клешнева, да это прекрасно, потому что она не ради того, чтобы занять свободное время. Она ради тебя! У этой работы свой смысл, Андрюша, значительный смысл для меня. И если я сумею помочь тебе, я буду просто счастлива. Ты понимаешь меня, Андрей? Это совсем не похоже на прошлое.

Она сидела рядом со мной, гладила лёгкой рукой моё плечо; её лицо, нежное и чистое, было спокойным и счастливым. Только под ресницами скрытая тревога. И голос её ласков, он и просит и убеждает. Я не возражал, я не смел огорчить её недоверием, но я испытывал стыд за себя. Она спасает меня. Она!.. которой всегда была нужна помощь.

Но пусть обманывается, зачем разубеждать?

Олег Владимирович с таинственно значительным видом отозвал меня в кабинет директора, попросил присесть на стул.

— Андрей Васильевич, у меня очень неприятный для вас разговор.

Этого он мог бы и не сообщать мне, я сразу догадался: что-то случилось, что-то новое и неприятное. Олег Владимирович сидит сейчас передо мной багроволикий, смущённый до потной испарины, по привычке тербит свою дремучую бровь.

— Я вынужден с вами сейчас разговаривать как секретарь партийной организации. Очень неприятное дело, Андрей Васильевич, но я ничем не могу помочь.

— Говорите без предисловий.

— Да, да... Так вот, ваша жена... Простите, я говорю об Антонине Александровне... Так вот, она передала в нашу парторганизацию письмо. — Олег Владимирович болезненно поморщился, протянул мне вырванный из ученической тетради листок. — Вот, прошу, прочитайте... До чего всё неприятно!

Тоня писала:

«...Не знаю, куда жаловаться, где искать помощи. Единственная надежда, что партийная организация примет соответствующие меры, разберёт недостойный поступок моего мужа, члена партии Андрея Васильевича Бирюкова. Ещё в прошлом году я начала замечать, что мой муж, А. В. Бирюков, стал часто навещать жену недавно уехавшего из района первого секретаря райкома партии тов. Ващенко. Мой муж обманывал меня, обманывал и честного человека, постоянно занятого руководящей работой. С тех пор стали меняться взгляды моего мужа. Мне часто пришлось слышать, как он в личном со мной разговоре всячески поносил уважаемого директора школы Степана Артёмовича Хрустова, называя его сухарём, чиновником и ещё более обидными словами, которые я и не осмеливаюсь даже написать в письме. Так же он отзывался о заведующей роно тов. Коковинной. Как всем известно, С. А. Хрустов спас нашу дочь, вытащил её из проруби, в результате чего сам тяжело заболел. Вместо благодарности мой муж у постели больного С. А. Хрустова устроил скандал, так что нас обоих пришлось выгнать из дому. Все эти факты я сообщаю для того, чтобы парторганизация знала, какое влияние оказала на моего мужа та женщина, незаконно живущая вместе с ним. Лично я с ней никогда не была близко знакома и не хотела знакомиться. Всем известно общественное поведение моего мужа и его участие в травле С. А. Хрустова. Это тоже, как я догадываюсь, происходило не без влияния этой женщины. В конце прошлого месяца, обманув меня и Ващенко, мой муж и эта женщина уехали в город. Она заставила моего мужа прикрыть этот морально грязный поступок якобы неотложными делами. На самом же деле они занимались в городе тайным сожительство. Всё это время муж мне лгал, пока та открыто не бросила своего мужа. После чего А. В. Бирюков устроил мне скандал и

ушёл к ней. Под влиянием женщины лёгкого поведения он бросил дочь, разрушил семью.

Ещё должна сообщить, что мой муж всегда с большим высокомерием говорит о своих товарищах-учителях, никого ни во что не ставит, все у него глупы и недальновидны, все, кроме него самого, круглые дураки.

Единственная надежда на парторганизацию. Повлияйте на члена партии, который своим грязным поступком замарал это высокое звание. Исправьте А. В. Бирюкова, верните отца дочери, не дайте развалиться семье.

Ещё раз: не откажите в помощи!

Антонина Бирюкова».

Олег Владимирович, втянув в плечи свою крупную голову, старался не глядеть на меня.

Я ещё раз проглядел письмо: грубиян, лгун, прелюбодей, даже высокомерность не забыта — всё собрано, что только можно, ничем не погнушалась моя верная жена. Если я такой, каким она меня представляет, то ей следует бежать от меня, как от прокажённого, а не тянуть обратно к себе и к дочери. Почти семь лет прожил я с ней, знал, что она не отличается глубоким умом, но не понять, что ничем другим так не оттолкнёт она меня, как этой клеветой, этим унижительным доносом, не понять этого и надеяться на моё возвращение! Я не испытывал к ней злобы, было одно чувство после письма — отвращение.

Я отдал письмо Олегу Владимировичу.

— Вы хотите, чтоб я что-то сказал? — спросил я.

— Вся и беда, Андрей Васильевич, что вам придётся это говорить не мне, а партсобранию. — Олег Владимирович снова болезненно сморщился. — Она, конечно, сейчас в таком запале, что непозволительно раздувает факты, даже извращает их, но... вы понимаете: раз письмо пришло, то мы не можем бросить его в корзину для мусора, не в моей власти от него отмахнуться. Попробуй умолчать — она пожалуется в райком. Райком вынужден будет нажать на нас. Шум, последствия...

Олег Владимирович долго мне объяснял то, что я и без него прекрасно знал.

— Вы правы. Разбирайте.

Олег Владимирович в ответ лишь снова поморщился.

Наша партийная организация занимала в жизни школы скромное место. В ней состояло всего шесть человек: Тамара Константиновна, Олег Владимирович, Василий Тихонович, две учительницы и я. Был ещё Степан Артёмович; но после того как отстранился от обязанностей директора, он снялся с учёта.

Мы время от времени обсуждали материалы, поступающие от райкома, где говорилось о затруднениях с севом, о недостаточной активности МТС в ремонте тракторов, о помощи колхозам во время уборки силами учеников старших классов. Иногда по просьбе отдела пропаганды и агитации мы выдвигали из учительской среды лекторов и докладчиков. Школьных дел мы не касались, там господствовал один Степан Артёмович. И это вошло в привычку.

Олег Владимирович, ставший неожиданно и директором, и завучем, и секретарём парторганизации, совсем было забросил партийные дела. Даже членские взносы вместо него собирала учительница химии Евдокия Алексеевна.

Тамара Константиновна, как всегда, дебелая, внушительно солидная, восседала по правую руку Олега Владимировича. Её глаза полуприкрыты веками, и если она разрешает себе глядеть в мою сторону, то взгляд её в эти минуты ничего не выражает, кроме равнодушного презрения. Прошло то время, когда Тамаре Константиновне с её властолюбием, заимствованным от Степана Артёмовича, приходилось считаться со мной. Я уже для неё не противник. Весь её надменный вид говорит, что она несколько не удивляется тому, что случилось, она ждала этого.

Учительницы — Евдокия Алексеевна Панчук (двойной подбородок придаёт её лицу заносчивое выражение) и тихая Горшакова, обе домовитые хозяйки, наверняка по-женски сочувствуют Тоне, исподтишка с отчуждённым любопытством поглядывают на меня.

Но больше всего меня интересует, что скажет обо мне Василий Тихонович. Он сидит, опустив свой костистый нос к столу, всей пятернёй влез в жёсткую шевелюру, пока ещё ни разу не взглянул в мою сторону. Что-то скажет он?

Я должен подняться и опровергнуть письмо Тони. И казалось бы, что может быть проще — опровергать неправду, но нет, попробуй-ка доказать, что всё не так, что я иной. Я говорю несколько фраз, скучных, бесцветных, ненужных, и замолкаю. Тогда Тамара Константиновна, не глядя на меня, обращаясь в пространство директорского кабинета, начинает задавать вопросы. Они произносятся сонным голосом, но от них кровь бьёт в голову, до боли сжимаются кулаки.

— А скажи-ите, Бирю-уков, — тянет она, — вы имели интимную связь с этой женщиной до того, как ушли от жены?

Я сдерживаюсь: спокойствие — моя единственная защита. Закричать, вознегодовать — значит показать, что потерял голову, значит доставить радость этой жестокой и мстительной даме с дебелым лицом римской матроны.

— Я отказываюсь на это отвечать, — говорю я спокойно.

— Вас удовлетворяет такой ответ? — чуть повернув голову в сторону Олега Владимировича, спрашивает Тамара Константиновна.

А Олег Владимирович сердито сопит, двигает широкими бровями.

— Тамара Константиновна, это действительно не имеет значения, — говорит он. — Нельзя же превращать партсобрание в смакование каких-то щекотливых интимностей.

Тамара Константиновна чуть розовеет:

— А мне кажется, что такие вещи помогут распознать моральный облик нашего товарища.

Я не вступаю в спор.

Василий Тихонович сидит, склонив лицо к столу. Он упрямо молчит. Его молчание кажется мне зловещим. Олег Владимирович наконец спрашивает его:

— Ну, а ваше мнение, Василий Тихонович?

Он поднимает голову, из-под колючих ресниц скользит по мне чужим, бесчувственным взглядом.

— Я осуждаю Бирюкова за то, что он из-за этой связи забыл дело. В этом нет для него прощения. Но письмо... После того как я прослушал его, считаю: бежать надо от этой женщины, бежать немедленно, и подальше, куда-нибудь к Тихому океану. Вот моё мнение. Тамара Константиновна может не соглашаться с ним.

И он снова опустил лицо к столу.

После собрания я бросился по коридору, чтобы догнать Василия Тихоновича, чтобы выпросить у него прощение, чтобы восстановить прежнюю дружбу. Нам нужно быть вместе, нельзя жить порознь, он это знает так же хорошо, как и я.

— Василий... — робко окликаю его.

Но он не оглянулся, лишь увеличил шаг. В его прямой, крепкой спине я почувствовал какую-то каменную отчуждённость.

21

У Вали появилась своя жизнь. Иногда она уходила из дому утром, иногда после обеда, иногда возвращалась довольно рано, часов в шесть, иногда задерживалась в редакции до полуночи. В свободное время она возилась по хозяйству: варила обед, мыла посуду, ходила в магазины. Я открывал свежие номера районной газеты и с ревнивым интересом вчитывался в то, что делала теперь она: в колхозе имени Семнадцатого партсъезда доярки такие-то взяли обязательства, в другом колхозе успешно развёртывается сеноуборка — скошено столько-то гектаров, застоговано столько-то; ветеринарный врач Хохлов пишет о случаях заболевания среди молодняка — всё это нужно, без этого не обойтись, но должно же появиться что-то новое, не клешневское. Нет, Валя не совершает революции в газете и, кажется, не собирается совершать.

И в наружности её появилось что-то заурядное: волосы стянуты ситцевым платочком, на лице обидная озабоченность. За несколько дней она стала обычной служащей, каких много в нашем Загарье. Дни в пропахшей чернилами и типографской краской комнате редакции, в обществе унылого человека, посуда, обеды, магазины — всё накладывает свою печать, не проходит бесследно.

Прежде я видел в ней какой-то ореол таинственности, неудовлетворённости, духовного смятения, а теперь — проста, понятна, никакого смятения, довольствуется маленьким, не бунтует, не жалуется и боится только одного, что я выскажу ей своё недовольство. Я часто ловлю на себе её робкие взгляды, часто вижу у неё выражение подавленности, почти испуга.

Я по-прежнему любил её лицо, её глаза с синевой, просвечивающей сквозь светлые ресницы, любил её тонкие руки, ширококостные у запястья, её волосы, мягкие, лёгкие, покорно скользящие между моими пальцами, любил едва уловимый, свежий, тёплый

запах её тела. Я по-прежнему любил её, но как-то по частям, по отдельности — руки, глаза, волосы, но в целом я испытывал разочарование. И мне становилось страшно: разочарование! Так быстро? Ведь мы прожили вместе всего каких-нибудь две недели! Что-то будет дальше? Мы же рассчитываем прожить вместе всю жизнь.

И эта странная смесь болезненной любви и разочарования неожиданно прорывалась в приливах внезапной жалости. Приливы жалости к ней у меня случались и раньше, задолго до нашего сближения. Но в той жалости не ощущалось ничего унижительного, то было желание спасти её, подставить плечо. После такого прилива я каждый раз чувствовал себя сильным, способным на подвиг. Теперь же жалость была беспомощной, приводящей меня в смятение.

Она мечтала о широкой жизни, пусть сложной и трудной, но жизни, где совершаются значительные дела. Мечтала, надеялась, была недовольна сама собой. Это недовольство, её страстность и подкупили меня, заставили внимательнее к ней приглядеться. И вот редакция районной газеты, работа, которую может делать такой, как Клешнев, человек, лишённый всякого таланта, душевной проницательности, — ходячая скука в пиджаке с протёртыми локтями и служебной плешью на макушке. Она смиренно приняла свою долю, оставила свои мечты. Ради чего? Ради меня, ради того, что она в меня верит. Она писала, что я для неё великий человек. Великий! Положим, ради великого можно отдать себя в жертву. Но какой я великий?..

Я припоминал разговор в номере гостиницы с моим старым приятелем по институту кинематографии Юрием Стремянником. Я спросил его об Эмме Барышевой, и он мне ответил: «Канула...» А Эмма Барышева была лучшей студенткой на нашем курсе. Она обещала стать среди живописцев звездой, пусть не первой величины, но наверняка заметной. И не разгорелась... Что ей помешало? Муж, семья, дети? А может, бросилась зарабатывать длинные рубли? Не всё ли равно, как это случилось. Не сумела использовать свою жизнь достойно, растратить разумно свои силы.

Почему я, человек без особых способностей, не одарённый значительным умом, должен оказаться в числе особых удачников?

Идёшь в гору, напрягаешь все силы, дразнишь своё воображение величественными вершинами, и вдруг — стоп! Ты достиг своей вершины, она не выше, чем у других: обычный холмик, который доступен многим. Достиг его, а теперь спускайся в долину, где беспечно блаженствуют Акиндины Акиндиновичи. Эти дни, возможно, и есть начало стремительного спуска. Стану барахтаться, напрягать остатки сил, рваться вверх...

Но где этот верх, где вершина? Ведь теперь, когда я пробую взглянуть вперёд, я ничего не вижу.

Оглядываясь назад, на своё дело, я теперь начинал сомневаться и в нём. Самому себе и другим я постоянно твердил: «Давайте искать!» А правильно ли я начал свои поиски? Новые приёмы в преподавании — оргдиалог, активизация ученика на уроке... Я не считал их универсальным рецептом, спасительным средством от всех бед. А если предположить, что их признают, заставят всех без исключения учителей ими поль-

зоваться, вставят в методические письма и инструкции, наложат печать казёнщины? В педагогике появится новый шаблон, и я, считающий себя противником всяческих шаблонов, выходит, способствую его появлению. С одной стороны, мне хочется, чтоб меня поняли, на путь моих поисков стало как можно больше учителей, с другой стороны, я боюсь этого. Даже в деле своём я не уверен, даже за поиски свои я не спокоен!..

Валя, Валя!.. Ты ждёшь от меня великих дел. Ты надеешься, что когда-нибудь снова прислонишься к моему плечу и скажешь: «Как я счастлива! Какая жизнь!» Не будет же этого! Я обманул тебя. Ты готова сейчас сидеть в редакции, выносить придирки Клешнева, крутиться по хозяйству. Ты думаешь, что это путь к чему-то заманчивому и значительному, а на самом деле будет всё то же самое: та же редакция, тот же Клешнев, те же утомительные, мелочные хлопоты об обеде, об ужине, о чистоте моих сорочек. Я боюсь сказать тебе это. Я продолжаю обманывать тебя!

В конце-то концов ты поймёшь этот обман, разглядишь меня, проникнешься презрением ко мне, а быть может, и ненавистью. Кто знает, когда это произойдёт: завтра, через неделю, через много-много лет, когда уже будет поздно отступать, когда ничего другого не останется, как смириться?..

Мне жаль тебя, Валя, но моя жалость беспомощна. Самое честное — это сказать тебе: «Отвернись от меня, иди обратно к Ващенкову, там привычное, там не будет позорных разочарований». Я не осмеливаюсь. Но если б даже я и осмелился, ты всё равно мне не поверишь, ты станешь меня успокаивать и разубеждать. Я бессилен...

Временами меня охватывало негодование на самого себя. Неужели всё потеряно? Неужели я так раскис, что не могу действовать, не могу воевать? Никогда я так не опу-скал руки! Коковина, Тамара Константиновна, Анатолий Акиндинович — неужели они непреодолимы? Они обычные люди, не слишком умные, не слишком волевые, даже не очень-то верящие в правоту того дела, которое отстаивают. И я пасую перед ними! Я отчаиваюсь, я ничего не могу предпринять! Надо действовать, писать в область, требовать новых обсуждений, надо сразиться с Коковиной, доказать свою правоту, завоевать снова уважение! Это трудно, авторитет мой подмочен, на меня глядят с сомнением. Трудно! Но разве невозможно?..

Нужны друзья. В первую очередь следует объясниться с Василием Тихоновичем, со всей искренностью, на какую я способен, — пусть осудит, но пусть и простит. С нашего полного примирения и должно начаться моё возвращение в жизнь. А уж тогда и без особого страха могу глядеть в глаза Вале. Тогда посмотрим, заедаю ли я её жизнь, обманываю ли её надежды.

И вот я решился. Натянув на глаза кепку, я отправился к дому Василия. Шёл, глядел под ноги, и меня лихорадило. Сейчас встретимся, сейчас я ему всё скажу. Скажу, что нас сроднили не сходность характеров, не какие-то неощутимо духовные симпатии, а дело, труд, которому каждый из нас с одинаковым желанием готов отдать свою жизнь. У нас одни взгляды, мы одинаково представляем себе будущее. Так и скажу: «Не знаю, как ты, а я без тебя чувствую себя слабым и беспомощным. Не может быть

вражды между нами! Всё, что случилось, нелепость, постыдное недоразумение. Я прошу у тебя прощения. Если хочешь око за око, то вот тебе моё лицо, ударь, расплатись — и забудь...»

Я вышел уже на ту улицу, где жил Василий, испытывая всё то же лихорадящее нетерпение. Разве можно не пойти мне навстречу? Не замечал в Василии мстительной мелочности. Он поймёт, он не отвернётся! Да, но Валя... И эта мысль заставила меня остановиться посреди дороги. Наша ссора произошла из-за неё. Вряд ли Василий изменил о ней мнение. Наоборот, озлобившись на меня, он не может не озлобиться на Валентину. Я не могу не защищать её. И если Василий Тихонович снова повторит?.. Нет, мне с ним нельзя встречаться! Хватит и того, что есть на моей совести. Я повернул обратно.

С Василием Тихоновичем помириться не могу. Коковиной и Тамаре Константиновне не могу сопротивляться. Писать в область? А там Павел Столбцов, теперь-то мне известно, как надеяться на его поддержку. Потребовать нового обсуждения? Резонно спросят: «Где вы, дорогой товарищ, раньше были?» Ничего не могу. Бессилен!

Дома ждёт Валя, любящая, жертвующая, слепо верящая. Я должен делать вид, что достоин её любви, жертвы. А это обман. Бессилен что-либо сделать...

Так шёл наш медовый месяц.

22

Я бездельничал, я совсем перестал приходить в школу, тем более что школа в моих посещениях не нуждалась. Все парты были вытащены во двор, сложены баррикадами: в школе полным ходом шёл ремонт.

Я бездельничал, а за моей спиной решались мои дела, плелись не слишком-то хитрые интриги.

В райком партии, к Кучину, который временно замещал Ващенко, поступило заявление от Тамары Константиновны. Она писала, что парторганизация Загарьевской средней школы недостаточно объективно подошла к разбору моего персонального дела, что партийным органам следовало бы поинтересоваться причинами той травли, которая в своё время была создана вокруг Степана Артёмовича Хрустова.

Олег ли Владимирович посоветовал, или сам Кучин догадался спросить Степана Артёмовича, не знаю. Но бывшего директора вызвали в райком.

Степан Артёмович жил в своём домике тихой жизнью пенсионера. В обычные часы выходил на прогулку, постукивая по дощатым тротуарам палкой, остальное время копался на огороде, ухаживал за кустами смородины и малины, разбил под окнами цветничок, единственный цветник на всё село, если не считать маков, посеянных на морковных грядках.

Он с обычным своим достоинством появился в райкоме и на прямой вопрос о травле ответил:

— Бирюков упрям и дерзок. Его можно лишь упрекнуть, что добивается невозможного. А травлей он не занимался.

Меня даже не потревожили, о его ответе я узнал от других. Сам же Степан Артёмович, случайно столкнувшись со мной возле моста, ответил на мой поклон чуть заметным кивком.

Как и прежде, я просыпался в семь утра, но не сразу поднимался с постели. Мне не нужно было спешить, меня ждал бесконечно тягучий, утомительно скучный день. Нечем заниматься, только ночь спасение, только засыпая, я мог не замечать, что жизнь моя пуста и ничтожна, не надо ни о чём думать.

День изо дня дикая скука, ядовитые мысли и, что самое ужасное, сознание, что это положение не на время, нет надежды на лучшее. От безделья не только тупеют; чтобы как-то разорвать непрерывную цепь ненужных дней, от безделья идут на преступление.

И опять я нашёл убогое наслаждение в воспоминаниях. На этот раз я вспоминал не те дни, которые я провёл с Валец в городе, не открытое окно в гостинице, не пустынный утренний город с непотушенными фонарями и пением птиц. Я теперь вспоминал о том, как хорошо жил прежде, как был тогда уверен в себе, какое прочное душевное равновесие испытывал. Вспоминал свой стол и то увлечение, с каким я засиживался за ним ночами. Я тогда чувствовал себя непревзойдённым режиссёром тех уроков, которые надлежало разыграть на следующий день. Я знал, что мою работу ждут, моей работой интересуются не только мои сторонники вроде Василия Тихоновича, Ивана Поликарповича, Олега Владимировича, но и такие противники, как Тамара Константиновна. На меня могли глядеть с неприязнью, но относиться равнодушно ко мне не могли. А если у меня вдруг оказывалась свободная минута, как я ей радовался! Не раздумывая, я отдавал эту случайную минуту Наташке, мастерил ей бумажных змеев, читал ей книги, искал на нарисованном острове пиратские сокровища. Я сейчас не вижу Наташки. Что-то она думает об отце, который ушёл от неё? Что она думает? Нет, это нельзя трогать, подальше от таких мыслей!.. Тоня... Она никогда меня не понимала, мы всегда были далеки друг другу, а её письмо!.. И всё-таки с Тоней мне всегда было проще, чем с Валец. Никогда не приходилось задумываться с таким мучительством: а не заедаю ли я её жизнь, не обманываю ли её? Меня не пугало, что вдруг да разочаруется, вдруг да поймёт моё ничтожество. Я твёрдо знал: Тоня счастлива своей небогатой по событиям жизнью, стоит мне захотеть, и она всегда будет довольна мною.

Если б всё вернуть! Вернуть товарищей, вернуть Наташку, обрести душевный покой и уверенность в себе. Я мечтал о прошлом, как мечтают солдаты в окопах о том мире, где они когда-то ходили во весь рост, сидели за столами, читали по утрам свежие газеты, жили не в земле, а в просторных домах, спали на чистых простынях и не боялись, что с минуты на минуту случайный снаряд смешает их кости с окопной грязью.

Валец работала, я часто оставался один и почти всё это время предавался воспоминаниям, мучительным, прекрасным, ненужным, ничтожным. Я потерял над собой власть.

Как-то я лёг спать и долго не мог заснуть. В низенькие оконца избы пробивался свет луны, ложился полосами на некрашенный пол. За перегородкой на печи похрапывала хозяйка. Валец ещё не возвращалась с работы.

Но вот за окном по облитому луной травянистому дворику прошуршали лёгкие шаги, закрипело крылечко, стукнула дверь, вошла Валец. Я слышал, как она скинула у порога туфли. Наша хозяйка Марья Никифоровна, спавшая по-старушечьи чутко, проснулась, спросила хриловатым спросонья голосом:

— Валец, это ты, голубушка?

— Спи, спи, Никифоровна, — тихо отозвалась Валец.

Но Никифоровна зашевелилась на печи:

— Ужо отосплюсь. А ты ешь, ешь себе, не обращай на меня внимания... Ну и работку ты подыскала — ночь за полночь, а сиди.

— Номер сдавали.

— И в прошлый раз номер и теперь. Когда их, все эти номера, сдадите?

— Никогда.

— Тяжело тебе, девонька?

— Нет.

Бесшумно ступая, Валец вошла на нашу половину, сбросила тапочки, встала маленькими босыми ногами в лунную полосу, покоящуюся на шершавых половицах, принялась раздеваться, роняя на пол из волос шпильки.

Я окликнул:

— Валец.

— Ты не спишь? — отозвалась она.

В голосе её я уловил радость: не сплю, жду её, она благодарна мне за это.

— Валец... Присядь сюда. Я хочу поговорить с тобой.

— Слушаю, — голос её сразу же потух. Она покорно присела ко мне на кровать, полураздетая, с распущенными по плечам волосами, с настороженно поблёскивающими в темноте глазами.

— Валец. Не перебивай, не возмущайся, выслушай...

— Я слушаю.

— Валец, я не тот, за кого ты меня принимаешь. Я сломался и тебя ломаю.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Тебе надо бежать от меня. Пойми, Валец, я неудачник. (Даже сам для себя я впервые осмелился произнести это слово!) Теперь в этом не приходится сомневаться. Посвятить неудачнику жизнь — не только незавидная, но и унижительная доля. Валец, родная, пока не поздно, уходи...

— Куда?

— Куда?.. Я боюсь это произнести, но надо. Уходи обратно к Петру. Он лучше меня, достойней меня. Как бы ни сложилась там твоя жизнь, всё-таки будет там покой и ясность, всё-таки тебе не придётся принимать на себя отчаяние, унижение и озлобленность неудачника. Я пока себя сдерживаю, но надолго ли мне хватит сил сдерживать себя? Зачем тебе тянуть на себе ничтожество? Да, да, это так, я сам в себе ошибался, тебя обманывал. Против своей воли обманывал.

— Ты не хочешь, чтоб я жила возле тебя?

— Хочу одного, Валя, — спасти тебя. Пустота впереди, никакого проблеска. Пойми это...

— Не вернусь обратно, — проговорила она. — Как впереди будет, не знаю, но сейчас я довольна. Я живу, понимаешь, живу, у меня есть задача — вытянуть тебя из беды, помочь тебе, поддержать. Пусть трудно, но именно поэтому я и испытываю полное удовлетворение. А ты хочешь, чтоб я вернулась обратно. Опомнись, Андрей, сейчас ты делаешь страшное дело. Страшное для тебя, страшное для меня!

— Но ведь обман! Жить в обмане! Что может быть страшнее? Я сам не верю, что меня можно поддержать, что мне можно помочь!

— А я верю. Что бы ни случилось, верю! Андрей, милый. — Она прислонилась ко мне, её волосы упали мне на лицо. — Верю в тебя! Ты из тех людей, которые в конце концов или будут жить по-настоящему, или откажутся от жизни. Пока ты со мной, ты будешь жить, будешь верить в себя. Не мной сказано, что в жизни бывают не только свои оазисы, но и свои пустыни. Так перейдём же вместе эту пустыню, не отталкивай меня, со мной тебе будет легче. Другого такого верного товарища ты себе не найдёшь.

Рядом решительно блестят её глаза, волосы касаются моего лица, я чувствую на лице её взволнованное дыхание. Почти фанатическая вера звучит в её словах. Она верит, она заражает этой верой. Возражать ей сейчас — святотатство! Я протянул к ней руки и обнял. Верю ей! Всякое несчастье, как бесплодная пустыня, имеет свой конец, рано или поздно я начну снова искать, а раз будут поиски, то будут и находки. Переживал же я и раньше минуты отчаяния. Тогда переживал в одиночку, теперь со мной она, всё понимающая, любящая, верящая, предлагающая мне свою жизнь. Как я могу отказываться от неё?..

Я уткнулся ей в плечо.

23

Утром я вышел на крыльцо с полотенцем на плече. Валя одевалась в комнате. В открытое окно я услышал, что она негромко напевает.

Она возвращается по вечерам с работы осунувшаяся от усталости. Глядя на неё, я всякий раз чувствовал, что прошедший день был для неё нелёгким. И сегодня у неё впереди обычный день — пропахшая типографской краской комната редакции, Клешнев, как наказание, сидящий над душой, работа, которой Валя не увлечена. А она поёт, радуется наступающему дню.

За завтраком она была спокойна, ровна, глаза просветлённые, доверчивые. Но теперь, кроме доверчивости, я уловил в её взгляде непривычную для меня уверенность. Такую же непривычную, как и недавнее пение.

В ситцевом платочке, туго стянутом на волосах, она отправилась на работу. Я глядел ей вслед с крыльца. От прежней Валентины Павловны осталась только походка — мелкая, напористая, грудью вперёд, со вскинутым подбородком.

Я слишком был занят самим собой, до сих пор замечал лишь ситцевый платочек, озабоченность на лице, внешнюю обидную опрощённость. И опять — который раз! — она новая, не совсем понятная мне.

Дом пуст, в школу идти рано, да и не хотелось. В это утро, как никогда, я почувствовал себя одиноким. Снова охватило тяжёлое беспокойство. Она верит... Но чем могу оправдать её веру? Надо что-то предпринимать, как-то действовать... А что? Как? У меня по-прежнему пусто в душе, в голове хоть шаром покати — ни одной здоровой мысли. Вера, которую она мне вчера сумела внушить, держалась до тех пор, пока Валя была рядом. Вот она ушла — дорогой человек, знакомый и непонятный. Верит... Вдруг да с расчётом идёт на обман, трезво решила, пока можно, поддерживать меня? Пока можно! Пока есть у неё силы. Она жертвует собой для меня, как когда-то собиралась жертвовать для Ващенкова.

Идти некуда, делать нечего, а летний день долог. Хватает времени для размышлений. Чем дольше думаешь о Вале, тем запутанней кажется мне отношение к ней. Надо гнать бесполезные мысли.

Не думать о Вале, но тогда вспоминается Наташка. Я постоянно ощущаю пустоту, не могу сидеть на одном месте, тянет пойти к ней, и оттягиваю встречу: что скажу, как взгляну в глаза?.. Иногда с соседнего двора в открытое окно доносится детский крик — я вздрагиваю.

Я знаю всех детей на улице. Загорелые, в вылинявших рубашонках, в залатанных штанишках — деревенская беспечная вольница. Я наблюдаю за ними, как они дразнят старого сердитого козла, как рысцой бегут вдоль нашей изгороди на речку, держа на весу удочки.

У меня так много теперь свободного времени. С каким бы наслаждением я его отдал Наташке! Каких бы змеев мы запустили в небо! Какие бы истории я ей порассказал! Нет Наташки!..

Нельзя думать о ней! Нельзя о ней, нельзя о Вале, а день тянется медленно. И завтра точно такой же день, точно такие же мысли. Лучше уйти в школу, в чужую, пустынную, неуютную, легче переносить там встречи с Акиндином Акиндиновичем, испытывать при этом глущую неловкость.

В этот день Валя пришла раньше обычного, на её лице вместо усталости я заметил сердитую решительность.

— Что случилось? — спросил я.

— Ничего.

— А всё-таки?

— Каждый день случается, — и её лицо вспыхнуло. — Нет, я прищемлю его.

— Да что случилось?

— Пришло письмо о махинациях Гужикова. Сделал в райпотребсоюзе частную лавочку с широким размахом. Клешнев боится Гужикова, старается замазать.

Она, порозовевшая, с налитыми синевой глазами, вскочила со стула, прошла грудью вперёд, вызывая вздёрнула вверх подбородок, резко повернулась:

— Дождётся!..

И я не нашёлся что ответить. У меня хватало своих бед, маленькие недоразумения с Клешневым казались далёкими и ненужными. Валя принимает моё, верит в меня, готова служить мне, а я даже посочувствовать не могу. В ту минуту, когда она говорит, я холоден, как мартовский сугроб на солнце.

Она решительно заявила:

— Пойду к Кучину сейчас, немедленно. Выложу всё!

Я поддакнул:

— Да, да, стоит... Сходи сейчас...

Я весь день ждал прихода Вали, как спасения. Мне казалось, что рядом с ней мне будет спокойнее. Но теперь я рад, что она уйдёт.

Валя ушла. А я, чтоб не оставаться в опостылевших за день стенах, решил выйти на улицу.

На небе тлел сухой закат. По нему чертили ласточки. Трещал мотоцикл за рекой.

Беззаботное пение Вали утром, новое для меня выражение уверенности в её лице, дерзкое слово «дождётся!..», её запал — неужели всё это поддерживается одним желанием, одной страстью: помочь мне, поддержать меня? Она же пробовала работать в редакции при Ващенкове, с ней такого не случалось. Как ответить ей? На душевную щедрость не отвечают холодом.

Зловещий красный закат тревожил меня, бередил душу. На дорогу вышло стадо, подняло розовую пыль. Женский голос ласково звал корову:

— Ночка! Ночка! Иди, дурная. Иди, милая...

Неожиданно я почувствовал, что кто-то за мною следит. Я оглянулся: держась одной рукой за колышек оградки, в стороне стояла Наташка. Она напряжённо глядит на меня. Но в ту секунду, как только наши глаза встретились, опустила лицо, а с места не двинулась, вцепившись загорелой рукой в колышек забора, старательно выдавливает босой пяткой лунку в земле. Долговязая не по возрасту, в коротеньком платице, с обожжёнными солнцем ногами и руками, худенькие икры покрыты царапинами, стоит, опустив голову, выставив льняную макушку. Она, верно, давно уже наблюдает за мной, ждёт, когда я обернусь и замечу её, ждёт, чтоб я подошёл.

От неожиданности, от страха перед этим существом меня прошиб липкий пот, потемнело в глазах, на секунду остановилось сердце: впервые в жизни я почувствовал, что вот-вот упаду в обморок.

Непослушными, свинцовыми ногами, с хрустом неуклюже давя песок на дорожке, я направился к ней:

— Наташенька!..

Она ещё ниже склонила голову. Она плакала.

— Наташенька, милая.

Я опустил перед ней на корточки:

— Доченька моя родная!.. Наташенька!.. Славная моя!.. Я тебя люблю. Я ни на минуту не забываю...

Вдруг её тонкие-тонкие, лёгкие, горячие ручонки обхватили мою шею. На секунду под своими руками я почувствовал вздрагивание её острых плеч, мокрое лицо прижалось к моей шершавой щеке.

— Пап... — всхлипнула Наташка, вывернулась из-под моих рук и исчезла.

Я с трудом поднялся, оглушённый, разбитый. Стучало в висках, перед глазами плыли оранжевые пятна, похожие на клочки рассеявшегося заката. Ощущение тоненьких невесомых ручонки на шее, вздрагивающее, угловатое, по-детски тощее тело, мокрая щека и это «пап», страдающее, любящее!.. Она простила меня. Простила не так, как прощают взрослые, а без всякого расчёта, без раздумья... Простила потому, что любит.

Я стоял нетвёрдо на ногах, продолжая ощущать тонкие руки на своей шее.

24

Спотыкаясь, как пьяный, я добрался до дому.

В комнате душно, гудят мухи на оконных стёклах, на полках в приглушённом закатном свете поблёскивают корешки книг — Валиных книг, которые она теперь не читает. На стене висит знакомый, изученный вдоль и поперёк пейзаж ельничка на болоте. Не хочу ни о чём вспоминать, не хочу ни о чём думать, кроме Наташки.

Тонкие ручонки, охватившие мою шею. Попробуй-ка оторви их от себя, откинь в сторону! Какое сердце может выдержать это ощущение горячих детских рук! Я человек, а не камень. Я отец ей!..

Разве мне не ясно было и раньше, что никого нет на свете, кого бы я любил больше её? Ничего нет дороже, ничего нет ближе!

Она ещё не начала жить, ещё только по-детски стала чувствовать и переживать, а я, её любящий отец, в незащищённую, доверчиво открытую душу наносу рану. Время излечит? Может быть, и излечит, но всё равно в душе останется шрам. Не мои, а чьи-то чужие глаза будут следить, как она растёт день за днём. Не мои руки, а чьи-то другие станут направлять её жизнь. Чьи-то глаза, наверняка менее любящие, чьи-то руки, наверняка менее бережные...

Валя... Но разве Валя такая беспомощная, как Наташка? Даже если на секунду предположить, что я смогу Вале что-то дать, чем-то помочь (ой ли, сомнительно!), то

Наташка наверняка больше нуждается в моей помощи. Хватит отмахиваться, хватит убегать от мыслей, связанных с Наташкой, пора подумать о дочери и Вале вместе. Поставь для себя вопрос: кто тебе дороже? Поставь и честно ответь. За спиной у Вали часть жизни, совершенно чужая тебе. Знаешь о ней только понаслышке. А жизнь Наташки?.. Разве ты не помнишь, как топтался возле крыльца родильного дома? Разве ты забыл, как тебе в руки передали завернутое в большое одеяло что-то, пока не имеющее для тебя ни лица, ни имени, но что-то живое, от прикосновения к которому ёкнуло сердце? Разве ты не радовался первой гримаске, похожей на улыбку? А первые шаги, когда детская ручонка судорожно стискивает твой большой чёрствый палец?.. С первого часа тебе принадлежит её жизнь. Почему же ты должен от неё отказаться? В Вале течёт чья-то кровь, кровь каких-то незнакомых тебе людей, а в Наташке — твоя собственная. У неё твои глаза, твои волосы, твой лоб. Наташка — это ты, освежённый природой, ты, кому суждено будет жить после твоей смерти. Нет, даже ради Вали не смеешь поступиться Наташкой...

Наташка ждала, чтобы побыть наедине. Она ничего не просит, ничего не требует, она просто любит. И я должен отвернуться от её любви! Невозможно!..

На Валином столике среди флаконов и коробочек — нераспечатанное письмо. Его не было, его принесли, когда мы ушли из дому. Твёрдый конверт с размашистым адресом — от Ващенкова. Уже не первое письмо. Этот человек продолжает любить Валю...

Я виноват перед Тоней, что изменил ей, она виновата, что оклеветала меня в письме. Подлое письмо! Трудно простить клевету. Но если хочу, чтоб рядом была Наташка, то как ещё поступить иначе? Придётся простить письмо, придётся смириться...

Надо дожидаться Валю, сказать ей всё в глаза. Если уж предавать, то в открытую. Сказать?.. Видеть её, слышать её голос, снова почувствовать её неистребимую веру. Нет, я не могу устоять перед Валей. При виде её меня покинет решительность, и я останусь. Останусь, а потом без конца буду вспоминать Наташкины руки, без конца терзаться. Конец таким терзаниям один — уйти.

Я сел и, боясь, что Валя с минуты на минуту может вернуться, начал писать письмо. Сумбурное, трусливое письмо, со слезой, с самоунижением, с путанными объяснениями, что не могу жить без дочери.

Это письмо я положил рядом с письмом Ващенкова. Взял свой чемодан, бросил в него свои вещи: пару белья, полотенце, рабочие брюки. У дверей остановился. Что обо мне подумает Валя? Мне это не безразлично.

Во дворе стукнула калитка. Я вздрогнул, опустил чемодан. Но под окном прошла Марья Никифоровна, на крыльцо не поднялась, загремела ведром возле сарая. Если Валя застанет меня, не смогу уйти. А может, не уходить? Опомниться?.. А Наташка, а её руки?.. Перешагнуть через позор! Презирая себя, перешагнуть!

Я выскочил во двор...

Калитка, знакомое крыльцо, дверь. На столе стоит самовар, глаза Тони округляются, лицо пунцовеет от неожиданности. У неё гость. Более неприятной встречи не

могло быть для меня. Напротив Тони, развалившись на стуле, сидит Анатолий Акиндинович, по-домашнему, в одной сорочке. Острый, длинный нос вздёрнут, он только что с обычным апломбом рассуждал. О чём? Конечно, обо мне. Он приподнимается, на лице лёгкое смятение.

И Наташка ещё не спит. Она не вскочила со стула, она низко склонилась над своим блюдечком.

Секунду-другую мы все молчали. Я стою возле дверей с чемоданом в руке, у стола в неловкой позе Анатолий Акиндинович, а Тоня как сидела, так и сидит, наверно, не имеет сил подняться.

Я заговорил первый:

— Анатолий Акиндинович, мне нужно поговорить с Тоней.

Голова гостя высокомерно откидывается назад, узкая грудь выпячивается.

— Я уйду, Андрей Васильевич, — начинает он холодно, — но...

— Вы это потом скажете, на досуге. А сейчас прошу...

Тоня молчит, не собирается мне возражать. Анатолий же Акиндинович вскипает:

— Я ухожу, но прежде всё-таки скажу. Скажу, что вы непорядочная личность, вы, больше того, гнусная личность. Да, да! Эта женщина — святой человек. Вы недостойны её!

Я шагнул вперёд, как можно бережнее взял сразу съёжившегося Анатолия Акиндиновича за шиворот, и он, путаясь ногами, не произнося ни слова от изумления, придерживаемый мною, зашагал к двери.

— Мой пиджак! — кричит он уже из-за дверей.

Я снимаю со спинки стула его пиджак и сую ему в руки.

— Это возмутительно! Это рукоприкладство! Подобные вещи не проходят даром!

Я захлопываю дверь.

Тоня в это время поднялась, выпроводила поспешно в кухню Наташку, сама встала передо мной, знакомая, ничуть не изменившаяся — крупные плечи, маленькая голова, круглое неподвижное лицо, полные бёдра, туго обтянутые юбкой. Она покосилась на брошенный у порога знакомый чемодан, и напряжение в её округлившихся глазах исчезло, губы сомкнулись. От сытых плеч и бёдер, постного выражения на её лице я сразу же не то что представил, а как-то почувствовал длинную-длинную череду дней, похожих друг на друга, как удары маятника у старых часов: завтрак, обед, ужин, постель, завтрак, обед, ужин, постель, в промежутках работа, разговоры о картошке, о получке, о гостях, о пирогах... Дни, знакомые наперёд, как знакома эта стоящая передо мной женщина с мелкими бусами на сдобной шее — богиня домашнего очага, царица крохотного мира.

Она готова стать великодушной, эта царица, она собирается простить меня. Боже мой, на что я иду?!

Но чемодан уже стоит у порога, в кухне притаилась Наташка. Я устало опустил на стул.

— Образумился? Или прогнали тебя?..

Я угрюмо оборвал:

— Давай без нотаций. Согласна — принимай. Нет — не буду навязываться. Возвращаюсь ради Наташки.

— А я для тебя пустое место?

— Нет, не пустое. Ты мать Наташки.

— И только?..

— Только...

Тоня смолчала.

Так снова началась моя жизнь в старой семье.

25

Что мне рассказать о первых днях моего возвращения?

Рассказать о том, что продолжал не любить Тоню, что один вид её — круглое, с крепко сомкнутым ртом лицо, её пышные плечи, бесстыдные бёдра — вызывал во мне раздражение?..

Валя продолжала жить, как жила. Она ничем не напоминала о себе. Я по-прежнему ревниво следил за нашей районной газетой. Я стал любить её. Прочитав до последнего знака, всю с титула до подписи Клешнева, отложив в сторону, я сразу же испытывал нетерпение: скорей бы следующий номер! Статья о Гужикове появилась. В тот день я думал только о Вале, я радовался за неё и страдал...

Валя не собиралась ехать к Ващенкову. Что ей Загарье? Не родина, к которой кровно привязана. Здесь у неё нет никого, кроме меня. Ради меня осталась! Ради меня живёт! Продолжает любить, продолжает верить!

Валя, Валя! На что ты надеешься? Как ты можешь меня оправдывать? Ведь я же предал тебя! Я даже не могу сейчас с тобой встречаться. Я должен делать вид, что я добропорядочный семьянин, что забыл о тебе, зачеркнул тебя в душе. Каждый день, каждый час тебя вспоминаю. Но тебе-то от этого не легче. Зачем ты мучаешь себя, мучаешь меня? Я оборвал, ты не рвёшь, ты надеешься. Валя, Валя! Не обманывай себя, отвернись и прости, если можешь. А не простишь, твои упрёки, твою обиду приму, как должное, по праву заслуженное.

Я опять стал часто припоминать случай в московском метро. Мелкий дождь над Красносельской площадью, торопливый удаляющийся стук каблучков по мокрому асфальту. Там был мимолётный эпизод, непроверенная, туманная надежда на счастье. Бог с ним, с этим непроверенным счастьем! Но теперь-то я отказался от счастья проверенного. Сам отказался!..

Но есть ещё Наташка. Я счастлив, что она рядом.

Меня порой охватывала дикая нежность к дочери. Вот она, с исцарапанными коленками, со светлой чёлкой волос над выпуклым детским лбом, с бездумными, открыто

распахнутыми глазами. Я хотел, чтоб она проводила время только со мной, чтоб забыла двор, улицу, свои нехитрые забавы со сверстниками, игры в палочку-выручалочку, крышу сарая, где стоит клетка с голубями. Я мастерил ей игрушки, вспоминал забытые сказки. Нежность моя была так обильна, так не походила на мою прежнюю ровную любовь, что Наташка робела, держалась со мной с отчуждённой застенчивостью и в конце концов утомлялась, личико её принимало просительное выражение. А это меня пугало, я хотел, чтоб на мою ненасытную нежность она отвечала такой же нежностью.

И после этих порывов на меня находило разочарование, на какое-то время я становился прохладен к дочери.

Наташка же, встречая вместо преувеличенной ласки холодность, ещё больше робела и начинала чуждаться. А это снова вызывало во мне бунт совести. Она-то в чём виновата, что я несдержан, что я неумерен? Почему она должна терпеть мою холодность, моё равнодушие? И снова неистовая, неумеренная нежность... Я сам мучился, мучил дочь.

Я пытался лечить себя.

Уходил с удочкой и пустым ведром на реку, забивался куда-нибудь подальше от людей и ловил пескарей. Ловил до тех пор, пока дно цинкового ведра не скрывалось под толщей снующих рыбёшек. Вечером же я брал лодку Акиндина Акиндиновича — громоздкое, неуклюжее судно, добротное, как всё в хозяйстве моего соседа. Облюбованная мною заводь называлась Подкудиновской, по имени деревни Кудиновки, приютившейся напротив, за полем ржи. С лодки видны её крыши да рваная верхушка старого тополя, богатырём стоящего среди приземистых изб.

В этой заводи я забрасывал перемёт. При течении, хотя и не быстром, наживить на тяжёлой лодке пятьдесят крюков — дело нелёгкое и для двоих, когда один сидит на вёслах. Но я наловчился. Пока течение сносило мою лодку, я перебирал крюк за крюком, зацепленные за губу пескари шлёпались за борт один за другим. Потом я клал на корму камень, который был привязан к концу перемёта, и «заносил» его, то есть выезжал на середину реки и опускал на дно.

И я был рад тому, что завтра чуть свет у меня есть занятие, что мне сейчас надо пораньше лечь спать, ни о чём не думать, заботясь лишь о том, чтобы подняться до восхода солнца.

На рассвете, едва продрав глаза, я начинал спешить: скорей, скорей к реке, ключ от лодки — в карман, багор — во дворе, скорей!..

Росаяная трава обжигает босые ноги, улицы села пустынные, солнце не взошло, всё кругом серовато-голубое, притушенное, свежее. Ей-ей, секундами испытываешь радость, бездумную радость свободного зверя. Ни забот в голове, ни мыслей.

Подкудиновская заводь черна и неподвижна, дымится холодным туманом. Где-то в её глубине, на дне, лежит, растянувшись, мой перемёт, ждёт хозяина.

Запускаю багор, веду по дну, лодку сносит. Ага! Зацепил! Подтягиваю упругую бечеву. Она шершавая от песка. Берусь за неё рукой — не хватаю, нет, осторожно, благоговейно берусь и сразу же чувствую живой, таинственный трепет...

Вот тут-то настоящее забвение. К чёрту все житейские неувязки! Ничего не существует на свете! Шершаво-колючая бечева в руке. По ней передаются толчки, идущие из глубины, толчки, от которых жаркой испариной обдаёт тело. На мгновение немеет сердце и сорвётся торжествующим галопом: «Есть! Есть! Что-то есть!»

Счастливейшая секунда! Ради неё я вчера весь день, засучив штаны, стоял с удочкой на солнышке. Ради неё до кости рассадил крючком палец. Это она, счастливая секунда, спасала меня вчера от мрачных мыслей, когда я, прежде чем уснуть, ворочался с боку на бок. Она сорвала меня до солнца с нагретой постели. Насладись же ею вдоволь, слушай — трепещет в твоей руке мокрая, пропитанная песком бечева, не спеша её перебирать, продли тайну, скрытую толщей дымящейся туманом воды, помечтай...

Может, попалась знаменитая щука-дубасница. Она стара, как никто из живых. Она, возможно, старше самого села Загарья с его домами, старым и новым мостом, полторастолетней церковью и ещё более древней часовенкой. Она, эта щука, сбросила с себя шелуху икринки, когда люди не знали ещё, что такое паровоз, когда величайшей скоростью на планете считалась скорость рвущей постромки тройки. Об этой щуке по всем ближайшим деревням ходят легенды. Говорят, что морда её обросла зелёным мохом, что сотни крючков врубцевались в её пасть. Немало выискивалось охотников поймать её, и никто не смог. Может, тебе, Андрей Бирюков, блеснёт дикое счастье? Может, на твоего пескаря позарилась мудрая царица этих вод, поросших хвостцом, кувшинками и осокой? Ну-ка, помаленьку начнём, поглядим, кто там...

Один крючок, другой — оба пусты. На третьем живой пескарь невинно суетится на поводке. Ого! Вот так рыбок! Надо держать крепче — щука! Так не рванёт ни самый матёрый окунь, ни мясистый голавль. У них всех рыбок резкий и в сторону, а это тягучий, упрямый, вглубь, ко дну. Щука!.. Вот повела, делает тугой полукруг, крутая тёмная спина чиркнула по поверхности — скрылась...

Господи! Услышь молитву от неверящего в тебя! Господи! Не дай сорваться! Только бы не попался ржавый крючок, только бы он не сломался! Только бы выдержал поводок, не перетёрся бы об острые мельчайшие, как наждак, зубы! Какая здоровая! Тут не подсачишь: голова окажется в сачке, а хвост наружу. Не перекинешь её и за борт — сорвётся!

Бечеву в зубы — и за вёсла. Измотать её, выбить из сил, пусть воюет, пусть гуляет туда и обратно. Только б выдержал поводок, только б крючок сидел прочно в пасти! Челюсти судорогой свело на бечеве, во рту вкус речного песка. Только б не сорвалась! Вёсла осторожно бьют по воде; между рывками устающей щуки слышно, как где-то далеко тащится по дну камень.

К чёрту лодку! Пусть её несёт течением. Берег рядом, вода по колено, засученная штанина сползла, мокнет в реке — плевать! Ближе, ближе к берегу, мельче, мельче, тесней щуке, меньше приволья, воздушный потолок опускается ей на спину, песчаное дно давит ей в брюхо. Сейчас она взбунтуется. Последний бунт в её жизни... Только б не сорвалась!..

Брызги летят в стороны, среди их сверкания мелькнуло желтоватое брюхо. Моя рука метнулась вдоль поводка, пальцы без моего разума, без моего приказа звериным инстинктом нашли жабры и вцепились мёртвой хваткой. Голова щуки притиснута к песчаному дну тяжестью всего моего тела.

— Есть!

Я выпрастываю из пасти крючок и бросаю щуку на берег, подальше от воды. Она неуклюже делает в траве прыжок-другой и засыпает. А у меня от возбуждения подёргиваются коленные чашечки.

Мои руки в липкой слизи, которая пахнет не просто рыбьим запахом, а особым — щучьим. Я долго мою руки в реке, я дразню сам себя, оттягиваю момент, чтобы полюбоваться на свою жертву.

Вот она распласталась на траве — кожа пегая, с морозным, сизым отливом, зловещий разрез хищной пасти, жабры хватают воздух. Ничего себе, кило на два, может, чуть поменьше. Не дубасница, конечно. Да что там дубасница? Сказка, легенда, пустой звук — нет её на свете. А если б и была, то у такой древней старухи мясо твёрдое, как подмётка. Моя щука — самая лучшая из всех щук, которые гуляют в реке.

На обратном пути, когда я, мокрый, продрогший, подпрыгивающей походкой иду домой, помахивая повешенной на палец увесистой щукой или держа ведро с трепыхающимися окунями, в такие минуты, когда крыши домов застенчиво, как щёки девушки, начинают пунцоветь от невидимого пока ещё солнца, когда надо огибать каждую ветку, переброшенную через изгородь, иначе она обдаст тебя жгучей росой, в такие минуты мне вдруг становится тоскливо до крика.

Щуки, пескари, туманы, ползущие по воде, розовые разливы неба перед восходом солнца — всё это позолота, чтоб скрыть разъедающую ржавчину. Я боюсь завтрашнего дня. Я не имею права мечтать, я могу только оглядываться в своё небогатое прошлое. Мне всего тридцать три года, а жизнь, кажется, остановилась для меня.

В последние дни у меня были особенно удачные уловы. Ни одно утро не проходило без того, чтобы, взявшись за бечеву перемёта, я не ощутил волнующих толчков. Щуки, матёрые золотистые окуни, жёлтые, словно тронутые от старости ржавчиной голавли, даже вялые в эту жаркую пору налимы садились на крючки.

Как обычно, в лениво ступающих сумерках я наживлял перемёт. Длинный багор, торчавший из лодки, мешал мне, и я его выбросил на берег.

Закат за спиной, река под лодкой, кажущаяся смолисто-вязкой, наживлённые пескари, с чуть слышным бульканьем падающие за борт. Дома мне тяжело и неудобно, здесь спокойно.

Но пескари наживлены, я кладу на корму камень, опутанный верёвкой, берусь за вёсла. Их осторожные всплески не нарушают тишины. Взмах, другой, третий — я на середине реки, концом весла толкаю камень. Всё! Домой!

Скрылись из глаз крыши деревни Кудиновки и рваная верхушка тополя. Скоро на правом берегу покажется глухая, без единого окна, бревенчатая стена зерноскла-

да — это уже начало Загарья. И тут я вспомнил, что забыл на берегу багор. Вдруг да кто-нибудь случайно наткнётся, заберёт себе? Багор не мой, он взят у Акиндина Акиндиновича. Лучше вернуться за ним, чем потом оправдываться и извиняться.

Грести вверх по течению тяжело. Я причалил к берегу, вытащил лодку, босиком по крепко утопанной тропинке, хранящей ещё в себе дневное тепло, быстрым шагом направился обратно.

Не доходя до заводи, у которой был заброшен мой перемёт, я услышал тихие голоса. Это место всегда безлюдно, все прибрежные тропинки, срезая поросший ивняком мысок, обходят его стороной. Какая нужда загнала сюда людей? Уж не позавидовал ли кто моей рыбацкой удачливости? Решили снять случайный улов, а быть может, вместе с ним и сам перемёт?

Голоса ребячьи, приглушённые, вороватые. Прячась за кусты, стараюсь не шуметь, ступая босыми ногами в холодную траву, я прошёл ближе к берегу, осторожно выглянул.

У самой воды, зябко передрагивая плечами, стоял голый паренёк с ведром в руках. Второй, по горло в заводи, где, цепляясь за хвостец, ползли клочья серого тумана, шёл толчками, должно быть, бороздил ногой по дну, стараясь зацепить бечеву моего перемёта.

Я узнал их: тот, что на берегу, — Серёжа Скворцов, в воде — Федя Кочкин.

Приятная картина: ученики решили проверить перемёт своего учителя.

— Глу-глубоко здесь, — с выдохом произнёс Кочкин.

— Вчера он левее ставил. Там мельче.

От бредущего по заводи Кочкина доносится лёгкий всплеск. Серёжа поёживается, передёргивает плечами, перехватывает то одной, то другой рукой ведро.

— Есть! — доносится от Фёдора. — Нашёл! — Его голова на секунду скрывается под водой. — Давай сюда с ведром...

— Глубоко же... Поди, скроет.

— Давай, давай, не потонешь...

Придерживая обеими руками ведро, Серёжа боязливо стал сползать в тёмную, дымящуюся холодным туманом воду.

— Ух-х!..

— Смотри не выпусти...

— Глуб-бина!

— В воду ведро-то пропусти, легче нести.

В ведре у Серёжи что-то плеснуло.

Воруют улов? А зачем ведро? И ведро тяжёлое, не пустое...

Две головы и придерживаемое над поверхностью воды ведро сошлись на середине заводи. Голоса ребят от холода и возбуждения неровные, ломкие.

— Говорил тебе, возьми сегодня лодку.

— Лодку, лодку, а он нас с этой лодкой заметит.

— В кустах бы спрятали, не заметил.

— Ладно, давай ведро ближе.

Снова слышится всплеск в ведре.

— Ишь вёрткий, никак не ухватишь. Не наклоняй, выскочит. Ага!.. Не хочет снова на крюк. Есть!

Что-то с лёгким плеском упало в воду.

— Давай окуня... Колется, черт! Бечёвку-то держи! Не могу же я насаживать и бечёвку держать... И этот сидит...

— Мелкий окунёк-то.

— Какой есть. Язь зато тяжёлый. До утра, гляди, что-нибудь само схватит. Здесь место хорошее. Андрей Васильевич не дурее нас... Выливай воду из ведра, пошли...

Пустое ведро, звякнув дужкой, упало в траву. Я подался в глубь кустов. Приплясывая, путаясь в одежде, стуча зубами, выскочившие из воды ребята стали одеваться.

— В воде-то теплее.

— Сейчас бегом побежим — согреемся.

Оделись, подняли ведро и замялись на берегу.

— Он багор тут бросил, не украли бы...

— Спрячем?

— А он не найдёт. Нет уж, пусть лучше так лежит. Бежим!

Они проскочили мимо моего куста. Я не шевелился, пока топот босых ног совсем не стих.

Так вот почему в последнее время мне так везло в улове! Ой, ребята!..

Надо же додуматься: снимают рыбу со своих перемётов и насаживают на мой! Со своих, а может, даже с чьих-то чужих...

Против меня написана статья в газете. Против меня выступали в роно. Меня осуждают за то, что сходил с чужой женой. Осуждают и сплетничают. Всё это наверняка известно ребятам. И они меня жалеют.

На моём перемёте сидят теперь язь и окунь. Кто не бывал счастлив в детстве, когда торжественно приносил домой вытащенную из реки своими руками добычу? Федя Кочкин и Серёжа Скворцов украдкой делятся своим маленьким счастьем со мною. Та щука, что попала мне позавчера, не их ли подарок?

Никогда между мной, Серёжей и Федей не было особой сердечной близости. Я их учил, они учились — деловые отношения, и только. Чем я заслужил такую благодарность? Меня всегда беспокоило: как-то оценят мою работу другие учителя, что скажут Василий Тихонович, Иван Поликарпович, Степан Артёмович? Но что подумают, как оценят работу Феи Кочкины и Серёжи Скворцовы, — нет, об этом я много не задумывался.

Неужели я больше ничего не смогу для них сделать? Неужели на этом всё кончится? Верно, хорошо же я выгляжу со стороны, если ребятам пришлось в голову ублажать меня...

Я взял багор и отправился к лодке. Утром снял свой перемёт и решил больше его не ставить.

27

Вскоре, кстати, зарядил дождь. Меня вовсе перестало тянуть на реку. Я чувствовал, что по утрам Тоня внимательно и испуганно приглядывается, в каком настроении я встал. И это приглядывание ещё сильнее раздражало меня. Я перестал с ней разговаривать, на все вопросы бросал только «да» или «нет». Она то старалась быть предупредительной до заискивания, то не сдерживалась и начинала упрекать:

— Дикарь дикарём — слова доброго не услышишь.

И этого было достаточно, чтобы я вспылел:

— Не нравлюсь?

— Кому ты такой нравишься?

Она была права, я не нравился даже самому себе. Именно потому, что она права, меня начинало бесить.

— Не воображай, что ты мне очень нравишься.

— Плоха тебе? Знаю. Как для тебя стать хорошей? Всяко, кажись, подхожу, только что в ногах не валяюсь. Шёл бы ты лучше к той.

— Не ради тебя живу. Ради Наташки.

— Наташки?! Да ты и ей жизнь портишь. То обнимать бросишься, то не глядишь.

Бояться она стала родного отца...

— Молчи!

— Намолчалась. Теперь рот не зажёмь! Иди к своей... — бросалось циничное слово, и я зверел.

— За-мол-чи!..

Но в скандалах Тоня была сильнее меня. Умолкать приходилось мне. Я с грохотом, сотрясая весь дом, хлопал дверь и уходил.

А на улице шёл дождь, пузырились лужи, бочки под стоками, предусмотрительно поставленные хозяйственным Акиндином Акиндиновичем, были переполнены. Я хлопал дверь, а идти-то мне было некуда. Никому я не нужен, никто меня не ждёт, ни под чьей крышей не найду себе крова.

Я уходил в сторону от села, опять на берег реки. Бродил под дождём в промокших насквозь ботинках, глядел на тощие вёстры, на ослизлые глинистые берега, на неудобную свинцовую воду и думал о Феде Кочкине и Серёже Скворцове, моих учениках. Я мог бы сделать для них что-то большое, хорошее. Мог, если б мне помогали, поддерживали, понимали меня. Но теперь я бездомный, неприкаянный, не имеющий права даже жалеть самого себя. Я виноват и в безобразных скандалах с Тоней, и в том, что остался без товарищей, в том, что кругом одинок, что беспомощен. Виноват я сам, виноват слепой случай. Как всё получилось нелепо!..

Я беспощаден к Тоне, она беспощадна ко мне, а вместе мы не щадим Наташки. Однажды после очередного скандала я ушёл не на реку, а в чайную. Я уселся в той отдельной комнатке, где мы с Ващенковым в последний раз вели разговор. Мне принесли вод-

ки, и я под стук дождя, под шумные разговоры обедающих шофёров за стеной впервые напился в угрюмом одиночестве.

Я пил и думал, что с того дня, как я разговаривал здесь с Ващенковым, прошло не так уж много времени — чуть больше месяца. За этот месяц товарищи от меня отвернулись, любимую женщину я предал, жена ненавидит, дочь боится, а сам себе я противен.

Пьяного меня встретил на улице Акиндин Акиндинович и привёл домой под руку.

Я проснулся вечером — чугунная голова, вялая расслабленность, мешки под глазами.

Дождь, шедший почти целую неделю, кончился. Я оделся и вышел. Тоня не задержала меня, не повернула даже головы в мою сторону.

Влажный воздух был на удивление тёплым, что ни шаг, то с головой ныряешь в какую-то ласковую волну. Изредка не налетал, а как-то подплывал слабый ветерок, шевелил тяжело повисшую листву на деревьях, перебирал её бережно и нежно, как задумавшаяся мать перебирает волосы своего ребёнка. В мокрой траве звенели кузнечики. Их было так много, они так азартно играли, что, казалось, звенело всё: и бревенчатые стены домов, и листва, и само пространство между землёй и далёкими редкими звёздами. Прокричат бранчливо на реке лягушки, разом смолкнут, и снова лишь яростный звон, лишь влажный бережный шелест листвы. Жить бы и жить, радоваться такому вечеру. Но нет, не для меня простые человеческие радости...

Измученный, издёрганный, полубольной, ощущая во всём теле какую-то грязь после похмелья, окружённый сейчас тёплым, густым от влаги воздухом, тишиной, которой нисколько не мешает яростный звон кузнечиков, я прислонился плечом к чьей-то изгороди и заплакал...

Да, я плакал по-настоящему, слезами. Они обжигали мне лицо, я торопливо смахивал их рукой, чувствуя запущенную щетину на щеках, старался приглушить рыдания, а ветхая изгородь слегка сотрясалась под моим плечом.

Было уже темно, на улице, усеянной тусклыми лужами, пусто: никто не мог видеть моих слёз...

Я не плакал с детства. Хотя нет, в последний раз я плакал в армии, в самом начале службы. Из резервов нас перебрасывали на линию фронта, был большой поход, я не умел по-настоящему наматывать портянок — стёр до крови ноги. Надо было идти вперёд, надо мной стоял командир отделения, младший сержант Лобода, говорил с издёвкой и с нескрываемым удивлением:

— Дывитесь, люди добрые, сопли распустил. Ось, ды-витесь, мамку вспомнил...

И я не мог удержать слёз. Мимо меня шли солдаты, как я, измученные походом, и угрюмо, по-недоброму, смеялись. Им, идущим навстречу смерти, моя маленькая беда в большой общей беде действительно казалась смешной.

Больше я никогда не стирал ног и больше никогда не плакал. Не плакал я во время ранения, когда меня вытаскивали на плащ-палатке, ни в госпитале, когда мне под местным наркозом стягивали перебитые осколком нервы, ни потом, в мирное время, а ведь тоже случались тяжёлые минуты...

Сейчас, как ни странно, от слёз, оттого, что их никто не видит, я испытывал облегчение, почти наслаждение.

Есть, видать, своя горькая радость в том, чтобы пережить один на один свой позор, трезво его понять, почувствовать себя пусть не очень сильным, не очень стойким, но всё-таки человеком.

Мои слёзы быстро высохли. Вечер кругом был по-прежнему до духоты, до приторности тёпел и влажен. А кузнечики всё так же продолжали звенеть. А слабый, едва уловимый ветерок перебирал листья молодой липки над моей головой. И всё это вместе настойчиво напоминало, что мир, в котором я живу, прекрасен, что преступно угнетать себя, мучить себя, издеваться над собой и другими, когда жизнь может быть такой хорошей, когда тебя окружает совершенство.

Бежать отсюда! Пойти немедленно к Вале и предложить: едем!

Она должна согласиться, если хочет моего спасения. Я теперь лучше знаю, что следует беречь, чем надо дорожить. Буду оберегать дружбу новых друзей, стану дорожить Валею, её верой в меня, её любовью ко мне.

Уехать, и подальше! Я здоров, я сравнительно молод, у меня много-много лет впереди. Нет причин отчаиваться, Нет пока конца, всё ещё может устроиться.

Сейчас надо идти прямо к Вале. Хотя зачем поддаваться минутному порыву? Не всё обдумано, не всё рассчитано, хватит с меня опрометчивых поступков, к ней следует прийти с трезвой головой, с бесповоротно принятым решением. Утро вечера мудренее. Утром и надо действовать.

Поздний час, спит село. То село, в котором прошло несколько значительных лет моей жизни, заполненных не только несчастьями, но и скромными радостями. Я всё-таки сроднился с этим селом. Здесь будет жить моя дочь. Буду помнить о ней, жить для неё, буду вспоминать эти травянистые улочки, черёмуховые ветви, переброшенные за изгороди. Что-то ждёт меня?.. Жаль Загарья, как старого друга, который не всегда-то баловал преданностью и вниманием.

Подойдя к дому, я увидел на нашем крылечке двоих, услышал приглушённые голоса. По белой кофточке узнал Тоню. Скрип калитки оборвал их разговор. Собеседник Тони что-то торопливо бросил, должно быть, простился, соскочил с крыльца и пошёл в глубь двора к половине Акиндина Акиндиновича, осторожно обходя стороной лужи. Я догадался, что это Анатолий Акиндинович. Тоня встречается с ним в моё отсутствие, о чём-то советуется. Впрочем, удивляться нечему, должна же Тоня в ком-то найти сочувствие. Она нашла его в Анатолии Акиндиновиче. Не разделяю её выбора. Но мы ведь всегда и на всё смотрели разными глазами. Её дело.

Она стояла на ступеньках крыльца. Подойдя вплотную, я почувствовал на её лице подозрительность — пьян? — и холодную замкнутость, предупреждавшую: не спрашивай ни о чём; то, что я делаю, с кем встречаюсь, тебя не касается.

Мне надо было что-то сказать, и я сказал первое, что взбрело в голову:

— Пора бы спать. Время-то позднее.

И так как в моём голосе не чувствовалось ни упрёка, ни холода, Тоня тоже мирно ответила:

— У тебя тут гость был.

— Кто? Не Анатолий ли Акиндинович?

— Нет. — Голос её сразу стал резким. — Он приходил ко мне. Был Василий Тихонович...

— Василий! — воскликнул я.

Никто в селе, кроме Вали, не знал о нашей размолвке, о том, что я оскорбил своего друга. Тоне казалось, что это самый обычный визит.

— Принёс тебе из школы письма какие-то. Ждать не стал, сразу ушёл.

«Приходил, принёс письма... Какие письма?» Я поспешно вошёл в дом.

28

Письма лежали стопкой на моём столе. На самом верху письмо: знакомый, твёрдый, расчётливо ровный почерк. Письмо от Павла Столбцова! Что ему от меня нужно? Письма от незнакомых людей, судя по обратным адресам, одни из города, другие из районов, которые я знал только понаслышке. Вот письмо от Лещева. Оно адресовано не Вале, а мне.

Я перебирал разнокалиберные конверты и удивлялся: никогда ещё не получал сразу столько писем. Что бы это могло означать?

И вдруг смутная догадка! В первую секунду я не решался ей поверить, настолько она была неожиданна. Я нужен... Нужен Павлу Столбцову, нужен Лещеву, нужен какому-то Игумнову из Великореченского района. Кто такой этот Игумнов? Никогда не слышал о нём, а он вот знает о моём существовании.

Пока я запутывался в своих личных делах, пока мучительно решал вопрос, жить с Валею или не жить, пока я, скрываясь от всего живого, ловил щук на перемёт, отчаивался, убивался, отравлял себе и другим существование, жизнь шла вперёд. В разных местах разные по характеру учителя пытались решать наболевшие вопросы. Обсуждение моего доклада, закончившееся так печально для меня, статья Павла Столбцова в газете, двулкая, неопределённая статья, — всё это сделало своё дело, известило: есть один ищущий, он пытается шагнуть вперёд, он против застоя. Тот, кто не равнодушен, откликнулся.

Валя как-то сказала: «В твоей жизни случилась пустыня». В моей жизни — да, но в общей жизни всех людей пустынь быть не может. Жизнь шла своим чередом, и я забыл об этом.

С какого же письма начать? С письма Павла Столбцова? Уж этот может служить верным барометром, от него-то я сумею узнать, как обстоят мои дела. Нечего искушать себя — я разорвал конверт.

«Дорогой Андрей!..» Ага, знаменательно, я для него не только Андрей, но ещё и «дорогой».

«...Я знаю, что ты обо мне думаешь дурно, знаю, что ты перестал считать меня своим товарищем...» Ещё бы не знать!..

«...Ты прямолинеен, твоему характеру чужда всякая гибкость, ты отвергаешь всякое понятие о тактике. И в этом твоё достоинство и твой недостаток. Я же постоянно обязан помнить о том, что не все крепости берутся лобовой атакой, я вынужден был тогда поддержать стариков, чтоб иметь какие-то надежды на будущее, чтоб потом была возможность подать в твою же защиту голос. Ты, наверное, заметил, что в газетной статье я уже попытался смягчить удар. Конечно, попытка была робкая, и она не могла, разумеется, полностью удовлетворить тебя. Если б ты тогда послушался моих советов, то теперь бы твоё имя уже благожелательно склонялось во всех школах области. Но ты отверг советы, проиграл во времени, не сомневаюсь, что пережил много неприятных минут.

Всё это предисловие. Теперь — к сути. В воздухе давно висит проблема совмещения школьного обучения с производительным трудом. На днях, не где-нибудь, а в обкоме партии состоялось совещание по этому вопросу. Присутствовали весьма авторитетные товарищи. Конечно, были вызваны два наших корифея — Никшаев и Краковский. К ним обратились с прямым вопросом: как быть? Но ты уже догадываешься, что, кроме пустых фраз, от них ничего не услышали. Тогда я взял на себя смелость выступить. Я говорил, что трудовое воспитание нельзя рассматривать в отрыве от самого процесса обучения, что этот процесс требует некоторого усовершенствования. И тут-то я напомнил о тебе...»

Письмо кончалось опять соболезнованиями, пожеланиями успехов «как на педагогическом поприще, так и в личных делах».

Лещев сообщал, что «ветер меняется, пахнет свежестью», в их школе ставят ребром вопрос о тесной связи с колхозом, расспрашивал, что у меня нового, как думаем мы встречать учебный год. Просил сообщить Вале, что очень беспокоится, так как не получил от неё ответа на два своих письма.

Было письмо от директора школы, одного из тех, кто подходил ко мне после обсуждения доклада. Письмо сугубо деловое, состоящее из вопросов и сомнений.

Авторов этих писем интересуют мои личные находки, работы Ткаченко, но это частности — фон, задний план писем; красной нитью в них проходит одна мысль, одно желание — не можем мириться с застоём, требуем права на поиски.

Только письмо Игумнова из Великореченского района оказалось ругательным. Он пытался мне доказать то, что в своё время доказывал Степан Артёмович: учёба не игра, а сознательный и нелёгкий труд, никакими усовершенствованиями и нововведениями нельзя увеличить природную способность учеников к освоению знаний. Мир тебе, знакомый мне товарищ Игумнов! Твои речи не новы, они не могут испортить мне торжества.

Из открытого окна несло в комнату запахом сырой земли, трав, свежего сена с дальних покосов. Далеко у реки снова раскричались лягушки, среди их переливчатого, разноголосого, влажного клокотания вырывался утробный крик какой-то могучей жабы — такой голос может быть только у царственной особы.

Я сидел за столом перед разложенными письмами, брал то одно, то другое, снова и снова вчитывался...

Письмо Лещева, письмо почти незнакомого мне директора, письма каких-то учителей. Они сомневаются в моей работе, они не согласны со мной, но они интересуются. Я для них не безразличен. Первые письма, но наверняка не последние. Много таких, кто не хочет топтаться на месте, пытается идти вперёд. Каждый по-своему, не моим путём, нет.

Новые пути только нащупываются. И было бы страшно в этот момент выбрать вожда, беспрекословно его слушаться, безоговорочно принимать его взгляды. Надо спорить, сомневаться, сомневаться и ещё раз сомневаться, чтоб избежать ошибок. Споры не вражда, а в содружестве в конце концов только они приведут к открытию истины.

Вот они, письма людей, для которых моё дело не безразлично. Я не один, я в их рядах. Но для того чтобы совместно с ними спорить и искать, нельзя опускать руки. Это преступно перед ними, перед жизнью, за которую я ответствен вместе со всеми.

Ночь. Василий Тихонович, который принёс мне эти письма, спит. Он оказался решительнее меня, первый сделал шаг навстречу. Он пришёл, он надеялся застать меня дома, — значит, рассчитывал и поговорить. К чёрту сомнения! Никуда не поеду, буду жить в Загарье, хочу продолжать нашу работу!

Не застал, жаль! Сидел бы он сейчас здесь чуть ссутулив гибкую спину, выдвинув вперёд острые плечи, сжав между коленями руки, курил, шурил свои жёсткие ресницы на дым, слушал бы и говорил... Нет, не могу ждать. Не могу спать. Разбужу его. Он поймёт моё нетерпение. Должен понять! Иначе зачем же он приходил?

Я сгрёб письма, сунул в карман, потушил свет и осторожно прошёл через комнату, где спали Тоня и Наташка.

У Василия Тихоновича во дворе была дощатая пристройка — летник. В ней в свободное время он собирал радиоприёмники и какие-то замысловатые приборы для школьного кабинета физики. Часто он и спал здесь.

Открыв калитку, я вошёл во двор, стукнул раз-другой в дощатую стену. За квадратным окном, затянутым от комаров марлей, было тихо. Я постучал решительнее.

— Кто там? — Его голос.

— Василий, прости... Это я.

— Чёрт возьми! — Снова скрип и тишина. Должно быть, Василий повернулся на другой бок на своём топчане...

— Василий...

Никакого ответа. Я потоптался, вздохнул и пошёл прочь.

Уже за оградой, оглянувшись, я увидел, как вспыхнул свет в окне, затянутом марлей.

— Василий!

— Да заходи же! Дверь не заперта.

Он сидел на топчане, сердито жмурился от яркого света. На смуглой щеке красный рубец от подушки, в майке и трусах, обнажены костистые плечи, тонкие мускулистые руки и грудь, густо поросшие курчавым волосом.

— Ну... Пришёл? — Он почёсывает волосатую грудь, по-прежнему сердито жмурится. — Выбрал же время... — Сладко зевнул и сразу же стал добрее: — Присаживайся.

— Василий... С чего начать? С извинений?

— Ладно. Не гляди покаянно. Я и сам виноват. Должен сообщить: я у неё был, познакомился...

— Был? У Вали?..

— Да. Она ко мне пришла, после того как ты... Ну, а потом я и сам стал заглядывать к ней. Тебе косточки перемывали. Не икалось?

— Нет, и в голову не приходило.

— Всё, что я о ней говорил прежде, беру обратно. Сидит во мне эдакий самодовольный невежа, мнящий себя человеческим классификатором, который, не подумав, готов ставить печать на каждого встречного. Она человек, и не из породы несчастных. Нет! Ей сейчас нелегко, а на все несчастья смотрит по-своему: «Какая же жизнь без испытаний? Хуже, когда их нет». И твой поступок она оценивает как бы со стороны: «Ушёл к семье, — значит, не всё перегорело, значит, что-то держит тебя в семье, за это нельзя осуждать. Пусть поживёт, пусть перегорит». И верит, что непременно должно у тебя перегореть, что ты вернёшься, только надо выдержку иметь, только нужно собрать силы и ждать. Это, брат, мужество, и не всякому-то оно доступно.

Я прятал глаза. Я давно мечтал, чтоб эти два по-своему близких мне человека — Валя и Василий Горбылев — поняли друг друга. Вот и поняли, но стыд сейчас портит мне радость.

— Услыхали мы, — продолжал Василий, — что тебя пьяным на улице видели. Тут и она испугалась. Это уж выходило из её расчётов, так можно не просто перегореть, а сгореть начисто. Она меня самого поторопила, чтобы навестил тебя... Вот и вся история, как на исповеди. Теперь ты здесь, вижу, опомнился.

— Да, конечно.

— Ну и добро. Письма-то прочитал? У меня всё руки чесались их распечатать. Что поделаешь, если с детства внушили, что чужие письма читать непорядочно!..

Мы просидели до рассвета, читали письма, обсуждали, мимоходом Василий общал мне новости:

— Коковина глядит, как бы ей снова повернуть на все сто восемьдесят. А для крутых поворотов, ты знаешь, ей нужны жертвы. Как ты думаешь, кто намечается в это жертвоприношение?

Я подумал и не совсем уверенно ответил:

— Уж не Тамара ли Константиновна?

— Она. Коковина нападала на нас, а нам теперь из облоно шлют запросы. Опять, выходит, просчёт. Надо как-то оправдываться, надо на кого-то сваливать свои грехи.

Тамара Константиновна тоже нападала на нас и довольно активно, она и будет жертвой. Свалить, пока не поздно, на неё, самой остаться чистой.

— Станный, однако, метод быть правоверной.

— Не столько странный, сколько подлый.

Я ушёл от Василия примерно в то время, когда обычно возвращался с рыбной ловли. Солнце ещё не взошло, но окна домов уже горячо полыхали от зари. На высоком крыльце магазина сидела в обнимку с ружьём закутанная в платок ночная сторожиха и сладко спала.

Я шёл по самой середине пустой, кажущейся в этот час такой просторной улице. Мои ботинки глуховато стучали по булыжнику. Я шёл и оглядывался на пылающие окна, на тронутые уже первым лучом солнца скворечники на высоких шестах, вслушивался в птичью возню, шёл, и звук моих шагов отдавался под крышами домов. Каждая мелочь заставляла меня пристально вглядываться: окна домов, зажжённые заревом, сияющий скворечник в бледном небе, воробьи, шарахнувшиеся из-под ног, — всё удивительно, всё необычно. Так, наверно, радуются тяжелобольные, к которым снова начинает возвращаться здоровье, когда бессонные ночи, мучительные боли, кошмары во время сна позади, а впереди жизнь, впереди бытие.

Дома — мягкий полумрак. В своей кровати разметалась Наташка, из-под острого локотка видна часть разругавшейся щеки и растрёпанные волосы, вдавленные в подушку. Я осторожно поцеловал её.

Написать, что ли, записку Тоне? Зачем? Я ещё приду, и мы поговорим. Надеюсь, что на этот раз обойдётся без скандала.

Ясной зимней ночью я и Василий Тихонович вышли из школы. В этом году зима выдалась на редкость снежной: дома по самые окна вдавлены в сугробы тяжёлыми, полуметровой толщины, заснеженными крышами, колья оград торчат возле самых ног, деревья сгибаются от тяжести снега. Даже Млечный Путь на чёрном небе казался сейчас снежным следом, наметённым метелью.

Мы шли, похрустывая валенками, два усталых и озабоченных человека. Только что закончился наш день в школе. Теперь он всегда кончается для нас очень поздно.

Василий Тихонович — директор школы, я — завуч. В нашем назначении на эти должности проявила усердие и настойчивость Коковина. Она так подставила ножку Тамаре Константиновне. Мне и Василию Тихоновичу пришлось даже защищать её. Тамара Константиновна работает теперь рядовым учителем, преподаёт историю, по-прежнему относится к нам с недоверием.

А Коковина на всех совещаниях поёт дифирамбы, где только можно возвещает:

— Товарищи! Загарьевская десятилетка творит свою трудовую поэму!

Но наша «трудовая поэма» начинается пока что с прозы: и телятник, и свинарник, и конюшня, где стоят всего шесть кляч, перешли в наши руки в самом незавидном со-

стоянии — потолки не утеплены, стены прогнили, всюду страшная грязь. Устраивались общешкольные субботники, выгребали навоз. На этих субботниках работал наш трактор, тот самый воскресший старец, который участвовал когда-то в первомайских торжествах, а потом долго стоял под школьной стеной. За его рычагами сидели Федя Кочкин и Серёжа Скворцов. Мы устраиваем теперь советы командиров, где сообща подсчитываем, как получить доход, как утеплить свинарник и как его расширить к весне. Доходы! Их пока нет, не сводим концы с концами. Все надежды на будущую осень, на тот урожай, который ещё не посеяли. Но надежды-то есть, а это главное.

Столбцов написал мне ещё два письма, и ни на одно из них я не ответил. Он готовится к защите диссертации, часто выступает, громит рутинёров Никшаева и Краковского.

Я и Василий Тихонович идём по захлебнувшемуся в сугробах селу под чистым небом, где разбросаны по-зимнему тусклые звёзды. Мы молчим, потому что за день успели наговориться обо всём. Возле моста мы расстанемся. Василий Тихонович свернёт направо по берегу к себе. Я же пойду через мост во Дворцы.

До сих пор мы с Валеёв живём у Марьи Никифоровны. В моём же старом доме появился новый хозяин. Тоня ещё осенью объявила своим мужем Анатолия Акиндиновича. Я бываю у них часто, но стараюсь выбирать такое время, когда новоиспечённого отчима моей дочери нет дома. Не могу выносить этого человека. Встречаясь, каждый раз мы ссоримся. А Тоня его уважает: он и умный, он и внимательный, пользуется авторитетом. Упаси боже, не обижает Наташку.

Наташка на следующую осень пойдёт в школу. Я ни в чём не раскаиваюсь, я не мог поступить иначе, но тем не менее считаю себя перед ней виноватым. Я прихожу к ней раз в неделю, иногда два раза, а Анатолий Акиндинович живёт с ней бок о бок, будет жить до тех пор, пока Наташка не станет совершеннолетней. Этот влюблённый в себя наставник не обойдёт её своим воспитанием: будь вежлива со старшими, уважай мнение окружающих... Каждое слово Анатолия Акиндиновича правильно, я бы и сам говорил дочери те же слова, и тем не менее тревожит меня судьба Наташки. Одна надежда, что дети часто вырастают вопреки родительским наставлениям. Быть может, школа и жизнь внесут поправки в семейное Наташкино воспитание. Для того я и живу на свете, для того я и работаю днями и ночами без отдыха.

Мы остановились у моста. Василий Тихонович протянул руку:

— До завтра.

Но мы не успели расстаться. На зимнем небе, на том извечном небе с порошей Млечного Пути произошло маленькое событие. Казалось, одна из звёзд, испокон веков намертво прикованных к чёрному своду, одна из тех, что, казалось, наблюдали рождение Земли, появление на ней первых морей, первой твари, выползшей на безжизненные берега, одна из этих звёзд вдруг сорвалась с места и с напористым упрямством медлительно поползла наперекор всему поперёк неба. И это была крупная звезда, горевшая сочным светом.

— Он... — произнёс Василий Тихонович.

И я понял, что это за звезда. Весь мир кричал о ней. Газеты, радио на разных языках восхищались и удивлялись её появлению. В разных концах планеты — и с материков и с бортов кораблей — уже видели её. И вот она появилась в тихом загарьевском небе, в глухом звёздном затоне, что висит над заснеженными крышами.

Пересекая привычные созвездия, плыл спутник.

А мы, два человека, обременённые будничными житейскими заботами, мы, привыкшие больше смотреть на то, что делается на земле, часто забывавшие о небе, стояли теперь, задрав головы, стояли и не шевелились.

Вечер был поздний, улицы села пусты, все жители уже забрались под крыши, укладывались спать возле тёплых печей. В стороне лениво лаяла дворняжка. Всё выглядело, как всегда.

А он напористо продолжал плыть наискось через небо.

И изрыгающие огонь ракеты, вонзающиеся сквозь пустоту в вечную ночь... И астронавты, впервые ступающие ногой на почву Марса, той планеты, которая дала пищу для самых невероятных легенд, когда-либо придуманных человечеством... И купающаяся в вечерней и утренней заре, красивая и непроницаемо таинственная Венера... Нет невозможного в завтрашнем дне человечества! Рушатся легенды, выпренные фантазии кажутся смешными, сказки тускнеют от будничной действительности. Нет невозможного в завтрашнем дне.

По загарьевскому небу, не торопясь, с должным достоинством плывёт среди звёзд новое небесное тело, сгусток материи, сотворённый людскими руками, светлый узелок, связывающий эту минуту с будущим.

И мои мысли, мысли самого земного, самого обычного из людей, не умеющего проникать ни в величественные тайны космоса, ни в секреты грозного атомного ядра, мои мысли начинают бунтовать, мечты становятся пугающе дерзкими.

Класс, парты, доска у стены, кусок мела, чертящий коренные согласные или выделяющий запятыми деепричастные обороты, — вот мой день, который я только что прожил. Я хочу сейчас, чтоб лица детей при объяснении деепричастных оборотов или теорем Пифагора горели возбуждением, в детских глазах прорывалась страсть: понять! проникнуть! запомнить!.. Я хочу... Но меня теперь распирает дерзость, я хочу многого. Почему бы мне не мечтать с размахом? Хочу, чтоб класс, состоящий из ребятишек села Загарье, вылетел на месяц или на целую четверть в Москву. Да, в Москву, не на простую экскурсию, а учиться. А на его место из какой-то московской городской школы сюда прибыл бы такой же класс в нашу благоустроенную, не уступающую столичной школу-интернат. Пусть загарьевские ребятишки поживут в столице, окупятся в жизнь завода, побывают в музеях, а москвичи поработают на тракторах, узнают, что такое колхозная ферма. Учёба пойдёт своим ходом как в Загарье, так и в Москве, и там и тут гости будут получать свои знания. Но мир для них станет шире и глубже, проще потом найти своё место в сложной и многообразной

жизни. А жизнь к тому времени не только обогатится, но наверняка усложнится, станет запутанней.

«Ой ли?.. — возразят мне. — Нелепость... Бред... Фантастика...»

Да, фантастика. Но я хочу фантазировать и дальше. Мечтаю, чтоб из села Загарье ученики вылетели на учебную четверть в Лондон или Милан, в поселение скотоводов Новой Зеландии или в какой-нибудь городок штата Оклахома. А здесь бы мы принимали оклахомских ребят: учиться русскому языку в Загарье, учиться всему, чем мы богаты, а наши дети станут учиться вместе с вашими вашему умению и вашей сноровке. Почему бы и нет? При дружбе и согласии от таких визитов худа бы не было.

Несусветный бред! Фантастика!

Но давно ли здравомыслящим людям казалось, что мечты о путешествии на Марс и Луну — несусветный бред. Почему же мне держать свои мечты на узде? Мне, живущему в дерзновенный век, когда нет невозможного в завтрашнем дне!

Конечно, можно думать иначе. Можно с холодной трезвостью прикидывать, что ракеты, изрыгающие огонь, понесут не отважных астронавтов в глубь космоса, а зловещий груз водородных бомб с континента на континент. Спутники же станут не научными станциями, а корректировщиками, направляющими смертоносные снаряды. Можно мечтать не о том, чтоб наши дети вместе учились, вместе строили, вместе радовались новым открытиям, а о том, чтоб сбрасывали друг на друга бомбы, жгли школы, вешали учителей. Но разве это мечты? Нельзя мечтать о могиле.

Я мечтаю о жизни... Люди, чей ум и чьи руки создали спутник, бросили его к звёздам, вряд ли доживут до того дня, когда первый звездолёт, оставив за бортом последнюю планету солнечной системы, понесётся на неверный свет альфы Центавра. Они мечтают об этом, но не надеются стать живыми свидетелями осуществления своей мечты. И я не все свои мечты выполняю своими руками. Их подхватят те, кто станет жить после меня. Исчезнет моё тело, забудется моё имя, но мои мечты, мои желания станут жить, изменяясь и совершенствуясь. В этом моя бессмертность, в этом смысл моей нынешней жизни, с её скромными победами и неудачами, с радостями и горестями, неизбежными заблуждениями, — смысл жизни обычного сельского учителя.

Ушёл спутник, утонул в чёрном небе. И ночь над селом Загарье приобрела свой первобытный облик: мерцают привычные звёзды, заиндевшей полосой растянулся Млечный Путь, над сугробами приподымаются заснеженные крыши. Всё по-старому, казалось бы, ничто не может изменить застывшую жизнь.

— До завтра, — протянул мне руку Василий Тихонович.

— До завтра, — ответил я.

Завтра — новый день. Завтра я понесу дальше свой счастливый крест к неизведанному, к непрожитому, в бесконечность.

1959 г.

Страница письма В.Ф. Тендрякову от его школьного учителя. 1975 г.

Кирилов
25.02.75

Дорогой Володя

Извините, если обращаюсь к Вам
слишком по-дружески и сегодняшней
деж, хотя, кпр, в 1940 году такое обра-
щение было бы вполне нормально,
но никак не надо своё письмо
и ~~сказать~~ сказать правду, считае бы
неприятным. Поэтому пусть будет
так, как есть.

Вместе с письмом посылал Вам
две памятки из предвоенного
времени, времени, когда Вы были
маленьким ребёнком, а я Вашим учи-
телем.

Вам стоит только взглянуть на
обе памятки и Вы, не дожидаясь
моего письма до конца, сразу
вспомните и меня, и себя тогда
лет и нашу школу.

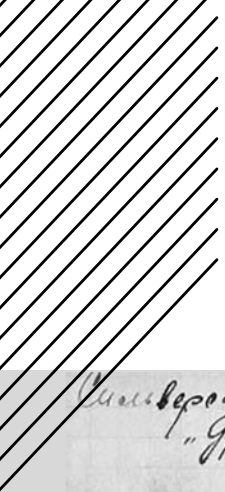


Рисунок Тендрякова-школьника, присланный его учителем

ПИСЬМО ШКОЛЬНИКАМ В ПОСЁЛОК ПОДОСИНОВЕЦ

Дорогие друзья!

Чрезвычайно многим обязан я Подосиновцу, можно сказать, порождён им, а вот уже много лет не соберусь приехать сюда. И теперь, увы, не сумею вырваться на столетний юбилей своей школы. Приходится прибегать к письму.

Меня просили написать воспоминания о Подосиновской школе. Воспоминания — вещь серьёзная, пришлось бы писать целую книгу. Когда-нибудь я соберусь с силами и сделаю это, но сейчас ограничусь лишь коротким словом по знаменательному поводу.

Не смею взять на себя ответственность выделить каких-то своих учителей: мол, эти хороши, подразумевая там самым, что остальные хороши недостаточно. С какой бы теплотой я не вспоминал Анну Александровну Паутову, но было бы ради неё непростительно забыть, скажем, не вернувшегося с фронта математика Осколкова. И мой учитель литературы, мой старый друг Аркадий Александрович Филёв, с кем мы давно уже делаем одно дело, не обидится, если я скажу, что другие учителя в моём формировании сыграли не меньшую роль. Я одинаково благодарен всем, кто в стенах этой школы преподносил мне знания.

Дорогие друзья, нынешние ученики Подосиновской средней школы! Дорогие десятиклассники, те, кто в этом году перешагнёт порог нашей школы! Надеюсь, что ни с кем из вас не случится того, что случилось с нашим выпуском. Горячо надеюсь.

В этих стенах, где вы сейчас сидите, 21-го июня 1941 года мы отпраздновали свой выпускной вечер, а на следующий день, как вы знаете, началась война. И пошли мы не в институты, а в военкоматы...

Мой сосед по парте Толя Варцов сгорел в танке. Погиб Донат Боровиков — лучший вратарь села Подосиновец. Погиб Виталий Ушаков, Илья Рожкин, Сергей Тулупов, Жижин... Много погибло. Я понимаю, что вы слушаете эти имена с почтительной скукой, они вам ничего не говорят. Но поверьте — все, кого я назвал, были очень похожи на вас самих...

Черновик письма.
Публикуется по материалам семейного архива писателя

Теперь не только я, товарищ этих ребят, но даже дети мои старше вас. А вот те ребята так и остались молодыми, почти вашими ровесниками. Им всем было по восемнадцати-девятнадцати лет — больше не выросли.

Поэтому-то я и хочу в первую очередь пожелать вам... старости. Да, да, почтенной старости, доживите до неё спокойно, пусть вашу жизнь не пересечёт война. Вашу жизнь, жизнь ваших детей, ваших внуков. Мир — первое условие для счастья.

Вы выйдете из этих, столь мне знакомых, стен и станете учёными или рабочими, агрономами или лётчиками-космонавтами, но, кем бы вы не стали, помните об одном: не столь важно забраться на Луну, изобрести и построить сверхумные машины, не столь важно даже получить хлеб насущный, как добиться взаимопонимания человека человеком, соседа соседом, коллектива коллективом, страны страной, нации нацией. Будут люди жить в понимании и уважении друг к другу, будет у них и хлеб, и дерзкие космические завоевания, и наука станет им приносить великую пользу. Не будет этого, будет раздор и вражда, плохо станет жить на земле, даже наука повернётся против человека, начнёт плодить средства для убийства и разрушения.

Отсюда второе моё пожелание вам: желаю каждому понять товарища и быть поняту. Надеюсь, что в этом ваше поколение преуспеет больше, чем наше.

Поздравляю всех вас со столетним юбилеем нашей общей матери-воспитательницы. Жму вам всем руки. Вам, ученикам, дружески, вашим учителям почтительно.

Ученик Подосиновской средней школы

Владимир Тендряков

Дорогие друзья!

Чрезвычайно многим обязан я Подосиновцу, можно сказать, порожден им, а вот уже много лет не собираюсь приехать. ^{свою} ~~Вот~~ И теперь, увы, не сумею вырваться на столетний юбилей своей школы. Приходится ограничиться ^{личным} ~~официальным~~ товарищеским письмом, так сказать, ученикам от ученика.

Меня просили написать воспоминания о Подосиновской школе. Воспоминания — вещь серьезная, пришлось бы писать целую книгу. Когда-нибудь я соберусь с силами и сделаю это, но сейчас ~~придется~~ ограничиться лишь коротким словом по знаменательному поводу.

Не смею взять на себя ответственность выделить каких-то своих учителей: мол, эти хороши, подразумевая тем самым, что остальные хороши недостаточно. С какой-то теплотой я не вспоминаю Анну Александровну Чаутову, но было бы ради нее непростительно забыть, скажем, не вернувшегося с фронта математика Осколкова. И мой учитель литературы, мой старый друг Аркадий Александрович Филев, с кем мы давно уже делаем одно дело, не обидится, если я скажу, что другие учителя в моем формировании сыграли не меньшую роль. Я одинаково благодарен всем, кто в стенах этой школы преподносил мне знания.

кто в стенах этой школы преподносил мне знания.

Дорогие друзья, нынешние ученики Подосиновской средней школы! Дорогие десятиклассники, те, кто в этом году перешагнет за порог нашей школы! Надеюсь, что ни с кем из вас не случится того, что случилось с нашим выпуском. Горячо надеюсь.

В этих стенах, где вы сейчас сидите, 21-го июня 1941 года мы отпраздновали свой выпускной вечер, а на следующий день, как вы знаете, началась война. И пошли мы не в институты, а в военкоматы...

Мой сосед по парте Толя Варцов сгорел в танке. Погиб Донат Боровиков — лучший вратарь села Подосиновец. Погиб Виталий Ушаков, Илья Рожкин, Сергей Чулунов, Ежик... Много погибло. Я понимаю, что вы слушаете эти имена с почтительной скукой, они вам ничего не говорят. Но поверьте — ^{все, кого я называл} ~~они~~ были очень похожи на вас самих...

Теперь не только я, товарищ этих ребят, но даже дети мои старше

2.

вас. А вот те, ^{ребята} ~~кого я называл~~, так и остались молодыми, почти ~~ваши~~ ^{ваши} ровесниками. Им всем было по восемнадцати-девятнадцати лет — ~~даже~~ ^{больше} не выросли.

Поэтому-то я и хочу в первую очередь пожелать вам... старости. Да, да, почтенной старости, доживите до нее спокойно, пусть вашу жизнь не пересечет война. Вашу жизнь, жизнь ваших детей, ваших внуков. Мир — первое условие для счастья.

Вы выйдете из этих, столь мне знакомых, стен и станете учеными или рабочими, ^{агрономами} ~~инженерами~~ или летчиками космонавтами, но, кем бы вы не стали, помните об одном: не столь важно забраться на Луну, изобрести и построить сверхумные машины, не столь важно даже получить хлеб насущный, как добиться взаимопонимания человека человеком, соседа соседом, коллектива коллективом, страны страной, нации нацией. Будут люди жить в понимании и уважении, ^{друг к другу} ~~будет~~ у них и хлеб, и дерзкие космические завоевания, и наука станет ^{приносить} ~~приносить~~ пользу. Не будет этого, будет раздор и вражда, плохо станет жить на земле, даже наука повернется против человека, ^{начнет} ~~начнет~~ плодить ^{средства} ~~средства~~ для убийства и разрушения.

Отсюда второе мое пожелание вам: ^{желаю} ~~желаю~~ каждому понять товарища и быть поняту. Надеюсь, что в этом ваше поколение преуспеет больше, чем наше.

Поздравляю всех вас со столетним юбилеем нашей ^{матери-воспитательницы} ~~школы-матери~~. Жму вам всем руки. Вам, ученикам, дружески, вашим учителям почтительно.

Ученик Подосиновской средней школы

Владимир Тендряков.



В.Ф. Тендряков с женой Н.Г. Асмоловой-Тендряковой.
1970-е гг.

ПРИСТРАСТНЫЙ ВЗГЛЯД ДМИТРИЙ БЫКОВ

Портретная галерея. Владимир Тендряков

1

Владимир Тендряков был самым востребованным писателем второй половины пятидесятых. Слово «востребованный» — единственное, которое тут можно подобрать. Потому что — вот парадокс! — знаменитым он не был никогда, любимым — тоже; известный, но не всенародно, читаемый, но не запойно, и всегда в отношении к нему прочитывалась некая настороженность. Для начальства — не свой, для интеллигентов — половинчатый.

Всё, что делал Тендряков, было в частностях неуклюже и подчас фальшиво, — особенно когда он ради проходимости вставлял в текст авторские отступления, должствующие разжевать (или подменить) главную мысль. Но в основе своей он был писатель, умевший ставить неразрешимые вопросы — точнее, неразрешимы они были в советских координатах, почему лучшие его вещи вроде «Ночи после выпуска» или «Расплаты» и оставляли такое саднящее, едкое чувство. Тендряков ставит вопросы, которые могут возникнуть только в уродливом мире, где религия табуирована, вопрос о смысле жизни неприличен, и все делятся либо на выродившихся лицемеров и лгунов, либо на вырождающееся подполье. То есть ответов у Тендрякова нет и быть не может — ибо сама ситуация, порождающая вопросы, ложна, выморочна, болезненна. Всё это споры в дурдоме о теории относительности, которой там никто толком не знает, — и книг по теме в дурдоме тоже нет. Какие могут быть моральные императивы в аморальном насквозь обществе, которое саму эту мораль объявило пережитком?

Но это общество было всё же на несколько этажей выше того подвала, в который мы провалились сейчас. Не нам, феодальным, судить его советскость.

Дмитрий Львович Быков — писатель, поэт, литературовед и литературный критик, журналист, преподаватель литературы.

Публикуется по статье Быков Д.Л. Портретная галерея Дмитрия Быкова. Владимир Тендряков // Дилетант. 2015. №2.



2

Он родился 5 декабря 1923 года. Отец был судьей, потом прокурор и часто менял дислокацию, и потому из Вологодской области, где родился Тендряков, они переезжали в Опарино, Каргополь, Вожегу, потом в Кировскую область, где он окончил школу и призвался в декабре сорок первого на фронт. Отец его тоже пошёл воевать и погиб. Тендряков был связистом, та ещё каторга: по собственным воспоминаниям, он от силы пару раз стрелял, ни разу не был в рукопашной, но на передовой по два–три раза на дню под обстрелом ползал чинить кабель. Так что и война в его описаниях — не героическая, и даже не страшная, потому что успеваешь одеревенеть. Она просто бесконечно унылая, и страшнее всего в ней именно редукция: жалеть нельзя — ни других, ни себя. Бояться нельзя. Думать тоже лучше не надо. Исчезает всё, кроме желания спать и есть — и ещё поглубже забиться, зарыться, слиться с почвой.

В сорок третьем, после Сталинграда, под Харьковом, он был ранен в левую руку, долго лечился, потом вернулся под Киров, где преподавал в школе военное дело. О писательстве он не мечтал, хотел стать художником, писал акварели — пейзажи, портреты. Но учитель литературы хоть и ставил ему в школьные годы тройки за безграмотность, но разглядел в нём искру Божью и решительно направил к сочинительству: Тендряков все-таки поступил во ВГИК на художественный факультет, но, проучившись год, перевёлся в Литинститут, на семинар Паустовского.

Вообще Тендряков — классический пример человека, который сам себя сделал; по первым его сочинениям никак нельзя предположить, что перед нами крупный писатель. Ранняя проза Тендрякова не просто неумела, это бы полбеда, но полна штампов. А вот поздний Тендряков — возьмите, скажем, «Хлеб для собаки», о том, как подросток в тридцать втором смотрит на высланных на север, умирающих от голода «куркулей», — удивляет иногда физиологической мощью письма; муки голода — и несравнимые с ними, но тоже достойные описания муки сытости при виде чужого страдания — там физически ощутимы. Многие вспоминают, что при чтении «Ивана Денисовича» бежали на кухню за куском чёрного хлеба — у Тендрякова не то, и здесь, пожалуй, главное его отличие от Солженицына. Аппетита он не умеет вызвать вовсе. Но вот тошноту — это да: «Широченный, что платяной шкаф, в просторном мужицком малахае цвета пахотной земли, в запорожской, казацкой шапке — грачиное гнездо, с пышными, голубовато-бледными ногами, которые при каждом шаге тряслись, как овсяный кисель, и смогли бы уместиться только каждая в банной лохани. Бледное раздутое лицо вблизи поражало неестественным гигантизмом — какие-то плавающие, словно дряблые ягодицы, щёки, низвергающийся на грудь подбородок, веки, совсем утопившие в себе глаза, широченная, натянутая до трупной синевы переносица. На таком лице ничего нельзя прочесть, ни страха, ни надежды, ни растроганности, ни подозрительности, — подушка». Когда после этого описания куркуля, раздутого голодной водяной, читаешь, как мальчик Володя Тенков, сын прокурора, обедает, как не может проглотить кусок пирога, — вполне разделяешь его состояние,

чувствуя судорогу в гортани. После Тендрякова стыдно есть, стыдно жить, и стыд — вообще самое частое состояние у его героя. Перед лицом старости и смерти все его герои оказываются неизлечимо, неисправимо виноваты, грех, по Тендрякову, — как верно заметил в лучшей статье о нём мудрый Камил Икрамов — вообще неискупим.

А как же — спросите вы — а как же Нагибин, записавший после его смерти совсем другое? «Человек был тяжёлый, невоспитанный и ограниченный, с колоссальным самомнением и убеждённостию в своём мессианстве. Строгий моралист, он считал себя вправе судить всех без разбору. При этом он умудрился не запятнать себя ни одной сомнительной акцией, хотя бы подписанием какого-нибудь серьёзного письма протеста. Очень осмотри-тельный правдолюбец, весьма осторожный бунтарь».

Ответим: во-первых, Нагибин вообще снисходительностью к людям не отличался, к себе, кстати, тоже. А во-вторых, колоссальное самомнение и убеждённостию в мессианстве были у Тендрякова компенсацией вечного стыда, такое часто бывает; и если в литературе он, по собственному признанию, всегда верил в свою способность перевернуть или хоть встряхнуть мир, то по-человечески судил и школил себя с небывалой, немислимой для того же Нагибина строгостью. (Он, кстати, и умер из-за этих фанатичных, опасных в зрелые годы требований к себе: ежедневно изнурял себя многокилометровой пробежкой, потом вставал под ледяной душ — под этим душем и умер в одночасье от разрыва сердца в шестьдесят лет.) «Мессианский» Тендряков прожил жизнь в лютых сомнениях, и вот странность — его проза беспокойней нагибинской, она будоражит, вышибает из колеи — а Нагибин при всём внутреннем смятении (часто, увы, вполне прозаическо-го похмельного происхождения) и в прозе, и в быту куда более благополучен. И не ему бы судить «осторожного бунтаря» — Тендряков при всей своей осторожности изменил в обществе, в литературе, в читательской психологии никак не меньше, а то и больше, чем большинство отважных современников; просто о подвигах времён первой оттепели мы мало знаем, потому что и вторую уже не очень хорошо помним.

3

Их было две, о чём вспоминают редко. Поскольку советская история толком не написана, о границах можно спорить, но поскольку это текст мой, я предложу свои: первая оттепель — 1953–1958, примерно до травли Пастернака, которая, собственно, и расколола либеральное крыло деятелей культуры. Именно в 1958 году поэты, олицетворявшие эту первую оттепель, — Мартынов, Слуцкий — выступили ПРОТИВ Пастернака. Именно в 1958 году, словно надорвавшись, умерли Зощенко, Заболоцкий, Шварц — может, и без всякой связи с очередным «похолоданием», но с их уходом явственно закончилась эпоха, которая их легализовала, вызвала у них последний творческий взлёт (разве что Зощенко так и не пришёл в себя). И с 1958 года до самого XXII съезда, до ночного выноса Сталина из Мавзолея, царила межеумочность, потому что разгромлен был альманах «Литератур-

ная Москва», неприкосновенной оказалась лагерная тема, в 1961 году — в феврале — конфискован роман Гроссмана «Жизнь и судьба»; реакция наступала до тех самых пор, пока в октябре не состоялся ещё один хрущёвский поворот. Хрущёву нужно было расправиться с остатками сталинского Политбюро, с так называемой антипартийной группой, от которой в языке остался «и примкнувший к ним Шепилов» — и списать на Сталина и его окружение все собственные неудачи (что, может, и справедливо отчасти, но не надо питать иллюзий: весь его антисталинизм и временный союз с интеллигенцией — вещи сугубо конъюнктурные, и два года спустя он от всего этого благополучно отказался).

Для этой первой оттепели была характерна ярко выраженная враждебность ко второй: Смеляков, которого при Хрущеве реабилитировали, так и не принял Окуджаву, грубо ругался с ним; у Тендрякова в «Людах или нелюдах» — тоже грубый и, главное, ничем не обоснованный выпад против Евтушенко («кумир современного витийства Евтушенко с завидным апломбом и прямоотой»); Мартынов после приснопамятного выступления на проработочном собрании, где Пастернака исключали из союза, оказался в изоляции, Слуцкий тоже — и если пробил эту стену, то лишь благодаря исключительному таланту и безупречной честности; тот же Смеляков написал оскорбительные стихи об Ахмадулиной (которую и Ахматова, называвшая себя «хрущёвкой», не полюбила, — она, кстати, с неожиданной резкостью отзывалась и о Вознесенском, и о Рождественском, и о Евтушенко, хотя не могла же не видеть их таланта!).

В чём тут было дело? Примерно в том же, что и в случае Крылова с Грибоедовым: Грибоедов стал читать Крылову «Горе от ума», написанное не без прямого его технического влияния. Крылов слушал молча, потом вдруг затрясся — Грибоедов думал, что от смеха, а он рыдал. «Что с вами?» — «Если б я так-то... при матушке Екатерине... уже в Илим бы ехал!» — не поручусь за точность диалога, но суть передаю. Крылову хватило душевной широты — он восторженно похвалил труд коллеги, которому повезло жить в иное время. Советские авторы были не столь щедры, да и школа жизни у них была другая. Более удачливых коллег они возненавидели.

Оттепель пятидесятых была недоиграна, абортирована — а между тем по многим параметрам она была масштабней того, что при поддержке власти началось после 1961 года. Проблема не в том, что вторая оттепель была конъюнктурней. Проблема была в том, что эта вторая оттепель расколола советский монолит. Народ, который восторженно встретил оттепель-54 и доклад-56, в шестьдесят втором отнёсся к происходящему крайне настороженно; и Тендряков был первым, кто зафиксировал этот перелом, потому что в это же время происходит перелом и в собственной его литературе.

Именно после 1961 года в российском обществе произошёл раскол на так называемых горожан и деревенщиков, продолживших линии соответственно западников и славянофилов. Конечно, «деревенщики» к реальной деревне не имели никакого отношения — почему в их ряды не вписались ни Яшин, ни Тендряков, который всю жизнь писал главным

образом о проблемах русских деревень. Дело в том, что так называемая «русская партия» была именно партией правоты: да, мы такие, и что? Мы не желаем быть лучше, у нас особый путь и своя судьба, все нас мучают и все перед нами виноваты. Эта позиция была Тендрякову органически враждебна.

Звание патриотов присвоили себе те, кто больше всего боялся честного разговора, ненавидел любую рефлексию, а всякую критику объявлял происками. Тендряков — слишком консервативный для горожан, слишком серьёзно относящийся к работе, ставящий вечные вопросы, сколь бы наивным это ни казалось — в рядах почвенников был ещё более чужероден. Он был человеком из пятидесятых, когда все ещё были вместе, когда была надежда, когда антисталинизм не был скомпрометирован хрущёвскими несуразницами; в пятидесятых каждая новая его вещь становилась сенсацией, а в шестидесятые он перестал совпадать с эпохой: у одних уже не было никаких иллюзий, они догадывались, что обречён сам проект, а другие тоже не верили в свободу и мечтали откатиться к прежнему, к Брежневу; Тендряков подписал гневный литературский текст против реабилитации Сталина (1966), но сделать с генеральной интенцией ничего не мог. Страна всё глубже скатывалась назад, интеллигенция вырывалась вперёд, Россия на глазах делилась на империю и остров Крым — причём вырождались они одновременно, о чём и написал Аксёнов.

Тендряков был из тех, кто создавал «Литературную Москву» (удушенную после второго выпуска) и «Тарусские страницы» (разгромленные партийной критикой), из тех, кто верил в возможность перемен, в советское единство, в честных коммунистов; верил даже в колхозы, хотя видел, кажется, весь ужас коллективизации. Но когда опять ничего не вышло, он, как и большинство деятелей первой оттепели, ушёл в себя; его повести второй половины шестидесятых и в особенности семидесятых были посвящены уже только «нравственным исканиям».

А какие могут быть нравственные искания в безнравственном обществе? Он пытался на личном, чисто человеческом уровне решать мировые проблемы, но не понимал — или не признавался себе, — что люди поставлены в противоестественные условия, и в этих, по сути, фальшивых, всегда экстремальных обстоятельствах правильного ответа быть не может. Вот «Расплата»: учитель всю жизнь учил детей сосредоточенно и отважно сопротивляться злу. И его ученик взял да и застрелил из охотничьего ружья своего сильно пьющего отца, избивающего мать. Учитель считает себя виновным: как же это я объяснил им необходимость сопротивления злу силою, а ценность человеческой жизни так и не объяснил? Учителю невдомёк, или он не хочет себе в этом признаваться, что в условиях, когда он всё время вынужден учить полуправде, или правде в рамках морального кодекса строителя коммунизма, а людям нечем и незачем жить, и от этого они тупо пьют, как звери, — ни о каком моральном императиве говорить нельзя: мораль опровергается ежедневно, ежестранично, каждой газетной полосой, каждым включением телевизора, любой школьной политинформацией. Это не значит, что в СССР нельзя было

остаться нравственным человеком, — но эта нравственность была в любом случае половинчатая и держалась на сотнях компромиссов; борьба со злом должна была начинаться уж никак не с убийства пьющего отца, потому что никакое убийство не искоренит зла и ни одна война не оздоровит нацию, даже если венчается победой. Но где было Тендрякову говорить об этом вслух? Дальше всего — по крайней мере если брать напечатанное — он пошёл в той самой «Ночи после выпуска». Это вещь с достоевщиной, конечно, и вообще в позднесоветском искусстве была такая тема — школьники выговариваются, десять лет проучившись вместе; взять хоть «Изобретение велосипеда» — роман хорошо начинавшего Юрия Козлова. Лучшие учителя и самые яркие выпускники в последнюю школьную ночь высказывают друг другу всё наболевшее. Вот там Тендряков задолго до всех — в том числе до Евтушенко с его «Ягодными местами» — зафиксировал появление нового типажа, маленького наполеончика, чаще всего из состоятельной и даже элитной семьи; эти элитные детушки впоследствии как раз приватизировали перестройку и превратили её в передел собственности. Там же — почти все типажи тогдашней молодёжной прозы, выведенные впервые и представшие во всей неприглядности: принципиальная девочка (впоследствии, в «Чучеле» Железникова, Железная Кнопка, а у Миндадзе с Абдрашитовым — Плюмбум); шут-соглашатель (этих хватало и в жизни, и в искусстве); шут-разоблачитель (у Тендрякова — Игорь, у Юрия Вяземского в знаменитой доперестроечной повести он так и зовётся — Шут), роковая красавица — Натка... И главное, что всех этих людей объединяет: стоит им начать выворачиваться друг перед другом наизнанку, как выясняется, что внутри — ненависть, жадность, тщеславие, одиночество... Общество было больно тяжело и, может быть, уже неизлечимо; изолгались и изворовались все, и единственной святыней — уже тогда! — оставалась память о другом 22 июня, тридцатилетней давности.

4

В общем, ясно, что автор такого направления и такого класса не мог не коснуться вопроса о христианстве — и он его коснулся, причём весьма изобретательно. У Тендрякова вообще был вкус к фантастике, и его повесть «Путешествие длиной в век» (1964) украсила том «Нефантасты в фантастике» знаменитой молодогвардейской антологии. Эта вещь повлияла и на современную словесность — думается, именно она навела Ольгу Славникову на мысль (в романе «2017») о масштабной ролевой игре, повторяющей советскую историю; у Тендрякова так разыгрывают гражданскую войну — он предугадал масштабные реконструкции восьмидесятых-девяностых, угадал даже то, что в этих играх многим захочется убивать по-настоящему. Но лучшим его фантастическим произведением был роман, первоначально названный «Евангелие от компьютера» — и лишь потом переименованный в «Покушение на миражи». Там физики моделируют разные варианты человеческой истории — но при любых стартовых условиях христианство рано или поздно возникает всё равно, потому что «душа по природе христианка», как догадался Тертуллиан; потому что без этого стержня человеческая история не началась бы; потому что вне

зависимости от того, верим мы в божественность Христа и бессмертие души или остаёмся, как Тендряков, атеистами, — без христианства никаких разговоров о морали и свободе быть не может. Всё вышло по слову Христа — он открылся не искавшим его. Тендряков, автор «Чудотворной», в конце жизни написал роман о том, что разговор о смысле жизни, о вечных вопросах, о предназначении и судьбе в атеистических терминах бессмысленен, но человеку зачем-то нужен; а стало быть, пусть хоть ценой компьютерного моделирования, но вопрос о Боге придётся ставить заново.

А «Чудотворную» не следует ставить ему в вину прежде всего потому, что в ранние и зрелые его годы Хрущёв предпринял ещё одну самоубийственную атаку, и Тендряков — хрущёвец по духу — эту линию поддерживал. Речь идёт о беспрецедентных гонениях на церковь, развернувшихся в конце пятидесятых и продолжавшихся, пусть слабее, до середины семидесятых (во время разрядки церковников реабилитировали, активно приплетая к борьбе за мир). Хрущёв отлично понимал, что истоки сталинского культа — в способности российского народа создавать культ из всего, на любой почве; немудрено, что он стал врагом церкви, потому что какая может быть церковь в космический век, и что это за культ личности Христа там, где умудрились разоблачить самого Сталина! С религией в начале шестидесятых боролись прицельно. До сих пор мы толком не отрефлексировали этот излом русской мысли; и сегодня, глядя на некоторые жесты и заявления РПЦ, многие думают, что Хрущёв-то был прав... А прав-то был Тендряков, когда писал письмо в ЦК о необходимости сворачивать борьбу с церковью и осторожно заимствовать у неё всё лучшее; конечно, он был наивен, — а между тем ему всё ясней становилось, что без Христа мир так и будет храмом без купола, что в этой точке сходится всё. И тогда он написал «Покушение» — книгу о том, что это не миражи, нет, не миражи.

5

Мне мало верится, что после этой статьи — мало ли их было за 40 лет, прошедшие со дня его смерти? — Тендряков вернётся в активный читательский обиход. Но, думается, вспомнить о нём сейчас самое время, потому что чего-чего, а самодовольства в России сейчас хватает. На короткое время (надолго они не побеждают в силу полного отсутствия позитивной программы) к духовной власти пришли потомки тогдашних деревенщиков — озлобленные, нетерпимые, ненавидящие всех и друг друга. Тендряков всей сутью своего мрачного, неровного, нервного творчества направлен против единомыслия и самодовольства; его тексты отрицают любую успокоенность. Разумеется, ни о какой победе и даже о легализации христианства в наше время речи не идёт. Но то, что мы видим вокруг себя, — христианства не отменяет. В беспокойстве, неудовлетворённости, в ищущем уме Тендрякова больше правды и смысла, чем во всех сегодняшних псевдохристианских проповедях официальных церковников; Тендряков со всей честностью, с бесконечной болью рассказал о том, почему в пятидесятые у советской власти в предпоследний раз не получилось вернуться на человеческий путь (до последней попытки он не дожил).

Икрамов писал: тем, кто хочет понять пятидесятые годы, — придётся читать Тендрякова. А понимать пятидесятые придётся всем, кто задумывается о российском завтрашнем дне: в нашей истории мало нового, и это, может, единственное её преимущество.

Главных его уроков мы, может, и не усвоим — ибо сейчас, когда раскол зашёл слишком далеко, поздно напоминать о единстве; когда бессовестность сделалась всеобщей и беспорной нормой, поздно говорить о морали. Но один урок, преподанный им, всё ещё доступен всякому: человек, который взялся вылепить себя сам, который неутомимо работает, серьёзно думает и не заглушает в себе стыда, в конце концов, при любых стартовых данных, состоится. Он и поймёт, и скажет о жизни больше, чем самый утончённый и воспитанный современник. О невоспитанности Тендрякова, кстати, вспоминали многие — из тех, кому он потом самоотверженно помогал. Воспитанности-то, может, русский человек и не может себе позволить — воспитанные промолчат, уйдут в тень, позволят собою воспользоваться. Тендряков был невоспитанный, мессианистый, корявый. Но он сказал своё слово.

А что ещё надо-то?



Володя Тендряков с бабушкой



Тендряков-подросток с товарищем



Мемориальная доска на ул. Тендрякова в пос. Верховажье



Портрет А.Т. Твардовского.
Рисунок Ореста Верейского

[ОБ АЛЕКСАНДРЕ ТВАРДОВСКОМ] ИЗ РУКОПИСЕЙ

Комментарий Марии Тендряковой

Эти рукописные странички были вложены в отдельную папку и хранились около полувека. Нехарактерное для писательского архива название папки — «Государственное специальное конструкторское бюро по зерноуборочным комбайнам и самоходным шасси» — само по себе звучит как эхо дискуссий о колхозах, которые были средоточием всех самых больных тем советской жизни в далёкие 1950–60-е гг. и даже породили так называемую «деревенскую» литературу.

В то время почти все разговоры, по крайней мере в писательско-журналистских кругах, вращались вокруг недавней трагичной истории страны и миллионов репрессированных, всё пытались понять, где «сбились с пути» в светлое коммунистическое будущее. И листочки из папки — о том же. Только в центре этого разговора — могучая фигура А.Т. Твардовского, к которому В.Ф. Тендряков относился с великим пиететом, что никак не исключало отчаянного спора, который продолжался и после ухода Александра Трифоновича. Твардовский постоянно присутствовал в нашей пахринской жизни: гуляя по лесу, мы шли тропами Твардовского, доходили до лесного родника, открытого Твардовским, говорили фрагментами его стихов, пришедшихся к слову, а также памятью о его словах, поступках, его «Новом мире»...

С тех пор не просто прошло много времени, — эпоха сменилась. В 1990-е гг. мы получили возможность свободно говорить о прошлом, но побоялись посмотреть ему в лицо. Вместо этого заговорили о «некрофилии» и национальной гордости. Наше время боязливо и поспешно оглядывается в прошлое, не даёт себе труда вникать в подробности, а тем более представлять события глазами их современников.

Эти листочки из папки — послание в сегодняшний день. В советское время и речи не могло быть об их публикации, они остались в рукописном варианте даже не перепечатанными. Это продолжение непрекращающегося внутреннего диалога с Твардовским и о Твардовском, признание его как настоящего большого поэта и

Публикуется
в сокращении.
Полностью
опубликовано
в журнале
«Знамя»,
2017, №11



благодарность за дарованное его стихами просветление души; и объяснение со старшим поколением, которое искренне заставляло себя верить в необходимость жертв; это и прямое обращение к сегодняшнему читателю, к тому, кто может не знать, какое потрясение переживала страна в Оттепель, как мучительно давалась переоценка ценностей.

«Что удивляться, если другие, не столь умные, не столь чуткие, продолжают цепляться за Сталина. Как тут можно быть уверенным, что проклятое прошлое не вернётся!» (В.Ф. Тендряков).

Тогда возвращение казалось невысказанным. Переболели сталинизмом, всё, хватит.

И вот сегодня на фоне возрождения имперского духа, растёт популярность Сталина, он — «эффективный менеджер», ему ставят памятники, жаждут твёрдой руки и составляют новые списки «врагов народа».

Так что, получается, не архивное «путешествие в обратном», а разговор на злобу дня. О самом насущном и будущем.

Из рукописей В.Ф. Тендрякова

Портреты Сталина снимались со стен, и вся великая страна «от южных гор до северных морей» спорила. Через любое застолье пролегли незримые баррикады. За раскупоренной бутылкой, вместо «Ты меня любишь? Ты меня уважаешь?» выяснялось: «Ты его любишь? Ты его уважаешь?». И сугубо категорические аргументы, вплоть до: «А в морду хошь?..»

Нельзя сказать, чтоб эти споры были совсем уж бесплодны, не от них ли рождалась масса анекдотов. Сталинисты получили некоторый перевес: прах развенчанного Сталина снова почтительно положили в мавзолей рядом с Лениным. И сразу же по Москве пошла острота о великой силе партийной критики, действующей даже на мёртвых: «Сталина покритиковали — он исправился!».

За компанию со Сталиным задевается даже сам Л[енин]. «Иосиф Виссарионович», — спрашивает он Сталина, — как вы думаете, ради свободы пролетариата в нашей стране можно пожертвовать пятью миллионами человек?» «Можно, Владимир Ильич!» «Ну а десятью?...» «Можно, Владимир Ильич!» «А двадцатью или тридцатью?» «Можно, Владимир Ильич!» «Ну а пятьюдесятью, Иосиф Виссарионович?» «Можно, Владимир Ильич!» «А двухсот пятьюдесятью миллионами?» «Можно, Владимир Ильич!» «Вот тут-то мы вас и поправим, дорогой Иосиф Виссарионович».

А одновременно возникает фривольная частушка: «Я с женою резведуся / И на Фурцевой женюсь. / Подержусь за сиськи я, / Самые марксиськия».

Фурцева в то время становится секретарём ЦК, её стройная фигура и не утратившее милоты лицо на газетных фотографиях рядом с Хрущёвым.

В анекдотах — упоение свободой, которая как ни скромна, но после мертвящего страха сталинских лет лёгким хмелем кружит головы. В анекдотах же — и общественная мысль, посильные результаты всех бесчисленных хаотических споров, охвативших страну.

Но не надо думать, что в те дни Сталина защищали только отъявленные прохвосты, мечтавшие восстановить пыточные застенки, вернуться к черносотенному разгулу, к лагерному режиму в стране. Нет, в те дни в защиту Сталина выступали и такие, кому чужд был дух насилия, кто ценил и даже пытался отстаивать человеческое достоинство, кого мутило от любого проявления черносотенства. Среди них даже встречались люди воистину выдающиеся.

В один из жарких летних дней 1958 года в тесной душной квартирке над Смоленской площадью четыре человека пили тёплую водку и, разумеется, спорили...

Один сердито утверждал:

— История не бочка с патокой, с какого края не зачерпни — всё сладко. История всегда круто горчила и пахла кровью. И тот, кто её размешивает, не может не запачкаться...

«Размешивающий историю» и невольно пачкающийся — само собой, сам Сталин. На него нападают двое — Виктор Некрасов и я. Сердитый защитник Сталина ни кто иной, как Ал.Тр. Твард[овский]. Хозяин квартиры Игорь Сац предпочитает сейчас помалкивать.

Недавно вышла в свет двухтомная антология поэзии, в ней Тв[ардовский] поместил стихотворение «Портрет», которое раньше широко было известно под другим названием — «Сталин с трубкой».

Ст[алина] усердно вычёркивали из справочников, из исторических книг, из художественных сборников. Только Тв[ардовский] своей настойчивостью и своим авторитетом, приложив немалые усилия, мог добиться опубликования культового стихотворения, да и то потому, что в тексте не упоминалось имя опального вождя. Пришлось поступиться названием.

Это, собственно, и послужило началом спора. Хорошо, что спора, а ещё недавно Твардовский по поводу Сталина не спорил, а просто гневно одёргивал, считал неприкосновенной эту эпохальную личность. Сейчас он даже допускал, что Сталин мог как-то запачкаться...

Мы с Виктором Некрасовым напоминаем прелести тридцать седьмого года и указываем на то, как они мало подходят к бытовому словечку «запачкаться»...

В общем-то самая заурядная, самая обычная застольная беседа, кончавшаяся традиционным «посошком», после которого спорящие стороны расходятся восвояси, оставаясь при своём. О ней не стоило бы и вспоминать, если б тут Тв[ардовский] не выступал вовсе не в той роли, в какой он проявил себя позднее и остался в нашей памяти.

* * *

...Я не назову ни день, ни час, когда Ал. Тв[ардовский] со своей поэмой «Стр[ана] Мур[авия]» вошёл в мою жизнь. Кто из нас в состоянии вспомнить, когда именно он впервые прочитал, скажем, «Я помню чудное мгновенье»?..

Десятилетним мальчишкой я видел, как дохли от голода сосланные мужики, по-детски верил, что это враги, — они против колхозов! Верил и пытался задушить в себе жалость к ним.

Годы голода прошли, люди перестали умирать на улице, приступы невыносимой жалости уже не тревожили меня, но продолжало жить внушение — то были враги, а с врагами следует поступать по-вражески, без содрогания! И это жестокое внушение со временем становилось для меня всё привычней, всё естественней, как само собой разумеющееся. Уже укреплялось в сознании, что жалость постыдна, она проявление слабости — вот-вот станет чертой характера, звериной чертой...

Но тут-то именно где-то в эту пору созревания звериности я и наткнулся на появившуюся в свет «Страну Муравию»:

В колхоз не желаю, —
Бодрился Никита.
До синего дыму
Напился Никита.

По живущему во мне внушению Никита для меня — враг, он против колхоза, и к врагу — по-вражески... Однако этот Ник[ита] Морг[унок] от строчки к строчке становится родней родного, готов любить его со всеми изъянами.

Был Моргунок не так умён,
Не так хитёр и смел,
Но полагал, что крепко он
Знал то, чего хотел...

Родными и понятными становятся его мечты, за которые, казалось бы, нужно презирать и ненавидеть.

Весь год — и летом и зимой,
Ныряют утки в озере.
И никакой, ни боже мой, —
Коммунии, колхозии!..

Нет-нет, не собираюсь утверждать, что Тв[ардовский] силой слова изменил тогда моё правомерно жестокое мировоззрение. Я по-прежнему продолжал считать, что с врагом по-вражески, жалость в таких случаях недопустима! Но это хранилось в памяти, как хорошо вызубренная алгебраическая формула, которую носишь в себе и нигде не применяешь в жизни, легко обходишься без неё. С врагом — по-вражески! Да, конечно, но когда слышал в тяжёлые послевоенные годы упрёки и жалобы баб и мужиков о невыносимой жизни в колхозе, упрёки в адрес властей, а подчас и самого Сталина, то врагами их уже не считал, в голову не приходило! Они, изнемогающие, упрекающие колхозники были для меня побратимами Никиты Моргунка. Никита же Моргунок — куда ближе, родней, понятней далёкого, неприступного в своём величии Сталина. А потом, когда сам как-то научился размышлять, да ещё подхлестнуло время, как легко мне было расстаться с этой лежащей на поверхности, не вросшей в душу неприглядно жестокой концепцией — бди, всюду враги, не допускай жалости! Столь же легко и безболезненно — с плеч долой, из сердца вон! — расстался я и с провозвестником классовой ненависти и вражды — со Сталиным. Тв[ардовский] помог мне. И вот сам Твардовский защищает Сталина...

Он был поэтом... «Поэты, — говорит Герцен, — в самом деле, по римскому выражению, — «пророки»; только они высказывают не то, чего нет и что будет случайно, а то, что неизвестно, что есть в тусклом сознании масс, что ещё дремлет в нём».

Он был выдающимся поэтом своего народа и своего времени. «Родился я в Смоленщине, — пишет Твардовский в своей автобиографии, — в 1910 году, 21 июня на “хуторе пустоши Столпово”, как назывался в бумагах клочок земли, приобретённый моим отцом, Трифоном Гордеевичем Твардовским, через Поземельный крестьянский банк с выплатой в рассрочку. Земля эта — десять с небольшим десятин, — вся в мелких болотцах — “оборках”, как их у нас называли, и вся заросшая лозняком, ельником, берёзкой, — была во всех смыслах незавидна».

Тв[ардовский] не решается тут сказать, что за эти незавидные десять с небольшим десятин его отец, деревенский кузнец, был раскулачен и сослан. Навряд ли это Трифон Гордеевич считал правильным и справедливым, как навряд ли считали его сыновья, соседи, миллионы крестьян — Никиты Моргунки, не соглашавшиеся с коллективизацией.

Но это несогласие с насилием, это стихийное чувство совершающейся несправедливости вряд ли могло быть подхвачено и развито тогда поэтом. И не только потому, что поэту сразу бы заткнули рот, не дали издать и звука, были ещё иные внутренние препятствия, связанные с осознанием сложившихся обстоятельств.

После революции, провозгласившей: «Земля крестьянам!», — вся огромнейшая аграрная Россия распалась на мельчайшие мужицкие хозяйства. В них можно было добывать хлеб только прадедовским способом — горбом да сошкой. Страна получала из года в год всё меньше и меньше хлеба, и рассчитывать на лучшее было нельзя — отсталый прадедов-

ский способ земледелия не мог кормить. Увеличить производительность труда крестьянина могла только машина, но мужик, бившийся на клочке земли, не в состоянии был ни приобрести её, ни применить в тесных рамках своего хозяйства. Только на крупных хозяйствах, сравнимых по масштабам с помещичьими, можно использовать машины. Вернуться обратно к помещикам, к тому, от чего недавно отказались, вновь к батрачеству, к частной собственности... Тогда чего ради было крутить революцию, к чему переживать тяготы гражданской войны, разрухи — пролитая за высокие идеи кровь бессмысленна! А если не к помещикам, то только к одному — к колхозам, к крупным обобществлённым хозяйствам!

Поэту надлежит высказывать то, что дремлет в тусклом сознании масс, его задача осветить это тусклое своим талантом. Но в сознании-то Трифонов Гордеевичей и Никиток Моргуновых, страдающих от государственного насилия, не было ничего, кроме древнего, древнего желания стать собственником.

И всё твоё перед тобой,
Ходи себе, поплёвывай,
Колодец твой, и ельник твой,
И шишки все еловые.

Или старое, одряхлевшее, или то, что провозглашается государством — иных идей просто ещё не существовало.

Воспевать старое, вещать давно всем известное, ратовать за отжившее — уважающий себя поэт не может себе позволить такое.

Все поэты в стране, каждый в меру своего таланта, воспевали государственные деяния. Трифона Твардовского посчитали противником колхозов, раскулачили и сослали, а его сын стал ратовать за колхозы, искренне, со всей данной от бога силой. И за колхозы, и за прочую государственную политику, проводил которую, возглавлял которую Сталин.

А если ты поёшь славу делам, то почему обходить молчанием того, кто их творит. Ал. Тв[ардовский] не преуспел в славословии, восторженное величание возможно всё-таки при наличии какого-то раболепия в характере, оно у Тв[ардовского] начисто отсутствует. Мне думается, пальму первенства в этом жанре следует отдать М. Исаковскому, земляку и старому другу Твардовского, чьё влияние на себя он не раз признавал во всеуслышание. Пожалуй, никто из поэтов столь искренне, проникновенно и любовно не ото-звался о Ст[алине], как Исак[овский].

Спасибо Вам, что в годы испытаний
Вы помогли нам устоять в борьбе.
Мы так Вам верили, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе.

Вы были нам оплотом и порукой,
Что от расплаты не уйти врагам.

Позвольте ж мне позать Вам крепко руку,
Земным поклоном поклониться Вам

За Вашу верность матери-отчизне,
За Вашу мудрость и за Вашу честь,
За чистоту и правду Вашей жизни,
За то, что Вы — такой, какой Вы есть..

Спасибо Вам, что в дни великих бедствий
О всех о нас Вы — думали в Кремле,
За то, что Вы повсюду с нами вместе,
За то, что Вы живёте на земле.

Переплюнуть трудно.

Твардовский — выдающийся поэт, а какой честный поэт быстро отказывается от того, что пел раньше? Твар[довский] включил в антологию своё старое стихотворение «Сталин с трубкой», Тв[ардовский] сейчас защищал Сталина...

* * *

Мне часто приходилось спорить с Ал. Твардовским по разным вопросам и иногда излишне горячо, но о Ст[алине] это был единственный наш спор. Наверно не только мне, другим тоже казалось, что задевать при Твардовском эту тему столь же неэтично, как напоминать человеку о его врождённом уродстве.

Тв[ардовский] тут дозревал сам, без помощников.

И спустя два года он уже оправдывается и бичует себя за недавнее преклонение перед Ст[алиным].

...Когда кремлёвскими стенами
Живой от жизни ограждён,
Как грозный дух он был над нами, —
Иных не знали мы имён.

<...>

Не мы ль, певцы почётной темы,
Мир извещавшие спроста,
Что и о нём самом поэмы
Нам лично он вложил в уста?

Не те ли все, что в чинном зале,
И рта открыть ему не дав,
Уже, вставая, восклицали:
«Ура! Он снова будет прав...»?

Это уже было написано и опубликовано, когда мои приятели позвонили:

— Беда случилась! Приезжай!

Беда, не беда, а досадная неприятность, которая могла обернуться и бедой. Наш общий друг Виктор Некрасов загулял крепко вечером, пошумел на улице и был препровождён в милицию, где и пробыл ночь. Виктора Некрасова и так враждебно склоняли в печати — за упадничество, очернительство, нигилизм, а если ему сейчас влепят пятнадцать суток ареста — известному писателю! Лауреату государственной премии! — то уж можно представить, какой шум, какой торжествующий вой подымут недоброжелатели — и в Москве, и в Киеве. Смешают с грязью, журналы захлопнут перед ним двери! Надо спасать...

— Съезди к Ал[ександру] Тр[ифоновичу] во Внуково. Он сейчас на даче.

Тв[ардовский] депутат Верх[овного] Сов[ета], Тв[ардовский] кандидат (или бывший кандидат) в члены ЦК, конечно, его вмешательство должно произвести впечатление на милицию. Я кинулся к машине.

Он в пижаме возился у кустов роз, выслушал, покачал головой, согласился:

— Надо спасать... Идёмте в дом, я переоденусь...

Я вошёл в кабинет Тв[ардовского], где ещё никогда не был, и сразу же наткнулся глазами на два портрета.

Один большой, написанный маслом явно рукой непрофессионала — Иван Бунин. Бунина Тв[ардовский] почитал, как писателя, к Бунину он испытывал благодарность за отзыв о «Вас[илии] Тёрк[ине]»: «Это поистине редкая книга. Какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всём и какой необыкновенный солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова!». Ещё студентом я слышал, как радовался Тв[ардовский] бунинскому высказыванию: «Пьёт на радость: “Два века дворянской литературы признали!”». Бунин — понятно, жаль только, что портрет дурно написан.

Но второй портрет... Увеличенная фотография — Сталин с трубкой. Держит, не снимает. Неужели у него в глубине души всё ещё сидит этот человек? Сказал нелицеприятно и о нём, и себя за бывшее восславление отхлестал публично, и на вот — хранит как дорогую память!.. И невольная тоска от непонятной, ничем не оправданной двойственности — какому Твар[довскому] верить?.. Что удивляться, если другие, не столь умные, не столь чуткие, продолжают цепляться за Сталина. Как тут можно быть уверенным, что проклятое прошлое не вернётся! Тоска...

Виктора Некрасова спасать не пришлось, он уже ждал нас на квартире приятелей — милиция была с потрохами куплена его обаянием, стали его друзьями, отпустили с миром.

Я не мог отпраздновать вместе со всеми счастливое возвращение блудного сына — был на машине, пить нельзя. А жаль, Тв[ардовский] тогда прочитал последний вариант «Тёркина на том свете». В этой поэме он рассчитался не только со сталинизмом...

Несколько дней спустя он прочитал нового «Тёркина» Хрущёву, получил его благосклонное признание, а зять Аджубей поспешно выхватил рукопись, чтоб напечатать её в своей газете.

* * *

Скоро Твард[овский] переехал в наш дачный посёлок, стал моим соседом.

— Как обживаетесь, Ал[ександр]Тр[ифонович]?

— Зайдёмте, загляните...

И я, гадая на ступеньках лестницы — перевёз ли Александр Трифонович на новое место старый портрет с трубкой? — поднялся к нему в кабинет.

Никаких портретов, на светлых стенах между книжных полок висели скромные пейзажи.

Сталин окончательно выкинут....

Из дома.

Из души.

Но не из памяти.

* * *

Однажды я встретил Тв[ардовского] в угнетённом состоянии. Впрочем, в этом состоянии ему приходилось пребывать довольно часто. Алексей Кондратович, описывая впоследствии «самый обычный день» главного редактора журнала «Новый мир», говорит, как ему было нелегко работать — масса рукописей, читательских писем, беседы с авторами и, главное, больные ноги... Кому, кому, а заместителю Твардовского Кондратовичу лучше кого бы то ни было известно, что вовсе не текущие редакционные дела и не больные ноги отравляли существование, выматывали все силы, доводили, порой, до отчаяния, а бдительная цензура, нависавшая над журналом. Редакция готовит к печати очередное произведение — редактирует, как правило, сталкивается при этом с каким-то сопротивлением автора, оберегающим свои индивидуальные особенности, свою личную точку

зрения, приходится спорить, доказывать, чтоб прийти к соглашению, наконец, ставит в номер, засылает в набор, ведёт переговоры с типографией, подталкивает, торопит, чтоб уложиться в сроки, не задержать выпуск журнала, своевременно положить подписчику на стол. Труд сам по себе не столь уж и лёгкий, хлопотливый, доставляющий массу досадных неприятностей. Но вот он кончен, отпечатано, выверено, появляются так называемые чистые листы, остаётся лишь их запустить в машины, выдать тираж — очередная книжка журнала готова. Ан нет, не готова. Тут-то всё и начинается.

Прежде, чем запустить эти «чистые листы» в печатные машины, нужно малое — штамп цензуры на них. И чистые листы идут к цензору. Нет-нет, цензор не некий злодей, не исчадие ада — обыкновенный человек, разумеется, не хватающий звёзд с неба. Если б он обладал незаурядными способностями, исключительно напористым характером, то предпочитал бы заниматься другим делом, не сидел бы на должности со скромным окладом в каких-нибудь сто с лишним рублей в месяц. Но эти-то сто рублей он обязан отработать — с него требуют! А отрабатывать он может только одним — отыскать недозволенное, запретить его, в этом и только в этом суть его благородного труда. Если же он не отыщет, не запретит, его будут считать по меньшей мере бездельником, не оправдывающим те скромные денежки, которые платит ему государство. А не дай бог пропустить что-то особенно недозволенное, которое будет замечено в более высоких инстанциях, вызовет там недовольство. Тогда грозит наказание — влепят выговор, снимут с работы, впишут в трудовую книжку такое, что потом куда не ткнёшься, станут отворачиваться. И всё это за чьи-то чужие выкрутасы, за чужие оплошности и ошибки. У кого-то там есть основание идти на риск, — если он протащит в печать что-то свежее, оригинальное, острое, быстрее заметят, получит признание единомышленников, возможно даже и славу. Но рискующий цензор не может рассчитывать ни на что, кроме неприятностей. Он во имя своего блага должен бояться всего свежего, оригинального, любая острота враждебна для него. И он бдит.

Тв[ардовский] завидно выделяется среди других главных редакторов толстых и тонких журналов. Все остальные разные там кожевниковы, алексеевы, кочетовы и значительны только тем, что занимают высокие стулья, слети с них — каждый затеряется в толпе посредственных литераторов. А потому не рискуют. Тв[ардовский] останется Тв[ардовским] в любом случае — самой яркой звездой советской поэзии. От него-то и нужно ждать опасной остроты. И цензор это хорошо знает, всё, что исходит от Твардовского, он проглядывает с особым вниманием, с преувеличенной настороженностью, готов видеть крамолу там, где ею и не пахнет. И, конечно же, цензор задерживает «чистые листы» уже готового номера, тащит их наверх, советуется, пытается переложить ответственность на своего непосредственного руководителя. Тот не меньше, а больше дорожит своим насильственным, лучше оплачиваемым местом, тому-то и вовсе не хочется иметь неприятности за непугливого Тв[ардовского].

Выпуск журнала задерживается, одно это уже крупная неприятность в работе — нарушаются сроки, летят планы, неопределённость, неразбериха, дерганье нервов. Если чистые ли-

сты содержат в себе сравнительно заурядное произведение, этими неприятностями дело и кончается, поддержат, потянут, выбьют из рабочей колеи — вернут с мелкими замечаниями, в конце концов прищёпнут вожделенный штамп — «проверено», можно выпускать в свет!

Но если произведение оригинальное, затрагивающее острые вопросы, именно одно из тех, что делают лицо журнала, вызывают к нему читательский интерес, то уж тут цензорский штамп не прикасается, следует отказ в печатании, в рождающейся книжке образуется ничем не заполненная прореха. Можно, плача и стеноя, срочно подобрать новую рукопись, в суете и спешке её отредактировать, сунуть в прореху, можно позаимствовать рукопись из следующего номера, причём, конечно, такие рукописи, какие не вызовут подозрений цензуры. Тогда что за журнал станет получать читатель, может ли идти на это болеющий за своё дело редактор?..

И начинается тягостная, унижительная битва с цензурой. Её выносит один Твардовский. Автор, как бы он ни был известен и влиятелен, в цензуру не допускается. По той простой причине, что она, цензура, у нас на нелегальном положении, считается: мы демократическая страна, у нас по конституции свобода слова, свобода печати, а потому — какая цензура, нет её. Я знаю, что она находится на Китайгородском проезде на задворках Министерства энергетики, знаю по фамилии тех, кто её возглавляет, знаю фамилии заведующих отделами, рядовых цензоров, не раз рвался навестить их и каждый раз получал глухой отказ. Автор не помощник в войне против цензуры. Работники редакции — тоже, не достаточно авторитетны, чтоб к их слову прислушивались. И Тв[ардовский] один звонит, ругается, умоляет, ходит жаловаться в ЦК, доказывает азбучное, получает отказы, стучится выше... Он ходатай, он проситель, с его независимым и, право же, не кротким характером должен ловчить в разговорах, дипломатничать, а порой и подлаживаться — нет более противного занятия, оно чем-то сродни с нищенством: «Подайте, Христа ради», толику вашего внимания, выручите своей высокой властью! Тьфу! Тошно даже и думать. Какое счастье, что я в шкуре главного редактора не ходил так с шапкой!

Иногда милостиво подают — печатайте с богом! — иногда нарываешься на спесивый отказ, на вельможный выговор — получи по мордам! Сколько лет был Тв[ардовский] главным редактором «Нового мира», столько лет он нёс мученический крест. Помнят ли читатели, как безбожно запаздывал этот журнал с выходом в свет, январские книжки выходили вместе с апрельскими, апрельские позже майских. И это не признак редакционной разболтанности, редакционной лени, это цензорское усердие, это многомесячные подвижнические страдания Ал[ександра] Тр[ифоновича] Тв[ардовского]. У него были больные ноги, мешали работать, но сильнее, чем ноги, всегда болела душа. Он часто пребывал в угнетённом состоянии, всегда прятал его...

Но на этот раз настроение испортила ему не цензура.

— Я вчера узнал... — заговорил Твардовский, глядя в сторону. — Вернулся в Москву один реабилитированный, двадцать с лишним лет отсидел...

Реабилитированные в то время возвращались постоянно, к ним привыкли, их появление уже не вызывало особых эмоций, тяжёлых тем более.

— Ваш знакомый?

— Нет, впервые о нём услышал... Его посадили — надо же такое придумать! — за распространение кулацкой поэмы «Страна Муравия»... Так и записано в следственном деле — кулацкой поэмы... Двадцать с лишним лет! Чудовищно!.. В то время, когда эта поэма всюду печаталась, а меня за неё наградили орденом Ленина...

Я не знал, что ответить. Мне приходилось слышать и не такие нелепости, связанные с посадками в те незабвенные времена. Одного тихого старика-колхозника в лагерях все называли «дедом-террористом». И он действительно сидел за покушение на Сталина. Дед как-то собрался в райцентр, шёл мимо сельсовета, его окликнули, попросили: «Слушай, там давно нам бюст Сталина пришёл, привезти некому. Не захватишь ли на обратном пути?» Ни дед, да наверное и сельсоветский деятель, окрикнувший его, не очень-то ясно себе представляли, что такое бюст. А он оказался массивным и громоздким, нести его неудобно. Дед снял с себя пояс, накинуд бюсту вождя на шею, взвалил на спину и поплёлся к себе. По пути его поманил пальцем какой-то начальственного вида прохожий... И старик получил срок по статье 58.11 — террор! Можно ли после этого удивляться, что кого-то посадили за распространение прославленной поэмы, а автору вручили высшую правительственную награду. Во всех делах Россия-матушка отличается бестолковщиной и неорганизованностью, которые обычно она характеризует одним словом — бардак! Почему не должно быть бардака в тридцать седьмом году? Но я молчал, понимая, что от такого объяснения Тв[ардовскому] навряд ли станет легче.

— Я, Владимир Фёдорович, почти всю свою сознательную жизнь прожил с ярлыком — кулак, кулацкий сын...— продолжал А[лександр] Т[рифонович].

— С самой юности до недавнего времени — я был кулак... — Усмехнулся невесело, кивнул на свою высокую дачу: — А вот теперь я середняк... У вас, случаем, не припрятан ли где пузырьрёк с верблюжьей мочой?

«Верблюжья моча» — могло быть и коньяком, и водкой-сучком Тульского разлива — у меня дома имелась. Правда я обычно старался не признаваться в этом, боялся, что Тв[ардовский], как часто случалось, сорвётся, но...

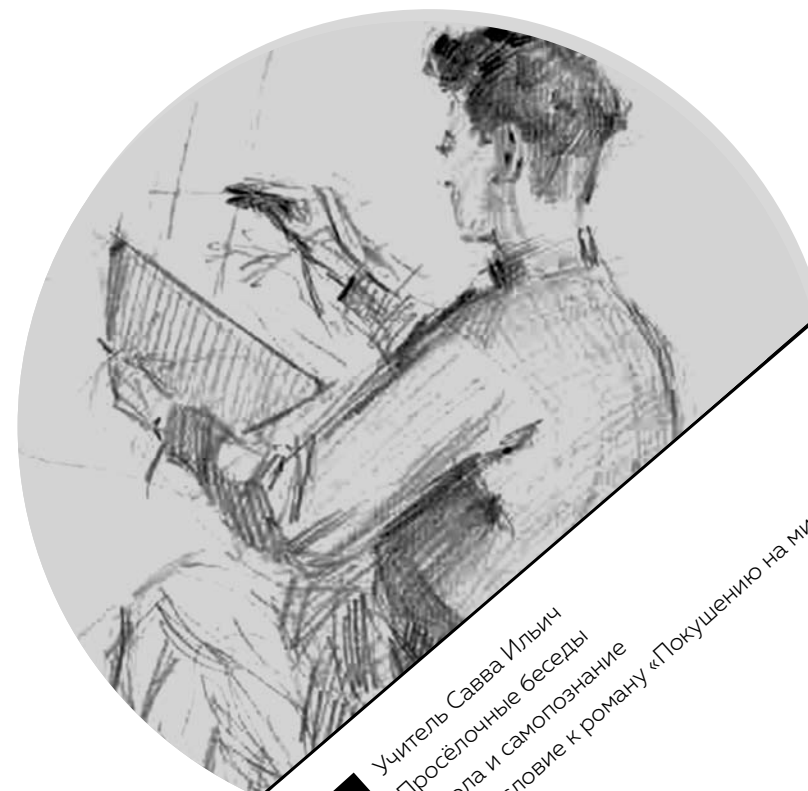
— Есть, — сказал я. — Пошли.

Отказать тут не мог.



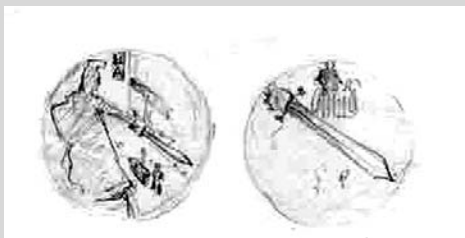
Владимир Тендряков и Виктор Некрасов

Часть V



Учитель Савва Ильич
Просёпочные беседы
Школа и самопознание
Предисловие к роману «Покушению на миражи»

КОММЕНТАРИИ К ЧАСТИ



Рисунки В.Ф. Тендрякова разных лет

В 1959 году роман «За бегущим днём» выводит писателя Владимира Тендрякова на авансцену истории образования. Это был удивительный момент: единовременный старт большого числа авторских исследовательских проектов, определивших «ресурсы перемен» в российской школе до конца столетия (а во многих отношениях — и до наших дней). Перечислим некоторые из них.

- 24 марта 1959 года возникла «Коммуна юных фрунзенцев»: И.П. Иванов собирает сводную дружину пионерского актива Фрунзенского района Ленинграда — из этого «зерна» вскоре вырастет огромное коммунарское движение, многомерный мир «педагогики общей заботы»¹.
- В интенсивных беседах, письмах, планах, организационных усилиях Андрея Колмогорова, Михаила Лаврентьева, Алексея Ляпунова и многих других выдающихся учёных складывается «заговор академиков» (как позже назовёт его А.М. Абрамов), который через несколько лет приведёт к созданию первых физматшкол².
- Намечаются «несущие конструкции» будущего манифеста «Педагогика сотрудничества»: разворачивается полуподпольный эксперимент Виктора Шаталова в 6-й школе Донецка, а Шалва Амонашвили приходит в один из тбилисских начальных классов.
- Женятся Борис Павлович и Лена Алексеевна Никитины — их «экспериментальная семья» вскоре станет символом «идущей против течения» семейной педагогики в СССР.
- В 1959 году в 91-й школе Москвы открывается экспериментальная площадка НИИ психологии АПН СССР, посвящённая изучению возможностей младших школьников. Исследования, проводимые там под руководством Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, не только подготовят революционные перевороты в дидактике и будущую систему «развивающего обучения», но и создадут выдающийся очаг психолого-педагогических поисков и дискуссий, позволивший состояться целому ряду очень разных педагогических практик и открытий.
- В 1960 году Александр Владимирович Запорожец создаёт НИИ дошкольного воспитания — первую у нас (да едва ли не в мире) команду учёных, взявшихся за комплексное изучение закономерностей дошкольного детства во всех его аспектах.

¹См. об этом, напр., книги и материалы собранные на сайте kommunarstvo.ru

²См. об истории возникновения физматшкол, напр.: **Абрамов А.М.** Великий отечественный мир, или Колмогоровский проект XXI века. СПб., 2016.

Два последних великих начинания воплощали общие замыслы научной школы Л.С. Выготского и вырастали как проекты учеников Льва Семёновича. Одна из главных научно-психологических проблем «школы Выготского» была, по всей вероятности, особенно близка Тендрякову: понять, что даёт человеку способность быть личностью, а не приспособленцем, не простым объектом социальных манипуляций; как, включаясь в сложную сеть человеческих отношений и во многом подчиняясь её законам, человек может обрести и сохранить свою уникальность; откуда на фоне социально-культивируемых адаптивных рефлексов возникают перспективы творческого отношения к жизни.

Алексей Николаевич Леонтьев (в 1959 — зав. кафедры психологии МГУ, позднее основатель и декан психологического факультета МГУ) был признанным научно-политическим лидером «школы Выготского». Судьба сделала его близким и важным собеседником Тендрякова. В «Просёлочных беседах» писатель и психолог размышляют о «действующих человеческих системах, которые нас формируют — и которые лишь в неизвестной степени способны поддаваться нашему сознательному вмешательству». «Сущность нашего "Я" не внутри, а вне нас»... Что кроется за такой формулировкой? — это и тема разговоров психолога и писателя, и один из лейтмотивов художественных произведений и статей Тендрякова.

* * *

«Школа и самопознание» — одна из последних статей. Статья короткая, газетная. Читатель заметит, что Тендряков отстаивает в ней избранные тезисы из двадцатью годами ранее написанной статьи «Ваш сын и наследство Коменского»:

- что школьные годы — это время, когда человеку нужно найти своё призвание;
- что важно отделить важное для всех общее знакомство с разными предметными областями и углублённое их изучение увлечёнными ребятами — и потребуются искать принципиально разные подходы к двум таким задачам¹;
- что стоит задуматься о переносе «центра тяжести» работы учителя от сообщения сведений к разговору о впечатлениях;
- что необходимо внимание к тем новым техническим возможностям, которые помогут искать переходы от классно-урочной системы к более индивидуализированной.

¹ Эта мысль отразится и в таких «прагматических» формулировках Тендрякова: «Мы часто говорим о всестороннем развитии личности, одинаково сведущей во всех отношениях, но забываем, что быть сведущим во всём практически невозможно, особенно в наше информационно перенасыщенное время. Пользу обществу приносит больше тот, чьё развитие гипертрофировано в какую-то одну сторону — физики или агротехники, практической механики или теоретической химии. Обо всём остальном человеку достаточно иметь лишь общие понятия, которые входят в культурный фонд личности».

Другие тезисы здесь не повторяются так определённо (о закономерностях и ловушках трудового воспитания, о том, что приучить к увлечённости — в т.ч. и к искусству распоряжаться своим досугом — в современном мире не менее важно, чем научить профессии), но скорее из-за лаконичности газетного жанра, чем из-за перемены взглядов автора.

Заметим, что к Коменскому-то ещё в той статье 1965 года Тендряков явно несправедлив. Конечно, не был Коменский настолько наивен, чтобы мечтать научить в школе всем известным знаниям, вполне безграничным и в его эпоху. Он писал об этом вполне определённо:



«Пусть, однако, не поймут выражение *“в школах необходимо учить всех всему”* в том смысле, что будто бы мы требуем от всех знания *всех наук и искусств* (а тем более знания *полного и глубокого*). Это было бы ни полезно по существу дела, ни возможно для кого-либо по кратковременности нашей жизни. Ибо мы видим, что каждая наука простирается столь далеко и глубоко (стоит только припомнить физику, арифметику, геометрию и тому подобные науки, даже сельское хозяйство и уход за плодовыми деревьями и проч. занятия), что потребовалась бы целая жизнь, даже при отличнейших дарованиях, если бы вздумали изучать науку путём наблюдений и опытов... Но необходимо, чтоб все учились разумеать основания, законы и цели всего, что есть и что совершается вокруг; ибо люди посылаются в свет, чтобы быть не только зрителями, но и деятелями»¹.

Коменский хлопочет не о всезнайстве, а о том, чтобы «люди становились людьми и обучались всему, что свойственно человеку, хотя впоследствии одному принесёт больше пользы одно, а другому другое»².

Но в чём действительно произошли глубинные изменения в мышлении в XX веке в сравнении с эпохой Коменского? Возможно, уже не вызывает доверия ключевой для Коменского ориентир: ренессансный идеал человека как «микрокосма» — уни-

¹ в кн. *Коменский Я.А.* Великая дидактика / пер. А. Щепинский. СПб, 1893 г. (Начало главы X «Обучение в школах должно быть общее»).

² См. там же: «Мудро сказал тот, кто сказал, что "школы суть мастерские гуманности, ибо они должны стараться, чтоб люди действительно становились людьми, то есть были: 1) разумными созданиями, 2) владыками созданного, 3) созданиями, существующими в радость своему Творцу. Это совершится, если школы будут заботиться образовывать людей — мудрых духом, рассудительных в поступках и благочестивых сердцем". Ибо что такое научное обучение без нравственных правил? Кто преуспевает в науках, а в нравах отстаёт (исстари говорится), тот больше подаётся назад, чем идёт вперёд. Как в утробе матери образуются те же члены у каждого человека, и у каждого всё: ноги, руки, язык и пр., но в то же время не все делаются художниками, скороходами, писцами, ораторами, так и в школе все должны быть обучаемы всему, что свойственно "человеку", хотя впоследствии одному принесёт больше пользы одно, а другому другое».

версального и гармоничного. Несамодостаточность отдельного человека, необходимость «достраивания» им себя до полноты человеческого образа с помощью других людей — таков один из философских выводов трагического XX века.

Подобное выстраданное убеждение бьётся в яростных строчках Тендрякова:

«Эти благие призывы моралистов ко мне: совершенствуйся! Они давно доказали своё бессилие. Мы все воедино связаны друг с другом, жизненно зависим друг от друга, в одиночку не существуем, — а потому самосовершенствование каждого лежит не внутри нас: моё — в тебе, твоё — во мне!

Не отсюда ли должна начинаться мысль, меняющая наше бытие?..»

Не морализаторство, а «мысль, меняющая бытие» — изменение характера человеческих отношений в школе, напрямую связанное с изменением методов обучения. Относительно образования два ключа: мысли, методы, меняющие устройство школы — и личный ответственный выбор учителя. Книги и статьи Тендрякова — о взаимной зависимости этих двух явлений, позволяющих перенастраивать школу так, чтобы (как мечталось и Коменскому) *люди в ней становились людьми* — разумными и достойными.

* * *

Вернёмся к ещё одной цитате из воспоминаний об А.Н. Леонтьеве:

«...Я мысленно возвращался к нашей беседе. Мы редко говорили о нравственности, самой наболевшей теме в общежитии и самой тёмной для науки. Но чего бы мы ни касались, эта тема постоянно ощущалась в умолчаниях и недомолвках».

Школьная тема — всё-таки лишь одна из ряда наиболее важных для писателя Тендрякова. А вот тема этическая пронизывает все его романы, рассказы и повести без исключения. Литературовед Евгений Сидоров точно формулирует универсальный принцип этой прозы: «Тендряков будто ставит моральный эксперимент и устраивает своим героям проверку на их человеческую подлинность»¹.

Тендряков пытается понять основания, систему координат, истоки нравственности. Целый ряд книг Тендрякова — художественный взгляд на мир людей уверовавших, осуждение/оправдание их религиозного выбора. Это не книги разоблачений, и не со-

¹ Сидоров Е. О прозе Владимира Тендрякова (1923–1980) / Тендряков В.Ф. Собр. Соч. в пяти томах. Т. 1. М., 1987.

чувственный взгляд советского писателя («знающего, как правильно») на «заблудших», а взгляд исследователя, пытающегося разобраться в «нравственной онтологии» человека, занятого поиском безусловных этических оснований в век религиозного скепсиса.

От произведения к произведению менялись интонации в разговоре Тендрякова о религии, сохраняя общее настороженно-противоречивое чувство. Но что только укреплялось в позиции писателя — убеждение в безусловности и универсальности этических координат; необходимость разговора на языке тех «наивных» высоких слов, которые звучали «лексикой христианства».

Схожую задачу в семидесятые годы решал Симон Соловейчик, выстраивая в своей книге «Педагогика для всех» «на языке высоких слов» картину этического обоснования педагогики и педагогического обоснования этики:



«Воспитать честных и добрых детей, воспитать “человека хорошего” можно, и притом в любых, даже самых отвратительных обстоятельствах; но для этого необходимо, чтобы кто-нибудь рядом с детьми, хоть один человек из многих — вы, читатель, или кто-нибудь другой — искренне, глубоко, не сомневаясь — то ли с детства не сомневаясь, то ли победив сомнения, — верил, что доброта и честность, или любовь и совесть (что одно и то же), не только не слабость человеческая или глупость, но в них-то вся сила, в них весь разум мира.

Любовь и совесть правят миром.

В этой строчке, которая может вызвать и усмешку, в этой строчке, где каждое слово может показаться напыщенным, в этой ничего не значащей для многих людей сентенции — в ней бьётся живое сердце воспитания. Вся судьба детей, вся наша детная жизнь — в этих словах, в том, что за ними скрыто»¹.

«Но миролюбие и совесть, любовь и правда не всегда уживаются», — именно противоречия между любовью и совестью и делают необходимыми воспитание и педагогику, подчёркивал Соловейчик².

¹ Соловейчик С.Л. Педагогика для всех. М.: Детская литература, 1987.

² «Совесть наступает, требуя справедливости, любовь прощает и позволяет отступить. Совесть непримирима, любовь мирит. Совесть будоражит, миролюбие успокаивает. Совесть разводит людей, миролюбие, любовь сводят их. Совесть требует казни, любовь призывает к милосердию... Одной лишь любовью, без правды, без совести, ребёнка не вырастишь. Одной лишь ответственностью, без любви и великодушия, ребёнка погубишь. Но именно эти противоречия и делают необходимыми воспитание и педагогику. Если бы любовь и совесть, правда и долг, самостоятельность и душевная зависимость от родителей сами собой соединялись, то воспитание было бы не нужно». (Соловейчик С.Л. Педагогика для всех. М., 1987).

Соловейчик расчерчивал соответствие ключевых понятий духовной жизни, проясняя из «жизни языка» те законы, которые можно принимать и трактовать в равной степени как с христианской, так и с нерелигиозной точки зрения, как с профессионально-научной позиции, так и с обычной, человеческой, ясной каждому.

...В произведениях Тендрякова совесть героя — главное действующее лицо, справедливость — сила, придающая накал каждому сюжету. *«Больная совесть — несчастье и достоинство русского интеллигента. Лучшие из моих предков болели совестью... Мне кажется, непробиваемо здоровая совесть — не что иное, как отсутствие её»*, — высказывается один из героев романа «Свидание с Нефертити».

Но именно о противоречиях справедливости важная для Тендрякова тяжёлая повесть «Расплата». Её обычно включают в «школьную прозу»; на наш взгляд, её место скорее в другом ряду — рядом с «Апостольской командировкой» и «Покушением на миражи», среди исследований «нравственной онтологии» человека.

«Расплата» предстаёт перед читателем прямым отголоском «Преступления и наказания», но с резким сдвигом оценок: общественное осуждение почти подменено общим сочувствием, преступление признаётся трагическим проявлением справедливости, следовательно ищет поводы для оправдания, да и суд вряд ли будет безоговорочно суров...

И здесь вдруг возникает совершенно невозможная для советского писателя тема *жизни после смерти*: потребность в сохранении высокого образа близкого человека в памяти вспыхивает как сердцевина самосохранения личности, вопреки всем очевидным выгодам самооправдания. И сам погибший обретает свой достойный облик лишь после смерти, только теперь становясь дорогим собеседником... Коля Корякин твёрдо осуждает себя тогда, когда все готовы понять и простить. Осуждает безоговорочно — лишь так надеясь сохранить в себе то, что позволит ему оставаться человеком.

* * *

«Привычно любить родину, кусок пространства, где ты появился на свет. И почему-то никогда не говорят о любви к своему времени...», — размышляет Тендряков в своём последнем романе «Покушение на миражи».

С острова своего времени он вглядывается в поток истории, пытается уловить в маловразумительном прошлом законы движения к будущему.



«Проницательный Белинский с неосторожной восторженностью заявил: "Завидую внукам и правнукам нашим, которые станут жить в 1940 году..." А в том году уже шла самая жесточайшая из человеческих войн... Я тоже хотел бы знать, что станет с нашими правнуками через сто лет, но ошибка Белинского остерегает от оптимистических прогнозов».

Стремление связать разговор о человеке с разговором о человечестве — давно отмеченная особенность книг Тендрякова. Чтобы надеяться на решение глобальных проблем, надо на «микроуровне» увидеть систему отношений, в которой действует человек и может совершать тот или иной нравственный выбор.

Как в ускоряющемся ходе истории не разменять цельность человека, не распылить само зерно человечности?

Как людям в разнородности множества интересов развить в себе искусство взаимопонимания?

Постановку этих вопросов Владимир Тендряков прямо увязывает с судьбами школы, с вариантами её будущего устройства. С тем особым шансом школы создать в «хронотопе детства» такую обстановку, где бы впитывались милосердие и справедливость, входили в привычку новых поколений стремление к пониманию неизвестного и настрой на понимание друг друга.

Андрей Русаков



Деревня Макаровская (Верховажский район Вологодской области), где родился В.Ф. Тендряков. Фотография В. Завьялова

УЧИТЕЛЬ САВВА ИЛЬИЧ ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА «СВИДАНИЕ С НЕФЕРТИТИ»

На станции, в трёх километрах от деревни Матёры, живёт учитель Савва Ильич Кочнев.

Учитель? Любимый?.. Скорей всего — нет.

Он был учителем рисования и черчения, а учитель рисования — уввы, полуучитель. И директор школы и ребята — все в глубине души убеждены: к тому, что он преподаёт, нельзя относиться серьёзно. Директор в этом не признавался, а ребята откровенны. На уроке Саввы Ильича можно пропеть петухом, можно повесить на потолок «фонарь» — бумажный фунтик с жеваным концом; можно и вообще сбежать с урока. Двойку поставит, за рисование-то, эка! Да и не дадут Савве Ильичу особо разгуляться, кто позволит таким несерьёзным предметом портить такую сугубо серьёзную вещь, как показатели успеваемости.

Савва Ильич никогда не ставит двоек, Савва Ильич не имеет никакого диплома, Савва Ильич вообще странный человек. Ему уже под пятьдесят, а забавляется как ребёнок, торчит на берегу Уждалицы, по опушкам леса, рисует картинки. Впрочем, почти все на станции эти картинки хвалят: «Похоже, как живое». А страховой агент Пашуткин, человек начитанный, выписывавший журнал «Агитатор», вздыхал: «Погибший талант». Один только Платон Муха, он и штукатур и маляр при комхозе, не признавал Савву Ильича, подвыпив, кричал:

— Живописец в местном масштабе не он, а я! Может он вывеску разрисовать? Нет! Все вывески кругом моей рукой писаны. То-то.

На уроки Савва Ильич приносил кубы, конусы, шары из папье-маше, расставлял их на столе и говорил: «Рисуйте!» Не могло быть скучнее занятия, чем штриховать на тетрадной в клеточку бумаге грани кубов и бока конусов.

Савва Ильич приземистый, довольно плотный, крылья нижней челюсти выступают углами, издали квадратное лицо кажется внушительным и суровым, приглядишься — мягкий, бесхарактерный нос, в губах виноватая складочка, маленькие глазки глядят наивно и беззащитно. Густые волосы, уже изрядно тронутые сединой, он подстригал в кружок, носил косоворотку и тяжёлые русские сапоги — по облику не то отставной кучер, чудом сохранившийся от царских времён, не то и на самом деле художник, вышедший из простонародья.

Как-то раз на его уроке Федька Матёрин, вместо того чтобы вырисовывать конус с параллелепипедом, набросал Савву Ильича — бабы волосы, нос гулей, глаз почти не видно — закрыл лоб — и лошадиная челюсть. Портрет пошёл из рук в руки по партам, вызывая смех:

— Баба-яга.

— Нет, дьячок.

— Батька Махно.

Настенька Матёрина, девочка из одной с Фёдором деревни, взвизгнула:

— Ой, похо-ож!

— Матёрина, что там у тебя? Дай-ка сюда! — над ней стоял Савва Ильич. — Дай сюда, я прошу.

Савва Ильич, насупившись, долго глядел на рисунок. Класс виновато притих. Минуту-другую Савва Ильич сосредоточенно посапывал, потом сказал негромко, без всякой обиды:

— Работайте. Чего же вы!

И весь класс дружно взялся за карандаши, склонился над неоконченными рисунками конуса и параллелепипеда.

В течение урока Савва Ильич несколько раз брал в руки вырванный из тетради листок и, серьёзно хмурясь, разглядывал. Наконец не выдержал и задал тот вопрос, который следовало бы задать с самого начала:

— Кто это сделал?

Все, разумеется, молчали.

— Кто это сделал?

Молчание.

— Хорошо... — Савва Ильич встал — плечи расправлены, голова откинута, квадратная челюсть вздёрнута вверх, во всём — от сапог до волос — непривычная торжественность. — Тот, кто это сделал... — начал он, — талант! Да, настоящий талант. И пусть он знает: я на него не обижаюсь. Только дураки могут обижаться на талант, перед талантом преклоняются!..

Звонок оборвал речь Саввы Ильича. Он вложил в свои книги рисунок Феды, забрал со стола конусы и параллелепипед, победно удалился.

А класс озадаченно молчал.

Через несколько дней Савва Ильич после уроков подошёл к Федьке, кратко сказал:

— Пойдём ко мне.

— Зачем? — поинтересовался Федька, ожидая каверзы.

Он не совсем верил и в то, что он талант, и в то, что Савва Ильич на него не обижен.

— В гости.

В гости так в гости — отказываться неудобно.

...В тесной и тёмной комнатухе Саввы Ильича стены увешаны картинами: лужайки, берёзки, кусты, берега речки...

— Это всё вы нарисовали?

— Я, — сознался Савва Ильич и добавил не без гордости: — Всю жизнь учусь у природы.

— Красиво. Всё как живое.

— Вот! Это тебе, — Савва Ильич положил перед Федькой большой альбом и коробку красок. — Рисуй что хочешь, что видишь. Только каждый рисунок будешь показывать мне. Для консультации!

Многозначительно поднял палец.

Альбом, а не школьная тетрадь в клетку. Твёрдая картонная обложка, на обложке рисунок — обнажённый человек сдерживает коня, выгнувшего дугою шею. Откидываешь обложку — и... просторные листы, они чуточку шероховаты, матовы, тверды на ощупь. Они притягивают глаз белизной, они словно тоскуют — ждут, чтоб кто-то провёл по ним карандашом. А как ярко будет выглядеть на этой ласкающей матовости карандашный след. Тронь — и линия зазвучит, запоёт, заиграет. Тронь. Хочется тронуть, и страшно нарушить чистоту листа — какое-то насилие! Но хочется, как хочется!

Краски... Нет, не простые краски, глинистые и кирпичные кружки, приклеенные к картонке. Коробка приятной тяжестью гнетёт руку. В ней рядком свинцовые тюбики с этикетками. На каждой этикетке ободок — светло-жёлтый, тёмно-жёлтый, коричневый, опять коричневый, но уже другой, погуще, синие ободки, зелёные, красные... Не карандашом, а красками по этой бумаге! Красным по белому, синим по белому, лиловым, зелёным...

Нет более волшебной картины, чем лист нетронутой бумаги. Это картина без плоти, картина-мечта. Что может быть прекраснее?

Савва Ильич — учитель-самоучка, художник-самоучка, человек не семи пядей во лбу — случайно или по наитию сделал самое мудрое: подарил Фёдору чистую бумагу, краски и один-единственный совет: «Рисуй что хочешь». Он не стреножил мечту условиями.

Федька с альбомом и красками бежал домой через голый осинник, берёзняк, через заснеженный ельник — скорей, скорей! Эта страсть, наверное, ничем не отличалась от нетерпения любого мальчишки, получившего в подарок новые коньки или лыжи, — скорей покататься, скорей испробовать!

Рисуй что хочешь... А что?

В избе нет ничего интересного: стул, печь, на загнётке квашня, на лавке кошка. На улице же — зима, не усядешься с красками посреди сугроба. Но первый лист альбома тянет к себе, тюбики полны красок — надо попробовать сейчас, немедленно. И Федька подсел с альбомом к окну.

За низким оконцем тоже ничего интересного — сугроб, в сугробе молодая берёзка, на которую обычно подымал ногу пёс Касьян. Ничего интересного, но выбирать не приходится. Выдавил на черепок старой тарелки краски, взял в руки кисточку, взгляделся... И тут же сделал открытие. Он-то всегда считал — раз берёзка, значит, белая, а выходит на поверку, что сугроб-то, похоже, и белый, а берёзка жёлтая, да и не жёлтая, какая-то тёплая, как обнажённое человеческое тело. Стало даже жаль голую берёзку, мерзнущую среди сугроба.

Федька на глазок прикинул, какую взять краску, и смело — он первый раз в жизни писал с натуры и по неведению ещё не испытывал робости, — смело, одним взмахом кисточки, воткнул берёзку в воображаемый сугроб. Берёзка получилась слишком смуглой, но это не обескуражило. На сугробе синеют глубокие следы — на бумагу их! За бе-

рѣзкой — ветхая изгородь, свалившаяся набок, чѣрной краской её! Этой же краской пятна на стволе берѣзы, сучья.

Долго ли умеючи-то, пяти минут не прошло, как картина готова. Федька схватил шапку, шубейку, альбом — и за порог, ельником, березнячком, осинничком, к Савве Ильичу. Нет сил терпеть до завтра, надо узнать, что получилось...

«Меряй не меряй, а во все стороны на пятьдесят вѣрст лучше меня никто не рисует», — в самые откровенные минуты говаривал Савва Ильич. И это было правдой, так как в округе на пятьдесят вѣрст никто этим делом и не занимался, никто, если не считать Платона Муху, который разрисовывал только вывески. Могли полюбопытствовать на картинки, могли похвалить их: «Ишь, как живое...», но никто не относился серьёзно — забавляется, и пусть себе. Святое искусство! Всю жизнь поклонялся ему Савва Ильич Кочнев при общем равнодушии, всю жизнь преданно служил, верил, молился, не смущаясь тем, что никто не разделяет с ним веры.

И вот рядом появилось живое существо, которое готово разделить веру, — кончилось одиночество, нашѣлся товарищ. Он не смотрит на малевание красочками как на пустую забаву, он молод, не то слово — он ребѣнок, у него впереди вся жизнь, и кажется, есть что-то за душой. Что-то... Савва Ильич с готовностью называл это талантом.

— Природа — лучший учитель. Учись у неё, — постоянно повторял он где-то краем уха слышанные слова.

На этом и кончились наставления. Савва Ильич не собирался соперничать с природой в преподавании, лишь изредка с важностью добавлял для назидания:

— Я сам всю жизнь учусь у природы.

Но природа, с капризно изгибающейся речкой Уждалицей, с глядящими в воду ветхими баньками, с размашистыми заливными лугами, с майской пеной цветущих черѣмух, природа многоликая, неумеренная была для Саввы Ильича, увы, неблагодарно-унылым учителем. На всех картинках у него — одинаково жѣлтые дороги, одинаково зелёная травка, синяя водичка, голубые небеса с завитыми облачками и без оных, у каждого деревца аккуратно подведены веточки.

А у Фѣдора вода в речке иногда получалась чѣрной, как нефть, тропинка — густо-лиловой, ствол дерева — розовым, а небо — зелёным. Савва Ильич разглядывал его работу и посапывал озадаченно:

— Гм... Характерец... — Объявлял осуждающе: — Импрессионист ты, братец.

Каждый раз он после такой беседы становился заметно взволнованным, усаживался перед своими работами, тербил длинные жѣсткие волосы, долго-долго созерцал чистенькие ёлочки и берѣзки, упитанные облачка на незатейливо голубом небе, рассуждал:

— Хочу, чтоб точно, как есть в природе... Нет, я реалист, хотя, конечно, далеко не Левитан.

Последнее признание было справедливым, но уж слишком очевидным. Даже для Фѣдора.

* * *

Савва Ильич иногда мечтал:

— Как бы я жил, если бы стал настоящим художником?.. Я бы долго-долго бродил по свету, из деревни в деревню, из села в село, пока бы не нашѣл себе дом. Нет, не богатый, не каменные хоромы, маленький — сени, кладовка да две комнатухи. Но чтоб дом стоял на богатом месте. Я, брат, вижу его: на высоком берегу, внизу речка играет, камыши, кустики, в заводях листья кувшинок, как олады на сковороде, а за рекой — луга тянутся, пока глаз хватает; по лугам деревеньки, старые церкви белеют, и у самого неба лес, синий-синий, чтоб как у Есенина: «Только синь сосѣт глаза...» А над этим далѣким лесом по вечерам, брат, закаты. Пожарища! Мятежи, прости господи! Чтоб из окна было их видно! А земля сонная, покойная, в дремоте, в благополучии. И река от небесных пожаров раскаляется... И чтоб за спиной дома сразу же лес — тень, сырой мох, грибами пахнет... Утвердился бы я в таком месте на всю жизнь и работал, работал, не жалел себя. Вставал бы в четыре часа утра да забирал бы с собой краски, бумагу... Ходят люди мимо какого-нибудь овражка — так себе, кусты, тропка, крапивное царство. И никто-то внимания не обратит, никто-то глазом не кинет. А я бы перед этим крапивным царством и... нате вам, люди добрые, посмотрите, мимо какой красоты ходите и не замечаете, откройте глаза, радуйтесь, на красивой земле вы живѣте, что ещё вам нужно. Может, от красоты-то размякнут люди, добрей друг к другу станут... Радовал бы я всю жизнь людей, сам бы радовался — покой, тишина, живи до ста лет, не надоест. Вот что значит быть художником. Сплошное, брат, счастье. Никак не пойму только, почему настоящие-то художники по городам больше живут, от природы прячутся? Хоть бы один к нам приехал, уж я бы на него нагляделся досыта.

Обычно Савва Ильич говорил это в своей комнатухе, в окна которой видны были слепые стены станционных складов да чуть поодаль — кусок железнодорожного полотна с кучами шлака по обочинам. Он уже не верил, что станет настоящим художником, когда-нибудь испробует того тишайшего счастья, о котором мечтал.

А для Фѣдора Матѣрина нет несбыточного. Федька заразился мечтой. Вставать утром, слышать, как иволга приветствует тебя грудным свистом, по росе идти на поиски притаившейся в оврагах, в опушках, в поросших ивняком речных берегах той нетленной красоты, которая станет радовать людей, размягчать их сердца. Что может быть чище такой покойной жизни! Ещё не так давно, начитавшись книжек, мечтал о приключениях, о далѣких морях, о солѣном ветре, пальмах, скалах, подвигах — ничего не надо. Мир завоевывается не только вширь, но и вглубь. Бумага, краски, леса да луга, речка да небо и ещё собственные руки — так мало, так доступно, так скромно и так заманчиво. Ничего другого не надо, только это.

1964 г.

ПРОСЁЛОЧНЫЕ БЕСЕДЫ

Черепаха, которая жила под письменным столом, была вегетарианкой, и Алексей Николаевич взялся доставлять ей к ужину букет луговой кашки. На эту ответственную операцию неизменно приглашался я, помимо всего, надо полагать, на роль Дерсу Узала местного значения. К вечеру под моим окном вырастал он — вдохновенная голова на тонкой шее, кофта, ниспадающая с плеч столь вольными складками, что сомневаешься в существовании плоти под ней, и белые резиновые тапочки на ногах.

Я не был ни его учеником, ни коллегой, в стороне от той науки, которой он отдал жизнь, не отстаивал с ним плечо в плечо общее кредо — всего-навсего лишь его досужий собеседник в часы отдыха. Но, право, это не так уж и мало. Оглядываясь назад, я теперь чаще вспоминаю даже не тех, с кем когда-то жался под артобстрелом в одном окопе, жил койка в койку в студенческом общежитии или колесил по экзотическим командировкам, а тех, с кем приходилось содержательно беседовать. Надо сказать, мне везло на собеседников — мечущийся страстотерпец-правдоискатель Валентин Овечкин, Александр Твардовский, всегда яркий, не всегда безобидный, способный и обнадежить откровением и уязвить до болезненных корчей. Но я не встречал собеседника умней Алексея Николаевича Леонтьева.

Нет, не ум привлёк меня поначалу к нему, хотя, едва познакомившись, мы начали «перекатывать» глобальные проблемы. Нужно было сперва привыкнуть к его скрупулёзной, всегда сложной манере изложения, не шарахаться от парадоксальности его суждений, научиться ставить себя на его точку зрения. Это пришло ко мне не сразу, а раньше я открыл в нём интеллигентность характера...

Кто как, а я лично хронически страдаю от нехватки интеллигентности, быть может, потому, что и сам ею обделён. Трудно определить, что понимаю под интеллигентностью, скорей всего, наличие в человеке той струны, которая чутко отзывается на твои колебания. Это в Алексее Николаевиче было. Старше меня на двадцать лет, он успел в отрочестве вдохнуть ту атмосферу, которую одухотворяли Лев Толстой, Чехов, Короленко, и это придавало интеллигентности Алексея Николаевича особый колорит.

Впрочем, однажды он тут обманул мои ожидания. В Сиене нас, группу русских туристов, повели в музей вин. Яркое солнце Италии снаружи, загадочный сумрак внутри стен средневековой крепости, ошеломляющее разнообразие выставленных бутылок настроили меня на благоговейный лад. Мне вспомнились слова Ланжевена, великого физика и тонкого знатока вин: «Вино не пьют, о вине говорят». И во вдохновенном порыве я решил купить предельно дорогую для

А. Н. Леонтьев

моих скудных туристических финансов бутылку вина, мысленно поклявшись себе, что разопью её дома с наиболее интеллигентным собеседником из моих знакомых.

Разумеется, им оказался Алексей Николаевич Леонтьев. Мы уселись друг против друга, сосредоточенно вчитались в пёструю этикетку на бутылке, осведомлённой, однако, не стали, торжественно раскупорили, расплеснули по стаканам, дружно внюхались, переглянулись... Вино пахло вином, ничем более.

Сдержав позыв разом опрокинуть, мы принялись церемонно смаковать. У музейного напитка был едко-кислый вкус. Конечно, в этой кислотине должны существовать знаменательные оттенки, но мне они, увы, недоступны, я лишь старался не кривить физиономию, ждал восторгов от чуткого Алексея Николаевича.

Но лицо его было непроницаемо, а уста запечатаны.

«Вино не пьют, о вине говорят». Однако музейный напиток не только не служил темой для разговора, он как-то пришиб нас. Осторожненько прикладывались, настороженно наблюдая друг за другом, стоически не морщились, подавленно молчали... Я хотел налить по второй, однако Алексей Николаевич виновато, должно быть, сам презирая себя, изрёк:

— Владимир Фёдорович, всё-таки я предпочитаю водку.

— Господи! Да я — тоже!

Через минуту на столе стояла обычная водка. Она-то быстро развязала нам языки, но вино так и не стало темой нашего разговора.

Алексей Николаевич нёс к дому блуждающую улыбку, я его торжественно провожал. Встретившая нас Маргарита Петровна взгляделась в мужа и сокрушённо объявила:

— Не тот стал Леонтьев! Не-ет! Раньше, в молодости, бывало, выпьет — выбирает дерево и... да, карабкается. Лихо и весело!

— Да неуж! — умилился я.

— Во хмелю, кто насколько может, становится ближе к предкам, — апостольски провозгласил Алексей Николаевич.

Однако случай сей редкий, не застолье объединяло нас, а просёлочные и лесные дорожки, «гулятивные беседы», как называл Алексей Николаевич.

Тропинка вдоль невыколосившегося поля, медовый запах клевера, благорастворение в запахах, а два весьма почтенного возраста чудака — кто бы послушал — всерьёз, углублённо

толкуют об... отрубленной голове. Да, о голове профессора Доуэля, отрубленной и оживлённой фантазией писателя Александра Беляева.

Собственно, к ней нас привели рассуждения на тему, которую средневековые схоласты сформулировали бы в виде вопроса — где гнездится душа? Ну, а мы лишь несколько его конкретизировали: можно ли считать центральную нервную систему (мозг) единственнымместищем сознания? То есть могла ли нормально функционировать голова профессора Доуэля на лабораторном блюде?

Я видел причину ненормальности только в том, что сознание будет чрезвычайно травмировано исключительной человеческой неполноценностью, своего рода сверхинвалидностью, отсюда — психическая угнетённость, апатия и пр. и пр., вплоть до нежелания существовать в виде обрубка.

— А если предположить, что голова Доуэля примирится с человеческой неполноценностью? — спросил Алексей Николаевич.

— Разве с этим можно примириться?

— Почему бы и нет. Откинем в сторону злодейскую интригу вокруг профессора Доуэля, он должен был умереть и знал это. Вместо полного небытия ему предоставляется хоть и сильно ограниченное, но всё-таки бытие — может воспринимать мир, даже как-то интеллектуально участвовать в нём. Кой-что лучше, чем ничего. Обладая достаточным умом и волей, не так уж и трудно убедить себя — не обездолен, а даже по-своему счастлив. Предположим такое.

— И что ж тогда?

— А то, что и после этого психика головы Доуэля должна патологически извратиться.

— Даже при условии, что голова станет осознавать себя счастливой?

— Даже при этом.

Я был озадачен:

— М-да-а. «Я мыслю. Следовательно, я существую». Доволен тем. И патология?..

На лице Алексея Николаевича знакомая мне игра — выразительность при бесстрастии, переменчивость при неподвижности, такое впечатление, что складки лица незаметно переменились местами и замерли в затаённом ехидстве. Обычно это случается в предвкушении победы.

— А скажите, Владимир Фёдорович, — говорит он, — может ли голова Доуэля желать то, чего мы с вами ежеминутно мимоходом желаем — куда-то сходить, что-то сделать и прочее там?

— Нет, конечно.

— А может ли она проявить волю, настойчивость, как мы их проявляем?

— Нет.

— А любить, как мы любим, негодовать, как мы?.. Или мечтать. Владимир Фёдорович?.. Будут ли сходны мечта головы с мечтами постоянно к чему-то стремящегося, чего-то добивающегося нормально неуёмного человека?

— М-да!

— Трудно сказать, какой стала бы психика отсечённой головы, но только не человеческой. А при извращённой психике и нормального сознания быть не может.

— Значит, если б даже удалось создать точную копию мозга, скажем, Эйнштейна, то это заведомо мог быть только свихнувшийся мозг?

Коль мы приняли в игру столь странный фантом — усечённого профессора Доуэля, то уж нет смысла обуздывать разгулявшееся воображение, стесняться фантастического. Алексей Николаевич охотно отзывался на мои эскапады, однако оставался самим собой — трезв, сдержан, академичен:

— Носитель разума не мозг, не отдельный орган, вырабатывающий духовную эманацию, а целиком человек с руками, ногами, деятельный, как никто на Земле.

— Ну, а разве в принципе невозможен эдакий сверхкомпьютер, интеллектуальный монстр без ног, без рук, глотающий информацию, генерирующий знания?

— Знания о чём? — быстро откликнулся Алексей Николаевич. — Об окружающем мире. И на основании информации, которые добыл кто-то. Тот, кто способен ощущать этот мир. Ощущать не ради самих ощущений, ради того, чтоб разобраться — что полезно, что вредно, а что безразлично. Информация-то монстру скармливается не какая-нибудь, а отобранная, целенаправленная, значит, и знания монстр выдаёт не какие-нибудь, а необходимые тем, кто наделён способностью ощущать, ими заданные. Выходит, настоящий-то источник разумной генерации вовсе не монстр, он лишь орудие, эдакая интеллектуальная кирка, дробящая гранит, скрывающий золотonosную жилу.

— То есть, чтоб получить генератор разума, следует сотворить человека, — проникательно заметил я.

Алексей Николаевич помедлил и решительно возразил:

— Нет, человечество!

— А вы недавно называли человека носителем разума, — напомнил я.

— Носителем, а не генератором. Дискретной частицей. Один электрон источником электричества быть не может.

— И всё-таки человечество состоит из таких, как вы, генерирующих.

— Да, — согласился он, — но не я заряжаю общество своей генерацией, а общество меня.

— Это ещё следует доказать.

— Будь иначе, я бы вкупе с другими генераторами диктовал характер общественной деятельности: так действуй, согласно нашей генерации. Но, увы, никто из усиленно генерирующих людей не может похвастаться, что именно они создали рабовладельческий, феодальный или капиталистический способ производства. Сие самопроизвольно возникло!

Некоторое время мы идём молча. Я перевариваю услышанное.

— Характер труда возникает самопроизвольно, — заговорил я. — Труд в некотором роде, как признано, создал человека. Не получается ли, что деятельность возникла раньше деятеля?

— А что раньше появилось — Солнце или солнечный свет? — спросил Алексей Николаевич.

— Разумеется, Солнце. Не сразу же оно разогрелось, чтоб светиться.

— Ну, а можно ли несветящийся сгусток материи называть Солнцем?

И я сдался:

— Всё! Спускаюсь на грешную землю... Здесь приличная кашка. Из-за наших «жомини да жомини» черепаха может оказаться без ужина.

Алексей Николаевич послушно присел — острые колени выше плеч, в позе самосозерцающего кузнечика. А над землёй, отягощённой зеленью, топился вечер, яростно пламенный и обморочно тихий одновременно. Наморщив лоб, с вдумчивой сосредоточенностью представитель генерирующего человечества выщипывал из травянистой обочины кашку.

Беседа. Одна из многих. Заранее оговариваюсь — мои отрывочные записи никак не стенографический отчёт. Да и нелепо было бы передавать неизбежный сумбур, случайные необязательные отступления, словесную шелуху, сопровождающие обычно любой разговор. Я лишь добросовестно пытаюсь выразить наиболее характерное из того, что осело в моей памяти, своё впечатление, прошедшее проверку временем.

Коллегам профессора Леонтьева, учёным-психологам, по существу наша беседа может показаться поверхностно наивной. Скорей всего, оно так и есть.

Не надо забывать, что это не было изложением взглядов как таковых, их последовательной аргументацией, а не более чем разговором на отдыхе двух людей, по-разному воспринимающих жизнь, радующихся тому, что находятся точки соприкосновения.

Покопавшись в памяти, поднатужившись, я, возможно, и смог бы припомнить нечто более содержательное из наших вольных прогулок с Алексеем Николаевичем. Однако случайный разговор, метавшийся от отрубленной головы профессора Доуэля к роли деятельности в сознании, для меня незримо связан с другим... уже последним нашим разговором.

* * *

Кто-то заметил, что время после победы коварно для победителя. У Алексея Николаевича выходит книга — результат поисков, собственно, всей его жизни. Но в предисловии он пишет: «...Не могу считать её законченной — слишком многое осталось в ней... только намеченным». Ему семьдесят два года, чтоб достигнуть намеченного, надо спешить, однако силы на исходе, нелегко начать новое восхождение, а помимо всего основная забота по факультету психологии по-прежнему лежит на его плечах. Отдых в санатории «Узкое» лишь как-то подправил Алексея Николаевича. Началась тревожная и тяжёлая зима. И она кончается больницей. Одно время состояние угрожающее, но кризис проходит, мне даже удаётся навестить его. Алексей Николаевич бодрится, шутит, но впоследствии мне признаётся: помнит нашу встречу смутно, как далёкий сон.

В последнее лето мы видимся крайне редко, урывками. Нам мешают не только болезни Алексея Николаевича, житейская суета, мои летние отъезды, но и затяжные дожди. Алексей Николаевич отсиживался в Москве, в наших сырых хвойных местах ему тяжело дышалось.

И в тот день поутру тоже прошёл дождь, ветра не было, низко висели тучи, лужи на асфальте блестели тревожно и неудобно. Алексей Николаевич чувствовал себя подавленно, сутулился, глядел в ноги, молчал, выдавливал из себя через силу: «Да, нет...»

Но мы давно не виделись, и я стал его спрашивать о замыслах. О своих же замыслах Алексей Николаевич спокойно говорить не мог, они, как дрожжи, всегда вызывали в нём брожение. Сейчас — тоже... Слово за слово, голова поднялась, спина распрямилась, голос окреп, в глазах появился блеск, и передо мной, как обычно, начало ветвиться древо познания.

Он заговорил о том, что у него давно уже вызывало сомнение великое противопоставление, на котором держится наше сознание — я сам и весь остальной, окружающий меня мир, субъект и объект, жёстко разделённые между собой, не подлежащие смешению. Объект воздействует на субъект, субъект проявляет себя — просто и ясно, знакомо со школьной скамьи.

— Так вот, — продолжал Алексей Николаевич, — заблуждение, что моё «Я» противостоит окружающему миру, бессмысленно рассматривать как то, так и другое по отдельности. Как сила гравитации без массы, как квант света без движения, так и субъект в отрыве от объекта — абсурд!..

Он говорил, а искры падали на сухой порох. Мне не давал покою, так сказать, один пунктик, мешающий соглашаться с общепринятым взглядом на происхождение человека. Да, «вся история есть не что иное, как образование человека человеческим трудом», однако создание первых орудий мне вовсе не кажется знаменем антропогенеза. Атропологи вкуче с археологами даже австралопитека подозревают в использовании орудий, а уж чуть-чуть более развитый презинджантроп назван «умелым», хотя мозг его всё ещё остаётся скорей обезьяньим. И грубо сколотая галька и неуклюжее зубило могли в лучшем случае стать только признаком человекоподобия, но ещё не человека. На каком этапе мастерovitости — нанесения ретуши, миниатюризации, шлифовки камня — возник тот уровень сознания, который без оговорок можно назвать человеческим? Мне кажется, по орудиям его установить невозможно, но существует признак, который указывает на воистину революционный переворот в мировосприятии. Этот признак — могила, захоронение!

Для того чтобы наш далёкий предок не бросил умершего родича, а совершил над его телом примитивный обряд (хотя бы только привалил землю), он должен был прежде выделить самого себя из окружения. Если он прежде мир воспринимал просто как источник пищи и опасностей, то теперь уже объединяет всё находящееся вне себя. То есть он противопоставляет себя миру, осознаёт своё «Я». А это может означать, что наш предок перестал быть особью, превратился в личность.

Осознав себя, нельзя не осознавать и своих родичей, не признавать их столь же обособленными и значительными в мире сём, как и ты сам. Это осознание наиболее остро должно проявляться со смертью родича, переноситься на его останки. Появление захоронений — результат самосознания. Появление захоронений — признак возникновения нового, никому из животных не свойственного мировосприятия, где всё сущее резко делится на «Я» и на то, что меня окружает, на субъект и объект. Такое мировосприятие стало основой жизнедеятельности человека — реализация субъективных нужд за счёт объективно существующего окружения. А сейчас я вот слышу: моё «Я» не противостоит окружению, субъект в отрыве от объекта — абсурд.

Алексей Николаевич обводит длинной рукой аллею начинающих желтеть лип, дорожку с лужами, едко голубую дачу за забором:

— Меня и вас сейчас окружает одно и то же — объект, так сказать, подмосковно-дачного образца. Представим, что каким-то образом удаётся зафиксировать и моё и ваше восприятие этого объекта. Как вы думаете — отличались бы они?

Ну, тут у меня сомнения нет.

— Да,— отвечаю я.— Когда я учился на художественном факультете, мы обычно все скопом писали какой-нибудь один кувшин с яблоками и драпировками. Двадцать с лишком человек! А не случалось, чтобы мы изобразили похожими хотя бы два кувшина.

— Ага! — подхватил Алексей Николаевич. — Мир, существующий вне, объективен, но только не для нас. Мы его воспринимаем — вы так, я эдак, каждый по-своему. Независимый от нас объект для нас с вами — фикция. Мир вне нас для нас субъективен. А вот мы сами, субъекты, так ли уж мы субъективны?..

Возьмём для примера некоего конкретного субъекта, того же Алексея Николаевича Леонтьева с его потребностями и влечениями. В данный момент этот субъект устал, потребности и влечения его сходятся на одном: надо отдохнуть, спрятаться от дел, пошататься вот так хотя бы недельку. Но... завтра еду. На совещание, где я услышу не только пустопорожние речи, но и колкости и выпады по своему адресу, на совещание, которое выбьет меня из колеи, по крайней мере, на неделю. Еду вопреки своим потребностям и влечениям! Объективные обстоятельства заставляют. Я — субъект? Да нет, — я выразитель объективного! И это всегда и всюду. В первых веках нашей эры миллионы христиан искренне желали бы любить ближнего своего, но мир, в котором они находились, был расколот на господ и рабов, одни погоняли других палкой. Люби тут...

— Как говорится, Ермол и не виноват, да нельзя миновать, — вставил я.

— Вот именно. Сущность нашего «Я» не внутри, а вне нас...

Алексей Николаевич, похоже, сдал от вспышки, взирал на уходящий под осень липово-асфальтный мир, говорил уже без напора:

— Получается — объект субъективен, субъект объективен, можно ли просто делить мир на эти противостоящие категории?..

Я долго молчал. Если считать, что сознание своего «Я», противопоставление его миру, завершило формирование примата в человеке, то что же нужно ожидать от нового поворота в нашем сознании?

— Принципиально иной взгляд на себя? — спросил я.

— Да, — ответил Алексей Николаевич.

— И принципиально иной на мир?..

— Да.

— Но тогда и жизнь наша должна стать принципиально иной!

— Почему — должна стать? Не от взглядов — жизнь, а от жизни — взгляды.

Уже стала, только мы этого ещё не разглядели.

* * *

Утром Алексей Николаевич уехал в Москву, и там началась последняя вспышка его активности. Мне сообщали — строит планы экспериментальных исследований, выступает с докладами, засиживается дома за письменным столом...

А я мысленно возвращался к нашей беседе. Мы редко говорили о нравственности, самой наболевшей теме в общезнании и самой тёмной для науки. Но чего бы мы ни касались, эта тема постоянно ощущалась в умолчаниях и недомолвках.

Последний разговор не исключение...

«Сущность нашего «Я» не внутри, а вне нас»... В том, что каждого из нас окружает. А самая влиятельная часть окружения любого из нас — не разнохарактерные ландшафты с их флорой и фауной, а другие люди. С ними, себе подобными, каждому из нас приходится сталкиваться, от них зависеть.

Но эти другие нам люди никогда не окружают нас хаотичной массой, они всегда упорядочены, выстроены в систему, действующую соответственно своему устройству. Становится очевидной тщетность многовековых усилий со стороны религии, пытавшейся внушить человеку: поступай только так, а не иначе — не убий, не лжесвидетельствуй, не пожелай жены ближнего своего, — поступай нравственно, не считаясь с внешними обстоятельствами. Наше «Я» не принадлежит только нам самим, «ни один человек не является островом, отделённым от других. Каждый — как бы часть континента, часть материка...».

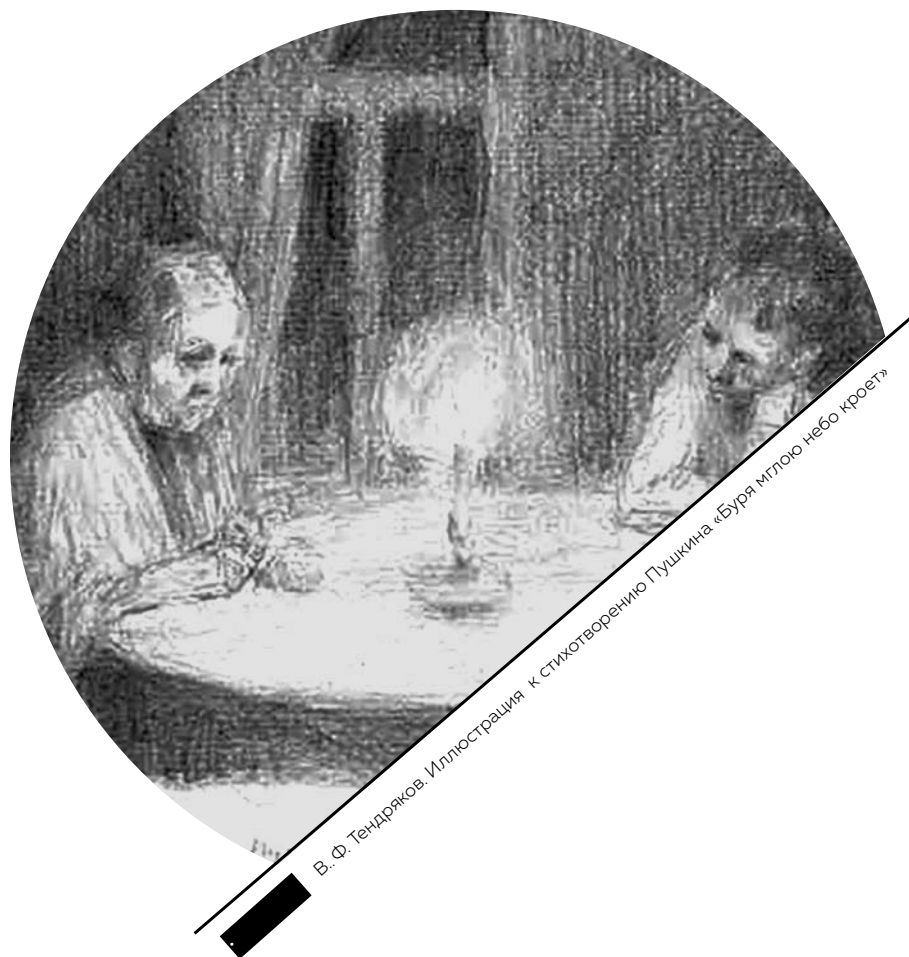
Действующие человеческие системы, которые определяют наше поведение, формируют нас самих, не создаются искусственно, а возникают стихийно в ходе развития. Но ведь человек с того и начал, что стал вмешиваться в стихию...

Я занимался своими делами, но помнил об Алексее Николаевиче, ждал нового лета, а с ним новых встреч, прогулок, разговоров, нисколько не сомневался, — встречи будут, и как всегда заполненные необузданными беседами. Не сомневался в этом я даже тогда, когда услышал, что Алексей Николаевич снова слёг...

И телефонный звонок Маргариты Петровны...

Осознаём невозможное, когда потеря уже происходит.

1983 г.



В. Ф. Тендряков. Иллюстрация к стихотворению Пушкина «Буря мглою небо кроет»

ШКОЛА И САМОПОЗНАНИЕ

Активное отношение к жизни — это совмещение неотложных задач с прогнозом на будущее. Сейчас мы решаем, как уже сегодня, сейчас избавить школу от тех недостатков, которые назрели вчера. Однако наши решения могут оказаться не столь уж точными, если не будем иметь ясного представления о дальнейшем развитии. Попробуем заглянуть вперёд.

Уже теперь рассуждения о школьном обучении напоминают цепную реакцию. Научно-техническая революция в мире, сопровождающаяся информационным взрывом, ставит школу перед необходимостью увеличивать объём преподавания. В результате растущая перегрузка школьника. Он не в состоянии заниматься тем, что нравится, к чему лежит душа, должен подавлять свои личные интересы, ему трудно найти своё призвание в жизни. А человек, не нашедший призвания, хватается за абы какую профессию, лишь бы обеспечить себе существование, трудится неувлечённо, тянет изо дня в день безрадостную лямку. Такой человек плохой подарок обществу... Отсюда претензии к учителям: пренебрегаете индивидуальным подходом, не выявляете, кто из учеников и на что способен. Но легко сказать, выявить сокровенное в ещё не оформившемся человеке! Многие ли из любящих родителей открыли сокровенное в своём ребёнке? Вправе ли мы требовать от педагога, имеющего дело с десятками детей, такой сверхпроницательности?

Стоит лишь коснуться образования, как одна проблема порождает другую, открывается цепная неуправляемая реакция. А можно ли подчинить её управлению? Попробуем разобраться.

Итак, школа вынуждена перегружать ученика знаниями. Но крамольный вопрос: так ли уж необходимо всё, что сейчас преподаётся? Есть знания, без которых не может обойтись ни один человек. Знания абсолютные для всех. Но есть знания, которые вовсе не обязательно осваивать в полной мере всем без исключения. В своё время я добросовестно осваивал и бином Ньютона и тригонометрические функ-

Статья была опубликована в «Учительской газете», 1984 г., 1 марта.

ции, однако давным-давно их забыл — увы, так и не пригодились в моей жизни. Любому инженеру это покажется невероятным, так как школьные знания по математике легли в основу его жизнедеятельности. Ну, а вспомнит ли сейчас инженер даты жизни, скажем, Гоголя или Некрасова? Школа обязывала их знать безукоснительно, как меня, так и инженера. «Э-э, возразят мне, через биномы, функции и прочие математические частности вы получили общее представление о математике. Пусть частности забылись, зато математика в общем виде вошла в ваш культурный актив». В том-то и беда, школа не открыла мне общий облик этой универсальной науки, ни её роли в познании и практике, ни её эстетики, о которой так много сейчас говорят. Меня заставили заниматься куском стены, сложенной из отдельных кирпичей, тем самым лишили возможности видеть величие и красоту всего здания.

Мы часто говорим о всестороннем развитии личности, одинаково сведущей во всех отношениях, но забываем, что быть сведущим во всём практически невозможно, особенно в наше информационно перенасыщенное время. Пользу обществу приносит больше тот, чьё развитие гипертрофировано в какую-то одну сторону — физики или агротехники, практической механики или теоретической химии. Обо всём остальном человеку достаточно иметь лишь общие понятия, которые входят в культурный фонд личности. Современное же обучение стремится заставить любого и каждого усваивать всё, не считаясь с личными интересами и способностями. Как такая нивелировка сказывается в дальнейшем — тема для специального исследования. Одно без сомнения — неутешительно.

Дать общее представление о том или ином разделе науки — задача, наверное, ещё более трудная, чем добиться усвоения какого-то набора знаний. Вспомним, как трудно популяризируются научные теории. Система Коперника получила массовое признание лишь два века спустя после открытия. Теория относительности Эйнштейна вот уже восьмой десяток лет пробивается в широкие слои народа. А для детей столь же трудны для восприятия неведомые им евклидова геометрия или классическая механика. Рассчитывать, что каждый учитель сможет достаточно убедительно дать общее представление о своём предмете — утопия, если даже и вооружить его добротными методическими пособиями.

Мне думается, эту задачу способен выполнить апробированный кинофильм. Никакой самый талантливый фильм не заменит живого преподавателя, когда надо обучать знаниям с расчётом на непосредственное усвоение, на запоминание. И никакой преподаватель не обладает такими возможностями, какие доступны киноленте, когда следует дать общее впечатляющее представление. Однако сразу оговорюсь — такого рода жанра пока не существует в мире, нынешние короткометражки в лучшем случае лишь его жалкие эмбрионы. Здесь науке и искусству ещё предстоит совершить совместный поиск новых форм, и этот поиск не может быть лёгким и быстрым, ибо завершиться он должен не иначе, как победой общенациональной культуры.

Ученик смотрит фильм о какой-то определённой области знаний, назвать это обучением в привычном понимании нельзя. Ученик не столько получает сами знания, сколько сведения о них — такие-то существуют в активе человечества. И весь актив, хотя бы в этом размере, в каком он преподносится нынешним преподаванием, подаётся в наглядном виде. Ученику как бы предлагается широкий выбор: что тебе наиболее интересно, к чему тянет, в какую область знаний хотел бы углубиться? Не будем обольщаться, что ученик не колеблясь сделает свой выбор, с ходу найдёт призвание, наверняка сомнения и растерянность станут раздражать его. Самопознание — процесс мучительный.

Вот тут-то и вступают в свою роль педагоги. Стандартные фильмы частично освободили их от крайне нелёгкого труда — преподавания классно-урочным способом. У педагога появляется время, чтобы встречаться с каждым учеником в отдельности. Не для того, чтобы проверить степень усвоенных знаний, и не для того, чтобы поговорить вообще, авось да выяснятся индивидуальные особенности Пети Иванова или Ани Петровой. Существует не расплывчатый, а конкретный повод для встречи — комплекс сведений, полученных учеником: какое впечатление на него эти сведения произвели, что запомнилось, что нет, вызвало интерес, оставило равнодушным. Вести разговор о впечатлениях, значит обращать внимание на то, что впечатляет, уловить интерес к чему-то, значит выделить его, усилить его значение. Не только педагог что-то узнает об ученике, для самого ученика становятся яснее его личные наклонности. А это уже некий вклад в самопознание.

Такие встречи с учеником проводит не какой-то один заведомо назначенный педагог, а педагоги, специализирующиеся по разным знаниям. Математик исследует возможности в математике, физик — в физике, биолог — в биологии и т. д. Каждый вносит свой вклад в самопознание ученика. Индивидуальный подход к нему совершается не педагогом, а коллективом педагогов.

Результаты такого массированного индивидуального подхода подсказывают и характер дальнейшего обучения. Да, уже не общего знакомства со знаниями, а углублённого обучения им. Если прежде обучали всех всему, так как невозможно было знать, кто к чему устремлён, кому какие знания пригодятся в будущем, то теперь интересы и способности как-то проявились. Пусть пока как-то, прикидочно. Последующая учёба и жизнь наверняка будут вносить свои коррективы. Но интересы и способности уже нельзя игнорировать.

Увлечённому, скажем, историей ученику незачем более подробно изучать физику, общие сведения об этой науке он получил, если возникнут желания, может при досуге пополнять их. Они наряду с другими сведениями становятся культурным багажом, но не специально-стью, не тем, что определяет будущую жизнь.

Само собой напрашивается, что школа должна создавать специализированные группы. В них педагоги уже не станут вдавливать свои знания ученикам, которым они безразличны, а только заинтересованным. По всей вероятности, спецгруппы не обязательно должны

охватывать целиком какую-то школьную дисциплину, например, физику или химию. Одним ученикам окажется интересна чисто теоретическая сторона той же физики, другим её прикладная часть к технике. И вообще нельзя намертво заключать ученика в рамки одной группы, параллельно он может обучаться и в других. Как, к примеру, будущему физику обойтись без математики? Кроме того, ученику свойственно ошибаться в выборе, а потому каждый вправе после совета с педагогом перейти из одной группы в другую. Поиск самого себя должен продолжаться на протяжении всего школьного обучения.

Кто-то может избрать для себя столь специфическое направление, что оно не совместится ни с одной из существующих в школе спецгрупп. Тогда есть смысл предоставить ему возможность заниматься под наблюдением педагога самостоятельно. Не исключено, педагогу для удовлетворения повышенного интереса группы или даже отдельного ученика придётся прибегать к помощи специалиста со стороны, как лечащий врач прибегает к помощи более сведущего коллеги. Впрочем, сейчас рано вдаваться в подробности, умоглядные предположения могут быть проверены только практикой. Но одно несомненно: предназначение школы — помогать ученику найти своё призвание.

Наивно также думать — КПД такой школы станет стопроцентным. Нет никакой гарантии, что все ученики найдут своё призвание, наверняка, окажутся и такие, что не сумеют определить своих интересов, выйдут в жизнь, не ведая, куда себя приспособить. Сейчас это, увы, массовое явление, завтра, будем надеяться, станет досадным исключением.

И ещё одно. Учителю придётся обучать уже не всех подряд учеников, а только тех, кто проявляет активный интерес к его предмету.

Потребность в совершенствовании системы образования не случайна — она продиктована этапом научно-технического прогресса XX века. Предлагаю свои соображения, которые высказывал раньше. Это не проект и не разработанная теория, а просто мысли по поводу назревших проблем.

1984 г.





«МЫ ЗА МИР». ШУТОЧНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ РАССКАЗ



Это пугало на огороде. Вы скажете - и так понятно.
А что рядом с ним?
Пограничный столб! Ну, скажем, не столб, а кол, но все-таки пограничный.
В нашем селе две улицы - Береговая и Боровская. Между ними - огороды, пограничная полоса.
Наша - Береговая. И мы на своем околке нарисовали:



- 2 -

Их улица - Боровская. Они решили нас передогнуть:



Но наша-то звезда копеек. Всем известно, что одна большая звезда на погонах главнее двух маленьких. Мы не стали рисовать три звезды!

МЫ ГЛАВНЕЕ !!!!!

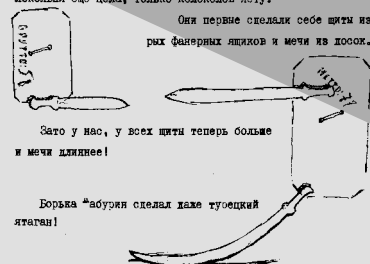
На их улице школа и магазин-кооператив...

А у нас совсем рядом река. Что важнее?

В конце их улицы стоит поманная вышка...

А у нас на самой середине улицы - старая цапля, и колоколы еще пели, только колоколов нету.

Они перестали считать себе щиты из старых фанерных ящиков и мечи из досок.



Зато у нас, у всех щиты теперь больше и мечи длиннее!

Боряка "абсурд" сделал даже туеский ятаган!

- 3 -

Только он у него сломались.



Боряка носит его вместо кинжала за поясом.

Зато мы первые додумались сбросить на парашюте кошку с калачи!



Тогда боровские ребята обросили трех кошек с поманной вышки.

И хотели еще сбросить на целой простыне...

- 5 -

Играть без войны? А воевать можно только с нами, других противников поблизости нет.

- Играть в шахматы! Совсем непонятно. Послали троих разведчиков...



На Боровской улице жил Мишка "куки" - маминский сыночек. Камни он бросал, как дед-чечка - из-за спины. Точнее у него пистолетный. Боевиком не ходил. А когда на огородах началась война, хуже не было солдата в обеих армиях. И чуть тронь его, сразу течет кровь из носа. Последний человек, только и умел, что решать задачи - у него все в школе списывали домашние задания по математике.

У Мишки Кукина, оказывается, был недавний день рождения. Подумав, у всех бивает. Отец ему подарил шахматы, самые настоящие - доска зажимается коромыслом, черные и белые фигуры бластят, новенькие, ни одна пешка не потеряна.

Мишка вынес их на улицу, стал всех учить играть. А когда научил, стал всех обгрызать. Всех, кроме Никиты Губина - он на Боровской главкомандующий, попробуй только его обгрызать!



- 4 -

**КАСЬЯНА,
НО
ОН
СБЕЖАЛ К НАМ!**

А Касьян почти посохистый. Все говорят, что он помох с диссидей.



И вдруг боровские ребята перестали нарушать границу! Во-первых, стало сразу скучно. Во-вторых, надо было узнать - почему? Почему они часами сидят кучей на одном месте, не обращая на нас никакого внимания?

Почему они не махают саблями?

Почему не обгрызают кошек на парашютах?

Мы отправляли через огорода своего разведчика.

Он положил:

- Играть...

- 6 -

На Боровской улице забыли о нас.
У них есть шахматы, у нас нет. Тенью-то они станут заниматься.

Мы соборались на военный совет. Все, как один, стояли за то, чтоб напасть на боровских. Все, как один, думая не было. Но мы так шумели и кричали, что бабка Семеновна - у нас вечно болит голова - высканивала два раза с венчиком и разговяла военный совет.

Нападение назначили на утро. А утром...



А утром и у нас не было шахматы.

Они лежали дома у Борьки Маслукина, и никто не обращал на них внимания. А шахматы такие же, как у Мики, только доска попаравана, нет одного белого коня да двух пешек.

Вместо белого коня поставили черную железную гайку, вместо пешек - камушки, соборались вместе и стали играть.

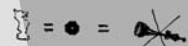
Это вовсе не трудно, надо помнить, что...

пешки есть пешки,
от них толку мало.
Не ходишься,
пока хоть одна не
рейдет через всю доску. А уж если пройдет
до конца - главная фигура, ферзь!
А король - одно название, тихохон, все-
го боится, за всех прячется.



- 7 -

В первую же игру Борька съел у меня ферзя гайкой, настоящего ферзя, единственного, не того, что выкопал из пещки!



Борька стал у нас чемпионом. А по-моему плохо играет - долго думает. Пока он думает, у меня чешутся не только кулаки, но и все тело.

Борька стал у нас чемпионом, а мы не заметили как прошел день. Войны не получилось.



А на другой день...

- Эй вы!

К нам пришел Пашка Гусин - их главнокомандующий. Руки в карманах, между штанами и майкой, как в оконце, выглядывает пуп на белый свет. За спиной у главнокомандующего прятается Машка Кукина, приготовившая дать стрекача.

- Тебе чего? - мы переглянулись - не брать ли их на военный случай в плен?

- Хотите узнать, у кого мозгов в банке больше?

- Не у тебя же.

- 8 -

Главнокомандующий Пашка сплелся.

- Так вот... - Он сплелся в мою сторону, значит обратился ко мне, как к равному по чину: - Вызываю тебя на поединок... На шахматах! Обиграешь - ваша победа, вы умнее. Не обиграешь, так и запишем - вы все дураки!

Я молчал: на шахматах?.. Куда ни шло на кулаках... А Пашка опять сплелся:

- Что струсил?

И я объявил военный совет. На этот раз совет проходил испотом, голова к голове.

- Пусть пойдет играть Борька. Он - чемпион.

- На Борьку Пашка выпустил Машку Кукина.

- Борька этого пересидит.

- Нет, - оторченно сказал я, -

Пашка вызвал меня, отказываться стыдно.

- Тогда соглашайся.

Совет кончился. Я ехал к Пашке, сплелся ему под ноги, сказал небрежно:

- Принимаю.

- Вот Машка у меня секундантом, а у тебя кто? - Пашка указал на Кукина за своей спиной.

И только тут я понял хитрость

Пашки: Машка - секундант, он будет



- 9 -

показывать. Ну, тогда я пропал - позор на обе улицы!

- Никаких секундантов! Играем вборм, чтоб никто вору не совал!

На этот раз зачесался Пашка. А я осмелел:

- Что струсил?

Я все-таки начался, что Пашка отступил. Но Пашка помился и сказал:

- Идет.



День тренировок. Уж лучше бы его не было.

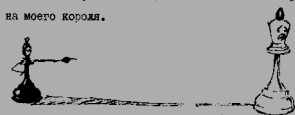
Мой тренером стал Борька Маслукин. Должен учить, а он сидит над доской и думает, думает, думает, конца нет. У меня кожа чешется от нетерпения и все время хочется ударить тренера по макушке. Сидит и думает, а потом выигрывает.

Я прямо извелся...



- II -

Вдруг Пашка сказал:
- Шах королю!
- Шах?..
И в самом деле, сквозь неудобные пешки пашки офицер наделился на моего короля.



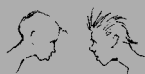
Но тут я увидел коня... Конь стоял в стороне, забытый Пашкой, его так и подмывало съесть. И я его конечно съел!
За это Пашка съел моего офицера, который бегал по черным полям.
Тогда я налетел ладьей на ладью. Я съел пашкину, Пашка мол.
За моей опийной улицы! Нама улицы! Идет бой не на жизнь, а на смерть.
Пашка вдруг снова вспомнил:
- Тебе же - шах!
- Ах, шах...



Но тут же я подумал, почему бы не съесть у Пашки ферзя? Это он обедал мои пешки! Я выкинул своего ферзя. Пашка, почуввав недальное, отодвинулся... Ага! Неужели!
За моей опийной улицы! Нама улицы!
И опять Пашка вспомнил не ко времени:
- Тебе же шах!

- 10 -

Посреди огорогов, на нейтральной полосе стоял старый сарай бабки Семметек.
Обе армии расположились у сарая, под стеной, друг против друга - вооружены. Если у нас с Пашкой случится что - война!
Мы закрыли полатные двери, поглядели друг на друга. Никогда не думал, что нос Пашки может быть таким серьезным, на нем даже капели пота. У меня почему-то потели ладони. Мы поглядели друг на друга и вздохнули, стали загадывать - кому белые, кому черные? Мне повезло - белые!
Сели на землю перед доской.



- Начиная, - сказал Пашка.
Я прыгнул вперед пешкой. Пешка Пашки прыгнула навстречу. Бой начался.



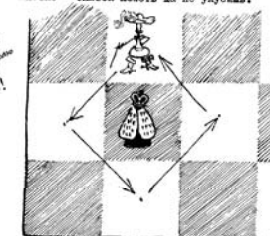
За моей опийной улицы. Нама улицы! Если я проиграл - позор! Свои станут презирать.
Через минуту я съел пашкину пешку, он - мол. Не теряя времени, я сразу же наделился на другую, изловчился - съел. Пашка - мол... Я ел у Пашки пешки с одного конца, он у меня с другого.
За моей опийной - улицы! Нама улицы! Хватай пашкины пешки! Но и Пашка не отставал...

- 13 -

Мой офицер оказался бойким. Он летал из одного конца доски в другой, пашкин конь прыгал вокруг, пашкин король ползал, но где там... Не схватить грозного офицера!



Я все падала, как бы изловчился и съесть ко-о-оля. Это не верхний конь - тихоня. Съел короля, а там, бить может, уловил коня. И тогда...
За моей опийной улицы! Нама улицы!
Тогда - победа! Тогда - слава!
Но Пашка раскусил - поставил своего короля на черную клетку и мой офицер метался вокруг, никак не мог доткнуться. Сидит, как в клетке - близок допотопь да не укусишь.



Примечание:
Мой офицер так
близко к своему
на подвиги.
Здесь естиска!

- 12 -

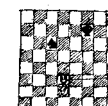
- Ах, шах...



Что он привязался?... Я ударил ферзем по ферзя! Но я Пашка съел моего ферзя конем. Ах, но что подделась.
- Тебе же - шах! - рассердился он. - Предупреждала честно, сам оштраф.
И он съел моего короля.



Не так обидно, что он съел моего короля, как то, что я в ответ не смог съесть его офицера. Чечем.
Но я все-таки этого офицера полковни конем. Правка и Пашка съел моего коня...
На доске стало очень просторно.



Осталось всего три фигуры. У Пашки король и конь, а у меня офицер. Оли офицер против двух!
Но я не сдавался.

- 15 -

Пашка сначала подмигнул, потом покраснел, потом сказал шепотом:

- Это нечестно. Отдай обратно.

За моей спиной улица!

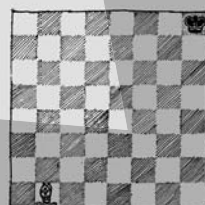
- Может, тебе отдать и офицера в придачу? - спросил я. Я держал в кулаке коня, а Пашка молчал и соел. Я думал, что вот-вот начнется война. Две армии ждут за стеной.

Наконец Пашка еще раз сердито посмотрел на мой кулак и сказал решительно:

- «Ладно. Давай играть дальше. Все равно ничья».

- Ну, это мы еще посмотрим.

Посмотрим на доску...



Кто кого?..

Мы ходили по очереди. Пашкин король ходил только по черным клеткам, мой офицер - только по белым.

- Давай ничья, - предложил Пашка.

Так ходить можно было всю жизнь, до самой смерти.

Я вздохнул...

- 14 -

Вся игра до сих пор шла довольно быстро, а вот конец затянулся. Мой офицер метался по доске, пашкин конь прыгал вокруг, его король стоял, как старый пень на полянке.

Мы оба устали.

Пашка сказал:

- Я выиграл. У меня сил больше.

- Раз больше, выиграл, - возразил я. - Съешь офицера.

И мы опять долго ходили.

- Ладно, ничья, - сказал Пашка.

За моей спиной улица! Наша улица! За стеной ждут ребята. Я подумал и ответил:

- Нет!

И снова начали ходить. Офицер метал по доске. А вдруг выиграл...

И чуть не выиграл. Пашка прыгнул конем, и конь попал на ладан, где стоял мой офицер. Офицер ринулся...



И я захватил черного коня в кулак...



- 16 -

Я все сделал для победы, всем пожертвовал, больше жертвовать было нечего.

Я вздохнул и согласился.

Возле бара на солнышке застели две смежные вооруженные армии. Мы вышли к ним рука об руку. Мы оба честно стовались.

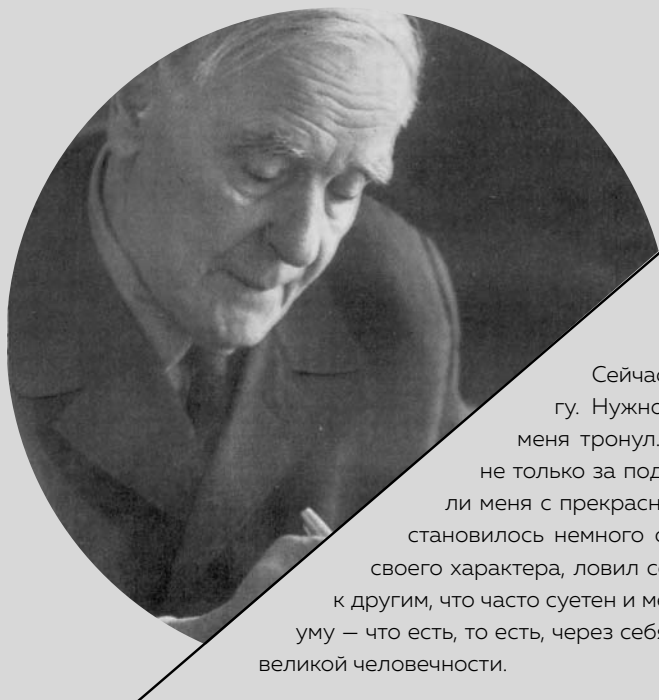
- Ничья! - сообщили мы.

Значит никто никого - мир.

Что ж...



1964 г.



Письмо
В.Ф. Тендрякова
академику П.Л. Капице

Дорогой Пётр Леонидович!

Сейчас закрыл Вашу маленькую книгу. Нужно ли говорить, что сам подарок меня тронул. Но поблагодарить мне хочется не только за подарок, но и за то, что познакомили меня с прекрасными людьми. Читал о них, и мне становилось немного стыдно за себя — видел изъяны своего характера, ловил себя, что ещё недостаточно чуток к другим, что часто суетен и мелочен. Зависть не к их великому уму — что есть, то есть, через себя не перескочишь, — зависть к их великой человечности.

Спасибо!

С признательностью
Ваш В. Тендряков

Москва, 6 февраля 1965 г.



Письмо — отклик на присланную книгу «Жизнь для науки» (М., 1965), включающую очерки П. Л. Капицы о Ломоносове, Франклине, Резерфорде и Ланжевене.

ПРИСТРАСТНЫЙ ВЗГЛЯД ВЛАДИМИР АСМОЛОВ

Из выступления на Вечере памяти В.Ф. Тендрякова

Тендряков был блестящий рассказчик, но для меня он — великолепный слушатель.

Я — физик. Сейчас я один из директоров Курчатовского института. Когда я был молодым физиком-экспериментатором, то часто встречаясь с Володи, я ощущал, что лучшего слушателя невозможно себе представить; слушателя, который так слушает, когда ему рассказывают про кризис теплообмена или про что-то ещё в таком духе.

Всегда на столе у Володи лежал журнал «Природа». Почему у него было так много друзей-физиков? Он был естествоиспытатель, я не боюсь этого слова, и я могу это утверждать.

Опять-таки, его рассказы. Это поданный нам экспериментальный материал. Каждый из нас имеет теперь эту базу данных, может сделать по ней свои собственные выводы. Володя считал своим долгом выдать нам экспериментальные данные. Это и рассказ «На блаженном острове коммунизма», о том дне, которой он провёл с Хрущёвым, это и «Охота», и «Параня», и «Пара гнедых»...

...Для меня Тендряков — человек, который сделал из меня человека. Он научил меня кроме физических уравнений уравнениям этическим. Они мне пригодились в 1986-м году, в Чернобыле, который я прошёл; весь год я там был. Они мне пригодились тогда, когда мы написали материал в МАГАТЭ, впервые открыв миру, что случилось.

В этот период — с апреля по июнь, — ко мне пришёл Даниил Гранин и сказал: «Расскажи!» Это был большой секрет. Рассказывать это было нельзя. Но я считал своим долгом ему это рассказать.

Я вспоминаю, когда вместе с ещё одним интересным, хорошим человеком, Валерием Алексеевичем Лега-

Владимир Григорьевич Асмолов — теплофизик, д-р техн. наук, в 1994–2003 годах — директор Курчатовского института по научному развитию.

Выступление В.Г. Асмолова на Вечере памяти В.Ф. Тендрякова 25 декабря 2002 г. записано и расшифровано Евгенией Семёновной Абелюк

совым, мы сидели в августе, написав в качестве доклада ту правду, над которой должен быть гриф «2С» — не меньше. Это тогда были правила такие. Мы написали доклад как открытую публикацию и разослали в двенадцать адресов — правду о Чернобыле. Первый приказ последовал из оборонного отдела ЦК. Он звучал призывительно так: поручить написание доклада на сессию МАГАТЭ представителям МИДа и КГБ; составителей данного доклада привлечь к суровой партийной и государственной ответственности.

За всё за это я благодарен человеку, которого зовут Володя Тендряков.

Навряд ли найдется такой прекраснейший идеалист, который бы считал, что противоречия, существующие в мире, просты и преодолеть их не представляет больших затруднений. Но столь же очевидно для всех и другое — эти противоречия не будут преодолены, если не станет происходить сближения национальных культур, их взаимопонимания <...>

Чем активнее культурное влияние нации, тем большее значение в мире. Собственно, именно в этом и проявляется самоутверждение народа.

Мы, русские, вправе гордиться тем, что наша классическая литература XIX века проникла во все уголки земного шара. Пожалуй, можно без обиняков говорить о всемирной русской «литературной оккупации», которая не только не ущемляла чьи-либо интересы, а, напротив, щедро одаривала, с благодарностью воспринималась.

Но могла ли Россия культурно влиять на мир, не получив прежде самого мощного культурного заряда со стороны Запада? Без вольнолюбивых французских веников, без немецкой философии, без Шекспира, Руссо, Вольтера, Байрона, Гете русская литература не достигла бы своего величия.

В мире материальных благ дающий оскудевает. В мире же духовных благ дающий обогащает и других, и себя.

Национальная культура становится по-настоящему значительной тогда только, когда перестает укладываться в национальные рамки, воспринимается иными нациями. А этот естественный процесс неизбежно объединяет народы.

Но все принимает совершенно другой оборот, если национальное подменяется националистическим. Эти два, казалось бы, сходных понятия, прямо противоположны по существу.

Думается, только озлобленный или с извращенной психикой человек способен не любить то, что породило и вырастило его — свою страну, свой народ. Предпочитать родное чужому — нормальное явление, которое не может быть поводом ни для похвалы, ни для осуждения.

Деятель культуры более чем когда-либо должен любить свое национальное. Любить — да! Но любовь-то проявляется по-разному. Сколько матерей искалечили своих детей, когда всепоглощающе и самоотреченно любили в них все без разбору, даже очевидные пороки. И качественно иной будет любовь той матери, которая во имя своей самоотреченной любви способна ненавидеть пороки сына. В одном случае чувство простое, неосмысленное и неуправляемое, в другом — осмысленное, сложное до противоречивости. Одно несет в себе разрушительные последствия, другое — созидательные по своей сути.

Сильно, но бесхитростно прямолинейно любящий национальные особенности своего народа деятель культуры может впасть в опасный грех всеобщей, но неразумной любви. Все, что прису-

Владимир ТЕНДРЯКОВ

КУЛЬТУРА И ДОВЕРИЕ



ще народу, все, что ни возникает внутри нации, свято, достойно только восхищения. И тот, кто смеет относиться к ней с трезвой критичностью, в глазах любящего деятеля — по меньшей мере неблагодарный сын своего народа, если не прямой враг.

Люди моего поколения хорошо помнят то время, когда восторженная любовь ко всему русскому доходила до курьезности. В одном из изданий пушкинской «Сказки о царе Салтане» вместо слов «за корем жити» не художники стояли точки, даже в этой весьма безобидной фразе усматривали нечто умаляющее наше национальное достоинство... И с апломбом прославлялись высокие качества русского мужика, и считалось едва ли не преступным говорить о незавидном положении, в каком находился этот русский мужик в те годы.

Нужно ли доказывать, какой вред нации приносит проявление такой любви. Она порождает враждебность к какому бы то ни было осмыслению жизни. Национальное развитие, его противоречия, осложнения, населевшие проблемы — под запретом. Слепое преклонение лишает нацию самого важного — разумного подхода.

Но это еще только одна сторона дела. Безобидное на первый взгляд утверждение влюбленного в родину писателя: русская рыба самая сладкая, русские обычаи самые колоритные — уже содержит скрытое превосходство над другими. Подобные безобидные утверждения, накопившись, имеют тенденцию перерасти в новое, уже совсем небезобидное качество. Многократные повторения о несравнимом вкусе рябины, красоте берез, неповторимости обычаев и пр., и пр. в конце концов превращаются в декларацию исключительности своей нации. И непризнание этой исключительности, равнодушие к ней начинает восприниматься как оскорбительный акт, на который, в свою очередь, следует отвечать оскорбительным выпадом. И неизбеж-

ное следствие при этом — вражда. Декларативное утверждение национальных достоинств ничего не имеет общего с национальным самовыражением. Нет ничего сложнее, чем бытие целой нации, а потому, и ее выражение не может быть декларативно простым. Азбучно: культурный опыт народа идет от жизни, от существующих в ней противоречий, часто весьма острых и болезненных, от преодоления неизбежных протерей и убытков. И не азбучно ли, что передать опыт, не упомянув то, на чем он основан, просто невозможно?

Выражать свои прототипы и убытки — не значит ли признаваться в своей слабости? Не отпугнет ли это друзей, не вызовет ли торжество врагов? Не лучше ли умолчать, скрыть, выставить на показ лишь свои достоинства?

Неискренность никогда еще не помогла завоевывать сторонников, следовательно, и укреплять свои позиции. Наоборот, открытое признание трудностей — всегда признак силы и уверенности в себе.

И вот наглядный пример из истории нашей культуры. Сразу же после гражданской войны, которая кончилась для большевиков победоносно, выходит повесть, ярко рассказывающая, нет, не о победе, а о... разгрома. Эту повесть написал отнюдь не пораженец, а человек, который сам с винтовкой в руках завоевывал победу. И все-таки афишировано разгрома, то есть значительной неудачи, произведение не в пользу победителей, умаляющее их значение?.. Ан нет! Повесть произвела столь оглушающее впечатление, что даже в лагере врагов раздалось уважительное возмущение. Могла ли подобная реакция вызвать книга, самовосхваляющая победу?

Мы пережили революцию, мы выстояли в гражданской, ликвидировали разруху, мы знаем цену, которую заплатили за коллективизацию и индустриализацию, знаем цену победы в самой жестокой из всех войн в истории человечества. Утверждать тут, что этот путь мы прошли, не испытывая ни трудностей, ни болезненных осложнений, не совершая роковых ошибок, значит, не просто наивно скрывать, а намеренно лгать. Народный опыт даже трагический составляет культурную силу нации.

Именно потому, что наш опыт чрезвычайно богат и болезнен, он представляет жизненно важную ценность для народов. В нем нуждаются, его ждут! Декларация в пользу нации обычных любовных экстазов неискушенных деятелей, претендующих на участие в культурном движении, не содержит ничего национального — просто проявление национализма. Между национальным и национализмом такая же несовместимая разница, как между городом и огородом, государем и милостивым государем. Национальное, как правило, представляет общечеловеческую ценность, национализм вреден даже для той нации, в недрах которой он родился. Выражение национального — объединяющая мир сила. Проявление национализма препятствует объединению, порождает недоверчивость и вражду.

Конечно, установление на планете климата доверия и сотрудничества не ограничивается лишь культурным обменом, и без этого возможно представить некое международное сотрудничество — экономическое, политическое. Но доверие, духовное сближение исключено! Только тот писатель, который несет свою национальную культуру другим народам, способствует возвышению нации, заставляя признать за ней высокую право быть просветителем человечества.

Еще раз напомним: отдающий свои духовные богатства не оскудевает, наоборот, сам приобретает много.

Публикация Наталии АСМОЛОВОЙ-ТЕНДРЯКОВОЙ

2. «Огонек» № 39.

Посмертно опубликованная статья В.Ф. Тендрякова в журнале «Огонёк». 1988 г.



Иллюстрация В.Ф. Тендрякова к роману «Свидание с Нефертити». 1964 г.

«ПОКУШЕНИЕ НА МИРАЖИ» ПРЕДИСЛОВИЕ К РОМАНУ

Из непроглядных временных далей течёт поток рода людского, именуемый Историей. Он несёт нас через наше сегодня дальше, в неведомое.

В неведомое? Ой нет, не совсем! Далёкое проступает уже сейчас, только надо уметь его видеть — великое через малое, в падающем яблоке — закон всемирного тяготения.

Кто в 1820 году обратил внимание на сообщение Эрстеда, что стрелка компаса резко отклонилась к проволоке, по которой пропущен ток?.. Людей тогда волновала судьба Наполеона, доживающего последние дни на острове Святой Елены, убийство герцога Беррийского. А стрелка компаса... экая, прости господи, чепуха. Но от неё вздрогнула История, началась новая промышленная эра, электричество вошло в жизнь и изменило её, изменился мир, изменились мы сами.

А щепотка урановой соли, случайно засветившая фотопластинку Беккереля... А «безумные» прожекты скромного учителя из Калуги — вырваться из объятия Земли!..

Течёт поток рода людского. Куда? Какие силы гонят его? Безвольные ли мы рабы этих фатальных сил, или у нас есть возможность как-то их обуздать?

Мучительные вопросы бытия всегда вызывали страх перед будущим. Он прорывался в легендах о всемирном потопе, хоронящем под собой человечество в кошмарах откровения от Иоанна, в жестоких расчётах Мальтуса. И хотя активная жизнедеятельность людей побеждала этот страх, но тревога за свои судьбы не исчезала, и загадки бытия не становились менее мучительными.

Чем дальше, тем меньше человек зависел от внешних сил, тем сильнее он ощущал — опасность кроется в нём самом. Не кто-то и не что-то со стороны больше всего мешает жить, а непреходящая лютая взаимонесовместимость.

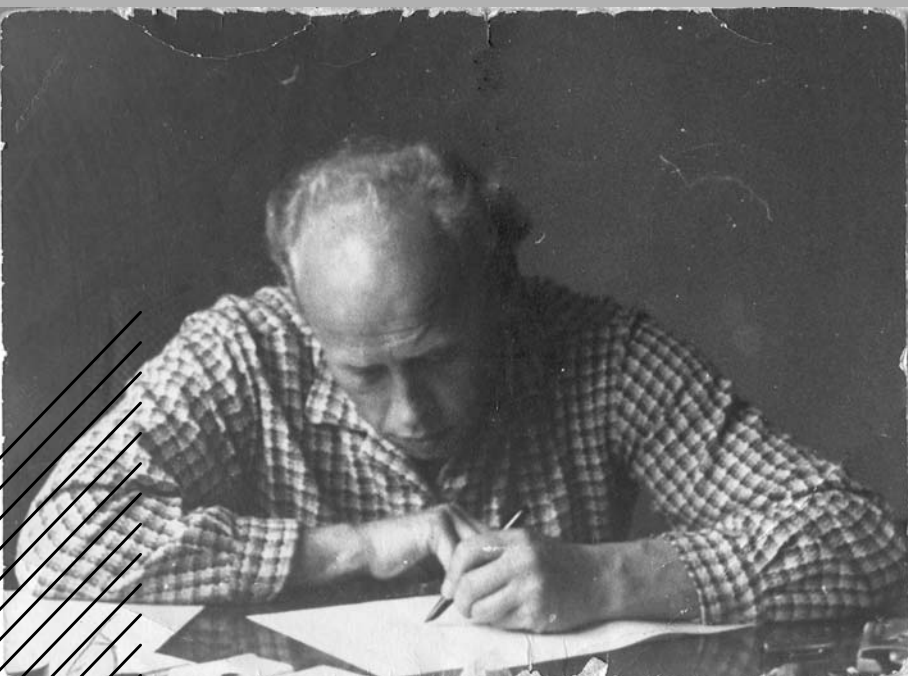
И мы теперь острее, чем прежде, осознаём, что между обыденно житейскими конфликтами Иванов Ивановичей с Иванами Никифоровичами и глобальными катаклизмами мировых войн существует глубинная связь, то и другое — нарушение общности.

Разобщённости же во все времена противопоставлялась нравственность. Испокон веков на неё рассчитывали, к ней неистово призывали. Но мы уже устали от громогласных призывов, по-прежнему не уверены ни в себе, ни в своём будущем. Куда занесёт нас бурное всё ускоряющееся течение Истории, в какие кипучие пороги, в какие гибельные омуты?..

Грядущее проступает уже сейчас: в малом — великое! Как разглядеть его неброские приметы? Приметы надвигающейся опасности, приметы обнадеживающие и спасительные. И прежде всего приметы возрождающейся нравственности, без неё немыслима жизнь.

1982 г.





Уважаемый читатель!

Вы держите в руках вторую книгу из двух, составивших сборник произведений Владимира Тендрякова «Покушение на школьные миражи. Уроки достоинства».

Вторая книга продолжает первую как часть единого авторского высказывания о школе, образовании и становлении личности. В первую книгу вошли повести «Весенние перевёртыши» и «Шестьдесят свечей», статья «Ваш сын и наследство Коменского», рассказы, заметки и черновики, обращённые к миру детства, законам становления личности и смыслу профессии учителя.

Серия книг «Школа для каждого — школа для всех»



А.Н. Тубельский
**Школа будущего,
построенная вместе с детьми**

Александр Наумович Тубельский пришёл в московскую школу № 734 в 1985 году, стал её директором и 22 года руководил ею до последнего дня жизни. Сюда не отбирали детей, наоборот, принимали тех, от кого отказывались в других школах; но школа эта быстро стала одной из самых знаменитых в стране. Здесь искали и находили ответы на вопросы, значимые для тысяч других школ, и все они вращались вокруг одного главного: какой может быть по-настоящему достойная современная школа для самых разных ребят? Книгу о такой школе Александр Тубельский не успел подготовить, но её удалось собрать из его статей, заметок, выступлений, тезисов.



С.Ю. Курганов
**Ребёнок и взрослый в учебном диалоге.
Книга для учителя**

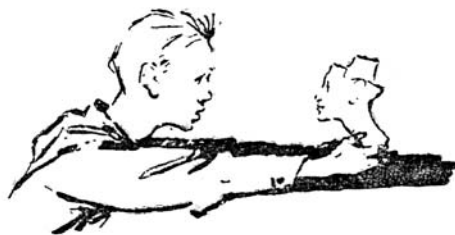
Первое издание книги «Ребёнок и взрослый в учебном диалоге» в 1989 году было громким событием, повлиявшим и на теоретическую педагогику, и на всё отечественное педагогическое движение. С тех пор ссылки на книгу Сергея Курганова вошли в учебники, термин «учебный диалог» стал общеупотребительным, а педагогическое направление «Школы диалога культур» прожило бурную и плодотворную биографию. За эти годы фундаментальное значение увлекательного повествования этой книги о непредсказуемом для учителя опыте уроков-диалогов только значительно упрочилось.

Книга адресована будет интересна всем, кому интересно разобраться в возможностях современной школы.



Е.В. Яновицкая
Как учить и учиться на уроке ТАК, ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ ХОТЕЛОСЬ, И УДАВАЛОСЬ УЧИТЬСЯ УСПЕШНО В УСЛОВИЯХ КОЛЛЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МАССОВОЙ ШКОЛЕ. **Альбом-справочник**

Альбом-справочник представляет в краткой форме логику разноуровневого обучения. Разноуровневость рассматривается здесь как в отношении разных возможностей, направленности и темпов учебного продвижения школьников, так и с точки зрения структурирования учебной информации по каждой теме, организации качественно различных типов уроков, дополняющих друг друга. Под углом зрения новых возможностей обучения рассматриваются самые привычные и знакомые каждому учителю проблемы школьной жизни.



Владимир Тендряков
ПОКУШЕНИЕ НА ШКОЛЬНЫЕ МИРАЖИ. УРОКИ ДОСТОИНСТВА
Художественные и публицистические произведения
КНИГА 2

Под ред. А.Г. Асмолова, А.С. Русакова, М.В. Тендряковой

**В книге использованы рисунки В.Ф. Тендрякова
и фотографии из семейного архива писателя.**

Рисунок обложки подготовлен на основе эскиза к портрету В.Ф. Тендрякова
художника Ореста Верейского. (1970-е годы)

На стр. 357 – рисунок В.Ф. Тендрякова, 1945 г.

На стр. 146 – фотографии В.К. Дьяченко по материалам сайта kso-kras.ru

На стр. 342 – портрет Твардовского, рисунок Ореста Верейского.

На стр. 372 – фотография А.Н. Леонтьева из домашнего архива учёного.

*Дизайн Тарас Мосненко
Художественный редактор Дарья Русакова
Корректор Светлана Шарова*

ООО «Образовательные проекты»
195196, Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, 13а.
Тел./факс: (812) 444-38-62,
e-mail: osvita-spb@narod.ru
www.obrpro.wordpress.com
www.setilab.ru

Подписано в печать 10.03.2020 г.
Тираж 1000 экз. Заказ № 3657

Санкт-Петербургский филиал ФГУП «Издательство «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, дом 12